



КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ



Литературный ежегодник

Орган творческого объединения писателей Коломны

ИЗДАЁТСЯ КОМИТЕТОМ ПО КУЛЬТУРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА

ВЫХОДИТ
С 1997 ГОДА

2013

ВЫПУСК
СЕМНАДЦАТЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ

**ПЕРВАЯ
КОЛОНКА**

ПРОЗА

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

СНЕЖНАЯ РОССИЯ5

ВЛАДИМИР КРУПИН

ВЕЛИКАЯ МОСКОВИЯ7

ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ

ОСТРОВ БОЛИ. Маленькая повесть 15

ВАЛЕРИЙ КОРОЛЁВ

ЯГОДА-МАЛИНА. Рассказ 49

ВЛАДИМИР КРУПИН

О, РУССКАЯ ЗЕМЛЯ! Рассказ 67

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ

ПРОЩАЛЬНЫЙ ДАР. Рассказ 73

ТАТЬЯНА КОНДРАТОВА

ГНЕЗДО. Рассказ 83

ЛАРИСА МОРОЗОВА

МАРТА. Рассказ 97

ПОЭЗИЯ

НИКОЛАЙ МХОВ
КУЗНЕЦ СИТНИКОВ. Рассказ 103

ВАЛЕРИЙ КАПРАЛОВ
ЗНОЙ. Поэма 113

МИХАИЛ МЕЩЕРЯКОВ
МИХАЙЛОВ ДЕНЬ. Стихи 119

АЛЕКСЕЙ ИВАНТЕР
ГОЛУБИЦА. Стихи 131

ОЛЬГА СТУДЕНЦОВА
МОЯ ПРОСТАЯ,
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ. Стихи 137

ТАТЬЯНА БАШКИРОВА
СЖИГАЮТ ЛИСТЬЯ. Стихи 145

НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА
МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ. Стихи 155

ТАТЬЯНА МАКСИМЕНКО
КОЛОМЕНСКИЙ БЛОКНОТ. Стихи 159

ОЛЬГА ЕРМАКОВА
СНЕГОПАД. Стихи 167

ЛИДИЯ ИВАННИКОВА
ЗА ЛЕСОМ СОЛНЦЕ СЕЛО. Стихи 171

ГАЛИНА САМУСЕНКО
УХОДИТ ЛЕТО. Стихи 175

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЕВГЕНИЙ ЛОМАКО
ЭПОХА ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН 181

АНАТОЛИЙ КУЗОВКИН
ЦАРИ В КОЛОМНЕ 205

ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ
РУССКИЙ ЛЕМНОС 219

TERRA INCOGNITA

СЕРГЕЙ МАЛИЦКИЙ
КАЖДЫЙ ОХОТНИК... Повесть..... 241

СЕРГЕЙ КАЛАБУХИН
ТРИ РАССКАЗА 283

СТАРИННЫЙ ПАРНАС

ВАСИЛИЙ ПРОТОПОПОВ
ОДА 295

ОСИЯННОЕ СЛОВО

Проза

АЛЕКСЕЙ ВИТАКОВ
МЕРКУРИЙ. Отрывок из повести 310

МАРИЯ ТЮРПИНА
ВОКЗАЛЬНЫЕ МОСТЫ.
ЭТО ДУША. Рассказы 314

ВАЛЕРИАН АЛЕКСАНДРОВ
ЛАВОЧКИН. «БАЙ-БАЙ». Рассказы 317

Поэзия

**М. КУКУЛЕВИЧ, М. КОТОВА,
А. ВИТАКОВ, Е. МУСАЛИТИНА,
Т. КОНДРАТОВА, А. ГРЕЧЕН,
Д. МИНАЕВ, Н. КРАСЮКОВА,
А. СОЛДАТКИНА, В. КОРКУНОВ,
В. БАЛАКИРЕВ, А. ШМЕЛЁВ,
М. ТЮРПИНА, Д. КОРЖОВ,
И. КАРПОВ** 320

РОДИМАЯ СТОРОНА

РОМАН СЛАВАЦКИЙ
ХРАМ В ГОРОДИЩАХ..... 337

ЮРИЙ БОНДАРЕВ
В КОЛОМНЕ 363

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ
ДОМ НА ПЯТНИЦКОЙ 367

ФРАНСИСКО МАНСИЛЬЯ КАРАМЕС
ПАСЫНОК 379

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА



В конце 2012 года «Коломенский альманах» достойно отмечен Московской городской организацией Союза писателей России. Ему присвоен Диплом первой степени в литературном конкурсе «Луч-альманах» с вручением медали «Литературный Олимп».

Дипломы им. А.Т. Твардовского удостоены Татьяна Башкирова, Михаил Болдырев, Сергей Калабухин, Олег Кочетков, Александр Сахаров, Роман Славацкий, Валерий Ярхо.

Вероника Ушакова награждена памятной медалью «А.С. Грибоедов», а главный редактор альманаха Виктор Мельников награждён Дипломом литературно-общественной премии «Светить всегда» с вручением Ордена «В.В. Маяковский».

Главе администрации городского округа Коломна В.И. Шувалову от имени Председателя Правления Союза писателей России В.Г. Бояринова было направлено благодарственное письмо, особо подчёркивающее значимость литературно-художественного издания «Коломенский альманах» для формирования культурного наследия нации, духовной мощи России.

Общественное признание — вовсе не мелочь. Ведь именно оно придаёт смысл нашей работе. Надеемся, что и в нынешнем году она не останется незамеченной!

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ

(1873–1924)

СНЕЖНАЯ РОССИЯ

За полем снежным — поле снежное,
Безмерно-белые луга;
Везде — молчанье неизбежное,
Снега, снега, снега, снега!

Деревни кое-где расставлены,
Как пятна в безднах белизны:
Дома сугробами задавлены,
Плетни под снегом не видны.

Леса вдали чернеют, голые, —
Ветвей запутанная сеть.
Лишь ветер песни невесёлые
В них, иней вея, смеет петь.

Змеится путь, в снегах затерянный:
По белизне — две борозды...
Лошадка, рысью неуверенной,
Новит чуть зримые следы.

Но скрылись санки — словно, белая,
Их поглотила пустота;
И вновь равнина опустелая
Нема, беззвучна и чиста.

И лишь вороны, стайей бдительной,
Порой над пустотой кружат,
Да вечером, в тиши томительной,
Горит оранжевый закат.

Огни лимонно-апельсиновые
На небе бледно-голубом
Дрожат... Но быстро тени длинные
Закутывают всё кругом.

1917 г.

ВЕЛИКАЯ МОСКОВИЯ

Первая колонка

Я не коренной москвич, а вятский уроженец и останусь таковым, ибо родина навсегда там, где суждено было выйти на свет Божий. Но вот меня вызвали в военкомат, забрили, посадили в поезд и повезли. А куда? Никто не говорил. Везли, везли и привезли... в Москву. Ликованию нашему не было предела: мы росли, когда понятия «Отечество», «защитник» были святыми для нас, и мы были готовы выполнять свой гражданский долг в любом месте державы. Мне неслыханно повезло — Москва!

Вначале Люберцы, Томилино, потом Вешняки, тогда ещё не входившие в черту города. Мы ходили строем в баню из Вешняков в Текстильщики, шли через поля капусты и свёклы, то есть через теперешние Кузьминки. Затем Одинцово, Голицыно и незабываемая Кубинка, Учебный центр войск ПВО. Это такое было счастье — служить в ракетных войсках. На аэродроме в Чапаевске мы готовили выставку ракетной техники и в присутствии специалистов из НАТО переводили ракеты из походного в боевое положение. Запугали их надолго. Присутствовал и Хрущёв, приказавший в награду дать всем нам отпуск на родину.

А выезды в Бородино на уборку территорий около памятников к 150-летию Бородинской битвы, а концерты для труженников Можайского района — что говорить!

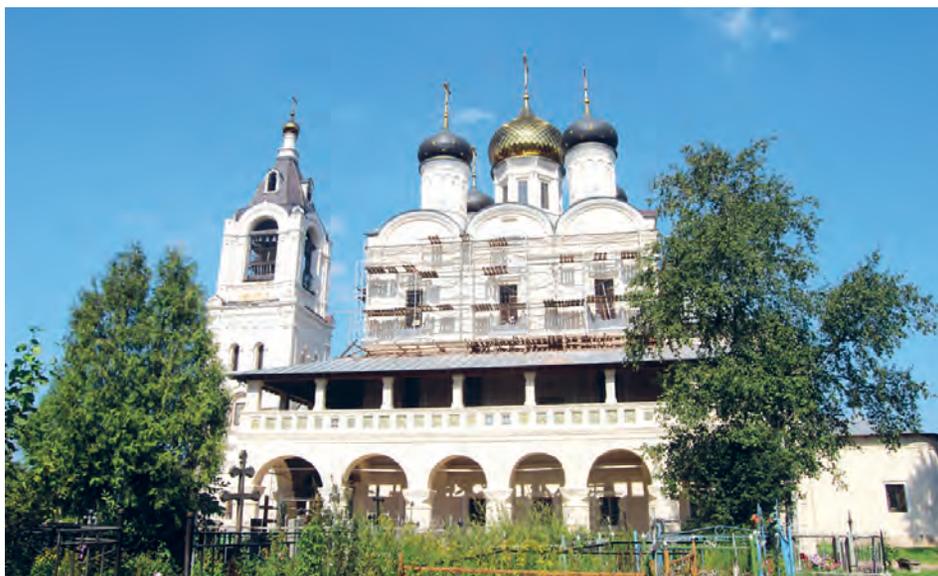
Учился я в Московском областном пединституте имени Крупской, самом лучшем из всех вузов столицы. К великому сожалению, счастье выезда на осенние уборочные работы незнакомо нынешним студентам. Мы же вспоминаем эти сентябрьские дни с радостью.

Это Фаустово по «Казанке» на Москве-реке, это Поленово на Оке, село Подмоклово. А позднее и Кашира, и Опалиха. Также мы ездили в Сергиев Посад, тогдашний Загорск.

Ещё вспоминается, что всегда тянуло к реке, к лесу. И реки Подмосквья, все как одна, похожи на Иордан. Это я потом убедился, когда стал бывать на Святой земле. И Пахра, и Уча, и Воря, и Клязьма, и Истра. И костры были, и застолья на траве, но что важно сказать — нам не нужны были плакаты, призывающие беречь природу. Это было нормой жизни и поведения — не оставлять после себя мусор. Представить было нельзя, чтоб бросить что-то на землю, плюнуть на неё. Это шло от детства, от отцов и дедов. Ещё помню то напряжённое сострадание к местам, которые топтали сапоги фашистов. Это было невозможно представить — Россия под оккупантами. Нет, русское сердце никогда этого не воспримет. И тайна непобедимости России — именно в любви её сыновей и дочерей к материнской земле.

Пытливое, любознательное, уважительное отношение к новым местам, их постижение — это особый отличительный знак русского характера. У меня всегда к тому же была тяга к картам — не игральным, конечно, географическим. Карту Московской области я изучал не в кабинетных условиях, а в полевых. Девять вокзалов в Москве, и с каждого я помногу ездил, расширяя знания о великой Московии. Даже игра такая была с друзьями — закрыть глаза и ткнуть пальцем в карту наугад. «О, Коломна!». И ехали в выходные в Коломну. А там и Бобринев монастырь, и Девичье поле, на котором московский князь Димитрий устроил смотр войск перед Куликовской битвой. В следующий раз Большие Вязёмы. Там, у церкви, могилка брата Пушкина Николеньки и недалеко дом, где одну ночь, продолжая гибельное для французов шествие на Москву, ночевал Наполеон, а ещё ночь в этом же доме провёл Кутузов. Здесь католический

Фаустово. Троицкий собор. Фото А. Сахарова





Вязёмы. Дворец Голицыных. Фото А. Сахарова

ставленник Лжедмитрий встречал полячку Марину Мнишек, а в Коломне мы видели и последнее её русское пристанище — Маринкину башню. А от Голицына недалеко до Звенигорода. Его царственная тишина, луга, дом Пришвина, монастырь, тогда занятый домом отдыха. Всё-таки не склад, не гараж. Ещё ткнём на следующие выходные — выпадают Подольск, Пахра, Дубровники. Или Клин. Чайковский.

Интерес к русской истории в шестидесятые годы был всеобщим. Спросите нынешних: а где была битва с татарами, возглавляемая великим полководцем Воротынским? Под Молодами? А где это? А откуда возили мячковский камень на строительство Кремля? А где проходил водовод, снабжавший Москву самой чистой, мытищинской водой? А где шли пешком на поклонение преподобному Сергию Радонежскому, где ночевали? И к кому на поклонение завещал заходить святой Сергий в Хотькове? И где подписали Кючук-Кайнарджийский мир? И кто подписывал? А где Левитан создавал свою «Владимирку»? Где работал и лечил крестьян Чехов? В Лопасне? Да, а вы там были? И где Деулино? И чем оно знаменито?

О, вечные стражи Московии — Волоколамск и Истра, Серпухов и Подольск, Дмитров и Яхрома, Егорьевск и Можайск... Называю их, а сам как будто хожу по их улицам и окрестностям, вхожу в храмы и ставлю свечи перед распятием.

Коломна... Что-то основательное и одновременно лёгкое в этом имени. Что-то солнечное. Недаром и славянское «коло» — это круг, коловращение, центрированность. У меня как-то слились в сознании стихи Пушкина «Домик в Коломне» и сама Коломна. И приехавши впервые сюда в 1979 году, я поневоле искал домик, похожий на поэтический петербургский. И очень многие дома походили.

Коломна — город, а город — это он. Но в самой Коломне столько женственного, материнского, что это «он» забывается. Конечно, Колом-

на — это «она», цветущая, сразу видно, что любимая жителями столица большой русской земли, такой исторической и такой современной. Конечно, и Свято-Троицкий и Ново-Голутвин монастыри в Коломне женские и не могли быть иными.

Никто лучше, чем «Коломенский альманах», не расскажет о связи Коломны с русской и мировой историей. Мне же тогда, для начала, было достаточно, что здесь венчались юные Димитрий и Евдокия, будущие русские святые, великий князь Димитрий Донской и преподобная Ефросиния Московская. И что здесь, на Девичьем поле, был смотр войскам, идущим навстречу полчищам Мамаю. Как раз тогда я писал о Куликовской битве.

Тогда в Коломне проходил первый в СССР фестиваль документального кино, посвящённый шестисотлетию битвы. Это было большое событие, думаю, в городе сохранилась память о нём. В перерывах меж просмотрами я выскакивал в город, поднимался по ступеням колоколен, ходил за реку, скорбел на развалинах Бобренева монастыря, да и в Голутвине было печально. Но помню, что во всём проглядывали былая мощь и былая красота, и их проявления не давали унывать. Верилось: будет Возрождение, будет! Не может исчезнуть в чёрной дыре забвения такой значительный свидетель истории, как Коломна. Ведь и Маринкина башня — не просто башня, а памятник бесславному нашествию католиков на Россию.

Потом я ещё и ещё приезжал, даже в мае 80-го жил у знакомых, близ церкви и трамвайного круга, дорабатывал для «Нового мира» повесть «Живая вода». Была со мной и доченька тринадцати лет, которая безмятежно загорала на зелёной траве двора. И вдруг она пришла ко мне и попросила пять рублей.

— Я икону купила.

— Как?

— Дядька говорит: спаси, не дай помереть, найди десять рублей. Я говорю: десять — это много: вы много выпьете, вам будет плохо, лучше я попрошу у папы пять рублей.

Древние стены на страже Коломны. Фото А. Дудкина



- И он согласился?
- Ну конечно же, а как же? Я с ним строго говорила.
- Так он её украл, наверное.
- Нет, я строго спросила, он говорит: осталась от старушки. Папа, он же всё равно её кому-то продаст.

Так в семье появилась икона, которая и поныне радует нас. Так и называем её: Катина коломенская икона.

Помню, тогда цвело очень много вишен в том районе. Ходили мы и на реку, и за реку, и к слиянию русских рек Оки и Москвы-реки. Много тогда было лодок у берегов. Живы ли те дворики близ Кремля? Их очарование вернул для меня Михаил Абакумов. Вот о ком я печалюсь. И не только как о великом художнике, но и человеке. Знакомы мы были кратко, но душевно. Он даже сказал: «Приезжай, картину подарю». И вот я всегда корю себя: что ж я тогда сразу не кинулся к нему в Коломну, ведь его картины такие духоносные, духоподъёмные. Ну что ж теперь... И он — слава Коломны и России. И замечательна недавняя публикация о нём в альманахе. Как и о прозаике Валерии Королёве.

Именно здесь сохранился образ святителя Николая Зарайского.

Да и в житейском смысле: сколько радости жителям Советского Союза принесли коломенские патефоны и сколько взыскательных вкусов услатила коломенская пастила.

Едешь в российские пределы с Казанского вокзала и ждёшь встречи с Колодной. И она появляется — и слева, и справа. И как бы приостанавливает время, растворяя его в очаровании воды и зелени, белых храмов. Так бы и прыгнул и пошёл бы к Оке, по улочкам города, и со всеми бы здоровался: «Здравствуйте, милые! Какие же вы счастливые, что живёте в таком городе».

Любовь к любимым, к родине — она, как вдыхание свежего воздуха. Нет её — мы всё равно дышим, но свежесть уходит, и дышать и жить тяжело. И у меня есть своя вятская родина, но как я понимаю любовь коломенцев к своему месту на земле и гордость за него! А оно центральное для России.

И как-то незаметно и естественно образ вятской родины слился с подмосковными просторами — те же сосны, берёзы, та же сирень, та же белизна черёмухи по берегам весенних рек, тем более я всегда был горд тем сознанием, что Москва стоит на земле вятичей, моих предков. То есть я тут живу по праву.

Но полвека — это срок. Мгновение для вечности, он означает возраст поколения. И оставляя в стороне социальные и политические сдвиги в России, которые всегда возглавляла Москва, скажу несколько о впечатлении, которое производят теперь поездки по городам и весям Московии. Они сложны. Если ранее сердца и души уязвлялись, видя «мерзость запустения, реченную пророком Даниилом», то теперь, конечно, приведённые в божеский вид храмы, монастыри являют зрелище отрадное. Мы же в своё время досыта нагляделись на руины, развалины, на всё это издевательство, явившее миру полное бессилие богоборчества. Минуло семьдесят лет — и как не было этой разрухи, всегда сияли в согласии с небесами храмы, прочищали атмосферу колокольные звоны, шёл в церковные ограды крещёный народ.

Но вот что уязвляет душу — небрежение к земле, её запущенность, заваленность отходами и свалками, а особенно тяготят взор богатые заборы и надменные за ними особняки. Тут не то чтобы классовая ненависть возникает — огорчение за Россию, за то, что её земли занимают новые оккупанты. Мне, выросшему среди людей, которые никогда не запирали дома и, уходя, ставили на стол кружку с водой, или с квасом, или с молоком, клали лопот хлеба для того, кто всегда мог зайти и найти в доме отдохновение и уют, — не дико ли видеть такую жадность, такой страх, такую ненависть. Да, заборы означают именно это.

Однако будем спокойны, ибо всегда так и было. Кто жил для брюха, кто — для духа. Кто — для желудка, кто — для души. Но что же бессмертно? Конечно, душа. Значит, для неё и будем жить.

Жить в своей Московии. Тем более сейчас, когда ей трудно от нашествия нового племени хищников, видящих в России место для наживы. Ничего, и не такое бывало.

Владимир КРУПИН



МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ — 305!

Московская губерния была основана Указом Петра Великого 18/29 декабря 1708 г. До этого вся территория Российского государства делилась на различные по размеру и статусу уезды (прежние княжеские земли, уделы, приказы и т.п.). Своим указом об Областной реформе Пётр основал первые 8 губерний: Ингерманландскую (с 1710 г. — Санкт-Петербургскую), Московскую, Архангелогородскую, Смоленскую, Киевскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Во главе Московской губернии был поставлен боярин Тихон Никитич Стрешнев.

В 1719 году губерния была разделена на 9 провинций: Московскую, Переславль-Рязанскую, Костромскую, Суздальскую, Юрьев-Польскую, Владимирскую, Переславль-Залесскую, Тульскую и Калужскую. В Московскую провинцию входило 16 городов с дистриктами (с 1727 г. — уездами): Москва, Дмитров, Клин, Руза, Волоколамск, Можайск, Царёв-Борисов, Малоярославец, Серпухов, Таруса, Оболенск, Кашира, Коломна, Звенигород, Веря, Боровск.

В дальнейшем среди губернаторов, генерал-губернаторов и главноначальствующих Московии были такие выдающиеся государственные и военные деятели, как Г.Г. Орлов, В.М. Долгоруков-Крымский, А.А. Прозоровский, М.М. Измайлов, герои Бородине А.П. Тормасов и Д.В. Голицын, Великий князь Сергей Александрович.



Проза





Графика Василины Королёвой



Виктор Семёнович Мельников — прозаик, издатель. И хотя он родился в Казахстане, но «милым пределом» для него стала подмосковная Коломна. В этом городе он не только написал свои лучшие произведения — Мельников основал издание «Коломенского альманаха», настоящего творческого Дома для писателей, поэтов, художников, публицистов Коломны.

Автор девяти книг прозы. Лауреат премии им. И. Сытина (2002 г.), дипломант областной литературной премии им. М. Пришвина (2006 г.). Дипломант Международного конкурса «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси-2010». В 2012 году награждён памятными медалями «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову» и «За труды в просвещении», посвящённой 200-летию Н.В. Гоголя.

Маленькая повесть

Виктор Мельников

ОСТРОВ БОЛИ

*От сумы да от тюрьмы не зарекайся.
Народная мудрость*

Женская колония находится далеко за городом. До неё можно добраться только рейсовым автобусом или на личном транспорте, у кого он есть, а вот так, пешком — по полям и перелескам, с холма на холм, с межи на межу — долго топать... Да и пока дойдёшь — много сил на дороге оставишь. Железная дорога в этих краях не проложена. Глухие, в общем, тут места.

И всё-таки люди идут сюда.

Как же можно оставить в изгнании родственную душу? Пусть за решёткой оказался, а забывать родного человека, пусть он сейчас и заблудшая овца, как-то не по-христиански, не по-нашему. И чем ближе подходит человек к этому месту, тем больше и уродливее кажется ему открывшееся перед ним скопление зданий, грубо сложенных из красного кирпича и надёжно закрытых бетонным забором с натянутыми спиралями колючей проволоки. В центре высится мрачное пятиэтажное здание — пристанище заключённых.

Вокруг этого безрадостного заведения, издали похожего на фабрику, растут стройные, ровные сосны — будто стрелы с тёмно-зелёными наконечниками. И на фоне этого прекрасного бронзового бора с мачтами стволов и узорчатой хвоей ещё более нелепой кажется эта неуместная груда кирпича. Точно какой-то обезображенный остров посреди зелёного моря. Остров боли.

На этом месте санаторий бы построить — светлый, просторный, а тут колонию соорудили — подальше от людских глаз. И не какую-нибудь, а женскую! Им бы, этим невольницам, в родильных домах сейчас лежать, детушек рожать, а они за колючей проволокой маются.

Да видно, пока без этого не обойтись... Впрочем, узилище — это тоже больница со своими болезнями и диагнозами. Тем более слово «колония» — оно ведь женского рода!

Лагерная зона снимает с человека маску, которую он носил всю жизнь. И под ней вдруг открывается совсем другой человек. И не обязательно он становится уродливее. Пройдя через унижения, насилие и жестокость, раскрывается порой другая душа. Это и страшно, и удивительно. Но только через этот путь понимается, кто ты есть в жизни.

По вечерам из окон корпусов доносится пение женщин. Вначале тихо запеваёт одна камера, потом подхватывает другая, и вот уже песня, как птица, расправляет свои крылья и вылетает на волю. Песни каждый день разные: то весёлые и озорные, то протяжные и грустные, как сама женская доля...

В жизни у каждого из нас немало дорог. И у каждого своя тропинка. И вот идёт по ней человек, ищет свою судьбу. Веками принято, что женщина всегда ждёт — то мужа, то отца, то сына. Или с поля боя, или из далёкого странствия, или из плавания... Но бывает, оказывается, и по-другому: когда её ждут из острога. Кто-нибудь да ждёт её с молитвой на устах. Всё ей простив, лишь бы она вернулась скорее домой! Молятся и ждут. Женщинам всё прощается. На то она и женщина.

Но даже в колонии, за стальной паутиной колючей проволоки, женщины всегда остаются женщинами! И в унылом сером потоке то здесь, то там сияют, словно морской жемчуг, рассыпанный на грубом холсте, прекрасные лица. И как поразительно многообразна эта красота в неволе! Вот прямо-таки царское величие, вот необыкновенная утончённость и живость. Даже сквозь лагерную вульгарность, сквозь испорченность упрямо пробивается изначальная гармония...

И разве можно запретить весне пройти через железные ворота? После стылых холодов, сквозь толщу снега пробивается небольшими пятками земля с прошлогодней травой. Вырастает из сугроба здание колонии, украшенное по карнизу сверкающей бахромой сосуллек. Всё кругом преображается: и солнце, и ветер, и запахи. Весна дарит невольницам не только своё тепло, но и новое время, новую жизнь, надежду на скорое освобождение. Домой! К детям, мужу, внукам, матери...

Перезимовали! Женщины идут через двор небрежным строем с весёлыми частушками и смехом. Гогочут охранники и лают собаки. Нарушая все приказы и распоряжения, узницы распахивают свои казённые выцветшие телогрейки навстречу прохладному воздуху. Солнце тут же целует их, истосковавшихся по мужской ласке, в ложбинку над грудью... Тёплый ветерок нежно заигрывает с ними, норovit развязать их синие косынки, чтобы распустить и раскинуть по плечам длинные локоны. И оживают утомлённые лица: улыбаются глаза, вспыхивает румянец на щеках, ярче горит на губах помада. Мягкий весенний, тёплый свет, рстолкав идущих, проник в самую середину этой шеренги и словно встретился с ещё одним светом, который исходил от женщин, от их нежной незащищённости.

В такие вольные минуты им хочется не то чтобы «встряхнуться», а всю свою жизнь изменить! Чувства вспыхивают, словно пузырьки в бокале шампанского, мечтается о чём-то сердечном и тёплом. Любви бы, как в «розовых» книжках, да побольше, чтобы унесло и захватило с головой! Но вот парадокс: из-за любви большинство из них и оказалось здесь! Женщины, обречённые любовью... И у каждой из них — своя судьба, своя собственная история...

*Много снега навалило,
Много и растаяло.
Дура, я его любила,
Что меня заставило?*

Вера Фролова:

— Прошёл ещё один белый от скорби день, который каждая из нас вычеркнула из своей жизни. Но есть в нём и преимущество: он на короткий миг приблизил нас к освобождению, к своему родному дому, к встрече с родными. Угли заката уже догорели за нитями «колючки», и даже стало видно, как высоко в небе пробивается свет одинокой звезды. Словно колкая льдинка, она повисла над нами, вот-вот готовая сорваться вниз. А может, это и не звезда, а слеза чьей-то матери? А может, и не матери. На воле многих из нас ждут дети, мужья... Не потерять бы себя за эти годы!

В нашей камере сидит двадцать женщин. Десять коек по одной стороне, десять — по другой. Но, несмотря на тоску и безысходность, мы пытаемся сохранить себя, не потерять человеческое лицо. Стараемся одеваться аккуратно. В камере нашей чисто — всё прибрано, наверно, не у каждой на воле бывает такой порядок.

Сегодня хозяин передал в камеру одно диковинное письмо. Послание было адресовано не нам, а самой администрации. Хозяин рассудил по справедливости: пусть мы сами решим. Дядька он добрый. Полный такой, как колобок. Похож на артиста Леонова из «Джентльменов удачи». Мы его так и прозвали: Редиска. Но если в фильме под словом «редиска» подразумевается злой, плохой человек, то наш Николай Фомич совсем другой.

Письмо написал одинокий мужчина. Это, конечно, не редкость: нам многие пишут. Но здесь была странная особенность: мужчина принципиально хотел жениться на какой-нибудь заключённой, чтобы воспитать из неё достойную подругу жизни. Но абы какая ему не нужна, — читали мы под общий хохот, — поэтому он просит высочайшего позволения прийти в тюрьму и самолично осмотреть весь контингент. Напористый оказался мужичок!

— Это что, из тюрьмы в тюрьму, что ли, получается? — воскликнула рыжая Валька Зыбина.

— А может, он сам доходной? Не-е, прежде чем на этакое решиться, надо его основательно, бабоньки, проверить, — хихикнула разбитная Катька Наумова.

— На сутки, всей камерой! — заиграла чёрными глазами Полька Ступникова, — ведь это не что-нибудь мы ему доверяем, а наше тело! Нет, девки, это дело-тело политическое и важное, и так его просто, с кондачка,

не решить. Ведь мужик просит бабу не на ночь, а в рабство на всю жизнь! Кто за то, что мы ему кого-нибудь отдадим? Желающие есть?

И, несмотря на одиночество и отчаянное наше положение, мы дружно забраковали этого привередливого женишка. Несмотря на неволю, мы по-прежнему любим, как и любили до этого, — молодых, стройных и сильных. А лысеющие да с брюшком... Кому они годятся? В общем, мужик нужен такой, чтоб хотелось! Чтобы любовь была! Как у меня когда-то с Василием...

Помню, была дружеская вечеринка. Играла музыка. Все танцевали. А мне вдруг захотелось побыть одной — нахлынуло что-то... Уселась на подоконник, смотрю за стекло, а там луна в небе сияет, и свет от неё льётся и обволакивает землю, перемешиваясь с туманом, как в сказке. Так красиво — кажется, век бы не отрывалась... Но тут почувствовала, словно кто-то на меня смотрит. Обернулась — и увидела восхищённый взгляд. Стоит такой древнерусский богатырь: высокий, плечистый, волосы русые, волнистые, а ещё — пронзительно синие глаза.

Я не удержалась да и брякнула:

— Молодой человек, вы рот-то закройте.

Смутился он, покраснел и говорит:

— От вас глаз не оторвать. Красивая вы... Пойдёмте танцевать?

Закружились мы, а я музыки почти не слышу. Сердце заходится, а в голове так и отдаётся: «Он! Он! Вот кто мне нужен!» Чувствую: и его ко мне как магнитом тянет. Спрашивает, а у самого голос дрожит:

— Вам нравится музыка?

Что я могла ему ответить? Я готова была с ним танцевать не то что под любую мелодию, а всю вечность, лишь бы музыка не заканчивалась!

— Могу пригласить вас к себе домой, — сказал он и запнулся... — Камин не обещаю, но хорошее вино и настоящую музыку гарантирую.

— Так вы можете пригласить или всё-таки приглашаете? — обнаглела я. Он засиял улыбкой:

— Конечно, приглашаю! Вас как зовут?

— Вера.

— Хорошее имя... В нём и надежда, и любовь...

Это было, как признание в любви. У меня захрустела от счастья голова, и точно вихрь какой-то подхватил нас. И был вечер, и вино, и любовь. Даже сейчас я нисколько не жалею, что в первую же ночь по-неслась за ним. Да и чего жалеть? Мы прожили с ним вместе неполные двадцать лет. Это было, как один день.

Но потом случилось это «вдруг». Не знаю, в чём тут дело. То ли я постарела, то ли у него начался «кризис сорокалетнего возраста», когда мужиков на свеженькое тянет... А началось всё с того дня, когда я потеряла обручальное кольцо. Вот и не верь в приметы... Я промолчала про мою потерю. Сама носила эту тревогу в себе. Но так тошно на душе было! Думала: вслед за этим должно что-то случиться. И оно случилось...

Прихожу как-то домой, а он с молоденькой сучкой на кровати лежит. У меня аж в глазах что-то треснуло — такая боль! Выскочила из дома и только под самую ночь вернулась. Хотела броситься под поезд, но потом подумала: это что же — я умру, а он будет любиться с этой биксой?

Пришла домой. Молча легла в кровать. А утром, за завтраком, положила ему в кофе мышьяка. Всё произошло как-то само собой. Даже думать не

было времени. Промелькнула мысль, и я ей не противилась... Он, ничего не почуяв, ушёл на работу. Но недалеко ушёл. На трамвайной остановке его забрала «скорая», да не помогло. Я позвонила в милицию и всё им выложила начистоту. И сейчас нисколько об этом не жалею. Детей только жаль. Внучок у меня родился как раз в тот день, когда меня судили...

Вот прошла ещё одна ночь... Как Райка Юфрякова однажды сказала: ноченька, вся чёрная от нашего горя...

*Чужедальняя сторонушка
Не мёдом полита,
Она не сахаром посыпана —
Слезами залита.*

Раиса Юфрякова:

— В камере мёртвая тишина, а мне снова не спится. Считаю и до ста, и до тысячи, и до трёх утра — ничего не помогает. Думы, мои думы... Наверно, всё, что пережила, мне никогда не забыть, не выкинуть из памяти. Задним числом всё прокручиваю и прикидываю. Может, не надо было возвращаться в Россию? Может, надо было перетерпеть. Тогда всё было бы по-иному. А может, наоборот: раньше надо было бежать из Таджикистана? Ведь всё к этому шло. Зря не слушала Фёдора. Думала, что всё образуется. Да и как бросить дом, сад? Да и к самому Шурабу так привыкла, что он стал почти родным городом... Что значит почти? Он действительно стал родным: дети мои в нём родились. Фёдор работал на шахте, большие деньги зарабатывал. Сад тоже приносил доход. Урюк, вишню, черешню вёдрами собирали.

Шураб, хотя и таджикский город, но это был такой русский островок с тремя большими шахтами. Жили в нём горняки из Донбасса, Кузбасса и из далёкой северной Воркуты. Шахтёры — народ кочевой: заканчивается уголь на одной шахте, и они переезжают на другую. Но шурабская «кочегарка» была долговечная. Мы двадцать лет там прожили, и угля там этого, как песка морского. И всё бы так и продолжалось, кабы не развалился Союз. Местные националисты зашевелились. Вначале осторожно подняли головы, а потом всё смелее и смелее. Крайними оказались мы.

Нам не давали нормально жить. На каждом шагу только и твердили: убирайтесь в свою Россию! А как уехать? Кому продать дом? Русские, украинцы, кто мог — уезжали. Бросали квартиры и с одними чемоданами возвращались домой. Квартиру бросить легче. А дом, который выстроен собственными руками, не так просто оставить! Он притягивал к себе каждой ступенькой, каждым окном, каждой половицей. Я уж не говорю про сад. А таджики выжидали, пока мы им всё оставим сами. Однажды на улице напали на Фёдора исподтишка да избili так, что он неделю в постели провалялся. А через три дня отключили воду. Приходилось обходиться дождевой и привозной. А какие в Таджикистане дожди! Курам на смех.

Так мы промучились ещё два месяца. Город, который мы называли цветущим садом, постепенно превращался в каменистую пустыню. Двухэтажные дома стояли мёртвыми без жильцов. Таджики, как саранча,

растаскивали чужие вещи по своим кишлакам. Мы на улицу выходить боялись. Хлеб пекли в доме.

К концу лета стали собираться и мы. Но однажды в наш дом среди бела дня ворвались бандиты. Они уже ничего не боялись. Руководители районного хукумата нагло их прикрывали. Негодяи были с металлическими палками. Ими они крушили всё, что попадалось на глаза. Фёдор кинулся на этих уродов с голыми руками. Мужик сильный, шахтёр. Врезал одному так, что тот в угол отлетел, врезал другому. И тогда третий сзади со всей силой ударил его железным прутом по шее, прямо под голову. Он так и рухнул навзничь, где стоял... Я сидела на полу в углу, прикрыв собой троих детей. Ко мне подошёл этот мерзавец, ткнул палкой в лицо:

— Перебьём всех твоих щенят, если через неделю не уберётесь из города.

Через три дня я похоронила мужа, собрала чемодан — и на вокзал.

Денег-то имелось немного, но зато были золотые украшения. Вот они-то нас и спасли, а так — померли бы с голода, и все дела.

В России мы оказались никому не нужны. Здесь была такая неразбериха! Кто-то нам посоветовал поехать в Себеж, под Псков. Действительно, здесь, по сравнению с Москвой, был рай земной. Запущенный городишко, но красивый. Озёра, высокий крепостной холм, костёл старинный... Дали нам полуразрушенный дом — обживайтесь! Где сами ремонтировали, где мужиков местных нанимали. Те относились к нам с участием — редко кто деньги брал. Да и какие у нас деньги! Слезы одни в копейках. Но понемногу стало всё налаживаться. Устроилась на работу. Ребятишек определила в школу. Вроде бы жизнь наша начала устраиваться. Конечно, не по-барски устроились, но жить было можно. Главное — кругом свои, русские. Но так было недолго.

Года через два в нашем городке стали появляться узбеки и таджики. Превратив свою родину в бесхозные руины, они кинулись в Россию на заработки. Меня от одного их вида мучило. Ну что это такое? Могу я хоть у себя в России спокойно без них жить? Ну что это за законы такие! Я чувствовала, что в наш дом стучится беда.

Однажды прямо ко мне на работу прибежал старший сын. Его всего трясло.

— Ма, — с оглядкой обратился он ко мне. — Там по дворам таджики шастают. Ищут работу. Среди них там эти.

— Кто «эти»? — не поняла я.

— Ну, те, которые в нашем доме были.

— Да не может того быть! — Сердце моё защемило. — Что им здесь делать? Тебе показалось. Они все друг на дружку похожи.

— Нет, ма, — Валерка весь вспыхнул. — Там тот, который отца убил. — Он не сказал «бил», а именно сказал — «убил».

Я, задыхаясь, вскочила с места.

— Пошли!

И мы увидели у нашего забора того головореза. Я натянула на глаза платок и медленно стала приближаться к калитке. Этого таджика я узнала сразу. Он сидел на корточках и жевал корочку хлеба. Мы прошли в свой двор.

— Ну, узнала? — спросил сын.

— Да, — еле выдохнула я.

— Давай милицию позовём! — предложил Валерий.

— Ну и что мы им скажем? — возразила я. — Вот этот подонок убил нашего отца!? Бесплезно всё это.

— Бесплезно?! — вдруг крикнул Валерка. — Бесплезно, да?!

Он вдруг схватил кирпич и рванулся вперёд. Я за ним. Но разве уго- нюсь? Я не верила, что он его убьёт. Думала, так, попугает. Валерка под- бежал к убийце отца и с размаха ударил его кирпичом по голове. Башка у таджика не выдержала — так и хлынула кровь. Но и кирпич раскололся надвое. Я зачем-то подобрала эти куски.

— Беги в школу! И до вечера домой не возвращайся! Слышишь?

Валерка попятился и убежал. Я осталась стоять. Конечно, мне можно было бы уйти — может быть, всё бы сошло с рук. Но я не могла сдви- нуться с места. И как всегда в таких случаях бывает, появилась милиция. А я стою перед ними с окровавленным кирпичом.

— Я его убила... — только и смогла им сказать.

Валерка кричал на суде, что это он сделал, но ему никто не поверил. Дали мне шесть лет. Ничего, отсижу как-нибудь. Зачем же моему сыну портить жизнь из-за этого гада? Главное — он отомстил за своего отца. Теперь легче жить. Не мне, конечно. Моя жизнь давно прожита. Я по утрам отрываю листики календаря, которые прячу у себя в тумбочке, и мне кажется, что я рву не прожитые дни, а умершие. И я не выбрасываю эти листки, а складываю их стопочкой, и они желтеют, скручиваются и увядают, как сорванные цветы.

Не знаю, доживу ли я до своего освобождения. Больно много годков впереди. Может, помру здесь, похоронят где-то за «колючкой», и останется только номерок на могилке. А потом и он зарастёт лопухами да крапивой. Так и затеряется на этой земле след Раисы Юфряковой... Как соседка моя, Седова, сказала, цедя из кружки чифир: «Пусть земля будет нам пухом!»

*Калина красная,
Калина вызрела,
Я у залёточки
Характер вызнала.*

Людмила Седова:

— В нашей камере круглые сутки горит лампочка. А за окном уже вечереет. Видно, как уходит солнце, озолачивая вершины елей. Наверно, уже все птицы спрятались в своих гнёздах. Вот уже несколько дней над нашим окном, под самой крышей, слышна какая-то одинокая трель. Что-то знакомое... Щёлканье, пересвисты, паузы. Похоже на соловья. Райка Юфрякова, правда, говорит, что этого быть не может: соловьи, мол, на земле гнездятся. Откуда он над окном пятого этажа?

Не знаю, но мне хочется думать, что это соловей. Чудно, конечно, как эта птаха тут завелась? Ведь рядом лес. Выбирай любое дерево! Что нашёл среди каменных стен этот певун? Будто нарочно поселился около нас, чтобы скрасить нашу неволю. А может, раньше он здесь жил, да вот построили на этом месте колонию. А он, дурачок, понять не может. Ведь посмотри,

какая великая сила зовёт весной всех птиц на родину! И не только инстинкт ведёт их, но и любовь к местам, где они впервые увидели солнце. И этот пернатый комочек поёт там, где пели его прадеды. Здесь его настоящий дом. Эти ели и сосны рядом с нашей зоной — его родина. Наверное, пет он может только здесь, в другом месте у него просто не будет голоса.

И у нас так же. Бабы рассказывают, что сколько они ни встречаются со своими мужиками на свидании — ни одна зачать не может. По всему выходит: для того, чтобы родился новый человек, свобода нужна. Это вроде как закон природы, тут уж ничего не попишешь.

Я часто вспоминаю наш большой кирпичный дом. Сколько я себя в нём помню, он всегда был перенаселён. Крохотные комнатухи кишели, как муравейники. Каждый этаж имел общий коридор, по утрам и вечерам шумевший ребячней. Большинство жило здесь временно. Я тоже жила надеждой, что скоро получу новую благоустроенную квартиру и с радостью покину этот «шанхай». Моя комната была на самом последнем, пятом этаже. Тютелька в тютельку как эта камера. Я работала на стройке маляром. Начальство обещало дать настоящую квартиру через три года.

Два года я уже отработала. Ещё год надо было перекантоваться в этом общежитии. Хотя, если говорить честно, мне было жаль съезжать с этой комнатухи. Я в ней такой ремонт сделала! Стены и потолок выкрасила в зеленоватый цвет с серебристым накатом. И такое было ощущение, будто в моей комнате искрится озимая рожь в утренней росе. В солнечные дни там стояла такая прозрачность, будто не солнце, а сами стены излучали свет...

Из окна во дворе были видны три старых тополя. Они всегда, словно пленники, были связаны между собой верёвками, на которых сутками трепыхалось на ветру бельё.

По вечерам я любила подолгу смотреть на эти деревья. Отодвину занавеску, подопру локтем подбородок и смотрю. Мне они казались живыми, как люди. Иногда, забывшись, я заговаривала с ними, жаловалась на свою бабью участь. Деревья не перебивали меня, а лишь участливо помахивали ветвями. Такие разговоры иногда доводили меня до слёз. И тогда я умолкала и отходила в глубь комнаты. Садилась на диван и, уставившись в трюмо, подолгу рассматривала своё лицо. А что на него смотреть? Оно, как у мужика: лоб широкий, короткая сильная шея. Такой физиономией только кавалеров распугивать.

Был, правда, у меня один. Николай. Поначалу с ним просто встречались, а потом он и совсем переехал ко мне. Расписаны мы не были. Так, гражданским браком жили. Сама я ему не навязывалась, всё ждала — пусть сам предложит. А он всё что-то медлил, чего-то выжидал — то ли присматривался, то ли себя проверял. Хотя однажды сказал:

— Забеременеешь — сразу и распишемся.

Конечно, было обидно такие слова услышать. Это значит, он меня вроде как за пустоцвет держит. А с другой стороны — ну зачем мне эта бумага? Она больше нужна была бы моему ребёночку. А мне и так хорошо. Николай относился ко мне внимательно и бережно, называл меня Люда-мила. И когда он так моё имя произносил, столько нежности и ласки вкладывал, что у меня ноженки подкашивались.

А ещё у меня была соседка по общежитию — Татьяна. Не подруга, но и не чужой совсем человек. Частенько мне высказывала:

— Дура ты, ох и дура-баба! Расписалась бы с ним, пока тёпленький. Бычок он ладный...

Я лишь отмахивалась от неё. Тоже мне советчица! Сама одна живёт. Даже любовника постоянного не имела. Так, клонет какой-нибудь на одну ночку и больше не показывается.

Может, Танька была и права, но у меня другое мнение. Давить на мужиков бесполезно. Тишком да ладком можно больше добиться. Не зря же говорят: насильно мил не будешь. Одного я только хотела — родить Николаю ребёночка. Вот тогда другой бы пошёл меж нами разговор. Однако бежали дни, а в моей жизни ничего не менялось. Врачи говорили: подстыла на лесах, но со временем всё наладится.

Я уже и ждать перестала, когда однажды, пьянящим мартовским днём, вдруг почувствовала резкую тошноту и головокружение. Сладко и больно забилось сердце: неужели сбилось? Отпросилась с работы и бегом в поликлинику. Там мой прогноз подтвердился. Я как на крыльях полетела домой. Николай, конечно, был на работе, зато Татьяна была дома — ей в этот день во вторую смену.

Влетаю в комнату, скидываю на кровать куртку — и к Татьяне в дверь. Распахиваю настежь... и лучше бы я этого никогда не делала! Мой тихий Колюня с этой лярвой сидят на кровати голые и водку жрут... Срамота! Я как стояла, так и остолбенела. Хотелось завывать в голос, вытолкнуть боль наружу. А эта бесстыжая сидит и смеётся:

— Да ладно, Люд, не горюй. Всем хватит. Выпей лучше с нами.

Я подошла к ним, взяла бутылку и как врежу ей по голове со всей силой! Танюша и успокоилась. Николай трясёт её, а она уже неживая. Я повернулась и пошла в свою комнату. Сама позвонила в милицию, сама вышла к ним, когда услышала их тяжёлые шаги по коридору...

Сейчас-то, по истечении времени, понимаю: дура я была. Нет бы пару зубов выбить да фингал поставить: куда там, сразу мочить давай! Видать, столько злости в руках было! За дурь свою и сию. Я как-то сказала Аносите: мол, все мы тут по справедливости сидим, Богом наказанные. А Зойка мне отвечает:

— Брось ты, Людок, всё на Бога валить. Ну, мы-то с тобой за дело сидим. Тебя, к примеру, никто не заставлял соседку по башке молотить. Тут Господь ни при чём, сама виновата. А вот Раиска Юфрякова за что сидит? Уж она-то никого не убивала. Нет, подруга, за решёткой справедливости не найдёшь. Так что молись про себя, чтобы поскорей отсюда выбраться. Но небесной канцелярии не до нас. Да и нам здесь своих забот хватает.

*Привели меня на суд,
А я вся трясуся:
Присудили сто яиц,
А я не несуся!*

Зоя Аносова:

— А этот мужичок нас раззадорил! Решили мы сами искать себе женихов. А начался этот эпистолярный роман так. Три девицы под окном читали

поздно вечером. Клавка Камышина неожиданно предложила всем нам: а не отправить ли в газету брачное объявление? Написали три адреса. Спустя неделю на всех трёх посыпался ком писем. Отбирали мы кандидатуры всей камерой, то есть коллегиально. На прошлой неделе Танюхе Выхиной, которая осуждена на пять лет за убийство гражданского мужа, мы выбрали самого симпатичного жениха — темноволосого и спортивного.

В общем, начали марьяжить женихов. Письма посыпались, как жёлтые листья осенью! Мы даже отвечать не успевали. Мужик втрескался в Таньку с первого взгляда. Да и ей жизнь слаще стала. Всё-таки какая-никакая, а надежда. А вдруг и правда что получится?

Но больше всех повезло Полинке Зверевой. Вот уже полгода она каждую неделю получает от своего адресата по два-три письма, и на её день рождения, который будет в июле, кума разрешила им с женихом первое свидание.

— Ну, Поинка, чеши свою лохматку! — заготовала вся камера.

А намерения у жениха действительно оказались самыми серьёзными. Он уже съездил к Полине в её город и познакомился с её матерью и сыном. Забота его чувствуется даже в мелочах. В каждое письмо он обязательно вкладывает пустой конверт с маркой, чтобы та не тратилась на ответ из своих «капиталов». Поинка ничего не скрывает от него. А зачем? Она всё ему подробно описала. Сообщила о том, как её муж пил, изменял ей и, наконец, дошёл до того, что обвинил её, что она без его разрешения сделала аборт. Это было последней каплей. Теперь вот она в колонии. Сидеть ей уже немного осталось, но Сергей написал ей, что готов ждать её даже десять лет. И Поинка совсем другая стала. Она даже губы красит, когда письма приносят в камеру. Словно на свидание с мужиком собирается. Вот что любовь делает с бабой! Ей и тюрьма не тюрьма. Были бы крылья, вспорхнула и улетела бы к милому. Хотя каким он там окажется милым, это ещё время рассудит... После каждого письма Полина угощает всю камеру крепким чаем, а это, по нашим условиям, считай, почти коньяк.

*С неба звёздочка упала
На прямую линию.
Витя Веру перевёл
На свою фамилию.*

Полина Зверева:

— Выбрасывает же судьба, чёрт побери, такие коленца! Нет, ну надо же такому случиться! Чтобы стать счастливой, надо попасть в кутузку. Курам на смех! Вначале мне было как-то неловко о себе рассказывать. Ведь всё это начиналось как бы в шутку. А здесь вдруг такой оборот! Он и к матери моей съездил, и с сыном моим познакомился. А Вовка мой — парень ершистый, к нему на драной козе не подъедешь! Значит, мужик действительно толковый.

Если я раньше спокойно отсиживала свой срок, то теперь невыносимо хочется домой. Увидеть всё своими глазами. И почувствовать себя наконец счастливой бабой. Ну как тут не ошалеть?! Вот послушайте, что он пишет!

«Здравствуйте, Полина!

Вчера я снова гостил у Вашей мамы. Вовка меня встретил на автобусной остановке. До дома мы шли, взявшись за руки. Я видел, что ему это очень приятно — вот так идти по улице с мужчиной за руку. И когда нам навстречу попался кто-то из его друзей, он только сильнее сжимал мою руку. Мы, можно сказать, с ним подружились.

Жаль, что Вы не видели, как он мне помогал чинить крышу Вашего дома! Он такой шустрый у Вас! Я всё боялся за него, чтобы он не кувыркнулся с крыши. А потом мы с аппетитом уплетали щи, сваренные Вашей мамой. Она выставила на стол бутылку, ну, как это полагается, но я не стал пить. Лучше Вы возвращайтесь быстрее, и мы тогда поднимем бокал за Ваше возвращение, за Вашу новую жизнь!

В этот вечер мы троём пересмотрели все Ваши фотоальбомы. Нина Васильевна с большой нежностью комментировала мне каждую Вашу фотографию. Теперь я о Вас знаю всё. И мне даже порой кажется, что мы с Вами уже были когда-то знакомы. Потом расстались, чтобы вновь встретиться и прожить вместе всю оставшуюся жизнь.

Я пережду столько зим, сколько надо. А потом растает снег, и мы с Вами встретим первый весенний гром. Я обниму Вас, прижму к себе, и Вам нисколько не будет страшно. И так будет всегда. Любую беду мы поборем вместе, с любым лихом справимся. Нам надо было раньше узнать друг друга, и тогда с Вами бы не случилось плохого. Но ничего! Дождаться бы только, чтобы растаял снег, и по первому весеннему ручью мы, не спеша, вернёмся домой.

Вы только ведите себя там хорошо, и, может, Вас даже выпустят по условно досрочному. Жить нам есть где. У меня двухкомнатная квартира. Коплю деньги на машину. И мы на ней будем ездить каждое воскресенье к Вашей маме.

А ещё я Вам скажу, что мне кажется, это не вы сидите, а я. Это такая мука ждать Вас! Я очень хочу, чтобы это всё закончилось, и мы были бы вместе. Я сделаю всё, чтобы Вы почувствовали себя счастливой женщиной.

Ваш Сергей».

Ах, Серёженька ты мой, Серёжа... Да где же ты был раньше со своими ласковыми словами? Ты действительно такой хороший, или это мы друг друга выдумали на бумаге? А может, это просто мой сладкий сон, от которого не хочется просыпаться?

Нет, это не сон. Наоборот, я проснулась ещё раньше, чем стрелки будильника дошли до семи. Заранее нажимаю кнопку и вскакиваю, пока вся камера спит.

Подхожу в ночной рубашке к зеркалу над раковиной и рассматриваю в спасительном полумраке своё лицо. А я даже очень ещё ничего! Вот только немного растолстела здесь...

Ничего, Серёженька, я быстро приведу себя в форму. Так, делаем зарядку: приседания, наклоны, левую ногу вверх — руки вперёд, теперь правую... Бег на месте. Вдох — выдох. Вдох — это Серёжа, выдох — это Вовка. И так бы бежать всю жизнь... Ничего, родимые, мы ещё поживём! Дайте мне только вырваться отсюда!

*На дворе стоит туман,
Сушится пелёнка.
Вся любовь твоя — обман,
Окромя ребёнка.*

Людмила Седова:

— Глядишь, как Полина тайком прихорашивается, и самой вроде легче становится. Хотя, конечно, выпала мне судьбина — никто не позавидует...

А я всё-таки родила! Решила: свободы у меня ещё долго не будет, так пусть будет хоть ребёночек. Моя крохотно-нежная копия.

Рожала в обычном роддоме, под опекой обычных врачей. Николай приходил каждый день. Приносил цветы, угощения. А я ему при встрече даже «здрасьте» не говорила. Он стоял рядом, а я глядела в другую сторону. Вот так я его ненавидела! Хотя, с другой стороны, было приятно перед бабами, что вот он ко мне, зэчке, каждый день ходит и цветы носит. К свободным роженицам так не ходили, как ко мне. Сына, как я мечтала, не получилось — девочка родилась. Ближе к выписке я всё-таки начала разговаривать с Николаем. И то: «да», «нет», — короткий ответ. Но он и этому был рад.

Но мы с дочкой не могли лежать в больнице вечно. Пришло время и нашей выписки. Слава Богу, в колонию нас повезли не в тюремном «воронке», а на больничном стареньком «Москвиче». Николай донёс нашу Надежду до машины и передал мне. И тут в первый раз захотелось обнять его и прижаться к нему. Но я только улыбнулась Кольке. Не знаю, почувствовал ли он это, но я видела, как он долго шёл за нашей машиной и махал нам рукой. Одинокий, страдающий...

Два года я прожила с дочкой в тюремном Доме ребёнка. Он ничем не отличался от обычного детского садика. Уютный дворик с качелями и беседкой под окном, коляски у входа. В комнатах — детские кровати, манежики...

Потом нас с Надюшей разделили. Её оставили в детском садике, а меня отвели в камеру на двадцать человек.

В камере всё чисто и прибрано: белые занавесочки, на стенах фотографии и детские рисунки, в горшочках на окнах — домашние цветы. Женщины одеты аккуратно. У раковины весь день по очереди стирка идёт. А что нам ещё делать?

Меня каждый день в четыре часа отпускают в детский садик. Дочурке моей здесь хорошо: воспитатели читают ей книжки, разные игры проводят с детьми, показывают по телевизору мультики. Под Новый год я сшила своей дочурке костюм снежинки. Кроили, шили, украшали всей камерой.

Если бы не Валентина Зыбина, мне было бы трудно здесь. Такая отзывчивая! Когда я откладываю для Наденьки печенье или даже кусочек хлеба от своей скудной тюремной пайки, Валентина обычно передаёт мне и свою долю. Она добрая, хоть и многократка.

В окно видно небо с яркими звёздами. Значит, ещё ночь, если звёзды. Всё, хватит, надо спать! А то если думать только об одном, можно и с ума сойти. А мне ещё доченьку вырастить надо. Ничего, что она растёт в остроге. Она у меня будет жить не хуже других. Вот только бы побыстрее отсюда выкарабкаться.

И пусть моя погибель спрячется на этом проклятом Острове! А я выйду на волю вместе со своей малышкой! И мы будем всегда рука об руку шагать по жизни. Идти навстречу солнышку. И нам под ним будет тепло и уютно.

Дорогая дочурка! Я уже давно вся пропахла тобою!

Раиса Альперина, которую мы прозвали Шумахером, вздыхает: «Тебе, мать, легче жить... У тебя есть Надежда. И с большой буквы, и с маленькой. А у нас...»

*Говорят, картошку съели
Колорадские жуки.
Проживём и без картошки,
Лишь бы были мужики!*

Раиса Альперина:

— Часто вспоминаю мальчишек с нашего двора.

Однажды, уже взрослые, они всем гуртом пришли ко мне домой на день рождения. Как я была им рада! Но я не знала тогда, что это будет моя последняя с ними встреча. Что разбежимся мы и никогда больше не будем видеться. Вернее, нам будет стыдно встречаться.

Всё было как обычно: чай за пожелтевшим от времени самоваром и воспоминания о школе. Дом наш находился рядом с кинотеатром «Комсомолец». Да и улица называлась тоже — Комсомольская. Раньше это была самая шикарная улица в городе. Ещё наша улица была знаменита тем, что во дворе кинотеатра размещалось кафе «Аллегро». Но особым шармом этого двора был изящный фонтан. В детстве мы не вылезали из этого киносарайчика. А повзрослев, стали заглядывать в «Аллегро». Так что этот маленький уютный дворик был как бы частицей нашей жизни.

Сейчас этот кинотеатр стал знаменит в городе тем, что в нём показывают добрые старые фильмы. В тот день в нём демонстрировали нашумевший когда-то фильм «Покаяние». За столом было решено: сначала заглянем в кафешник, а затем — на последний сеанс в старенький «Комсомолец». Вспомним молодость.

Один только Олег отказался идти с нами, сославшись на то, что завтра ему рано вставать. До начала сеанса оставалось уже совсем немного времени, и мы собрались проводить Олега до трамвайной остановки. Когда были почти уже у выхода, к нему подошёл подвыпивший парень, едва достававший ему до плеча.

— Дед, дай закурить, — попросил он и нахально потянулся к пачке сигарет в руке Олега.

— Курить вредно, да и не место тут. — Олег убрал руку в карман.

Мы все направились к выходу.

— А это не твоё дело! — зло выкрикнул парень, явно настроившийся на драку. Я заметила, что он кому-то махнул рукой и последовал за нами. Назревала драка. Я чувствовала себя спокойно в окружении своих уже давно повзрослевших мальчишек.

Пока мы одевались в гардеробе, группа подростков выскочила из кафе. Я прикинула соотношение сил: трое на одного. Но зато мои спутники —

сильные, рослые мужчины, к тому же трезвые; ну, а проучить хамьё, конечно, следовало бы. Вышли во двор. Я поняла, что не ошиблась — те поджидали в нескольких метрах. Вихляясь, подскочил уже знакомый нам парень.

— Теперь они дадут закурить, теперь они хоро-о-о-шие, — издевательски протянул он. — Правда, мужики? Вот только прощения у меня попросят и сразу дадут.

Кольцо вокруг нас плотно сжималось, раздавались пьяные выкрики. Наши ребята бездействовали. Почувяв это, подростки первыми ударили Володу — в лицо. Охнув, он закрылся руками. Несколько человек набросилось на Валерку: свалив на землю, били ногами, куда попало. Толику Зиновьеву сорвали очки, и он, близоруко щурясь, сидел на подтаявшем снегу. Только к Олегу боялись подступить, думали, видно, — не по зубам. Тот было бросился на выручку, но блеснул нож, и он отступил. Меня, как тряпичную куклу, отшвырнули в сторону. Уже падая, услышала слабый звонок в кинотеатре. Мимо шли люди, но никто не остановился, чтобы нам помочь.

Драка внезапно прекратилась: одного из нападавших схватил за локоть милиционер. Ещё двое, оглашая свистками ночную улицу, подбегали с другой стороны. Подростков затолкали в милицейскую машину, а у нас переписали адреса и попросили завтра подойти в отдел. Больше всех пострадал Толик Зиновьев. От распухшей переносицы, расплываясь к вискам, залиловели синяки, и он то и дело прикладывал к ним снег.

— Ребята, — начала я робко, хотя саму трясло от внутренней дрожи. — Почему так получилось? Почему вы дали себя избить? Почему вы дали себя унижить? Не поверю, чтобы вы их не одолели. Не поверю! Да вы просто трусы!

Олег невесело усмехнулся:

— Тебе хорошо рассуждать. Ты — женщина. А нам — что, идти под нож? Им ведь ничего не стоило пустить его в ход. Ну и, конечно же, трусили, — признался он.

— Ребята, мне жаль вас, — тихо сказала я. — Что толку, что у вас есть кулаки, но нет мужества? Без него это — бесформенная горсть костей. Вы — не мужики!

Я, не попрощавшись, пошла к своему дому. Никто меня не кинулся провожать. Мои ребята остались стоять за какой-то невидимой чертой.

А потом я встретила своих обидчиков. Они шли втроём по тротуару, посасывая пиво прямо из бутылки. Я их сразу узнала, хотя и ехала на своей машине. Они вели себя так же нагло, как с нами, — отталкивали людей с тротуара, тыча в них пальцами. Как и тогда, никто не давал им сдачи. Я свернула с дороги и наехала на них. На всех троих...

Почему я так поступила? Может быть, в последний момент вспомнила своих ребят, и мне не захотелось быть похожими на них... Соседка моя, Клавка, говорит, что хотя гордыня — это грех, но когда человек за своё достоинство вступается, его в чём-то и уважать можно. Самой-то ей не повезло. Вот уж кому не позавидуешь!..

*Проплясала сапоги,
Самые носочки.
Поглядите, матеря,
Как гуляют дочки!*

Клавдия Камышина:

— Мне давно уже за сорок, и что-то всё чаще и чаще вспоминается детство. Как перед смертью. Вспоминается родная деревня, родной двор... Вот мне пять-шесть лет, я прошусь у матери на речку. Не знаю, почему, но она меня не пускает. Все мои подружки уже давно убежали, одна я осталась. Я и ногами топала, и ревела в три ручья — ничего не помогало!

— Иди лучше во двор да за курами присмотри! — мать была настроена категорически.

Губы у меня от обиды затряслись, слёзы полились сильнее, и я выбежала во двор. А день действительно был очень жарким. Куры попрыгали в сарае, а Жучка в своей будке. Залезла и я к ней. Не от жары в тень спряталась, а со зла: пусть меня мать поищет! Никогда не вылезу!

Прошло часа два, пока мать не кинулась искать меня. Не найдя во дворе, она вышла на деревенскую улицу. Кого только не спрашивала! Никто меня не видел. Да и как меня было можно увидеть, если я, скрючившись, сидела в собачьей будке! Мать спустилась к речке, прошла даже около леса — меня нигде нет!

А красная полоса заката уже коснулась леса и стала вытягиваться вдоль всей деревни. Лес затянули сумерки, потемнело поле, наступила глухая тишина. Мать с ног сбилась, голос от крика сорвала, а найти меня не может. Я только сейчас представляю, что она тогда пережила. А во мне была только одна злость и желание отомстить. Вот скажите: почему дети бывают такими злыми?

К вечеру с поля вернулся отец. Прождали они меня, всю ночь не спавши, а наутро подняли на ноги всю деревню. Весь день носились по лесу верховые, оглашая окрестные лога и боры криком и выстрелами. По берегу мужики прощупали всё дно, но всё безуспешно: девки Гришки Гаврилова нет...

К вечеру все вернулись по домам, решив продолжить поиски утром. Председатель был в бешенстве. Ещё бы! Урожай надо снимать, а здесь столько народа оторвали от уборки!

Мать в дом заходить не стала, а опустилась без сил на крыльцо.

— Гриш! — вдруг окликнула она отца. — А ты заметил, что Жучки нигде нет, да и еда стоит нетронутой?

Тут надо сказать, что Жучка преданно поддерживала мою игру и лежала со мною, не отлучаясь. Даже когда мать позвала её, собака только хвостом слегка пошевелила, а вылезать из будки не стала. Но мать заметила её. Встала и, подняв миску, протянула к отверстию в будке.

— Ты-то что, Жучка, не ешь? Переживаешь? Не балуй.

Я подползла к отверстию и выхватила миску из рук матери. Та хрипло вскрикнула и упала в обморок. На крик выскочил отец с охотничьим ружьём. Я тоже, испугавшись за мать, выползла из будки. Жучка выскочила

вслед за мной и давай облизывать лицо хозяйки! Когда мать очнулась, досталось мне по полной программе: и отцовского ремня, и «угла». А потом ели втроём на кухне и смеялись до упада.

На этом моя история не закончилась: она потом повторилась со мной, но уже со стороны моей дочери. Недаром говорят: от осинки не родятся апельсинки. Сразу свою беду не расскажешь. Её понять нужно. Но как всё это тяжело вспоминать! Как больно...

Ларисочка, мой бедный ребёнок, которого я сама потеряла, так и стоит перед глазами, как живая. Не верю, не верю, что её больше нет! Верю в другое: вот вернусь домой, а она меня ждёт. Она всё должна мне простить. Ведь я её мать.

Да, я действительно её сама потеряла. Надо было бы за ней приглядывать постоянно. А я ездила из дома на два-три дня, а то, бывало, и на неделю. Завод, на котором я работала, остановился, людей повышвыривали на улицу. А жить на что? Одна подруга и посоветовала мне идти работать проводницей на пассажирские поезда. Пришлось идти. А что поделаешь? Жить-то надо. И если бы не эта работа, мы бы с Ларисой точно с голоду умерли. Папашка наш сбежал, я о нём года два ничего не знала. Пришлось тянуть ляжку одной. Вначале без него было тяжело, а потом привыкла. Душа только моя болела за дочь, когда я была в своих дальних поездках. Выходит, не зря болела. Чувствовала беду...

В тот раз я вернулась домой раньше обычного. Рейс мне поменяли на другой, и я целые сутки выгадала. Лечу я домой — радостная, счастливая! Как там моя Лариска? Девка уже почти невеста. Пятнадцать лет стукнуло.

Ещё в коридоре я вдруг услышала, как из нашей квартиры доносится музыка, смех и крики. Было столько голосов, будто там поселился огромный цыганский табор. Открываю дверь... И я там такое увидела! Я даже лицо прикрыла руками, как от пламени. На диване, на кровати и просто на полу лежали полуголые тела. Кто-то пил вино из горлышка, кто-то курил, а моя Ларисочка сидела в кресле в одних трусиках и вытягивала из шприца в шприц какую-то молочную жидкость.

Рядом, около её ног, валялся какой-то парень. Я подбежала и ударила дочь по рукам. Шприц упал на парня, он его подобрал и начал тыкать себе в руку. Я схватила его за плечо и потащила к выходу. А он — вялый, как тряпка. Да и не только он, все собравшиеся. Я начала выкидывать непрошенных гостей из своей квартиры охапками, как щенят. Они кричали и визжали. Но меня ничего не останавливало. Я была в бешенстве. Каким-то углом зрения я увидела, как с кресла поднялась Лариса и кинулась на меня. Моя кровинушка, моя дочь... Она бежала на меня, выставив вперёд руку с кухонным ножом. Я ударила её и, схватив её руку с ножом, отшвырнула назад. Моя девочка ударилась виском о батарею и затихла... Что со мной было дальше — не помню...

В один момент сгорела вся моя судьба, как юбочка у костра. И уже ничего не вернуть назад. Сильным оказался тот огонь, сильнее меня...

До суда я трижды пыталась покончить с собой. Жизнь мне уже была не нужна... Зачем она мне, если доченьки моей нет? Как-то, в камере, я взглянула на себя в зеркало. И даже отшатнулась от этого куска стекла! На меня смотрела какая-то осунувшаяся старуха. И наверно, вряд ли кто-нибудь в камере может сказать, что мне нет ещё и сорока. Старуха...

Я после суда даже боялась идти в общую камеру. Мне казалось: только войду, бабы раздерут меня на части. Многие из них пошли на преступление из-за детей, из-за своей любви. У многих на воле остались собственные дети. А здесь вдруг появляется детоубийца! Разве можно удержать скопившийся гнев? Но вроде бы всё улеглось. Оказалось, что в камере нашлись такие же горемыки, как я...

Господи, Боже мой! Если я не нарочно убила своего ребёнка, то другие намеренно это сделали! В жизни, оказывается, тоже бывает такое. Берегла, вынашивала плод, кормила материнским молоком... А потом твоя же страна вышвыривает тебя в нищету, носишься, как шавка, чтобы найти кусок хлеба, а твой ребёнок оказывается брошенным и растёт, как зверёныш. И однажды ты видишь вместо родных глаз безумный и мутный взгляд одичавшей твари, отравленной маковым «молоком». И это не в одной семье — в тысячах! Но разве это оправдание? Разве это утешит сожжённую совесть?

*Ой, любовь, ты, любовь,
Ты, любовь, зараза.
Это я из-за тебя
Плакала три раза.*

Валентина Зыбина:

— Все спят, только Камышина, бедолага, шёпотом молится да я сижу за высоким металлическим столом. Он забетонирован в пол, и сдвинуть его в сторону, конечно, невозможно. Что-то не спится мне в эту ночь. Сижу уже который час. Передо мной на столе кружки — они разные, как их хозяева. Вот эта, с цветочками, — кружка Веры Фроловой, с пчёлкой — Райки Юфряковой, а вот эта, синяя, без всяких рисунков — Людки Серовой. Ну, а кружку Полины Зверевой не спутаешь ни с какой! Во-первых, она высокая и берёзки на ней нарисованы, как живые. Кажется, вот-вот зашевелится от ветра их ветви. И над всем этим хозяйством горит одинокая лампочка. Голая, без всякого абажура.

Жёлтый свет рассеивается по всей камере и меркнет по углам. Хотя потолок у нас и высокий, но он всё равно давит: словно тяжесть какая-то скатывается каплями по стене и тёмными снами укладывается под казённые суконные одеяла рядом со спящими женщинами. Это на первый взгляд кажется, что мы спим. Нет, мы проживаем во сне свою дотюремную жизнь. Днём срок тянем, а ночью возвращаемся к своей воле. Я к тюрьме уже привыкла. Она роднее дома моего. Тем более отсиживаю я уже свой третий срок. Я не рецидивистка, просто жизнь так складывается. И всё из-за любви страдаю.

Первый раз меня осудили за мужа. Я его, подлеца, очень любила. А он пил, избивал меня, и однажды моё терпение кончилось. А ведь я дружила с ним ещё со школы! И это был совсем другой парень: добрый, любящий... Он не скрывал нашей дружбы, не стеснясь, провожал меня в школу и из школы. Столько планов у нас было впереди! Но помешала война. Она пробежала между нами, как чёрная кошка.

Алексей попал в чеченское пекло... За кого воевали, что отстаивали? Я понимаю, Великая Отечественная... Там были фашисты, которые на-

пали на нашу страну. А это что за враги такие? В одной стране жили, учились по одним учебникам, и вдруг злодеи? Так не бывает. Может, я как женщина чего-нибудь не понимаю? Но я точно знаю одно: эта война сделала моего Лёшку другим. Словно надела на него маску. Я знаю это точно. И он не мог от неё избавиться. Я видела, как он плакал по ночам, исповедовался мне... Это был прежний Лёшка. Но наступал день, и в него словно зверь вселялся... И однажды я не выдержала... На суде я рассказала честно, как всё произошло: если бы не я его, то он обязательно убил бы меня. В принципе, так и было. И мне тогда дали пять лет условно. Но радости от того, что всё так кончилось, не было. Я чувствовала, что тот зверь, который сидел в Алексее, переселился в меня.

Через несколько лет я встретила хорошего человека. Стали жить вместе. Хорошо жили. Купили машину, дачу. Вот детей только Бог не давал. Может, всё из-за свекрови? Змея, а не человек была. Всё старалась нас развести. Придиралась ко мне, оскорбляла. С тошнотой вспоминаю тот день на кухне: злобное сухое лицо, ненавистные глазёнки-буравчики, затёртый халат и жабий рот, из которого льётся непрерывная матерная ругань... На столе лежал разделочный топорик. Я схватила его, и в глазах у меня помутилось. Не знаю, как всё произошло. Мне даже кажется, что это сделала вовсе не я, а кто-то другой, который злобнее меня, лютее меня, бесчеловечнее...

За это убийство я отсидела восемь лет. Вышла на волю и снова встретила мужчину. Вначале всё было хорошо, но потом он стал пить, обижать меня. Не ведал, с кем имеет дело. И однажды я снова стиснула топор... Махнула им так, что голова мужа после этого болталась только на одном позвонке. И вот я опять здесь.

Когда рассказала бабам по камере свою историю, Люська Воронина так и сказала мне:

— Это у тебя уже диагноз такой: мужикам головы отрубать.

— Раз такая болезнь, — сострила другая, — значит, тебе надо с бабами любиться. Перелазь ко мне, Валька!

— Так она одну бабу тоже убила! — пояснила другая. — Ей любить нельзя. Её замыкает при любви. Ты, Валька, рождена не для любви, а для пахоты. Так что вкалывай и молчи в тряпочку.

— Нет, бабы, — возразила я им. — Я очень любила мужиков. И они меня тоже. Такие ночки у нас были!

— За бесплатно, что ль, давала? — заржала в углу Вика Лазарева.

— Бог с тобой, — возразила я ей. — Я деньги за секс никогда не брала. Я что, проститутка, что ли? Ведь удовольствие-то получается обоюдное.

Больше я им ничего не рассказывала. Что они понимают о любви? А у меня её через край. Так и распирает меня от неё. Я приговорённая к ней. Не встретился, видимо, мне ещё тот мужчина, который оценил бы меня. Где он? Как там в детской песенке? «Божия коровка, улети на небо, принеси мне хлеба! Чёрного и белого, только не горелого!»

А я ведь баба неплохая. Не скандалистка и работающая. Мне бы сейчас не в камере сидеть, а где-нибудь в саду на лавочке, да за малышами присматривать, а я здесь, в камере, парюсь... Одно утешение: с Юфряковой, «шахтёрской вдовой», затынем, бывает, протяжную. Споём на два голоса, вроде и полегчает...

*Ой, мать, моя мать,
А я — твоя дочка.
Не пускала бы гулять —
Не было б сыночка.*

Раиса Юфрякова:

— Закончился очередной день. Хорошо, что ещё жизнь не закончилась. А что о ней жалеть? Ничего хорошего в ней и не было. Как ни напрягайся — нечего вспомнить. И стоило ли родиться, чтобы вот так коротать свои дни в колонии? Но ведь начало было таким хорошим! Действительно, иногда жизнь сводится к одному-единственному поступку. Что же такая моя судьба непутёвая!

А ведь цыганка мне когда-то нагадала про это! Встретила я её на вокзале: черноволосую, в цветастом платье, двое цыганят за подол держатся; в годах, а глаз горит! Я протянула ей, смеясь, свою ладошку, она поводила по ней пальцем да говорит: «Всё у тебя будет хорошо, кареглазая моя! Но ты можешь убить человека! Осторожно живи, не давай сердцу воли».

Я только посмеялась тогда над ней: «Что за чушь! Я насекомое боюсь убить, а тут человека! Ты совсем, цыганка, сдурела!» И вот всё-таки напроорочила она мне. Через толщу лет разглядела мою беду. И не через меня, а через сына моего...

За себя я не переживаю. Детей жалко. И эта боль печёт мою грудь и крутит и палит меня всю. Как они там? Справятся без меня? Вся надежда на сына. Он взрослый и самостоятельный. Хорошо, хоть от армии отсрочку дали. Но тяжело ему одному, очень тяжело. Свалила я на его плечи такую взрослую ношу. Не каждому мужику она по силе. А тут подросток. Ему бы жизни молодой радоваться, а он теперь своим сестрёнкам вместо отца считается. Эх, Валерка, Валерка... Лишь бы хватило тебе сил...

Часто вспоминаю соседскую Юльку. Она жила рядом с нами с бабушкой-алкоголичкой. Мать у неё уже давно сидела в тюрьме, а про отца её я ничего не знала. Юлька, одетая в платьица с чужого плеча, вечно слонялась по улицам. Ребятишки ватагой, как воробы, сбивались около неё. И Юлька перед ними каждый день укрепляла свой авторитет. Однажды она им заявила: «Сегодня пойдём грабить». И все потрясённо пошли смотреть грабёж. Это же так интересно! Возле магазина у шестилетней малышки отобрали пять рублей. Потом ещё у одной, у другой... Грабить было легко — никто не сопротивлялся. Через час денег набралось в обе ладошки. На них гордая атаманша купила своей стае сладкого мороженого.

А другая история происходила прямо у меня на глазах, на нашей улице. Завидев девчонку из соседнего дома в новом платье, Юлька помрачнела, соскочила с лавки, на которой мы вдвоём сидели, и сказала мне: «Сейчас я её побью!». И кинулась на свою жертву. Дралась она так яростно, будто эта девочка из её гардероба украла платье.

Я кинулась их разнимать.

— У меня в груди что-то растёт, прямо, кажется, сердце лопнет, — успокоившись, объяснила мне Юлька своё состояние. — Не люблю я всех этих ухоженных, причёсанных и правильных. — Её всю трясло.

Больше всего я боюсь, чтобы мои дети не стали такими, как Юлька. Вся надежда на Валерку. Господи! Дай ему силы удержаться в этой жизни и сохранить то самое лучшее, что мы с отцом вырастили в нём... Валентина мне говорит: «Ты пиши сыну-то почаще! Пусть он там, на воле, поосторожнее будет. А то, не дай Бог, попадёт в место, вроде того, где мы сидим — и не отмоемся!»

*Ой, матаня, ты, матаня,
Ты была богатая.
А сегодня ты, матаня,
Ходишь оборватая.*

Валентина Зыбина:

— И хотя у меня за плечами третья судимость — бабы со мной дружат. Что ни попросят — всё для них сделаю. Но себя унижить никому не позволю. За это могу и здесь кому хошь морду расквасить. За мной не заржавеет. Но до этого у нас вроде не доходит. У каждой своя судьба, каждая может постоять за себя. Так что живём мы дружно. Как один колхоз. Кроме одной — Лариски Лаптевой.

Она всех нас сторонится и разговаривает всегда свысока. А кто она такая есть?! Зэчка, как и мы! Но нет, держит с нами фасон, сторонится. Манерная, а уж когда ест — оттопырит свои пальчики, ну прямо как в ресторане сидит! Вообще-то она бабёнка красивая! Чёрные волосы гладко зачёсаны назад, глаза голубые и огромные. Не глаза, а глазищи! Интересы у неё, конечно, тоже не такие, как у нас. Если мы все читаем женские романы да детективы, то ей обязательно подавай классику! Ну, Чехов, Толстой — это понятно... Но когда она запросит что-то зарубежное — тут упасть можно! Мы не то что не читали такие книги, мы таких имён даже не слыхивали! Какой-то Кафка, Кэйли или эта... Ремарк. Вроде имя женское — Мария, а оказывается, мужик. Это Лариска нас просветила. Себя она считает птицей высокого полёта.

Она однажды о себе так и заявила: «Вы все бабы, а я — богиня!» Ну, это уже был с её стороны явный перебор!.. Мы все обозлились против неё. И искали повода, чтобы как-то насолить ей. Но всё, что приходило на ум, были мелочи, а хотелось как-то по-крупному. Навалиться на неё и изнасиловать шваброй, по самую тряпку. Такая вот злость на неё была. И тут нас надоумила наша библиотекарша Вика Лазарева, она с нами в одной камере сидит.

Правда, раньше она была в другой, но, говорят, она сама к нам направила. Баба она неплохая, общительная. Ей такие передачи несут! И она всегда с нами делится. А у кого из баб ребятишки в лагерном саду, то она специально для них заказывает дорогие конфеты. В общем, своя в доску! И вот она придумала такую игру. Вроде мы накинемся ночью на Лариску, а библиотекарша бросится защищать её и раскидает всех нас по камере. А нам что? Лишь бы Лариску поколотить! Тем более Вика дала всем нам по косухе. В общем, оплатила нам услуги. Какая ей выгода от этого, мы так и не поняли, да это и не наше дело. И вот эта ночь наступила.

Вначале мы накинули на Лариску одеяло и навалились на неё всем скопом. Колотили её так, что мама не горюй! Девка пыталась выкарабкаться

из-под одеяла, но какое там! Считаю, человек десять на ней лежали! Мы так увлеклись этой «тёмной», что забыли про нашу игру. И тут, как коршун, сзади на нас налетела библиотечка. И как начала нас раскидывать! И не кулаками, как мы привыкли драться, а ногами. Летает по воздуху и с лёта печатает нас. Тут освободилась и Лариска и, оценив обстановку, присоединилась к Лазаревой. И они вдвоём так ловко нас уделали, что мы дня три потом кряхтели по камере.

А библиотечка с Лариской после этого сдружились. Целыми часами сидели друг у друга на кровати и всё ворковали да ворковали. Разговоров у них было на сто лет тюрьмы! А Лариска Лаптева оказалась совсем не лаптём. Эта любительница классики с пистолетом в руках участвовала в вооружённых нападениях. Причём в компании со своим мужем. Он погиб в перестрелке, а дочка наша здесь, и чалиться ей ещё долго.

*Я любила молотить,
Любила подмолачивать.
Любила головы крутить,
Карманы выворачивать!*

Лариса Лаптева:

— Я после суда боялась попасть в тюрьму. Думала, здесь сидят такие стервы, которым убить — что с мужиком переспать. Согласна была на одну ночь, но только не в общую камеру. А оказалось, зря боялась. Тут такие развалюхи! Колхозницы!.. И я, естественно, с самого начала не вписалась в их стаю. Быдло самое натуральное! Конечно, ими можно верховодить, но зачем мне всё это? Сидеть вместе с одним столом, разговаривать с ними, делить их пайки? Нет, я лучше сама по себе. А если сунутся — то быстро носы поотрываю. Тем более я сейчас не одна, у меня крепкий тыл — Вика Лазарева. Она мне недавно так подмогла — век не забуду!

После той драки подружки наши здорово нас зауважали. Определилось наконец, кто в камере паханша. Когда привозят баланду, нас с Викой подпускают к двери первыми. Хотя мне это по фигу. Что мне их уважение, когда вся жизнь перепахана — одни борозды да рубцы на сердце? Днём я ещё держусь, когда на виду у всех, а ночью, когда тьма за решёткой, хоть волком вой. Волосы размётаны по подушке — длинные-длинные. Как любил их мой Вахтанг! А теперь его нет, да и меня уже давно нет на этом свете... Одна тень от меня осталась. Ходит, мается по земле, некуда ей приткнуться. Пусть я бы лучше погибла тогда, в той перестрелке, чем вот так мучиться, мучиться... Стонут вместе со мной проёмы окон за металлической решёткой. Темнота накаляется... И я уговариваю себя умереть.

— Умри, умри... — стонет моя тень. — Не нужна тебе такая жизнь. Одна мука от неё. Жизнь человек должен радоваться...

Я родилась не с серебряной ложкой во рту. Мать работала на фабрике, отец шоферил на стройке. Я видела, что они давно друг друга не любят. Отсюда и их постоянные ссоры на кухне, постоянные пьянки отца. Они даже спали отдельно. В общем, примера для жизни никакого. Скорее всего, картина была наоборот: так, как жили мои предки, жить было нельзя. И я

мечтала о своём будущем, начитавшись дамских романов. В нём обязательно красовался принц на белом коне, который приедет за мной на наш грязный двор. Перед сном я старательно расчёсывала свои волосы и с улыбкой заглядывала в зеркало, примеряя на себя загадочный взгляд «роковой женщины».

Но всё получилось гораздо прозаичнее.

Лил непрерывный дождь. Я стояла на остановке и ждала автобуса. Зонта с собой не взяла и мокла, как одинокий тополь. Вдруг из этого потока воды, как привидение, вышел мужчина — в белом костюме и с огромным зонтом в руках. Капли дождя разбивались о его «гриб» и отлетали далеко в сторону. От него шло какое-то сияние. И я словно попала в эту ловушку света. Дождь уже больше не хлестал, а с нежностью ласкал меня своими струями... Мокрое платье плотно прилипло ко мне. Я стояла перед ним, как обнажённая. Мои остренькие плечики, небольшие комочки грудей словно вырывались из этой мокрой материи. Он заметил меня и остановился. Это был зверь-мужчина. И в этот миг что-то больно ударило в моё сердце. Я не поняла: то ли в меня попала молния, то ли взгляд его глаз — тёмных, упрямых, настойчивых. Внутри всё закружилось. Он вытащил меня из толпы и увлёк за собой. Под его зонтом было так надёжно! Это был какой-то другой мир, другой остров! Я шла за ним, и только жалобно попискивали подо мной мои размоченные босоножки.

Это было какое-то любовное безумство. Я втюрилась в него с самого начала. Всё происходило, как во сне. Сном всё началось, сном и закончилось. Иногда я думаю: а было ли это вообще? Наверно, было, раз после этого сыночек мой растёт...

Семь лет мы с Вахтангом были вместе. В нём было что-то надёжное, крепкое. Когда он на меня смотрел, я чувствовала, как он любит. И весь он был слит из силы, бесстрашия и добра. А какие глаза были у него! Этого не передать. На третий год я родила ему Ванюшу. И он не бросил меня, а наоборот, ещё больше берёт. Купил дом за городом, перевёл его на мою мать, своей-то у него не было — детдомовский он. Мать с Ванюшей и жили в том доме, а мы в городе, в квартире. Вначале он про себя говорил, что занимается наукой, пишет диссертацию. Вскоре я поняла, что это за наука такая. Казачили, грабили богатые квартиры, магазины, банки... Но что бы он ни делал, я никогда бы от него не отступилась. Так я его любила.

Однажды я сама напросилась к нему на скак. Безумно хотелось быть с ним рядом в опасные минуты. Вахтанг всё отмахивался: мол, не бабье это дело! А потом всё-таки согласился и взял меня. Какой восторг кипел во мне! Операция была пустяковая: в одном селе грабаныли магазин. Не важно было, сколько денег взяли. Я была тогда в таком состоянии, будто открыла для себя пиратский остров с его авантюрной жизнью!.. Всё нравилось: погоня, кровь, сумасшедшие наряды и деньги.

Ваха, как чувствовал, говорил: вот ещё немного погастролируем и заляжем на дно. Навсегда. Будем просто жить. Для себя, для Ванюши. Денег хватит на несколько жизней. Он, видимо, чувствовал свою смерть. А может, искал её?

Тот план нападения на банк разрабатывала я. Просчитали всё до последней секунды. Но кто мог предположить, что среди посетителей банка окажется милиционерша, и не в форме, а в простом сатиновом платье и с оружием в дамской сумочке? Она положила многих наших ребят, за плечами которых было уже не одно кладбище. В общем, там такая пальба

была! Тётку ту ребята изрешетили всю: она там, на полу, и отдала Богу душу. Кажется, это она моего Вахтанга положила. Так закончилась моя красивая романтическая жизнь. Вот так я и оказалась здесь. Крови на мне не было, поэтому и дали восемь лет. Другие чалятся по двадцать да пожизненно.

Сдружилась я только с Викой Лазаревой. И то только после того случая, когда она меня отбила от наших сучек. Вот тебе и библиотекарьша! На вид такая типичная рафинированная интеллигентка. Изящные кисти рук, тонкие черты лица, иронический взгляд из-за стёкол модных очков... Её легко можно представить где-нибудь в филармонии, а она отбывает срок за умышленное убийство.

Раньше она сидела в другой камере, но потом вдруг неожиданно напросилась к нам. Хотя та камера и поменьше была. Кровати наши рядом. Поэтому и беседуем мы с ней с утра до вечера. В основном разговор начинается она. То книгу какую расскажет, то свежую новость с воли подбросит. Ведь у неё доступ с книгами в каждую камеру. Ей и записочки передают. На этом она хорошие бабки делает. После того как я ей однажды рассказала про дом, про Ванюшу, увидела, что её эта история очень заинтересовала, и она то и дело возвращается к этой теме. Однажды сама предложила:

— Твоему мальчику нужна домашняя учительница. Ну чему может научить его твоя мать? Может, мне помочь тебе? У меня скоро срок кончается, могу заняться этим. Мы с тобой подруги, и я, видишь, не дура. Ведь не зря на филологическом училась. Подумай.

— Даром ведь не будешь работать. А как я тебе буду оплачивать, коли сама здесь парюсь?

— Даром, конечно, не буду. Но ведь у тебя, наверно, на воле осталась заначка? Такие дела воротила...

— Ладно, я подумаю, — сказала я, и после этого наш разговор дальше не продвинулся. Но когда Вики нет — я только об этом и думаю. Да, есть у меня заначка. И неплохая. Но она вся лежит в одном месте. Про неё даже моя мать не знает. Там и деньги, и рыжики. Как ей поверить? Это здесь она — подруга, а там хапнет всё, и поминай как звали! С другой стороны — Ванюшке надо дать образование, устроить его в престижную школу. А для этого нужны большие бабки. А мать на свою пенсию что сможет дать? Прокормить только да одеть... Здесь есть о чём подумать. Довериться Вике или прикинуться дурочкой?

*Я тогда тебя забуду,
Мой милёнок дорогой,
Когда вырастет на камушке
Цветочек полевой.*

Вика Лазарева:

— Я эту Ларисочку сразу признала! Заметная, стерва. Она меня не знает, но я-то до гробовой доски её помнить буду. Ведь до неё Вахтанг моим был. Но как на неё запал — меня напрочь забыл. Да, любовь — это чувство приговорённое. Пострашнее расстрельной статьи. Ведь когда я его любила, то ничего делать не могла, ни о чём другом не думала. Это

чувство просто мешало мне жить. Чего я только для своего Вахтанга не делала! И под пули лезла, и раненого его выхаживала, а он вот как со мной!.. Из банды даже выгнал. Сказал: чтобы близко тебя здесь не было!

Я знала его крутой нрав. Зверь! Он если любит, так любит на всю катушку, а уж если кто ему поперёк дороги — живым в могилу вкопает! Одним словом — максималист. Ну, я, конечно, не посмела ему перечить. Прижилась в другой банде. Но на эту лярву зуб заточила! И вот как встретились... Специально из-за неё перевелась в эту камеру. Вначале думала замочить её сразу. Но уж больно лёгкой мне такая месть показалась. Надо вытрясти её, как копилку. Наверняка у неё целый банк закопан. Всё вроде идёт пока по плану. Дело за малым. Не спугнуть бы только!

Был момент, когда я чуть было её не пожалела. Это когда она мне про своего сынишку втюривала. Я чуть тогда слезами не облилась! Так всё трогательно было! А потом подумала: а ведь на его месте мог оказаться и мой сын! Нет, разведу я её по полной программе! Я ей причину такую боль, что она пожалеет, что на свет родилась! И сынишку её поганого в детдом сдам, а её маменьку-пьяницу раньше срока на тот свет отправлю. Она уже и так лет десять лишних живёт. Наверно, боярыней себя сейчас чувствует! Ничего, дайте мне только выйти отсюда, я восстановлю на этом свете справедливость!

Чёрт, опять Валька Зыбина спросонья бормочет... И чего этой старой дуре не спится?

*Маменька родимая —
Свеча неугасимая:
Горела, да растаяла,
Любила, да оставила.*

Валентина Зыбина:

— Недавно с девками смеялись: сели при милиционерах, а выпускать нас будут полицейские. Хорошо, хоть не полицаи. Я боюсь выходить на волю. Боюсь, что не узнаю своей страны. Ведь какая страна была! Войну выиграли, совхозы создали, первыми в космос человека запустили... И что теперь с ней стало? Всё развалилось, кроме тюрем. Конечно, у той власти было много дерьма. Но была какая-то стабильность. Обрадовались поначалу этой демократии. А я свою мать при этой демократии хоронила в фанерном гробу, потому что на деревянный не было денег. Всех нас так обокрали, что даже жить не хотелось. Кое-кто, конечно, жировал...

Помню, когда мою маму хоронили, кто-то сказал у её могилы: Шура больше жизни любила своих коров. Бред какой-то. А если вдуматься, то что у мамы было, кроме работы? Да и как было не любить этих коров? Она за каждую из них отвечала. Не дай Бог, что с ними случится! Тогда за простой пшеничный колосок сажали. А уж за корову, наверно бы, расстреляли. Это при демократах всё уничтожили и растеряли. Фермы давно нет. Одни руины от неё торчат. Да и от всей деревни остался огрызок.

Сердце щемит, как подумаю, что столько лет не была на могиле у матери. Там, наверно, не то что могила — весь погост зарос травой. Боже, дай мне только силы выдюжить до конца срока! Первым же автобусом

к маме уеду. Посижу, поговорю с ней. Я и отсюда, издалека, из камеры, каждую ночь разговариваю с ней. Вернее, я говорю, а она слушает. Я верю, что она слышит меня. Давно уже свято в это верю.

Всегда стыдно мне перед мамой, что у меня жизнь такая получилась. Да разве я о такой мечтала? Но уж как вышло, так вышло.

Стыдно и за другое: мама меня растила-растила, столько сил отдала, а я даже навестить её могилку не могу! Всё по тюрьмам да по тюрьмам... Скоро самой такой возраст будет, какой был у мамы, когда она умерла. Наверно, уже пора у Господа Бога проситься к матери. А чего мне тут задерживаться? Разве это жизнь? Одна тоска и слёзы. Кабы наперёд знать, и рождаться тогда бы не стоило. Я часто об этом рассказываю матери и прошу её молитв. Она за меня молится Богу, я это чувствую...

В этом августе будет двадцать лет, когда мамы не стало. И я в августе выхожу. Смотрела в календарь: в этот день будет четверг. Рабочий день. Обязательно к тебе, мама, приеду. Обязательно. Если только наши тюремщики не провольнят и не затянут мой день освобождения... Если не приеду, то помяну мать в камере. Это обязательно. Я думаю, она на меня сильно не обидится: она всегда меня понимала и любила. Это только я выросла такой, недостойной её любви.

*Слух прошёл по пересылкам:
Буш прислал в общак посылку,
А кремлёвская братва...
Тут, конечно, не права!*

39

Людмила Седова:

— Матерям везде тяжело. А тут, в тюрьме, — вдвойне, втройне. Когда ребёнок начинает говорить — это такая беда! Ну что ты ему ответишь, когда он тебя спросит:

— Мама, а почему на окнах решётки?

— А почему кругом тёти в одинаковых одеждах?

Или:

— А почему ты никогда не остаёшься со мной ночевать?

Каждый вопрос разрывает сердце. Придумываешь такие легенды, что начинаешь сама верить. Самое главное — самой не запутаться. Переступаешь порог садика, и словно ты в другом миру, и ты — уже не ты, а совсем другая женщина. Всегда боюсь того дня, когда родной ребёнок вдруг меня спросит:

— Мама, а за что тебя посадили в тюрьму?

Самое трогательное в нашей лагерной жизни — это то, что мамы-заключённые стараются каждый раз что-то принести своим детям: если не печенье, то хоть кусочек белого хлеба от скудной тюремной пайки. А ведь нам самим приходится не сладко. Сейчас заработать в тюрьме почти невозможно. Швейное производство при тюрьме, которое раньше крутилось аж в шесть смен, сейчас резко сократилось. И теперь все мы рассматриваем любую работу как самое большое поощрение. Готовы трудиться за считанные копейки, в сверхурочное время. Как таджики в России! И самым страшным наказанием у нас теперь считается не карцер и не запрет на свидание с родственниками, а лишение работы.

Даже счастливицам заработать здесь удаётся гроши. Я всю свою месячную зарплату распределяю строго по статьям: маргарин, макароны, баночка кофе. Из всех косметических средств нам бесплатно выдаётся только кусочек мыла. Это и помыться, и постираться. Мои волосы давно уже забыли запах шампуня. А этим обмылком разве промоешь голову?

С волос уже давно сыплется перхоть, как пепел с сигареты. Шампунь, зубная паста или губная помада поступают к нам редко, только с грузом гуманитарной помощи. С одеждой такая же ситуация. В общем, если твои родственники не забудут положить в передачу кусок туалетного мыла, то ты тогда будешь чувствовать себя человеком, а если таких у тебя нет, то воняй от грязи — никому до этого нет дела. Как бабы тут шутят: «Моется только тот, кому лень чесаться». В душ нас выводят один раз в неделю. В камере не то что горячей воды нет, даже крана для горячей воды нет.

Но это не самое худшее. Плохо, когда ты заболел. В тюремной больнице ничего, кроме анальгина, нет. И здесь ты хоть расшибись — никто не поможет. Всем нам умереть от болезни или сдохнуть с голода не даёт наша благотельница Вика Лазарева. Ей такие передачи несут! Каждый день. И она, как барыня, щедро раздаёт нам подачки. Мы жадно берём и тащим в свои углы.

В нашей камере женщин из богатых семей нет. Кстати, как и уголовных авторитетов. Две только и связаны с уголовным миром. Это Лаптева и Лазарева. Остальной контингент у нас — бедолаги, которые попались на кражах или натворили бед во время семейных ссор.

Вчера у нас был небольшой праздник. К нам в тюрьму приехали депутаты из местной думы и привезли с собой подарки. Большую партию китайских радиоприёмников. Считай, по одному радио на каждую камеру. Но подарки всё-таки приятнее получать не от партии, а от мужчины. Ни восхищённых мужских взглядов, ни комплиментов мы в этот день не видели и не слышали. От всех представителей сильного пола мы всерьёз и надолго отрезаны тремя рядами колючей проволоки.

По вечерам мы часто спорим: небо за колючей проволокой или мы за ней? Но какая разница? Главное, что в этой неволе у тебя всё внутри атрофируется. Сердце точно заросло мхом. Днём как-то про это не думаешь, а ночью внутри так свербит, что хоть вой. И тело сохнет в этой неволе, как на ветке пожелтевший листок. Так сказала однажды наша Ирка-художница.

*Говорят, что я старуха,
Только мне не верится:
Ну какая ж я старуха —
Всё во мне шевелится!*

Ирина Евсеева:

— Когда Наташка привела в наш дом своего жениха, я сразу так и подумала: нет, это скорее для меня бы он подошёл. Ну куда он ей — старше на пятнадцать лет! А для меня бы — как раз... Его молодые годы были бы для меня большим плюсом! Но дочке я об этом ничего не сказала. Поживём — увидим...

Николай оказался художником. Я его так и называла за глаза: «интеллигент». Картины мне его сразу легли на душу. В них были простые мотивы, которые не ошеломляли, а радовали глаз, как бы нашёптывая милые слова и напевая приятные мелодии. Удивляло меня только то, что цвет его картин всегда был серым. Я так его однажды и спросила: «У тебя, Николай, что, денег нет на другие краски?» Но это я так сдуру ляпнула, не подумавши. Видимо, серым цветом ему удобнее писать. Странно: даже глаза у него были серыми, а волосы — точно пеплом присыпаны. Дочь так и называла его: «сероглазый король».

Вообще его работы можно легко отличить от картин других художников. У него — если время суток, то утро или вечер. Если атмосферные осадки, то дождь. В общем, всё просто и тихо. Земля и небо. И больше ничего. Я однажды не выдержала и спросила его:

— Почему ты людей не рисуешь? На портретах ты куда больше бы заработал. Я однажды отдыхала в санатории, так к нам в корпус каждый день один художник приходил. Он в день по два-три портрета писал. И людям радость, и себе — прибыль.

— Мне, Ирина Николаевна, пейзаж ближе, чем человек, — отвечал он. — В природе душа есть — удивительная и щедрая. А в человека проникнуть трудно. Он скрытен и лицемерен. Вот если только вас написать? Согласитесь?

Я кивнула ему, а самой сделалось так страшно, будто я согласилась не портрет с меня срисовать, а на что-то такое тайное и грешное.

Писал он меня по утрам, когда Наташка убегала в свой техникум. Я ещё не успевала встать с постели, а он уже подстраивал к моей кровати мольберт и, насупив брови, прикусывая губы, что-то там малевал. Изредка подходил, что-то на мне поправлял, раскидывал по подушке мои волосы. Моё сердце в такие минуты выскакивало из «ночнушки». Однажды я не выдержала и сама схватила его за руку:

— Дурачок ты мой! Не портрет мне нужен. По тебе я горю. Иди ко мне...

Он не оттолкнул меня, прислонился к моей кровати сначала одним коленом, потом другим, приблизил своё лицо к моему, и больше я ничего не помнила...

Так началась наша любовь. Вечером и всю ночь он был с дочерью в её комнате, а утром до самого обеда — со мной. Как только мужика хватало! Мне этих четырёх часов достаточно было для полного счастья. Портрет наш остановился — было не до него. Я ценила каждую минутку, проведённую с любимым. И наступил момент, когда этих минут мне уже стало не хватать, тогда я стала ревновать Николая к своей дочери. Да я и сама видела, как он уже стал стесняться целовать Наташку при мне. Дважды он грубо оттолкнул её от себя. Девочка моя ничего не понимала.

Душно становилось у нас в доме... Надо было что-то менять, да поскорее. Так больше продолжать было нельзя. Но Николай наотрез отказался разговаривать на эту тему с Наташей. Тогда я решила всё взять на себя.

Однажды за ужином, когда Николая не было у нас, я ей всё и рассказала.

— Как ты посмела? Ведь ты — моя мать! А он... негодяй! — У девочки началась истерика.

— Наташа, успокойся. Давай всё спокойно обсудим. Ты молодая, ты ещё себе человека найдёшь. А для меня он, может быть, последний мужчина. Последняя моя любовь... — Я старалась подобрать жалостливые слова, чтобы дочь поняла меня и сама бы отреклась от Николая. И наконец у меня вырвалось: — Я люблю его! И тебе я его теперь не отдам!

И здесь случилось то, что никак не входило в мои расчёты и планы. Наташка вскочила и схватилась за нож.

— Дочка, не дури! — крикнула я ей.

— Я тебя убью!

Наташка не шутила.

От первого удара я увернулась. Мне надо было взять да убежать из квартиры. Может быть, всё бы и успокоилось. Но я этого не сделала. Будто за моей спиной Николай стоял. Когда Наташка кинулась на меня во второй раз, я схватила с плиты чугунную сковородку и ударила ею в летящую на меня с ножом дочь. Она отлетела от моего удара и упала на стол. А я её била, била, била... И откуда только эта злость взялась! И кричала: «Он моим будет, он моим будет!..»

Потом вдруг наступила тишина. Девочка моя была уже давно мертва. И ей уже никто не был нужен: ни я, ни Николай, ни её только что начинавшая жизнь. Немая сцена, когда я лежала на трупе моей дочери, длилась удивительно долго... Я тоже была мертва. Но моя жизнь постепенно возвращалась ко мне, и я, по мере её возвращения, медленно, чтобы не сойти с ума, оценивала случившееся. А до этого я была глуха и слепа, и разум мой тогда не подчинялся мне... И когда я наконец поняла, что натворила, — из души вырвался такой страшный крик, что до сих пор его слышу...

*Я люблю тебя, берёза,
Я люблю тебя, страна!
Ты одна, моя берёза,
Мне из камеры видна!*

Полина Зверева:

— Опять Евсеева плачет...

А над колонией снова нависла ночь. Короткая, тёплая. Деревья гудят зелёной пока листвой. Но осень настанет — ветер сорвёт листья, рассыплет их по земле. Потом будет зима с высокими снегами. Потом снова весна. И так дальше по кругу. Меняются времена года, меняемся и мы вместе с ними. Сколько дум здесь передумано! Сколько чувств пережито здесь! Сколько выстрадано... И кажется, что тогда, до колонии, — это совсем была не я, а какая-то другая женщина. Злобная, несчастная...

Но всё это забыто. Скоро на волю! Там меня ждёт мама, сын, Серёжа... С того времени, когда я познакомилась с ним, я перестала себя чувствовать одинокой. Другая жизнь началась у меня: светлая и тёплая, добрая, щедрая, тихая — всякая, но всегда нужная и со смыслом. И я не заметила — да, не заметила, — что превратилась в счастливую женщину, которую ждут там, на воле, и очень любят. И я тороплю время, чтобы

оно быстрее кружилось. Было бы возможно, я бы целыми днями крутила стрелки часов, чтобы приблизить их к моему времени. Но пока остаётся терпеть и ждать. И я терплю. И жду.

А у нас в камере сейчас не до скуки. Кума объявила, что в колонии пройдёт конкурс красоты. Примет участие и местное телевидение. Из каждой камеры должен быть представлен один человек. Победительница конкурса будет досрочно выпущена на свободу. Выдвигать кандидата может сама камера. И что тут началось! Бабы зашевелились, и с утра до вечера только об этом и был разговор. Конечно, каждой хотелось поучаствовать и победить. Цена уж больно высокая! Как тут не захотеть? Но и шансы для этого есть не у каждой. После трёх дней спору бабы выбрали меня.

— Вы что, с ума сошли? Ну какая я королева красоты? — взбунтовалась я. — Да и не нужно мне это... У меня и так скоро срок закончится. Вон давайте лучше Лариску Лаптеву выберем. Она девка красивая, да и сын её у старой матери живёт...

Все переглянулись. Такая вдруг тишина нависла! Никто не смеялся, не шутил.

— А что, она действительно подойдёт, — согласилась Раиса Юфрякова. — Кто за то, чтобы была Лариска?

Все подняли руки, кроме её товарки — Вики Лазаревой. Никто этого не ожидал. Такие подруги, и вдруг...

— А что вы на меня смотрите? — попыталась она всех взять на оттяжку. — Может, я тоже хочу? Почему она?

— Не кипятись понапрасну. Все уже проголосовали, — заключила Раиса.

С тех пор между нашими подругами словно чёрная кошка пробежала. Всё выжгла. Молчала Лариска, молчала и Вика. Ситуация в камере становилась всё тяжелее. Лариска сидела, как загнанная мышь. Ей и самой хотелось испытать свой шанс, и было неудобно перед подругой. А может, она её боялась? Ведь мы хорошо помним, как Вика тогда организовала драку против Лариски. Вот про эту драку она недавно и вспомнила.

— А что, девки, может, повторим? — не то в шутку, не то всерьёз предложила она однажды. — Так, ломаем ей какую-нибудь косточку... Каждой дам по косухе. А если выскочу отсюда — королевские передачи будете от меня получать!

Такого не ожидал никто. Все замерли. Приготовились. Поднялась Валька Зыбина.

— Мы не дадим девку в обиду, — жёстко произнесла она. — Ты чего, совсем сдурела?! Да какое ты имеешь право! У нас у многих тут руки в крови. За что нас и посадили. И это правильно. А вот то, что творишь ты, это неправильно. Мы ещё не совсем лицо потеряли! Так что оставь Ларку в покое. Иначе дело будешь иметь со мной...

И молча все разошлись.

Но на этом не закончилось. Однажды Вика подсела ко мне. Разговор начался издалека.

— Ну что, подруга, скоро на волю?

— Вроде...

— Там сейчас жизнь требует больших денег, — проинформировала она меня, будто только оттуда заявилась. — Могу помочь хорошую денюгу заработать. Тысяча долларов, вот так, из рук в руки. согласишься помочь?

— Что сделать-то надо?

— Да совсем ничего. Дам тебе небольшую бутылочку, а ты ночью приснешь из неё на лицо нашей королеве, — она заглянула мне прямо в глаза.

— Ты совсем, Вика, с ума спрыгнула!? Да разве можно так с человеком? Ты ведь её инвалидом можешь сделать на всю жизнь! Одумайся!..

— Да пошутила я... Пошутила... Чего дрожишь, словно ягнёнок? Говорю: пошутила!

Но я-то понимала: не шутила она! Всерьёз предлагала... А что, если уговорит кого? Вот беда-то будет! Лучше бы не было этого конкурса!.. Может, мне самой уговорить Лариску отказаться, а то ведь у её «подруги» рука не дрогнет!..

*Ты, подружка, запевай,
Но меня не задевай.
Если хочешь поругаться,
Поругаемся давай.*

Лариса Лаптева:

— Ночью у меня такое ощущение, что тишина стучит в висках. Рассматриваю руки и плечи, перебираю пальцами надвигающуюся темноту.

«Что принесёт мне эта ночь?» — ноет всё у меня внутри.

И кажется, что сквозь тьму и пустоту кто-то осторожно крадётся к моей постели. Я вздрагиваю от напряжения, осматриваюсь вокруг. Никого. Моя ночная рубашка уже вся мокрая от напряжения. С чего это всё мне кажется? Прямо мания преследования! Какая-то мысль змеёй шевелится в мозгу, мысль о том, что меня хотят убить или что-то сделать со мной. Поворачиваю голову в сторону своей подружки — Вика спит. Пока спит. Она может в любую минуту выпрямиться, как пружина, и кинуться на меня. Мы уже неделю, как не разговариваем. Началось всё с того, как женщины нашей камеры выбрали меня кандидатом на конкурс красоты, который может дать мне шанс освободиться.

Боже! Если Ты это сделаешь, я обещаю Тебе стать другой женщиной, послушной и доброй. И посвятить жизнь только воспитанию ребёнка. Я выращу из него настоящего, честного человека. И он никогда не повторит мою жизнь. Мне не нужно богатство, которое досталось через чужое горе, чужую кровь... Всё это продам, а деньги пожертвую Церкви, бедным людям. Господи! Ты только помоги мне!..

У меня обязательно всё получится. Я верю себе. Я верю в себя. И даже не задаю вопрос: а получится ли у меня жить на свободе честно, жить так, как живут тысячи людей? Получится! Надо только не бояться. Просто жить. Найти свой правильный путь в жизни, и он обязательно что-нибудь предложит мне взамен. Вначале, конечно, будет тяжело. Но жизнь — это поток, и он обязательно вынесет к чистому и светлому берегу.

Дура, какая я дура, что проболталась Вике про свои сбережения! Ей осталось до освобождения полгода, а я, если выиграю титул, могу выйти из тюрьмы через месяц-два... Вот и взбесилась моя подружка. Всё своё нутро показала. А я ей так доверилась! Нет, я должна, я обязана победить! Это мой единственный лотерейный билет. Больше такого никогда не будет.

Главная опасность сейчас для меня — это, конечно, Вика. Она готова теперь на любую подлость. Она и женщин всех обхаживает, ищет себе союзницу. Я ведь всё вижу! Но бабы молодцы! Ах, какие женщины!.. Я вижу, как они встают и демонстративно отходят от этой лисы. Я однажды не выдержала и спросила Людку Седову:

— О чём она с вами шепчется? Заговор какой-нибудь готовит против меня?

— Да ты, Лариса, не беспокойся. Ведь мы люди... Мы тебя в обиду не дадим. Но и ты будь осторожна. Особенно по ночам. Я ничего больше тебе сказать не могу. Знаешь, что за такие дела может быть...

— Спасибо и на этом. Вы меня, бабы, извините, что я так несправедлива была к вам. Вы настоящие. А я вот — сука! Но я обязательно стану другой, мне бы только вырваться отсюда. Но если что со мной случится, — от этой гадины можно всего ожидать, — возьми вот адрес мой. Найди моего сына и всё ему расскажи, как я раскаялась, как я стремилась к нему... Обязательно расскажи!

— Да что ты, Лариса... Всё будет хорошо. Мы ещё всей камерой будем тебя провожать домой!

— Дай-то Бог...

И я заснула.

*Жала, жала я ячень,
Перешла на гречу.
Ты, соперница моя,
Не иди навстречу!*

Вика Лазарева:

— Вся жизнь — сплошной стусок событий. Хороших и плохих. Память, словно море, выплёскивает их на берег — волну за волной. Они цепляются за песок, и если успеваешь до следующей волны, — то прочтёшь, а нет — так и смоем солёной водой твою частичку жизни. И как ни напрягайся потом, никогда уже не вспомнишь. Останется только одна серо-жёлтая пена из морской пучины, с ракушками и щепками от затонувших кораблей.

Но, бывает, иногда всё же удаётся всколыхнуть память, и перед тобой всплывает в странных переплетениях яркий кусочек небольшого события. Берёшь его бережно в руки и складываешь под подушку, омытую ночными слезами. Потому что это твоя жизнь. Хорошая или плохая, но твоя. И её уже не исправишь никакими тюрьмами.

Я только в этой неволе могу стать острее, жёстче, мстительнее. И в прежнюю фабричную девочку меня уже никак не переделать. Всё это — совковая чушь и бред! Мне бы только выйти отсюда! Я в один момент компенсирую свои проведённые здесь годочки! Первоначально надо довести до конца дело с этой лахудрой — Лариской.

Вроде бы всё шло хорошо. Я втёрлась к ней в доверие. Наплела ей про новую жизнь, будто бы хочу на воле с ребяташками заниматься. Ведь я филолог! И так я ей удачно плела, что сама начала верить в свою фантазию. Ну, а Лариска — тем более. Поплыла от моих сказок и доверилась

мне, как тургеневская барышня. Да я и сама всем своим воровским нутром чувствовала: что-то у неё обязательно припрятано.

Так оно и оказалось. Договорились, что оттуда я возьму только деньги, золото трогать не буду. Этих денег должно хватить на мои расходы. Да, держи карман шире! Надо быть последней душой, чтобы так поступить... И всё было бы хорошо, если бы не этот конкурс красоты. Он спутал все мои планы. Лариска кинулась в него, как та бедная Лиза в омут. Девка она смазливая, эффектная. И я понимала, что дешёвая корона только ей и достанется. Но если бы только это! Ведь тюремным дурочкам посулили свободу. И те как с ума сошли! Кинулись на эту корону, как хищницы.

Я с большим трудом достала пузырёк серной кислоты, чтобы сбить пыл этой некоронованной королевы. Обошла всех сокамерниц, сулила им бешеные бабки — никто не согласился попортить ей личико. Чем она их только взяла, эта тихоня? Своей жалостливостью? Дело моё прогорало на глазах. Таяло с каждым днём. А через три дня — уже конкурс! Эту дутую королеву уже вывозят на примерку, на репетиции. Возвращается она оттуда довольная и счастливая. Нет, подружка, рано радуешься! Обливать я тебя, конечно, не буду, про кислоту уже полкамеры знает, но сделаю всё, чтобы ты, дорогуша, осталась в этой камере на веки вечные...

С точки зрения церковного человека я — великая грешница. Слишком много мужиков было в моей жизни. Но самой главной любовью был всё-таки мой Вахтанг, которого эта сучка не по праву и не по справедливости увела у меня. И пусть его давно нет в живых, я всё равно буду биться за него. Потому что я его люблю и мёртвого. И я не могу отделаться от чувства, что в такой любви есть что-то очищающее, благословенное и безгрешное. По крайней мере, я стараюсь быть перед ним искренней. Может быть, Господь помилует меня за это — хотя бы отчасти?

*Встань-ка, маменька, пораньше,
Да послушай на заре:
Не твоя ли дочка плачет
На чужой на стороне?*

Раиса Альперина:

— Королева ясная! Владычица! Мать-заступница и Радетельница! Обрати взор на оступившуюся Ларису Лаптеву, услади её истомлённую душу, подай ей надежду. Вот — смотри! Тебе — наши улыбки, свет лиц наших, ничтожных и измученных! Тебе порывы наши! Тебе — наши сердца! Разве ты не видишь, как устремлены к Тебе глаза всех женщин нашей камеры, как тянутся, простираются, как ждут Твоего взгляда. Твоего внимания, слова Твоего драгоценного! Заступница и Радетельница... Благодатное Небо... Царица милостивая...

Так в это утро молились почти все женщины нашей камеры. Ведь сегодня выход нашей королевы! И не просто на помост, а в новую, другую жизнь! Вчера мы ей давали наставления, передавали письма и адреса на волю. Мы все были уверены, что нашей Лариске повезёт больше всех!

Чтобы не разбудить её, мы всё утро ходили на цыпочках, перешёптывались. Пусть спит! У неё сегодня самый тяжёлый день. И от него

зависит во многом её дальнейшая судьба. Господи! Поддержи её, дай ей силы победить!

Уже принесли утреннюю баланду, а Лариска всё дрыхла.

— Девочки, я, пожалуй, её разбужу, — не выдержала Вера Фролова и пошла к Ларискиной кровати.

Мы все затихли и устремили взгляды в её сторону. Фрольчиха, раскинув руки, словно для равновесия, на цыпочках, как балерина, приближалась к спящей Лариске. Улыбка была на наших лицах. Мы видели, как она, наконец, подошла, оттопырила пальчиком угол одеяла и стала его медленно поднимать. И вдруг, как пружина, сорвалась и отбежала к двери и стала бешено её колотить:

— Откройте! Откройте! Выпустите меня отсюда!

Кто-то побежал к ней, но большая часть женщин подошла к Лаптевой. Наша девочка лежала с ножом в груди — самодельным, выточенным из столовой ложки. И лицо её было такое красивое, какого мы при жизни у неё никогда не видели. Перед нами лежала спящая красавица...

— А ведь у неё остался мальчик, — всхлипнула Раиса Юфрякова. — К нему она так стремилась... Вот тебе и конкурс красоты! Неужели кто-то из нас мог оказаться на её месте?

В груди нашей красавицы торчал нож Валентины Зыбиной. Мы все его очень хорошо знали. Только особым счастливым она давала его подержать. Ножик в тюремном хозяйстве — штука драгоценная. Что-нибудь смастерить, или подрезать, или открыть — на всё годится. Поэтому мы завидовали Вальке, как она умудрилась ложку припрятать и заточить лезвие. С любовью было сделано, есть чему позавидовать. Но только не теперь.

Мы все повернули головы в её сторону.

— Вы что, девки? Думаете, я это сделала? Я не убивала её! Зачем мне это?! Я вам клянусь! Это же подстава голимая!

Она подбегала к каждой из нас и хватала за плечи. Мы все молчали. Тогда она подбежала к Вике Лазаревой:

— Это ты её убила, сука! Ты давно хотела её смерти! Погань подзаборная! Дрянь!

Она вцепилась в неё и, схватив за грудки, начала в истерии бить её головой о стену. Мы еле разорвали этот смертельный клубок.

Наконец дверь распахнулась, и вбежали конвойные. Они положили Ларису на одеяло и вынесли. Через несколько минут в камеру влетел Редиска.

— Сволочи! Ну разве вы люди? Разве вы женщины? — кричал он на нас. — К вам нельзя по-человечески относиться! Вас надо держать, как собак, на цепи!..

Он присел на скамейку, вытянув руки на столе и сжав их в кулаки, опустил голову. Потом поднял её, взглянул на нас и приглушённо спросил:

— Кто это сделал?

Все молчали. Потом нас весь день водили на допрос. После шмона в тумбочке Валентины Зыбиной были обнаружены Ларискины вещи. Вечером в камеру не вернулись Лазарева и наша старушенция Зыбина. Но нам всем был понятен этот спектакль. Косметика в тумбочке Вальки Зыбиной была дешёвой подставой Вики Лазаревой. Мы все ждали возвращения Валентины...

Уже давно рассвело, и прямо в глаза конвоиров, которые несли службу на вышках, бил красный свет восхода. До солнца, конечно, было ещё далеко, но небо на востоке уже так накалилось, будто там работал кузнечный горн, раздувались меха для тяжёлой работы.

Тюрьма ожила. Застучали двери, заходили во дворе охранники; слышны были какие-то команды, заиграло радио. Запахло кухней, свежее испечённым хлебом.

К воротам тюрьмы подъехала новенькая «Ока», постояла у ворот, а потом свернула вправо и остановилась около забора. Долго из машины никто не выходил. Но наконец дверца распахнулась, и первым из кабины выскочил мальчонка лет двенадцати. Отбежал от машины, попрыгал, разминая затёкшие ноги и, увидев памятник на площади, пошёл к нему. Посреди клумбы высилась скульптура матери с идущим ребёнком.

Следом открылась шофёрская дверь, и из неё вышел мужчина. Похлопал по карманам, нашупал пачку сигарет и закурил. Взглянул на часы и пошёл к подростку. Обнял мальчишку за плечи и что-то ему сказал. Мальчик поднял голову, взглянул на мужчину и согласно кивнул головой.

Недалеко от них, на скамейке, сидела пожилая женщина. Необычно выглядела она. Тёмное и не по моде длинное пальто, белый платок повязан по-старинному... Скорби легли тенями на её лице, чем-то напоминающем древние образа. Но большие глаза, синие, точно весеннее небо, смотрели с детской ясностью. Бесконечное терпение и доброта исходили от этой странной фигуры. Как будто сама Россия пришла к этим железным воротам, чтобы поскорбеть и помолиться о своих дочерях...

Долго приезжие ходили по лагерной аллее, потом тоже сели на скамейку.

— Ждёте кого-нибудь? — спросил мужчина.

— Да дочь сегодня должна освободиться. А вы кого ждёте? Жену?

Мужчина улыбнулся и обнял мальчика:

— Вроде бы так...

— Что значит «вроде бы»? — не поняла старая женщина.

— Мы с Полиной познакомились по переписке. А это её сын.

Женщина улыбнулась.

— Вот ведь как бывает... Теперь что, вместе жить будете?

Мужчина кивнул.

— Женщину может обидеть каждый, а вот сделать её счастливой — редкому мужчине это по силам, — произнесла незнакомка. — Трудно это. Это как из железа выковать подкову. Зато потом путь всем будет лёгким.

Он часто поглядывал в сторону ворот, и было видно, как душа его рвалась туда: у него уже не было сил терпеть, но ещё оставались силы ждать.

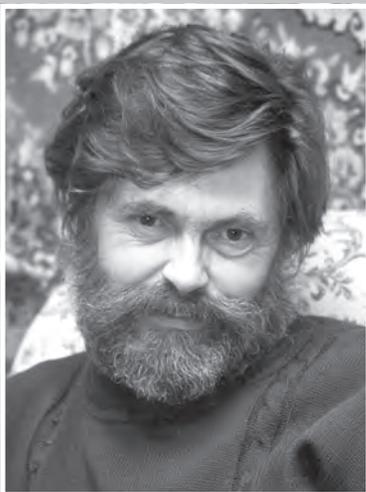
— Дай вам Бог счастья.

Тут разговор их прервался. Дверь проходной открылась, и вышла женщина.

— Мама! — сидя на скамейке, закричал мальчишка, потом вскочил и побежал по бетонной дорожке.

Следом за ним пошёл мужчина.

А старая женщина встала и в спину перекрестила их обоих.



Валерий Васильевич Королёв (1945–1995) родился в Москве. Окончил музыкальное училище. В 1979 году переехал в Коломну.

Первый рассказ был опубликован в 1981 году. Рассказы печатались в журналах. При жизни вышли в свет две книги прозы: «Жизнь как жизнь» (1984) и «На трёх буграх» (1990). В 2000 году вышла в свет третья книга прозы «Древлянская революция».

Именем Валерия Васильевича Королёва названа Центральная городская библиотека Коломны.

В «Коломенском альманахе» были опубликованы рассказы и повести: «Древлянская революция», «Родимая сторона», «Похождения сына боярского Еропкина...».

Рассказ

Валерий Королёв

ЯГОДА-МАЛИНА

Господи, воля Твоя!

1.

В первый миг Полюхе почудилось, что прямо из-под облака на неё спикировал самолёт. Она вжала голову в плечи, прикрыла ладошкой макушку, пискнула: «Ой!» — и лишь тогда сообразила: это не самолёт, а майский жук. Только жук какой-то особенный: большой-большой, почти с Полюхин кулачок, и летел и жужжал странно-то, словно оса, повиснет в воздухе и гудит, а то вдруг сядет к лошади на седёлку и заглохнет. Молчком посидит, посидит, упрыгнет за облако и там уж как заревёт! И так раз за разом, раз за разом. Удивилась Полюха: откуда в октябре взялся майский жук и почему он ревёт, как трактор?

Потом майский жук пропал, Полюха про него забыла. А тут и скотный двор, и сарай с распахнутыми воротами появились. Полюха ничком прилегла на солому, чтобы не трахнуть о балку лбом, если лошадь дёрнет, спустила вожжи с воза, скомандовала: «Ну, сама пошла!» — и воз вкатился в ворота.

Тут из-под крыши, с бревна-перевода, кто-то на Полюху как прыгнет и ну мять, ну переворачивать, за пазуху лезть да юбчонку задирать, приговаривая: «А-а, ягода, во-о, малина, что-о, попалась?!»

Полюха жука испугалась, а тут не испугалась. Ухватила прыгуна крепко за руки и спокойно сказала: «Опосля свадьбы, Федька, понятно?» — и ловко, сильно коленкой поддала так, что залётка над возом взвилась и шмякнулся на землю возле колёс. «Ну, погоди, мать твою!» — выразился. Тут Полюха проснулась.

— Явился, идол? — спросила.

— Ты что пихаешься, что пихаешься? — завозмутился Фёдка.
— А ты не лезь.
— Я что, вроде не имею права?!

— Не имеешь.
— А я возьму и полезу.
— А я тебя уделаю — у меня нож, — сообщила Полюха.
— Что-о?
— Нож, говорю.
— А-а, — понимающе протянул Фёдка.
— На тракторе приехал? — спросила Полюха.
— Еле доехали. Три раза глох.
— То-то я слышу, — вспомнила сон Полюха, — то загудит, то перестанет.
— Это мы с Тюрей, — подтвердил Фёдка. — За картошкой ездили.
— Много наворовали?
— С нас хватит.
— Вот поймают вас и посадят.
— Чтобы нас с Тюрей посадить, сначала наших клиентов пересажать надо. Да ну тебя, отстань, спи.
— Я-то сплю, а ты смотри, в случае чего — уделаю.
— Да нужна ты кому, в том числе и мне, крыса! — огрызнулся Фёдка, залез на печку и затих. Срамить дальше Полюху поостерегся, так как был почти трезвый и помнил, что если Полюха рассвирепеет, то и вправду уделает. Семь лет назад он уже нарвался на её нож. Хотел дать ей промеж глаз, а она ему в руку и тыкнула, повыше локтя, вскользь, — кровящи ведро. А три года тому назад ударила табуреткой. Целила в голову — попала ниже левого плеча, ключицу переломила. С тех пор била чем попадя, что под руку подвернётся. Потом плакала: «Хучь бы ты сам издох, алкаш!», а, выплакавшись, часами тёрлась на коленях перед образом Богородицы, крестясь, шептала единственное: «Матушка, царица небесная, прости...»

За тридцать супружеских лет Полюха усохла, превратилась в махонькую, тощенькую женщину, но когда надо было дать отпор мужу, становилась будто железная. Фёдка же и трезвый, и пьяный был квёлым. Пил-пил, пил-пил и вот допился до черты, а почему пока возле черты держится — не ясно. С жизнью его уже ничего не связывает. Полюха хоть сыном да внуками живёт, а он ради водки и только водкой. Весь смысл жизни — выпить в норму. Дополз до дома — и ладно. А если ночью не примерещится, что бык жуёт ему голову или ворона, взлетев под облака, отпрыгивает его из чрева, — ещё ладней. Лет десять назад Фёдке мерещилось, будто председатель колхоза расстреливает его именем советской власти, теперь же мерещатся звери и птицы — и творят с ним такое, что иной раз выговорить срамотно. Черти же — мелочь, он к ним привык, те под ногами и наяву прыгают.

Ещё он знает, что внутри у него всё врозь, и одно возле другого удерживается только водкой. Если, допустим, отсрочить, не выпить вовремя, то можно запросто рассыпаться на молекулы. Всё, чему учили в школе, он забыл, а вот про молекулы крепко помнил.

Другая всепоглощающая Фёдкина страсть — страсть к женщине. В такой день, когда вынь её ему да положь, он пил меньше, с расчётом, чтобы где-нибудь не упасть, и непременно двигался к дому. Деревня — не город, свободных женщин нет. Вполне осознавая это, Фёдка пренебрегал

опасностью и подступал к жене сразу, а там — как сладится, как повезёт. Конечно, может статься, она его когда-нибудь и укокошит, но риск был оправданный: без этого самого он тоже рассыпется на молекулы. Такая уж у него натура — не надо ничего, а водку и бабу дай. Сегодня номер не вышел, и теперь неизвестно, когда выйдет. Теперь Полюха долго стечётся будет. Эх, жизнь!

Вероятно, у Федыки и другие какие-нибудь страсти имелись, но о них никто не ведал — ни о чём прочем он ни с кем не говорил.

2.

Полюха и Федыка встретились лет сорок с лишком назад в школе. Привела мать Полюху в первый класс, валенки с неё сняла — сама вместо опорок надела, а Полюху обула в тапочки, сшитые из старого пиджачного рукава. «Сиди, учись, — велела, — в обед приду за тобой», — и ушла в Золево, за три километра, на ферму.

И села Полюха за парту, и стала учиться — урок, другой, третий, а потом на переменке всей спиной к печке прижалась, будто замёрзла.

— Ты что? — подошёл к ней восьмилетний Федыка.

— На двор хочется, — призналась Полюха.

— Так иди.

— Морозно, — ответила Полюха и уставилась на свои тапочки.

— Делов куча! — вполне по-взрослому воскликнул Федыка, сел на пол, разулся и двинул по половицам на неё, как танки, два огромных валенка:

— Обувайся.

Так и подружились. А летом их школу под пионерский лагерь сняло какое-то столичное учреждение. «Студебеккеры» привезли матрацы, одеяла, подушки, койки, тумбочки, табуретки, солдат; и солдаты быстро расставили всё в двух классных комнатах, застелили постели. Получилось две палаты: налево — для девочек, для мальчиков — направо. Потом «студебеккеры» привезли доски, кирпич. Солдаты же за школой, на лужине, сложили печку, от печки вытянули длинный навес, под навесом соорудили столы и лавки. Тут же, на лужине, вкопали мачту — поднимать флаг.

Мать Полюхина извернулась как-то и устроилась в пионерскую столовую посуду мыть. Правда, ей приходилось на дню три раза сбегать с фермы (туда-сюда — шесть километров, в день — восемнадцать), но зато к ночи она приносила ведро лакомых кусков чёрного и белого хлеба. Хлеб плотный, душистый, на белых кусках масло сливочное со следами зубов. Век бы такой-то хлеб есть и ничего больше не надо.

И хлеб этот ели: и Полюха, и мать, и старшие, Галка с Лидкой, и покойница бабка. Немасленные же куски сушили в печке, складывали в чистые мешки, подвешивали в холодной клетке к потолку, от мышей подальше, чтобы зимой, хоть без масла, но тоже есть. Мать, бывало, радуется-не радуется такой сытой жизни. Подопрёт, бывало, кулаком щёку и всплакнёт. Скажет:

— Эх, папанька не вернулся с войны — он бы с нами тоже порадовался.

Зимой Полюха вкусные сухари по чуть-чуть в школу носила. Спросит Федыку:

- Ты мне валенки давал?
- Давал.
- На вот, поешь.
- Это мне? — удивится Федька.
- Тебе, тебе. Потому что ты — добрый.

Так дружба их сухарями и скрепилась. Стали они друг дружку от остальных сверстников отличать. После седьмого класса, аккуратно на Троицу, впервые поцеловались. А потом и вовсе всё вместе и вместе в колхозе: и косить, и сено возить, и лён брать, и картошку копать. Врозь-то лишь по разным дворам ночевали. А после Федьку забрали в армию служить. Полюха честно ждала его три года. Потом Федька вернулся, они пожепились, и у них родился Алёшка.

А потом Федька стал пить.

Полюха отмеряла начало пьянки с того раза, когда Федька пропил сорок листов кровельного железа. Пошла она как-то в сарай, а железа нет.

Кинулась к Федьке: «Ты взял?». Федька и признался: мол, взял и продал за три рубля лист, а деньги пропил с Тюрей.

В тот раз Полюха, встретив Тюрю у колодца, старое коромысло об того обломала, потому что считала: ростом выше Федьки, в плечах шире, а значит, хороводит; Федьку отлупить и в голову не пришло. Федька ведь свой — как он может быть виноват? Правда, случалось, он выпивал и раньше, но чтобы так вот, чтобы собственное добро пропить, — тут надо винить другого. Федька добрый, будто малое дитя, безвольный: ему что ни скажут — он всё сделает. Хоть тот же бригадир или депутат бутылку ему пообещают — он и крышу покроет, и скотника подменит, и пастуха; и на сеялку сядет, и на косилку. И другие всякие разности может: судаков, к примеру, наловить, зайца или утку подстрелить, грибов ядрёных насобирать, песню спеть про Степана Тимофеевича, — но это только для председателя, агронома и заезжего начальства. Работник он хороший, старательный, когда ему стакан нальют да два посулят. Полюха рада бы иной раз ему тоже налить, чтобы и дома дров переколол, но в нынешнее время где взять? Водка теперь кусается. Это председателю с агрономом да депутату вольготно Федьку поить — они за водку-то не из собственного кармана платят. А другое: и было бы что налить — не налила. Налёшь — подумает: жить, без него, вонючего, слюнявого, нет мочи. Поведится приставать — что тогда? Два раза убивала его — не убила, а на третий, если часто станет приставать, непременно убьёт. И как это другие бабы со своими алкоголиками постоянно спят?

3.

Федька зашевелился на печке, лишь только засерело видимое между трубой и стенкой окошко. План на сегодня был простой: остороженько, дабы не грохнуть на пол, спуститься с печки, одеться и сходить опохмелиться в дровяной сарайчик — там, в дровах, запрятано сто пятьдесят граммов. После можно отправляться за пустыми мешками к Тюре, а потом — в баню. Ни о чём всяком прочем сегодня беспокоиться не надо. Во-первых, в бане, по уговору, за первой дверью, в тамбурочке,

под табуреткой должна бутылка стоять, а во-вторых, к вечеру ещё будет, до горла будет. И закусь приличная обломится — может, даже и рыбки красненькой, и сервелатику дадут.

Выйдя из сарайчика на улицу, Фёдка, как всегда после опохмелки, расправил плечи. Наступил тот самый период в полчаса — час, когда с желанием ещё выпить вполне можно бороться, а первые сто пятьдесят граммов бодрят, как здоровый длительный сон: походка упруга и тело налитое силой. Это потом в голову полезет всякая ерунда, всякая неестественность станет естественностью, любое отдельное слово обретёт неведомый трезвенникам символический смысл, а любая фраза станет величайшим законом бытия. Сейчас он, словно молодая собака, с восторгом нюхал осенний утренний воздух и глазел по сторонам так, будто не вдоль деревни шагал, а двигался по Парижу к Лувру. Хотя как бы поступил Фёдка, коснись дело Парижа, сказать трудно. Пожалуй, и не поехал бы туда, потому что, случалось, после второго стакана сообщал Тюре: «Чихал я на них, капиталистов. Там свободно выпить разве можно? Видал по телевизору, как срамотно пьют? Стаканище — во, а налито на доньшке».

В этот утренний час Фёдке было не до Парижа. На жёлтой берёзке, ещё не позолоченной солнечным лучом, грузно сидел чёрный грач и решал: перелететь от греха подальше на другую берёзку или остаться на этой? За тычньком, в саду, на разлапистой яблоне, ковырял кору пёстрый дятел. У колодца в луже топтался белый гусь, пригнув шишкастую голову к воде; шипел, готовился ухватить Фёдкину штанину. Пахло прелым опавшим листом, печным дымом и ещё чем-то таким, чего Фёдка не сумел бы объяснить, но что, как помнилось ему с детства, всегда так пахло осенью. От запаха этого накатила грусть, лёгкая, как этот запах, и светлая, как само детство.

Фёдка — не низкий и не высокий, не худой, не толстый, средний по фигуре человек. Круглый год одет в затасканный брезентовый пожарный костюм, в рыжие стоптанные кирзовые сапоги, на голове чёрная засаленная кепочка-восьмиклинка. Зимой на пожарную куртку натягивается синяя в белых пятнах стёганая телогрейка, вместо кепочки на голову напяливается махонькая, позеленевшая от старости солдатская шапка-ушанка. Перчаток и варежек зимой не носит. На работу не опаздывает. Если уж очень пьян, добравшись до места работы, ничком падает на пол и спит. Пока были силы, вкалывал в колхозе за всё про всё: кем придётся, где бригадир укажет. Когда же лет в тридцать пять от водки сник, приставлен к необременительному труду, где обретается и по сей день. Ничем не болеет. Имеет хобби: пытается приручать бродячих собак, но те, не учуяв в нём хозяина, прожив неделю-другую, уходят. Щенка взять отказывается наотрез: говорит, что щенок, как крыса Полюха, запросто вырастет собака собакой, и тогда мучайся с ним всю жизнь. Фёдке летом пошёл пятьдесят первый год. Имя его забыто. Даже жена, Полюха, лет двадцать уже величает его просто — «ты». Помнит лишь по долгу службы бухгалтерша в колхозной конторе, которая раз в месяц ему зарплату выдаёт. Остальные деревенские величают Фёдку Фантомасом — лицо у него от пьянства словно разрушенное: будто в одночасье распалось оно на мелкие кусочки, но некий хирург — золотые руки — собрал их, сшил, и они кое-как срослись. Только ни радости, ни горя лицо после операции уже

не выражало. Когда деревенские ознакомились с фильмом «Фантомас», то, приглядевшись к Федыкиному лицу, решили: он самый.

4.

А солнце между тем ударило лучом в спину дальнего Ремизовского леса. Тот сразу почернел, вздрогнул и потянулся вверх к первой белесой полоске на небе. Потом ко второй — розовой, потом к третьей — красной, а когда над вершинами сверкнула огненная солнечная макушка, лес сразу словно бы осел и сделался коренастым и могучим. Лежащий над рекой туман вспучился и, будто перестоявшее тесто из квашни, выполз на берег, потёк по деревне навстречу солнцу, перекипая по пути и постепенно исчезая. На улице запахло предбанником. Трава, ещё недавно сумрачно-зелёная, осеребрилась росой, а с полублетевших берёз, как после дождя, с дробным звуком падали на сброшенный лист крупные капли.

Тут и Полюха проснулась.

Она, не в пример мужу, болела, казалось, всем, что ниспослал Бог на род людской. До тридцати пяти лет держалась, а потом вдруг словно надломилась: и ишемия с гипертонией напали, и вены на ногах вылезли под кожу, и рука правая трясётся — ложкой в рот не попадёшь, и радикулит, и пальцы на руках скрючило, и почки, и по женской части. Фельдшер местный только руками разводил: «Уж и не знаю, чем тебя лечить, милая. Ты вот что: ты карвалолчик по пятнадцать капель три раза на дню пей и зверобойчик пополам с мятой вместо чая. А радикулит — воды стоячей, прудовой пол-литра возьми, туда столовую ложку соли да столько же йода, да втирай в поясницу-то, втирай. А в остальном — покой, щадящий режим: поменьше физической работы».

После ночной стычки с Федыкой Полюха почувствовала, что у неё болит сразу всё. Сегодня была Родительская суббота. Полюха мысленно загодя готовилась к ней. Чуть ли не два месяца назад надумала поехать в город и с тех пор копила силы — чтобы хватило их до города доехать, в церкви службу отстоять и благополучно вернуться; но Федыка-обормот аккурат под Родительскую приставать стал, и силы ушли.

Полюха насилу с кровати слезла. На негнущихся ногах, раскачиваясь вправо-влево, доплелась до диванчика, кое-как села, прижала кулаки к груди, а локти к животу и принялась слушать боль. Минут через десять решила: «Пожалуй, и до автобуса не дойду. Погожу до Рождества. А сегодня, Бог даст, отдышусь — к тётке Кате схожу, полы ей помою, вот родителей и помяну».

Полюха не знала, верит в Бога или не верит. Просто однажды подумала: надо ходить в церковь, потому что ни её, ни сына Алёшку, ни сноху Светку, ни внучат, Юльку с Мишкой, кроме Бога, пожалеть некому, и теперь, сидя на диванчике и перебирая свою жизнь, как нередко делала, чтобы незаметно перемочь боль, она всплакнула.

Начинались её воспоминания как обычно с утешений матери, врезавшихся давным-давно в её детскую память: «Не плачьте, хайма, схлынет с Петьки-то болезнь — глядишь, и даст Петька лошадку за дровами съездить».

Хайма — сёстры Полюхины и сама Полюха — цеплялась за материну юбку, выла в голос и по малости лет не верила матери: только что пред-

седатель колхоза Петька Гуськов ругательные слова кричал, размахивал красным кулачищем, рвал ворот на своей белесой гимнастёрке и, вздёрнув подбородок, завалился спиной на стол.

«Контуженный он, — успокаивала детей мать. — Забот-то у него целый рот, а вас, сирот, полна деревня. Даст, даст лошадку, только вот припадок пройдёт. Он папаньке-то вашему был наипервый товарищ. Ваш папанька-то, случись наоборот, обязательно бы Петькиной хайме лошадку дал».

Но к сорок седьмому году Петька Гуськов стал дёргаться пуще, а в сорок восьмом разволновался на току, изругал баб последними словами за нерадивость, дёрнулся лишь только раз, вытянулся, словно солдат в строю, и упал навзничь на ворох льняного семени.

И потянулась с тех пор жизнь вовсе горемычная. Председателями колхоза назначались пришлые, менялись один за другим чуть ли не каждый год: ни дела не успевали наладить, ни к деревне прирасти. А уж до таких, как мать Полюхина со своей хаймой, им вообще не было никакого дела. Помнилось Полюхе: вскинула мать на телегу заработанные за год три мешка ржи, усадила на мешки Полюху, Галюху да Лидуху и повела лошадь под уздцы, подвывая и постанывая. Но, однако же, и Полюха, и сёстры Полюхины кое-как выросли. Отбегали в школу семь зим, а когда деревенским властью выдала паспорта, сёстры подались кто куда: старшая — в Казахстан, на целину, и там за тракториста немца Мюллера замуж вышла; средняя завербовалась на Сахалин — то ли рыбу ловить, то ли закупоривать её в банки. Живут, вроде, детей растят: одна при муже, другая сама при всём. Полюха тоже уехала бы, но сначала маманю кидать жалко было, а потом вышла за Федыку.

Вспомнив про Федыку, Полюха вздрогнула и принялась одеваться.

Выйдя на крыльцо, почувствовала себя лучше. Ладонью похлопала по карману жакетки: «Сахарок постный взяла? Взяла. Полы помою — с тётей Катей чай гонять будем».

5.

Перетопив туман в росу, солнце двинулось вверх по небосклону и быстро перевалило ту черту, за которой утро превращается в молодой день. Небо стало синим, и всё сущее под ним, стряхнув последнюю дрёму, начало каждое само себя блюсти и созидать, всемерно продолжая творить ту дивную общую суть, называемую на языке человеческого жизнью: речка заискрилась, зажурчала, обтекая три огромных камня-валуна; родничок, что в трёх шагах от кромки воды, взбодрился, забурился и из переполнившейся своей хрустальной чаши потёк в речку тонюсеньким ручейком, наполняя её маленькой, но верной силой. Над крутояром загудел одинокий осенний шмель, влетел в ореховый куст, еле из него выпутался и в сердцах кинулся вниз за речку на утыканный тёмно-серыми кочками изумрудный луг. Из-за леса налетел ветерок, покружил, покружил над деревней и принялся выталкивать из-за горизонта одно за другим творожистые с сизыми сырими боками облака, составляя их в ряд возле солнца сушиться. Пригретая солнечным теплом, зашевелилась трава, а за деревней над прудом выпрямилась матёрая осока, скинула с

себя жемчужины росы и, обсохнув на ветерке, чуть слышно зазвенела песней, жалея и пруд свой, и себя, и землю, из которой растёт. Осока уж такая трава — она и в светлый день звенит жалостливо.

К этому времени Федька до Тюриного дома дошёл, с опохмелившимся Тюрей по папироске выкурил и выслушал от Тюриной бабы обычный приговор: дескать, такие, как он, Федька, — наивредные элементы на свете: сам пьёт мало, так Тюрю, лапушку, спаивает. Хорошие люди-то и помирают, а этому алкашу — ну хоть бы что. Погоди, погоди, окочуришься, дай время, тогда кто как — не знаю, а я — вздохну. Теперь, перекинув чистые мешки через плечо, Федька огородами двигался к бане. За ним шествовал Тюря, как всегда блаженно улыбаясь, за что, собственно, и прозывался так. Шли молча, потому что утренний стопятидесятиграммовый заряд иссяк, и для самого даже мало-мальски связного разговора нужно было снова зарядиться. За всю дорогу перебросились лишь несколькими словами: выходя из дома, Тюря сунул Федьке мешки и сказал: «На», а, подходя к бане, нарушил молчание Федька.

— Сначала посумерничаем, — сказал. — Спешить некуда.

— Ладно, — ответил Тюря, приостановился, пристально оглядел баню, словно видел её впервые, и заулыбался ещё пуще.

Баня — уникальное сооружение. Во-первых, она единственное общественное здание, построенное в деревне за последние семьдесят лет. Во-вторых, широкие массы трудящихся в сию баню не допускаются. И в-третьих, похожа баня на царский дворец, воссозданный по рисунку из книжки русских сказок, — изукрашенный по карнизу пропиловочной резьбой бревенчатый рундук с рубленной на нём светлицей, которую венчал двускатный терем, пронзавший небо золочёным флюгером-флажком. Окошки в светлице и тереме застеклены красными, жёлтыми, синими и зелёными стёклышками. От дворца к реке тянется крытая лестница; в конце, возле воды, — крытое же крыльцо, с коего, по задумке архитектора, надлежало нагишом сигать в воду. Баню строили год, а когда построили, колхозное начальство повесило на двери могучий замок, вручило ключ Федьке с наказом всемерно и всесторонне блюсти спецобъект и приводить его в действие по надобности. Жалованье ему положили в сто пятьдесят рублей, выдали пожарный брезентовый костюм и двести пятьдесят граммов спирта, намекнув: дескать, старайся — получишь ещё. Федька принял спирт и заверил, что стараться будет.

Сегодня как раз наступил очередной момент, когда надлежало расстаться. Вчера начальство вызвало Федьку в Иваньково в контору и велело затопить баню к пяти часам. Кроме того, велело накопать картошки на известном поле, надёргать редьки, моркови, свёклы, всё перемыть, высушить и уложить по двадцать пять кило в чистые, специально сшитые для таких целей мешки; по четыре мешка комплект — шесть комплектов. В помощь разрешено было взять Тюрю. Вчера Федька с Тюрей корнеплоды вымыли, пересортировали и разложили сушить, сегодня же намеревались выполнить остальное.

— Где сумерничать будем? — спросил Тюря, когда Федька вставил ключ в замок.

— Наверх полезем. Оттуда и прибираться станем.

Войдя в первый тамбурок, Федька нагнулся, сунул руку под табуретку,

достал бутылку, прищурился на этикетку. «Смирновская», — с трудом прочёл иностранный шрифт.

Начальство в подобных ситуациях слово держало. Федька приходил в баню, доставал из-под табуретки бутылку, выпивал, закусывал — и чистил, скрёб, мыл на первом этаже, по его выражению, в промывочном отделении; потом на втором — в светлице, где располагалась гостиная с длинным, будто взлётная полоса, обеденным столом, с резными, под средневековые, стульями; на третьем — в тереме, в четырёх комнатах отдыха. Зимой перед крытым крыльцом во льду рубил прорубь — случалось, гости-мужчины, перегреты паром и коньяком, охлаждались в ледяной воде. После приезда гостей Федька отмывал дверочку за табуреткой и помещался в трёхметровую каморочку, похожую на тюремный карцер. Туда ему доставляли выпивку, закуску, и он ждал, куда гости отъедут восвояси. После отъезда, в зависимости от стадии опьянения, Федька или оставался ночевать здесь, или навешивал замок и плёлся домой. Работа у него была не трудная: подерживать в бане чистоту, следить, чтобы ни внутри, ни снаружи ничего не портилось, и при малейшей нужде требовать из колхозной конторы для исправления слесаря, столяра, каменщика, электрика, кровельщика или маляра-плиточника. Ещё предписывалось Федьке держать язык за зубами, что он, опасаясь лишиться такой распрекрасной работы, неукоснительно выполнял. Когда кто-нибудь из деревенских, скромно улыбаясь, предлагал: «Ты сядь-ка да покури, да Расскажи, как там у тебя моются», — Федька только пожимал плечами.

— Ого, литр! — огладил бутылку Тюря, не принимая её из Федькиных рук. — Слышать про такую слышал, а пробовать не доводилось. Хорошие люди — сами живут и нам дают жить.

— Кошка да собака тоже живут, — ответил Федька и пояснил: — Только кошка в доме на печке, а собака во дворе на цепи.

В Федькином тоне неожиданно прозвучала злость, совершенно не приходящая ему, и такая тяжёлая, непримиримая, что Тюря перестал улыбаться.

6.

В детстве Федька не был злым. От рождения жизнь его складывалась доброй. Отца Федькиного убили в первый год войны, деда — в последний, и Федька так и остался единственным сыном у матери. Вместо отца у него был прадед — случай счастливый в послевоенное время, когда миллионы малолетних россиян тянулись в коломенскую версту, взбадриваемые материнской лаской, но не смиримые строгостью отцов. И прадед, бывший скобелевский солдат, по мере своих девяностолетних сил и разума, смирял Федьку: то извлекал из-под крылечных мостушек голичок и грозил им правнуку-басурману, а иной раз, сидя на завалинке, ставил Федьку рядом с костылём между ног; прижимая к костлявой груди, шептал на ухо:

— Слыш-ко: Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумом твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь.

Но помер прадед. А вскоре после похорон, аккуратно на Козьму и Демьяна, престольный праздник в селе, молоденькая учительница заявила,

что Бога нет, а, следовательно, не было и Кузьмы с Демьяном, что церковные праздники — пережиток, служат порабощению народа, и посему в этот день детям необходимо в знак протеста выучить и спеть «Взвейтесь кострами, синие ночи».

Учительница была так убеждена, что Фёдка выучил и спел. Все три километра от школы до дома мурлыкал песню, очарованный её самоуверенной бодростью, и радостно билось сердце от неожиданно-негаданно вложенных в него учительницей простых и всеокрушающих слов, — ушёл из жизни прадед и померкла память о нём, о шёпоте его назидательном, не успевшем стать смыслом Фёдкиного бытия. Слава учительнице! Слава свободной от морали пращуров школе! Слава свободному труду, не обременённому созданием частной собственности! Слава переиначившим общинный крестьянский уклад на колхозно-государственный! Низкий поклон Фёдке, что он при такой жизни в пятьдесят своих лет сохранил способность к работе.

Сохранить эту способность было мудрено. С малолетства Фёдка работал за трудовень-палочку, получая под расчёт пшик, и водка, внедрённая в его быт и быт других бедолаг, то ли нечаянно, то ли с расчётом, всю жизнь его была единственным стимулом к более или менее прогрессивному труду. Усишки только-только обозначились над Фёдкиной верхней губой, а он уже считал алкогольное опьянение конечной целью труда. Бывало, нужно что-нибудь — кровь из носу — сработать, и бригадир шепчет Фёдке и другим мальчикам: «Вы уж не подведите, ребятки, а я вам за то вечером по стакашку налью». И нальёт. И за ударный труд похвалит. К девятнадцати годам без такого стимула Фёдка работать уже не мог, и, если выпивка не светила, начинал откровенно вольничать. А в двадцать пять озлился. Невывалое случилось — сверстников его водка отучила думать, Фёдка же, наоборот, выпив, яснал умом и без всякого наставничества уразумел то, в чём другие и с трезвой-то головы не в состоянии были разобраться. Видно, природный Фёдкин ум был настолько могуч, что при любых обстоятельствах ему надлежало проявиться. Только в данном случае ум от бессилия как-либо влиять на жизнь истекал злостью, и злость копилась, копилась, точила, точила душу, чтобы вкупе с водкой в одночасье разодрать её.

7.

День между тем матерел. Деревенские петухи прокричали обед. Колхозный старенький автобус, ещё утром затемно убывший в Ивановково, стеная мотором, вполз на последнюю перед деревней горку, с минуту переключая скорость, пыхтел и, сцепив, наконец, кое-как шестерни в коробке передач, прибыл к магазину. Остановившись и испутив дух, выпустил трёх девочек и двух мальчиков, вернувшихся из иваньковской школы, и почтальонку Фроську. Детей тут же словно ветром сдуло, а Фроська отправилась вдоль по деревне почту разносить и, встречаясь с адресатами, ругать свою проклятушую должность: всего-то в деревне двадцать дворов, да стоят-то они вразброс, по старым местам, как и тогда, когда двести было. «Ты сочти-ка, милая, сколько в день зряшной ходьбы! Моя бы воля — селила бы я вас всех в одно место».

Полюха, кинув мокрую тряпку на пол, приникла к окошку: завернёт к её дому Фроська или не завернёт? Вторую неделю ни сын Алёшка, ни сноха Светка навестить не едут. Не случилось бы у них чего. Может, хоть письмецо придёт?

Глядела, глядела Полюха на Фроську, ждала, что та кинет в почтовый ящик, приложенный к тычнюку, конверт, но Фроська прошла мимо. Пришлось вместо того, чтобы мчаться через улицу наискосок за письмом, домывать пол, слушать, как поёт самовар, и решать: высший сорт заварить или «трёхсотый».

Любила Полюха чайку попить. И утром любила, и днём, и вечером. Завтракать, обедать, ужинать не сядет, если допрежь чайку не попьёт. Чай — он силу даёт, а потом после чая и аппетит лучше. Выпьешь чашечку, и уж еда колом в горле не стоит: всё кушается споро, как разносолы.

Еда у Полюхи однообразная, ей без чая никуда. Утром картошка варёная, днём щи пустые или пакетный суп, вечером снова картошка, жареная. И так каждый день, каждый день. Раньше, когда ноги здоровые были, грибов из леса наносит, засушит, насолит, к ним лучок — вот и добавок, с ним и картошка кушается за милую душу. Теперь же весь добавок — солёные огурцы. Случается, конечно, завезут в магазин селёдки. Возьмёт Полюха килограммчик побаловать себя, а Федыка, пока она на работе, селёдку и стрескает. На Федыкин-то живот не наготовишься. Денег Федыка Полюхе уже давно не даёт, жрёт же всё, что в доме под руку попадается. И стыдила его, и бранила, и прятала хорошую еду — ничего не помогало. Так и плюнула, перестала хорошую еду покупать. Его, алкаша, кормить — никакой зарплаты не хватит. Зарплата у неё всего-навсего семьдесят два рубля. Да ещё вычтут, да ещё дрова, да страховка, да ещё... Ещё и внучатам надо какую тридцатку в месяц отстегнуть. Корячиться же на огороде и таскать огурцы на городской рынок — сил нету. Сын со снохой — не помощники, в городе живут, а ей не надо богатства, не деньги теперь копить нужно, а силы: внучата на лето приедут, за ними ходить надо.

Двадцать лет Полюха проработала дояркой, но стала болеть и устроилась уборщицей в магазин. Стаж работы в колхозе пошёл псу под хвост. Теперь Полюха новый стаж нарабатывает. Вот так-то. Ни стажа старого не осталось, ни трёх тысяч рублей, которые она двадцать лет по копейке откладывала. Думала новый дом поставить, сынок женится — просторней жить. Дом-то поставила, деньги угрохала, а сын со снохой уехали в город. «Нам, — говорят, — в городе лучше: восемь часов отработал — и гуляй». Оно, конечно, и так. Но одно дело восемь часов на воздухе, другое — восемь часов в термичке. Внучата, надо думать, получились такие потому, что в термичке воздух плохой. Правда, продавщица говорит, что термичка — не основное, главное — Федыка алкаш, да и Алёшка мимо рта не проносит... Всё, конечно, возможно. Теперь и в радио, и в телевизоре тоже такое говорят, да что толку-то от этих разговоров? Внучата неудачные вышли, и без телевизора видать. Вроде бы и не двойня, а на одно лицо. Хорошо ещё, у них разговор налачился: Полюха думала, век им прожить без языка. Так-то вот. Внуки для Полюхи такая боль, такая боль — да не дай Бог ни другу, ни врагу такой боли...

На этом месте мысль Полюхина всегда обрывалась. Что бы ни делалось в этот момент, она оставляла занятие, садилась и, перебирая скрюченны-

ми, опухшими в суставах пальцами край подола, принималась слушать боль, но не ту, которая в пояснице, коленях или животе, а другую, которая вроде бы и не боль, а как бы неудобство во всём теле, но такое громадное и необоримое, что хочется умереть. Ей всегда казалось в такие минуты: только она одна на всём белом свете мучается такой болью. Вот если бы кто-нибудь ещё сел бы рядом и, ни словечка не говоря, хоть минутку с ней вместе поболел душой. Сразу бы ей вполтину стало легче — не казалось бы, что всё зря: и далёкая, еле видимая позади, любовь к Фёдке, и рождение Алёшки, и вся её последующая каторжная жизнь. Одна из года в год, из года в год одна и за бабу, и за мужика.

О Фёдке в такие минуты не думалось. О нём Полюха всё передумала давно. И так рядила, и эдак. Додумалась до вопроса: может, она сама в такой своей жизни виновата? Пробовала после Фёдку жалеть, но без остротки тот запил шибче да ещё начал права качать: чуть что — муж я тебе аль не муж?.. Раз, да другой, да третий, а потом она его ножом пырнула. К тому времени внучата уже большие были. Старшему пятый, младшей четвёртый годок. Глядя, как они, здоровые, крепкие ребята, таращат оловянные глазки и лепечут невесть что, без продавщицы и без радио поняла: Фёдка в этом виноват, с него горе это пошло. Эх, знать бы раньше! Да где там — дура была: ещё до замужества самой нравилось, что от Фёдки, как от взрослого мужика, водочкой пахнет. Вот откуда всё. Потом Алёшка стал попивать. С седьмого класса стегала за выпивку. Мечтала: женится — остепенится. Ан, не остепенился. Конечно, Алёшка ещё не пьёт насмерть, как Фёдка, но ум свой уже пропил. В случае чего уже и рассудить по-людски не может. Прошлый месяц от автобуса к дому шёл и завклубом встретил. «Привет, люмпен», — завклубом ему. — «Как-как?» — спрашивает Алёшка. — «Люмпен, говорю». — «А что это?» — «Это значит, без корней: значит, ни к селу ни к городу». А Алёшка опять: «Это как?» Она, Полюха, баба неграмотная — и то поняла, а он не понял. Еле его, родимца, в калитку впахнула, а то бы он до вечера стоял, пялился на добрых людей да позорился.

— Сидишь-то что? — подала голос из-за перегородки тётя Катя. — Самовар бурлит.

Кинула Полюха мысли и бросилась заваривать чай.

8.

К тому времени солнце, належавшись на берёзе возле магазина, шагнуло вниз, и на человека, решившего бы теперь внимательно оглядеть деревню и всю округу, непременно бы накатила вроде бы беспричинная грусть, которая, бывает, накатывает на людей, если они отваживаются всматриваться в привычное, освещённое непривычным светом. Тычняк, ещё недавно с достоинством ершившийся вдоль огородов, отпрянул под ударом косых солнечных лучей; от тычин его по пустым грядкам протянулись копыя теней, и казалось, что он вот-вот завалится на гряды. Красная глина на истерзанной тракторными гусеницами дороге позеленела. Избы, широкие и радушные с утра, превратились в избушки, приспустили на окна закраины крыш, словно козырьки на глаза, и виновато при-

пали к земле, как верные, безответные собаки, которых ругают. Даже берёза возле магазина странно похудела: то ли взрослое дерево полощет на ветру ветви, то ли подросток, — не поймёшь. Речка помутнела. Зато пруд за деревней стал синим-синий. И только осока над прудом по-прежнему вызванивала свою песню.

Федька с Тюрей к тому времени ополовинили бутылку и сумерничали, то есть посиживали на полу, привалившись к стене перед расстеленной газеткой с закуской, покуривали и перебрасывались словами, какие кому невзначай приходили в голову. В комнате стоял полумрак — солнышко еле пробивалось сквозь толстые разноцветные стёкла. Федькино лицо было зелёным, Тюрино жёлтым, а газетка и всё, что на ней, выглядело фиолетовым.

— А мне моя: пить бросай — «Урал» с коляской купим, — сообщил Тюря, втирая ладонью жёлтый цвет в щеку.

— Дура, — отозвался Федька.

— Вот и я говорю — дура. На хрена он мне?!

— Это — первое, — согласился Федька. — А другое — попробуй брось.

— Точно, — подтвердил Тюря.

— Чтобы бросить, ба-алышья причина нужна.

— Тыщ десять выиграть.

— Без толку. Хоть двадцать. Всё равно пропьёшь.

— Верно, — вздохнул Тюря и, сокрушаясь, принялся втирать жёлтое в обе щеки.

— Вот выиграть бы нам с тобой тыщ сто, — почесал Федька свой зелёный нос, — да выкупить бы эту баню, да, к примеру, весь желающий народ мыть. А навар с бани — себе.

— А потом — пропить! — хохотнул Тюря.

— Был ты Тюря, Тюря и остался. На навар-то можно золевскую ферму взять: молоко — в город, вот тебе от первого наvara ещё навар.

— А потом?

— Потом можно колхоз выкупить и самим хозяйствовать. А этих, — Федька кивнул на бутылку, — вон.

— Как же без них? — растерялся Тюря.

— Ты как будто газеты не читаешь.

— Почитываю. Так они ведь не согласятся.

— Да уж: кто своё добро по доброй воле отдаст... — согласился Федька и почесал зелёный подбородок: — Вот и получается, я правильно рассудил — на кой тебе тыщи, пей так.

Федька говорил сквозь зубы, ленивым, ровным голосом, но внутри у него всё клокотало. Если бы сейчас кто-нибудь предложил ему: «Фантомас, иди районом руководить», — он бы пошёл и на первых порах справился бы. Такое настроение у него появлялось после двухсот граммов, сопутствующих опохмелке, и продолжалось, пока он не валился замертво, то есть покуда алкоголь не убивал в нём созидательный потенциал, им же, алкоголем, и порождённый. Но раньше он о мыслях своих помалкивал. Сегодня же случилось небывалое: Федька о думанном-передуманном заговорил.

— А потом я бы бабу себе завёл, — сообщил о вовсе сокровенном Федька.

— А Полюха?

— Полюха разве баба?

— Ты с ней живёшь.

— Так и ты со своей живёшь.

— Верно, — опечалился Тюря и, дабы скрыть печаль, быстренько закурил.

— Бабу, — продолжил Федыка. — Чтобы ноги длинные и остальное — во. Он руками показал размеры и, прикрыв глаза, затих, созерцая созданный в уме образ.

— Выпьем, — предложил Тюря.

— Выпьем, — отозвался Федыка и ребром ладони рассёк воздух: — И безотказная чтоб. И умная, чтобы не тьякала попусту. А случись в город — чтобы царицей двигалась.

— С царицей жить — ей работать не надо давать.

— Правильно, — согласился Федыка. — Я бы один работал...

Чокнулись. Выпили. Пожевали: Федыка — плавленый сырок «Лето», Тюря — маринованный помидор. Прикурили от одной спички. Посидели молча, выпуская дым из губ столбиками к потолку; поглядели, как он из сизого превращается в красный, зелёный, жёлтый. А потом Федыка сказал:

— Я тогда и Лёшку сюда забрал бы. Он бы за делом, глядишь, тоже кинул пить.

— Лёшке тоже царицу? — залыбился Тюря.

— Если приспичит, — чуть ухмыльнулся Федыка, выказав что-то человеческое на лице; попробовал улыбнуться шире, да не получилось, и снова превратился в Фантомаса.

— Кончай сумерничать, — велел. — Пошли мешки насыпать — скоро охламоны приедут.

Впервые он приезжающих обозвал так.

9.

Соскочив с берёзы, солнце всё скорее и скорее покатилося к западу. Остановившись над горизонтом, превратилось в гладкую золотую монету, которая на глазах принялась грузнуть и стынуть, покуда не стала походить на красную полновесную николаевскую десятирублёвку. От остывающего солнца потянуло ветром, и тут же возле магазина затарахтел автобус. Стрельнув из выхлопной трубы и, подвывая мотором, отправился в обратный рейс, а навстречу ему въехали в деревню три чёрные «Волги» да бежевый «Рафик» и проследовали к бане.

Полюха отодвинула к самовару блюдечко, поставила на него вверх дном чашку:

— Всё.

— Ещё пей, — подбодрила её тётя Катя.

— Будет, а то лопну, — ответила Полюха, вытирая со лба пот.

Тётя Катя, старая-престарая бабка, страшно толстая и от этого на первый взгляд казавшаяся на зависть здоровой, колыхнула своими необъятными телесами и сказала:

— А я ещё выпью. Хорош больно нынче у тебя сахарок. Мягонький, во рту тает.

Они сидели друг против друга за покрытым голубой клеёнкой столом, Полюха — на стареньком венском гнутом стуле, тётя Катя — на состав-

ленных вместе двух табуретках, и говорили всё о том, о чём и прошлый год, и позапрошлый, и десять лет тому назад разговаривали.

— Так-то вот, тётя Катя, и живу, — вздохнула Полюха, подставляя тётки Катину чашку под самоварный краник.

— И-и, милая, — пропела старуха. — Бога гневишь. Чем у тебя не жизнь: сыта, обута, одета, Лёшка при деле, внучата в тепле. Работа лёгкая. Тряпкой-то шарк, шарк и всё? А я-то, бывало...

И пошла-поехала тётя Катя толковать, как ей жилось-можилось: как пилося-елось, как отдыхалось-спалось и как тяжело работалось. А на шее-то семеро детей. Каждого одень-обуй, каждому кусок дай, в каждого ум вложи да сбереги от болезни и напасти.

— И всё одна. И теперь вот одна, пол помыть, воды поднести некому — все разъехались. А у тебя, милая, какой-никакой, а муж. Живи не тужи.

— Да пьёт ведь он, тётя Катя.

— Пьёт — не бьёт.

— Грязный, слюнявый — и лезет.

— Мужики, известно, приставалящики: их дело такое. А я в молодости-то, бывало, одна-одинёшенька лежу — хоть бы кто пристал.

И давай тётя Катя клясть свою вдовью долю. Вспомнила, как жила с мужем до Финской войны, всплакнула над тем, как жила после, и Полюха в который уж раз убедилась, что её жизнь и впрямь ничего себе: и справная, и сытная, и не одинокая. И здоровье — как-никак на своих ногах. И Алёшка — не чета тётки Катиним сыновьям, в месяц раз навещается. На внучат тоже грех жаловаться: говорят, теперь хуже родятся. А Федька — что ж, Федька, действительно, всё же муж: пьяный-пьяный, но помнит, где дом да жена находятся.

Покивала, покивала Полюха в ответ на тётки Катины слова и вдруг сказала, имея в виду Федьку:

— А вот вернусь домой — я ему рубашку выстираю.

— И постирай, милая, постирай, — закивала старуха. — Ты его лаской — глядишь, он и закинет пить. Маняшка золевская сколько лет со своим маялась, а потом лаской да лаской — сама знаешь, ейный мужик другим стал.

— Он, говорят, по болезни пить бросил.

— Врут, — убеждённо сказала тётя Катя и единственным зубом ловко укусила сахарок. — Где ты видала, милая, чтобы мужики по болезни бросали? Болезнь, не болезнь — до смерти пьют.

— Твоя правда, — кивнула Полюха.

Вышла она от тётки Кати совершенно успокоенной. Шагала и представляла себе, как сегодня Федька вернётся домой — глядь, а на прилавке у печки чистая рубашка. «Что это?» — спросит, а она: «Это тебе». И он, обрадовавшись, спасибо скажет. Она же засмущается. А он подойдёт к ней, и не силком, нежно, как в молодости, обнимет. «Ягода-малина», — шепнёт на ухо.

10.

В первый миг Полюхе почудилось, что в дверь скребётся кот Мурзик. «Ишь, шалавый, — подумала, — когда в голову взбрёт, тогда и в дом

прётся», — повернулась на бок и решила досмотреть сон, как лет сорок назад с матерью ходила в Родионово к тётке. Ярко-ярко тогда светило солнышко, справа вдоль стопинки стеной стоял еловый Ремизовский лес, слева, до Кутинского оврага, стлалась лужина. Жарко было, из леса тянуло распаренной смолой, а с лужины густым запахом фиалок. От двойного запаха и жары страшно хотелось пить. «Мамка, — канючила Полюха, — водички». — «Потерпи, — настаивала мать, — добредём до Костинки — напьёмся и умоемся». Костинка — лесная часть Кутинского оврага. На дне, в ельнике, — ключик. Вода из ключика бежит тонкой струйкой в луговой овраг. Возле ключика выступает из земли гладкая макушка большого серого камня. Встанешь босыми ногами на камень — пятки стынут. Полюхе очень хочется досмотреть сон до этого места, попробовать сладкой костинской воды, ощутить, как мокрая материнская ладонь трёт её нос и щёки, но зараза кот сам открывает дверь, заходит в избу, вспрыгивает на стул, стоящий возле кровати, и принимается в самое ухо Полюхе мурлыкать, да так громко, что становится ясно: сон вот-вот сгинет.

— А вот я тебя! — восклицает Полюха, намереваясь сшибить кота на пол, и просыпается.

На стуле сидит Тюря и бормочет, бормочет, сглатывая концы слов, будто помешанный. Разобрать можно только «Фантомас» да «Федька», да ещё: «А он — вот он вот».

— Ты что?! — испугалась Полюха, подтягивая одеяло к горлу и поджимая к животу ноги.

— Федька, — плаксиво бормотнул Тюря и вобрал в себя воздух, словно горячий чай потянул с блюдечка.

— Что Федька?! — прикрикнула Полюха, сообразив, что Тюря пришёл совершенно по другому делу.

— Я захожу, а он — висит, — вымолвил, наконец, понятное Тюря.

— Ка-ак? — почти пропела Полюха, совершенно перестав бояться Тюри. Она рывком села и, не обращая внимания на свалившееся с груди одеяло, заглянула в еле умечающиеся в орбитах его глаза.

— Как? — спросила опять, но уже не распевая слово.

— На верёвке, — тут же откликнулся Тюря и добавил: — Мы его уже сняли.

Будто от удара, Полюха молча повалилась на подушку, а Тюря, сказав главное, осмелел и, уже не подсасывая воздух, доложил связно:

— Приехали эти с бабами. А я Федьке: дескать, давай, как они моются, поглядим, — у нас там под потолком окошко. Пошли, значит. Глядели, глядели... Я Федьке: дескать, наплевать, айда вниз — выпить охота. А он: ты, мол, иди, я скоро. Ну, я вниз. Выпил. Ещё выпил. Закусил. Ждал, ждал... Уснул. Проснулся — нет Федьки. Я туда, сюда, кинулся на чердак — а он висит. Бумажка засунута за наличник. Чудная. Наверно, в милицию надо сдать?

Тюря протянул записку. Полюха машинально приняла и прочла Федькины каракули, слово в слово, шевеля посвистывающими губами, но не слыша своего шёпота и не разбирая смысла: «Гады-сволочи. И баб красивых себе забрали. Ничего не осталось. Вот вам».

— Где он? — спросила, заталкивая бумажку Тюре в кулак.

— В бане.

Позабыв о Тюре, она спустила венозные ноги на пол и принялась одеваться, поглядывая на лежащую на прилавке выстиранную рубашку. Сначала медленно одевалась, будто нехотя, потом всё быстрее и быстрее. С крыльца спустилась вприпрыжку. Бежала по деревне к бане, сопровождаемая грохотом Тюриных сапог, и никак не могла решить: горевать ей или радоваться...

А над далёким прудом, обсохнув на утреннем ветерке, выпрямилась осока. А в автобусе, отбившем от магазина в свой первый рейс, сидели три девочки и два мальчика. Самый старший и, видно, самый прилежный, надумал повторить урок. Добыл из портфеля тонкую книжицу. «О Русская Земля! Уже — за холмом, уже — за шеломянем еси!..» — прочитал и призадумался, заглядевшись в окошко на придорожные серебристые тополя, на синее небо, на сизую речку, на уставленную бурями стогами голубую заречную даль.

ХРОНИКА

ПОДАРОК БИБЛИОТЕКЕ



Родственники русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова по линии брата, живущие в Москве, передали в дар коломенской библиотеке, носящей его имя, собрание сочинений первого русского романиста в восьми томах. Это уникальное издание. Оно вышло в 1858 году в типографии Якова Трея в Санкт-Петербурге. Восьмитомник писатель подарил родному брату с автографом: «Брату и другу Николаю Ивановичу Лажечникову. Село Кривякино. 3 августа 1858 года. Сочинитель».

Так прижизненное собрание сочинений Лажечникова после семейного совета потомков было отправлено из столичной квартиры на улице Селезнёвской в его родной город Коломну.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МОЗАИКА ВИКТОРА МЕЛЬНИКОВА

К 65-летию главного редактора



Есть что-то бесконечно удивительное и таинственное в древнем искусстве мозаики! Из причудливой груды самоцветных камней и кусочков смальты руками талантливого мастера складывается гармония. Вот этот камень не подходит по цвету, а этот ложится удачно, потом ещё и ещё... И так рождается картина: мы видим живые образы, окружённые прекрасной узорчатой каймой.

Как это сходно с кропотливой работой редактора... Нужно не просто найти талант, надо его подшлифовать, чтобы он заиграл всеми своими оттенками, надо найти ему достойное место, чтобы он сочетался с другими и вместе они складывались в закон-

ченную и совершенную картину.

Так что, бывает, не только читатель, а даже сам создатель сборника берёт книгу в руки и удивляется: надо же — как здорово получилось!

Чувство такого радостного удивления охватывает каждого, кто раскрывает «Коломенский альманах». Сколько трудов приходится положить его главному редактору Виктору Мельникову, чтобы каждый следующий номер получался краше прежнего! Впрочем, не только альманах, а вся жизнь Мельникова похожа на мозаику, сложенную из кусочков, то тёмных, то сверкающих, то мерцающих таинственной глубиной.

У Виктора Семёновича Мельникова — юбилей.

65 лет — 65 самоцветов! И каждый из них сверкает ярко, многогранно, празднично.

Виктор Семёнович! Пусть продолжается и множится «мозаика», созданная твоим трудом, талантом, богатством и щедростью души — во славу «коломенского текста», на благо нашего града и на долгую радость всем твоим читателям и друзьям!

Коллектив редакции



Владимир Николаевич Крупин — известный прозаик и публицист. Родился в 1941 году в селе Кильмезь Кировской области. Блестящее художественное мастерство, виртуозное владение стилем, социально-философская острота его произведений позволяют назвать его одним из лучших современных писателей. Миссию русского художника видит в том, чтобы бороться «за воскрешение России... за чистоту и святость Православия».

Будучи главным редактором журнала «Москва», создал раздел «Домашняя церковь» — единственный до сих пор в «толстых» литературно-художественных журналах. Активно участвует в православных изданиях. Много делает для воспитания в детях любви к христианской вере — составил «Православную азбуку», «Детский православный календарь», сборник «Русские святые».

Жил в Коломне в 1978, 1980 и 1984 годах.

Рассказ

Владимир Крупин

О, РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!

*Церковь закрыли в двадцать седьмом,
Школу в две тысячи пятом.*

Светлана Сырнева

В деревне Ивановке, а таких у нас были тысячи, жили старик и старуха. Жизнь прошла долгая, много всего пережили. Муж — участник войны, боевой старшина. Вернулся — грудь в крестах. То есть в орденах и медалях. Вот только здоровье всё истратил, даже левую ногу оставил в немецкой земле. Вернулся инвалидом. Но и косил, и пахал, рыбачить любил. Детей трое. И все дочери. Первую назвали Верой в память о рано умершей матери мужа, вторую Надеждой в честь матери старухи. Ну, а уж третья, само собой, стала Любовью. Хорошие выросли девочки: красивые, добрые. Но вышли все замуж далеко от дома, в областной город. Звали стариков к себе. Старуха и рада бы была, но старик ни в какую. «Тут родился, тут помру. А ты давай поезжай». Но куда она без него?

Деревня Ивановка умирала. Не сама умирала, а её убивали. Убили колхоз, убили и попытки выжить своим хозяйством. Вырастишь поросёнка — перекупщики тут как тут. Берут живым весом, то есть за копейки. Не соглашаешься — вези на рынок сам, сам и продавай. А на рынок за место плати, за клеймение ветнадзору плати, да ещё ходят по рядам кавказские вымогатели, им плати. За что? За то, что русский, за то, что осмеливаешься выжить, всё никак не очистишь от себя Россию. От них откупишься, появляется родной господин полицей, ему плати. Много ли домой привезёшь? Спасались пен-

сиями. Даже и дочкам иногда урывали. Трудно все они жили. «Вы, папа и мама, воспитали нас честными, — говорили они приезжая, — а как сейчас честным? Честные сейчас все бедные».

Ещё у стариков была причина для огорчений — сосед Панька. Знали его с малых лет, он даже за их младшей дочкой ухаживал. Но она его резко отворотила, когда увидела, что он выпивает и употребляет наркотики. К наркоте этой его как раз кавказцы и приучили. Панька постоянно приходил, постоянно цыганил «на пузырьк»: «Спасите! Не выпью — подохну». Вначале старик пытался отбить его от пьянки, от наркоты, подолгу говорил с ним, но зараза оказалась сильнее, и Панька окончательно пропал. Пропил у себя всё, что можно было пропить, только телевизор не вынес. Телевизором дорожил. Легко находил в нём какую-нибудь похабщину или уголовщину и смотрел. Называл телевизор учебником жизни.

Старик болел всё тяжелее. В Ивановке, окончательно её уничтожая, власти оставили только магазин со спиртным и консервами, а медпункт и начальную школу ликвидировали. А школы и медпункта нет — работы нет: куда жителям деваться? Старики умирали, молодёжь уходила. В районную больницу ездить было далеко. Старуха всё-таки настояла, чтоб туда поехать: хотела сдать мужа в стационар, но его не взяли. Хоть и участник войны, но сказали: «Что вы хотите — возраст», а одна врачиха, брюнетка в золотых очках, даже весело пошутила: «От старости лекарства нет». Хотя какие-то витамины прописала.

Витамины лежали на виду, на столе, их в тот же день стащил Панька. Больше некому: только он и заходил, кланчил на пиво.

Старик мужался, не жаловался, но видно было — гаснет. Ел очень мало, через силу. Хотя старуха всяко старалась разнообразить питание. Всё-таки картошка своя, без нитратов, как и свёкла и морковь, ими питались. Сухофрукты, присланные одной из дочерей, заваривала. Как-то жили. К концу зимы старик уже и на крыльцо не выходил. Старуха попросила Паньку наловить рыбки, уж очень любили они уху. Но даже и это Панька не сумел. Сумел только урвать денег на бутылку, вроде как аванс.

Старик, видимо, знал, когда умрёт. Он вечером как-то особенно посмотрел на жену, на красный угол с иконами, потом прикрыл глаза, полегал немного, опять их открыл и тихо сказал:

— Земля оттаивает.

Это потом старуха поняла, что старик думал о том, что легче будет могилу копать. Она свою догадку дочерям рассказала, когда те приехали на похороны.

— Под утро чего-то я как-то сильно вздрогнула, вроде как кто в окно стукнул. Окликнула его — молчит. Тогда к нему подошла, он уж готов. И руки сам сложил крест-накрест. Мне бы раньше сообразить, что к чему. Не зря же он вечером попросил рубаху переодеть. А у меня в комодё рубашки лежали. Чистые, стиранные. А эта белая, ненадёванная. И у меня сама рука за ней потянулась. Значит, и мне знак был, а я-то, я-то... — Голова у старухи затряслась, слёзы полились. — Без меня ушёл, не дождался...

— Мама, прекрати, — строго сказала старшая Вера, — сейчас вообще время вдов, а не вдовцов. Подумай, а как бы он был без тебя? Будешь жить у нас по очереди.

— Ой, нет-нет. Куда я от могилки, куда? Никому в тягость жить не хочу. Деточек летом посылайте. Ой, жалко как, не видели они деда с орденами. Такой ли герой! Его ведь всегда в школу на 9 Мая приглашали. Мы вначале на пиджак ордена нацепляли: мне он показывал, какие справа, какие слева, какие повыше, какие пониже. А я, забываю, разве я запомню. Говорю: давай вообще не будем отстёгивать, повесим на плечики. Так и висел до следующей Победы. Я его тканью укрывала. Да вот... — Старуха принесла тяжёлый пиджак, сняла белую простынку.

От сияния орденов и медалей в избе стало светлее. Стали рассматривать. Было много медалей за взятие городов: Кёнигсберга, Варшавы, Берлина, ордена Славы, «Красной Звезды», медали «За отвагу», много юбилейных, уже послевоенных наград.

— Ещё, говорил, была бы медаль за Прагу, как раз их из Берлина туда двинули. Двинулись, да под обстрел попали, тут-то и ногу отдёнуло. Вот она, нашивка за тяжёлое ранение. Я медали к празднику начищала суконкой, они ещё сильнее горели. А все вместе такие тяжёлые! Гляжу из зала — сидит мой мужёнок в президиуме, локтями в стол упёрся — тянут же! Золото, да серебро, да бронза, ещё бы!

— Может, в музей сдать? — спросили дочери.

— Ой, нет, — сразу сказала старуха. — Никому это нынче уже не надо. Пока живу, с ними буду, помру — забирайте.

На поминах дочери привезли всего, и старуха постряпала, а есть и пить некому. Стали вспоминать друзей отца — все уже там. Перебрали своих сверстников — никто в Ивановке, как и они, не живёт. Со встречи всё равно посидели хорошо, душевно. Даже негромко спели любимые песни отца: «По Муромской дороге», «Степь да степь кругом», «Славное море, священный Байкал», «Враги сожгли родную хату», «Раскинулось море широко», «Ох недаром славится русская красавица», другие.

— Он ведь у меня трезвенник был, — сказала старуха, — а вот иногда, очень редко, немножко больше нормы примет, встанет: «Мать, подпевай!», — да как грянет, и откуда голос берётся, грянет: «Врагу не сдаётся наш гордый “Варяг”, пощады никто не желает!» Да. Вечером сидит, письма всё ваши перечитывает.

И ещё долго сидели и поминали отца и мужа, и всё добром. И как учил различать голоса птиц, как плавать учил, как любил расписываться в дневниках в конце недели. Дочери никак не могли решить, кого же из них любил больше. Все уверяли, что именно её.

— Да чего хоть вы! — весело примиряла старуха, — любил всех без ума. Вот три пальца — укуси. Любому больно. Переживал за каждую. Придёт из школы с родительского собрания: «Ну, мать, за наших невест краснеть не приходится». Конечно, страдал, что сына не получилось. Эх, говорил, мальчишка бы рыбачил со мной. Вас-то он некоторую к рыбалке не приучил.

— И как бы он, интересно, приучил, если тут огород, да огород, да корова, да поросёнок? — спросила Вера.

— Зато мамины цветы на всю жизнь. У меня на участке с апреля по октябрь, — заметила Надя.

— Да он больше не из-за рыбалки страдал, из-за фамилии. Сын-то, говорил, хоть бы фамилию продолжил.

— Я продолжу! — сказала вдруг младшая Люба. — Не хотела говорить,

именно сейчас надо сказать. Мам, только не реви. Вера и Надя уже знают, и ты всё равно узнаешь. И не вздумай реветь: я разошлась. И сама вернусь на нашу фамилию, и сына запишу на неё же. Он же у меня Саша, Александр, в честь деда.

Старуха горестно помолчала, посмотрела на фотографию мужа:

— Чего ж теперь реветь? Кабы я чего могла исправить. А так...

Панька с друзьями выкопали могилу. Помогли и гроб опустить, и землёй засыпали, и холмик нагребли, и временную табличку с фамилией поставили. Конечно, им заплатили, конечно, угостили. На поминках тоже с собой посадили. Панька выпил, осмелел и сказал младшей дочери, за которой ухаживал:

— А вот скажи, ведь ты неправа, что меня тогда отшила. Это ты меня подсадила на пьянку. Я же с горя запил, от потери любви. Ты же Любовь.

— Ладно, не болтай, нашёл виноватую. Кто тебя заставляет дурью мучиться? Ты смотри тут, без нас маме помогай.

— А как же! Вот именно что! А ты как могла подумать? — и не постеснялся сказать: — Ты не сможешь парней угостить? Стараются.

И в самом деле назавтра, когда дочери уезжали, Панька с друзьями усердно взялись за дрова. Изображая усердие, громко кряхтели. Конечно, были вознаграждены.

Дочери обещали в городе заказать отцу заочное отпевание, потом привезти с отпевания земельку и высыпать на могилу. Здесь-то негде было взять священника.

Поехали доченьки. Повёз их на станцию тот же нанятый водитель, что и сюда привёз. Мать крестила их вослед. Вернулась в дом — топоры брошены, в доме пьянка. Есть что допить, есть что доесть. Старуха вздохнула: как прогонишь? И могилу копали, и дрова кололи.

— Мать! За Иваныча!

Потом старуха вспомнила, какими глазами глядели они на украшенный наградами пиджак мужа. Вспомнить это пришлось очень скоро. Алкоголику и наркоману никогда не хватит ни водки, ни наркоты. Парни, конечно, понимали, что награды старика — это дело не копеечное, дорогое. Вон сколько по телевизору сюжетов о том, как крадут ордена у ветеранов. Продать их можно запросто. Продать, и пить, и пить, и пить.

Назавтра они пришли, стали просить награды вначале по-хорошему. Обещали и огород копать, и крышу починить. И старику оградку сделать. Старуха, конечно, не соглашалась. Но она даже и представить не могла, что они, известные ей с детства, решатся на воровство.

Не только решились, той же ночью залезли. Сон у неё тонкий, проснулась, поняла, закричала:

— Панька, ты? Да у меня же, дурак ты, топор под подушкой!

Никакого топора у неё не было, она со страху так закричала. Они поверили, испугались, убежали. А она на следующую ночь, теперь уже всерьёз, принесла топор из сеней и положила рядом.

И что это началось за жизнь, одни нервы. Из-за этих наркоманов и уходить из дома надолго боялась. Сняла ордена и медали с пиджака, завязала их вместе с орденскими книжками в узелок и постоянно перепрятывала. Приходила на могилку и жаловалась мужу на одиночество.

Вот уже и май. Стала думать, какие цветочки на могилке посадить. Земля могильного холмика осела. Она принесла лопату и подгребла землю с боков. Может, тогда и мелькнула у неё эта мысль, может, и сам старик подсказал ей. Иначе, почему же она оставила лопату у могилы?

В этот год в деревне уже некому было праздновать День Победы. Старуха оторвала листок численника с красной, праздничной цифрой, вздохнула. Положила его в узелок к орденам и медалям. Спрятала узелок под пальто и вышла из дома.

Пришла на кладбище. Раздвинула уже завянувшие, привезённые дочерью цветы и вырыла в могильном холмике глубокую ямку. Приподняла над ямкой тяжёлый узелок и встряхнула. Ордена и медали внутри узелка звякнули. И ещё встряхнула, и ещё.

— Такая тебе музыка, Саня, такую заслужил, — произнесла она.

Опустила в ямку сокровище и закопала. Опять вернула цветы на место.

— Вот и всё, — сказала она, выпрямившись и перекрестив могилу, — воевал ты, Сашенька, за землю, в землю и ушёл. И награды твои пусть с тобой будут. И такого сраму, чтобы их пропили, не позволю!

Она даже не заплакала, так как была уверена, что поступила правильно.

А заплакала, когда стала спрашивать мужа, к какой дочери ехать жить.

Не дождалась ответа, но решила так: напишет на бумажках их имена, перемешает и вытащит. Какая выпадет, к той и судьба. А она долго не заживётся, она чувствует, как со смертью мужа в ней самой стала убывать жизнь.

У ворот её ждал Панька.

— Ведь совсем молодой, — сказала она, — а уже весь серый. Ни воин, ни пахарь. Стоишь, трясешься. Жалко тебя.

— А жалко, так опохмели. — И опять заканючил про ордена. Даже и угрожал. — Нам не отдашь, из района приедут.

— У меня их больше нет.

— Как? — не поверил он.

— Так. Сдала.

— Куда сдала?

— На вечное хранение.

— Врёшь! — не поверил Панька.

— Тебе перекреститься?

— Н-не н-надо. — Он даже заикался. — Ну, тётка Анна, ну! Ну, хоть на пиво-то, а? Иваныча помянуть. День же Победы, а? За Родину выпить, а?

— А Родине лучше, если ты за неё не выпьешь.

Пришла домой, написала на одинаковых бумажках имена дочерей. Перемешала. Долго сидела перед ними. Долго смотрела на иконы, на фотографию мужа. Наконец взяла одну из бумажек, перевернула и прочла: «Люба».

«ОН ВСЕГДА ЖИЛ ЛЮБОВЬЮ К ЧЕЛОВЕКАМ»

Леонид Иванович БОРОДИН. **Киднепинг по-советски и другие рассказы.** — М.: Изд-во журнала «Москва», 2012. — 560 с.



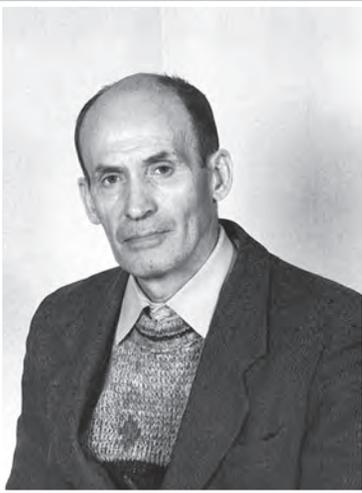
Представляемый сборник — последняя книга замечательного русского писателя Леонида Ивановича Бородина (1938—2011). В неё вошли как хорошо известные читателям рассказы и «маленькие повести», так и рассказы последних лет, опубликованные только в журналах. А заключающий сборник «таёжный детектив» тридцать лет «отлёживался» в столе писателя. Все их объединяет, по мнению составителей, принцип «доброй честности»: «каждое произведение полно выстраданного чувства и выношенных дум русского интеллигента, осознающего себя частью народа и достаточно сильного для того, чтобы быть великодушным».

24 ноября 2012 г. в книжной лавке журнала «Москва» состоялась презентация книги, приуроченная ко дню памяти Леонида Ивановича, ушедшего из жизни ровно год назад. На презентации, по сути превратившейся в вечер памяти писателя, выступили преемник Л.И. Бородина на посту главного редактора журнала «Москва» В.В. Артёмов, редактор-составитель книги Т.Н. Шабаева, ректор Литературного института им. А.М. Горького Б.Н. Тарасов, один из основоположников русского национального движения в СССР В.Н. Осипов, писатели С.С. Куняев и В.Н. Галактионова, директор Бюро пропаганды художественной литературы А.Н. Панкова, врач-кардиолог А.В. Недоступ («пожизненный мой благодетель» — называл его Леонид Иванович). Вёл вечер молодой прозаик Е. Марков, знакомый с Л.И. Бородиным с детства.

Выступавшие поделились своими воспоминаниями о Л.И. Бородине, говорили о его личности и деятельности. Так, В.В. Артёмов отметил, что с Л.И. Бородиным мы потеряли одного из последних русских писателей-классиков, В.Н. Осипов, которого судьба свела с Леонидом Ивановичем более 40 лет назад в мордовских лагерях, подчёркивая высокую духовность писателя и гражданина, сказал, что его жизнь можно описать одной фразой: «он всегда жил любовью к людям». Б.Н. Тарасов поддержал идею выпуска в серии ЖЗЛ книги о Бородине — человеке, достойном подражания; его слова никогда не расходились с делами, он может служить примером для молодёжи. Т.Н. Шабаева рассказала о создании книги, которую автор так надеялся увидеть при жизни, но не успел. Судьба подарила ей лишь одну встречу с писателем, в основном общение шло по телефону, т.к. он был уже тяжело болен. Но в книге составителем бережно соблюдены все его пожелания.

Издательство журнала «Москва» при участии семьи Л.И. Бородина готовит семитомное собрание его сочинений. В ближайшее время должны выйти первые два тома.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ДАР



Владимир Фёдорович Соловьёв (1940–2012) родился в апреле 1940 года в городе Егорьевске. Закончил вначале станкостроительный техникум, а затем МВТУ им. Баумана. В 1968 году переехал в Коломну. Здесь начал заниматься литературным творчеством.

Учился на заочном отделении Литературного института им. Горького. Писал повести, рассказы. В 2003 году в Москве вышла его единственная книга прозы.

Главный герой напечатанного здесь рассказа «Прощальный дар» — немолодой уже человек, испытывающий трепетное, возвышенное, но вместе с тем робкое чувство к женщине. И хотя это чувство не находит ответа, оно для него отрадно, как последний свет в неяркой, угасающей жизни.

Рассказ

Его разбудило словно бы прикосновение. Ярцев разомкнул веки. На него смотрело колдовское озеро. Глубинная лесная темень завораживала. Точнее, озеро было не одно, а два, но он воспринял их как единую чарующую беспредельность. То были глаза женщины, казавшиеся такими непорочно тёмными на нежном и светлом лице. Она смотрела на него с участием. Чуть позади стояли ещё две женщины в белом. Он вспомнил, что находится в больнице.

— Как самочувствие? — утончённая чёткость её голоса обаятельно приглушалась мягкостью.

— Хорошо, — он смущённо улыбнулся. — Таблетка, видно, подействовала, так хорошо поспал.

— Ничего не болит? Живот, желудок...

— Нет, всё хорошо.

— После завтрака зайдите ко мне в кабинет.

— Хорошо.

Когда она в компании с дежурным врачом и медсестрой вышла из палаты, он перекопился в лице точно от зубной боли: «Боже, какой стыд!» Действие снотворной таблетки кончилось, и тело, наскученное лежачим положением, капризно вопило каждой клеткой, что оно его больше не устраивает. Ярцев сел. Избегая глядеть на пропитое и небритое, с синяком под глазом лицо соседа, надел спортивные штаны, футболку, сунул ноги в кроссовки и, не зашнуровывая их, вышел из палаты.

Коридор кипел народом. Хлопала дверь умывальни, из раскрытой двери

курилки валил сигаретный дым, бродили туда-сюда в ожидании завтрака накурившиеся.

В одной из палат Ярцеву одолжили бритвенный прибор, а уборщица выдала крохотный обрезочек хозяйственного мыла. Побрившись, он вытер лицо полой футболки, — полотенца у него не было, — и пошёл в другой конец длинного, с ответвлениями и поворотами, коридора. У раздаточного окна столовой стояла очередь. В руках у стоявших — тарелки, кружки, ложки. Ни того, ни другого, ни третьего у Ярцева не имелось, он с виноватым видом сообщил об этом раздатчице. Та без лишних слов достала из моечного бачка с водой, похожей на бульон, тарелку и плюхнула в неё две ложки водянистой манной каши. В дополнение дала кружку с сомнительного вида пойлом, символизирующим чай, и два кусочка хлеба. Утомлённый длительным воздействием алкоголя желудок с негодованием такой завтрак отвергал, Ярцев изнасиловал его.

В десять утра он постучал в дверь кабинета.

— Входите, — приветливо пригласила Нелли Константиновна, — её имя он узнал у медсестры. — Садитесь. Расскажите о себе. В паспорте у вас нет брачной отметки, вы холост?

— Да, жена умерла, детей не было, паспорт недавно заменил на новый, потому и отметки нет.

— У меня муж тоже умер, — её тёмные глаза обволокли его гипнотическим проникновением. — От пьянства... А вы давно пьёте?

— Со студенческой поры. В те годы вино было натуральное и недорогое, соблазн большой. Водку я тогда совсем не пил. А вино почти каждый день. И никаких неприятных ощущений не было. А теперь дней семь всего подряд попьёшь, и начинается. Знаете, какой кошмар. Хуже ада! Самое страшное — трезвый уже, а ничем не можешь заниматься — ни читать, ни думать, ни сидеть спокойно, ни на мир смотреть, противно всё и страшно. Ходишь взад-назад по комнате, от страха трясешься весь и только на часы и смотришь. А они ни с места, хоть и тикают.

— Страх какой, чего-то конкретного боитесь, или неопределённый?

— Инсульта боюсь. У меня год назад инсульт был после длинного запоя. В лёгкой форме, правда, я сам к врачу пришёл, говорю, нога левая, когда стою на месте, напрягается. А он говорит: «Похоже на микроинсульт», — и направил в больницу. Неделью там лежал, и выписали, но пить, сказали, нельзя ни в коем случае. Лучше бы не говорили. Я теперь, как запой кончается, об этом вспоминаю и больше уже ни о чём и думать не могу — каждую минуту кажется, сейчас инсульт стукнет. Мне врач тогда сказал, повторный инсульт уже настоящим будет, а не «микро».

— А перед тем, как начать пить, об инсульте не вспоминаете?

— Не-ет, и мыслей не держу. В перерыве между запоями у меня отличное здоровье, делаю гимнастику с гантелями, контрастный душ...

— Это заметно. Фигура у вас, как у юноши. И сколько длятся перерывы между запоями?

— Три-четыре месяца. Спиртное вообще тогда не пью и никакого влечения. А потом нечаянно выпьешь, думаешь, на этом остановишься, ан нет, поехало...

— Сколько максимально можете выпить, когда запой?

— Я залпом никогда не пью.

— Ну вообще сколько за день?

— Литр, иногда больше.

— Чего, вина?

— Водки. Натуральное вино инженеру нынче не по карману.

— В больницу к нам сами обратились?

— Сам. У меня неделю назад юбилей был, шестьдесят лет исполнилось. На работе почествовали, и запил. Сначала отгулы по телефону брал, потом начальник отдела — а я у него в замах — говорит, кончай, выходи на работу. А куда там на работу, я больной весь. Хотел в интимную лечебницу обратиться — стыдно ведь, — да там, говорят, больничный не дают. Пришлось к вам...

Он вдруг заметил, что она записывает его слова в медицинскую карту. «Недоставало ещё на магнитофонную ленту записать! — испуганно подумал он. — Зачем я разговорился-то? Как на исповеди!»

Он стал отвечать на вопросы коротко, немногословно.

— Вы как будто чего-то испугались, — заметила она.

— Да, мне стыдно.

— Это хорошо. Мой покойный муж пил по-чёрному, но, к сожалению, никогда не говорил, что стыдно.

— Ваш муж давно умер?

— Два года, как одна. Почему это вас заинтересовало?

— Вы такая красивая, я подумал...

Озорные солнечные зайчики запрыгали по тёмной глави её глаз-озёр. Она с весёлостью смотрела и молчала. Сердце у него вдруг замерло от жутки и восторга. Он уже не сознавал, о чём она спрашивала дальше и что он отвечал, и не помнил, каким образом очутился снова в коридоре.

В себя он пришёл от дошедших до сознания бранных слов, болезненно бивших по его чувствительному слуху. Ругалась уборщица, возмущённая недержанием мочи престарелого алкоголика, лежавшего на койке в коридоре. Судя по выкрикам, ему только что заменили насквозь промокшие и дурно пахнущие простыни на новые, а он не только их тут же обмочил, но и сходил в кровати по-большому.

Ярцев поспешил удалиться от неприятного зрелища. Но уйти от затхлого воздуха, от угнетающе затхлой среды, от косных, бранных, неинтеллигентных речей было некуда. Это неприглядное убожество его смертельно утомило. Он маялся по коридору из конца в конец и думал, какое великое благо быть трезвым, на свободе — чай вволю, гимнастика, контрастный душ, чистое полотенце, свежий воздух...

Навстречу шла Нелли Константиновна. Миниатюрное лицо с точёным носиком и ушками, миниатюрная фигурка, лёгкая, красивая походка. На вид и тридцати не дашь, но умный, властный взгляд говорил, что ей всё-таки за тридцать. Почувствовав себя обласканным одним её явлением, он притормозил в надежде, что она ему что-то скажет или просто улыбнётся. Но она прошла мимо, не взглянув.

Унылость окружающего представилась безысходной, непереносимой. «Завтра непременно попрошу, может, выпишут», — подумал он. Мечтания о возможном завтрашнем освобождении помогли скоротать время до обеда, потом до ужина, потом до сна. От снотворной таблетки он отказался, полагая, что мысли о недалёкой свободе помогут и уснуть.

Но заснуть без таблетки оказалось не так просто. Громоподобно храпел сосед. Два других соседа регулярно через короткие промежутки покоя принимались обмениваться злобными ругательствами. В углу палаты кто-то нестерпимо долго ел со сладострастным чавканьем. Бесперывно кто-то поднимался и шаркал шлёпанцами, направляясь в туалет или туалет. Через раскрытую дверь доносились какие-то дикие выкрики из коридора. Забыться во сне Ярцеву удалось лишь под утро.

Поднялся он задолго до врачебного обхода. Побрился и стал ходить по коридору. Когда начался обход, прилёг одетый на кровать. Нелли Константиновна подошла к нему и спросила о самочувствии. «Отлично», — ответил он и хотел было завести речь о выписке, но ощутил вдруг неодолимую робость и волнение. Она переместилась к другой кровати, на которой сидел обаятельно мягкий и застенчивый юноша с приятным лицом. «Зайди после завтрака ко мне, Андрюша», — сказала она ему, и Ярцев по-доброму позавидовал названному Андрюшей, но и огорчился, подумав, как безжалостен алкоголизм, не щадящий даже таких вот молодых.

После завтрака он стал прохаживаться по коридору, держа под наблюдением дверь её кабинета. Когда из неё вышел Андрюша, Ярцев с сильно забившимся сердцем постучал и вошёл:

— Мне бы надо поговорить с вами. Одну минуту можно?

— Можно даже пять, — улыбнулась она.

— Я не могу больше здесь, Нелли Константиновна. Если бы я знал, какая здесь обстановка. Выпишите меня, я уже здоров.

— Хорошо, я поговорю с главврачом, думаю, он возражать не будет. Инсульта больше не бойтесь?

— Нет, страх у меня, только когда запой, а я теперь принял решение не пить совсем.

— И ничего не беспокоит, не болит?

— Нет, я здоров.

— А я заболела, — она произнесла это с той милой, доверительной небрежностью, какая допускается обычно лишь в общении с близкими людьми. — Кашель, насморк.

— Здесь мудрено не заболеть, — он глядел на неё с нежностью и обожанием. — Это несправедливо, что вы, такая хрупкая, такая утончённая, здесь работаете.

— Если бы я здесь не работала, вы меня, такую «хрупкую и утончённую», никогда бы не увидели. Это разве справедливо было бы?

Её загадочные, глубокие глаза искрились игривым лукавством. У него, напротив, под воздействием её весёлости взгляд сделался серьёзным, лицо приняло решительное выражение.

— Вы правы, — сказал он. — Это было бы более чем несправедливо, если бы я вообще вас не увидел. Но теперь, увидев вас, я почувствую себя ещё несправедливее наказанным, если никогда вас больше не увижу.

Она отвела взгляд в сторону, в дальний угол кабинета.

— Простите меня за дерзость, — он смотрел на неё с мольбой. — Я сознаю громадность возрастного барьера между нами, но... он представляется мне нелепым. Разрешите мне хоть изредка видеть вас.

Она взяла авторучку, что-то написала на маленьком прямоугольничке бумаги и протянула ему. На листке была её фамилия: «Солнцева Н.К.» — и рабочий телефон. «Звоните», — сказала она.

Дальше началась феерия. Безудержная радость, свет, улыбки медсестёр и нянь, сдача постельного белья, получение больничного, сияние глаз Нелли Константиновны. И вот он уже дома. С воодушевлением проделывает комплекс упражнений с гантелями и пудовой гирей. Прежде он отваживался после запоев на такое лишь по прошествии двух-трёх трезвых недель.

Наутро с ощущением великолепного здоровья он отправился на работу. Штатный стол зама начальника располагался в общей комнате отдела таким образом, чтобы ему видно было всех, кто в ней находится. Но и самого его рядовые сотрудники могли беспрепятственно созерцать со своих рабочих мест. И вот едва Ярцев сел, как почувствовал незащищённость от взгляда чертёжницы Черкасовой. Полное её имя было Любовь Андреевна, но, несмотря на приличный уже возраст — она была сорокапятилетняя вдова, — все звали её просто Любочкой за общительность и простоту характера. Ярцев старательно увёртывался от её вопрошающих, призывных, томных глаз.

В обеденный перерыв она подошла, тихо молвила:

— Ты на десять лет помолодел, болящий. Чем хворал-то?

— Да пустяки, простуда.

— Что ж не приходил, я бы живо вылечила, — глаза у Любочки сощурились.

— Я не приду к тебе больше, Люба.

— Что так, помоложе нашёл?

— Да. То есть нет, — смутясь, он отвёл взгляд в сторону. — Это другое, Люба. Непостижимое. Я не знаю, как объяснить. Это от Бога, от звёзд, от грёз детства, от тайны.

— И сколько же ей лет, этой твоей «тайне»?

— И не знаю, это не имеет значения.

— Ясно. Влюбился, великовозрастный мальчик. Ну ладно, приятных тебе услад. Только смотри, как бы худо не было от «тайны»-то. Я-то, дура, перед тобой открытая была.

— Прости, Люба.

— Бог простит.

Вечером Ярцев принялся ломать голову над вопросом, когда уместно будет Нелли Константиновне позвонить. Этот вопрос истязал его шесть дней. На седьмой он решился.

— Сколько лет, сколько зим! — услышал он в трубке мягко-ироничный голос. — Где это вы пропали?

— Я... Боялся показаться вам назойливым.

— И напрасно. Я же сказала, звоните.

— Мне бы хотелось вас увидеть. Можно мне вас увидеть, Нелли Константиновна?

— Не знаю... Приходите ко мне в кабинет, я с восьми утра до трёх дня работаю.

— Но в эти часы я тоже ведь работаю! — едва не со слезами воскликнул он.

— Приходите в субботу, у меня по субботам рабочие дни.

На это субботнее свидание он шёл, точно на экзамен по совершенно не знакомому предмету. Шёл как будто к школьной своей учительнице, в

которую был влюблён. В кабинете у Нелли Константиновны сидела медсестра Тамара, и он с вдохновением труса «вцепился» в разговор с этой словоохотливой медсестрой, страшась даже взглянуть на «предмет» своего обожания. Но он всё же взглядывал и видел, что Нелли Константиновна не сердится на него за разговор не с ней, в глазах у неё было понимание и даже будто поощрение.

Он стал приходить в заветный кабинет каждую субботу. Всё сделалось необычайно интересным, точно в детстве. Мир по мановению невидимой волшебной палочки переменялся. Ярцеву теперь странно было, как это совсем недавно могло казаться, будто его малость притомила жизнь. Теперь он был уверен, что не устанет радоваться жизни до ста лет.

Мало-помалу он научился раскованно вести беседу во время свиданий не только с Тамарой, но и с самим «предметом» обожания. Это было наслаждением. Присутствие третьего лица его уже досадовало. И однажды он сказал Нелли Константиновне:

— Если бы не запрет на спиртное, я бы отважился пригласить вас в ресторан. Сидеть с вами наедине за трапезой, глядеть на вас, молчать и ничего не помнить... — наверно, это и есть конечная цель бытия.

— Ресторан — это пошло, — возразила она. — Есть контрпредложение. Завтра я дома одна, — сын уехал в деревню к моей маме, — предлагаю посидеть за трапезой у меня. Только без «конечной цели» — просто посидеть.

Назавтра в два часа дня он подошёл к её дому. Дом был из серого кирпича, двухэтажный. Располагался он в конце улицы, на окраине, по соседству с был детский сад, а с другой стороны, через дорогу, небольшая рошица с аллеюшкой и скамейками. Ни мельтешения автомашин вокруг, ни осточертевших «росбизнесконсалтингов», курсов долларов, реклам, ни интернетных «Три дабл ю точка рус точка». Он очутился в своей юности. Он шёл к своей учительнице.

Единственный подъезд, деревянная лесенка, деревянные перила с фигурными балясинами. Нелли Константиновна возникла в дверном проёме светлая, в изящном, лёгком платье. Ласково распахнулась волшебная темень её глаз, и ему подумалось, что этот мир вобрал в себя всю прелесть жизни.

Стол уже был накрыт. Увидев на нём бутылку вина и два фужера, Ярцев заволновался. Два месяца повторял он по нескольку раз в день формулу от пристрастия к спиртному: «Алкоголь безразличен мне, водка противна, вкус вина отвратителен...» И вот, увидев блеснувший в солнечном луче тёмно-рубиновый перелив бутылки, он осознал вдруг, какая это ханжеская ложь — слова, обличающие вино в отвратительном вкусе. Он ясно ощутил, с каким наслаждением глотнул бы сейчас этой тёмно-рубиновой бесовской прелести.

Но рядом была Нелли Константиновна, утончённая, загадочная, каждым движением лица и тела являвшая возвышенную тайну. В сравнении с этой тайной вожделенный глоток вина представился никчёмной плотской пошлостью. Он превозмог минутную слабость. С безумием фанатика он повторил про себя: «Вкус вина отвратителен...» — и утвердился в мысли, что вино над ним не властно.

Они сели, и Нелли Константиновна предложила ему откупорить бутылку. Он опять заволновался.

— Только я вино пить не буду, — сказал он дрожащим голосом. — Я принял решение не пить совсем.

— Ну зачем такие крайности! Один бокал я как врач вам разрешаю. За моё здоровье. Помните, как Санчо Панса говорил: «Если друг поднимает бокал за ваше здоровье, то какое же надо иметь каменное сердце, чтобы отказаться выпить за его!»

— Не искушайте, Нелли Константиновна! — взмолился он. — Если я выпью бокал, мне захочется ещё.

— Так выпейте ещё, кто запрещает! Мы с вами одни, никто не узнает, как мы опьянели. Вам же хочется опьянеть со мной, я же вижу. И я разрешаю. А то вы так робеете, что не решитесь меня поцеловать. Вам ведь хочется меня поцеловать, ведь правда?

— Нелли Константиновна!

— Пора бы уж вам называть меня просто Нелли, я, слава Богу, ещё не старенькая.

Ему показалось, омуты её глаз сверкнули гневом. Но то была игра. Через секунду темень её глаз уже обволокла его ласково-мягкой жутью, затем как будто отпустила и тут же вновь с неодолимой силой повлекла в себя.

— Нелли... — пролепетал он и тут же испугался своей дерзости и добавил. — Константиновна. Я действительно робею. Вы такая необычная. Я вам поклоняюсь, я не посягаю даже в мыслях на ваше расположение. Вы и так дарите блаженство одним лишь тем, что вы есть и позволяете себя видеть. Будь я моложе, я дерзнул бы предложить вам руку и сердце и в случае вашего согласия, наверно, умер бы от счастья. Но я слишком стар для вас. Я хочу быть достойным вашего уважения, Нелли Константиновна, умоляю, не искушайте меня вином.

Бесовская жуть в её глазах растаяла, взгляд сделался нейтрально благожелательным, интеллигентным.

— Ну что делать, будем тогда просто сидеть и молчать, — произнесла она без огорчения, затем не без иронии добавила: — Молчать и ничего не помнить, как вы говорили. Попробуйте моё фирменное блюдо — рыбное ассорти. Только не закатывайте глаза от удовольствия.

Он попробовал «фирменное блюдо» и зажмурился от удовольствия — ассорти действительно было очень вкусным.

Он не помнил, как очутился снова дома. Часы показывали половину пятого — значит, он провёл у Нелли Константиновны больше двух часов. А казалось, лишь минуту. Но в этой минуте была вечность. Он не помнил, о чём с ней говорил, в памяти вспыхивали лишь отдельные её слова, движения и взгляды, составлявшие вместе дивную гармонию. Несказанная щедрость, явленная ему неизвестно каким богом в образе минувшего только что свидания, потрясла его. Он пытался мыслить связно, но не получалось, мысли под наплывом счастливых впечатлений крошились, насакаивая одна на другую в водовороте чувств, точно паводковый лёд, крутились, уплывали, возвращались. В этом нескончаемом сумбуре радости промелькнуло отрезвляющее — он вспомнил, что сегодня ни разу не провёл сеанса заклинаний против пьянства.

Он подошёл к окну и закрыл глаза, сосредоточиваясь к произнесению вопиюще противоречащей настроению формулировки: «Я совершенно спокоен и уверен в себе, водка противна, у вина отвратительный вкус...»

Но глаза нечаянно открылись, и он встретился взглядом с заходящим солнцем. Оно улыбнулось ему, он это отчётливо увидел. И ясно ощутил, что оно разумное, живое. И вместо противоалкогольного заклинания мысленно вдруг воскликнул: «Хорос-солнышко! Дажьбог! Майя! Дева! Род-Родовит! Ярило-Переплут! Милые славянские боги! Вселенная! Всевышний! Благодарю за радость и за то, что есть Нелли Константиновна. Да будут благословенны, светлы, вечны её дни».

В понедельник он поднялся в пять утра с ощущением необычайной бодрости. Без раздумий, точно это было решено заранее, он на первом автобусе доехал до лесной опушки и пошёл по тропинке вглубь. Низинка с цветущими ландышами сама вышла ему навстречу. Он присел на корточки и стал собирать букет. Комариные орды с яростным воем напали на него. Он принимал их укусы с кроткой улыбкой, со смирением.

Дома он поместил букет в банку с водой и позвонил на работу. «Я задержусь немного, — сказал он начальнику. — Труба потекла, вызвал слесаря».

Дежурная уборщица в больнице, открыв на его звонок дверь, сообщила, что Нелли Константиновна, как и все врачи, сейчас на учёбе.

— А её кабинет заперт?

— Посмотрите, может, медсестра там.

Кабинет оказался незапертым, в нём сидела медсестра Тамара.

— Какие крупные! — изумилась она, принимая ландыши. — Это садовые?

— Нет, в лесу собирал.

— Сами? — опять изумилась она.

— Сам.

— Хорошо, я ей так и скажу.

Придя на работу в свой отдел, он позвонил. Нелли Константиновна как раз только что вернулась в кабинет с учёбы. Банку с ландышами она переставила со стола на подоконник со словами:

— Уборщица ворчать теперь будет: «Лишний мусор».

— Он сказал, сам их в лесу собирал, — сообщила Тамара. И не удержалась от смешка.

— Великовозрастный мальчик, — с небрежностью произнесла Нелли Константиновна. — Представляешь, я ему говорю вчера: «Вам ведь хочется меня поцеловать, я вижу», — а он в ответ: «Не искушайте меня, Нелли Константиновна».

Тамара, не сдержавшись, прыснула, потом сказала: «Отпусти ты старика, не мучь, чего он тебе плохого сделал!» И в этот момент Ярцев позвонил.

— Вам передали ландыши? — сказал он, сдерживая радостную дрожь голоса.

— Передали, — ответила Нелли Константиновна и через паузу утончённо чётким голосом добавила. — Знаете что, мне кажется, вы выбрали не тот объект для внимания.

— Простите, — тихо произнёс он и осторожно опустил на место трубку.

После обеденного перерыва он отпросился с работы, сказав начальнику, что неважно себя чувствует. Придя домой, он в рассеянности защёлкнул замок в двери и тут же почувствовал удушье. Он хватнул воздух широко раскрытым ртом. Близко к глазам изнутри что-то дёрнуло, и на

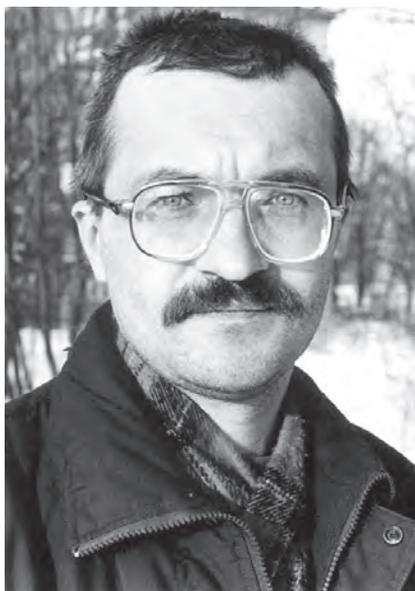
секунду у него пропало зрение. Он успел дойти до кровати прежде, чем ушло сознание.

Когда он очнулся, была ночь. Он хотел повернуться и включить ночник, но ни тело, ни рука не повиновались, хотел вслух возмутиться — не повиновался и язык. «Конец, insult», — пронеслось у него в голове. Страх он не испытывал. Было, напротив, удивительно спокойно. «Не тот объект для внимания», — вспомнилось ему, и он подумал: «Зачем же вы так себя принижаете, Нелли Константиновна! Вы не «объект для внимания», вы выше. Неизмеримо выше».

Мягкой вспышкой озарили его души строки из «Теона и Эсхина» Жуковского: «Кто раз полюбил, тот на свете, мой друг, уже одиноким не будет». С этим напутственным благословением, с чувством благодарности Роман Викторович Ярцев отправился в лучший мир.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЕКСЕЮ КУРГАНОВУ — 55!



Ну что ж, Алексей, вот и подошли твои «две пятёрки». И этот, пусть и «не круглый» юбилей не оставил равнодушным нашу редколлегию.

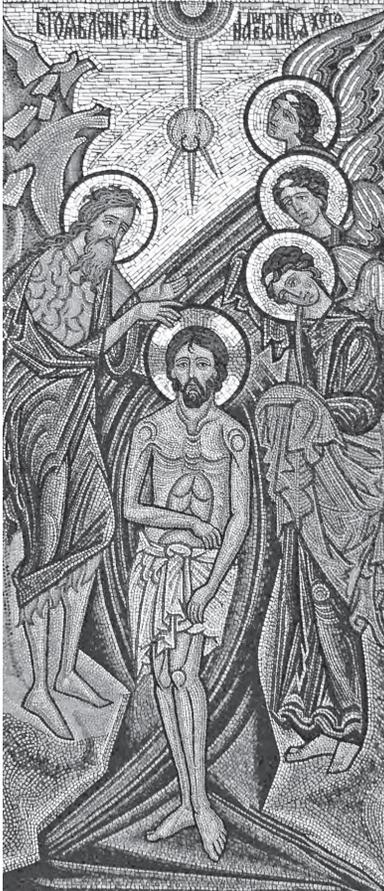
Ведь уже в первых номерах «Коломенского альманаха» появились твои рассказы. И читателям понравился твой суровый стиль, та бескомпромиссность, а подчас и жёсткость, с которой ты касался болевых точек современности.

Дорогой Алексей Николаевич! Мы желаем тебе мужества и творческого горения. Дай Бог тебе сил обрабатывать строчки прозы с таким же упорством, с каким кузнец сбивает окалину с пылающего металла! Надеемся, что ещё не раз страницы альманаха украсятся твоими новеллами.

Коллектив редакции

ВАСИЛИНА КОРОЛЁВА

В художественной своеобразности Василины Королёвой соединились природный дар и отечественная культура в её душевно-пейзажно-русском и умно-кватрочентистском обликах. Детство, Коломна-город-сад,



изобильно-восторженный, пыхающий любовью к искусству наставник Михаил Георгиевич Абакумов — привили страсть к художеству, заморозили красками. Монументальная школа суриковского института, с её расчисленной живописью-алхимией, парадоксально перечеканили начальные колористические предрасположенности и метафизически выверенную стилистику, в коей просматриваются родовые черты того направления в отечественном мировидении, что некогда означил Алексей Гаврилович Венецианов.

Ясно-прозрачные венециановские гармонии, при всей внешне хрупкой неприкаянной обречённости, неискоренимы в почвенном, подлинно русском искусстве, периодически прорастают диковинными цветами. Почвенность, проходя путями «передвижнических» мужицких мытарств, исчезая вместе с гибнущим природно-сельским ладом, продолжает питать, благородить редких совестливых художников наших дней.

Но у каждого в этом «северном плаче» своя нота. Поколение Николая Егоровича Зайцева, Виктора Георгиевича

Харлова, Веры Ивановны Ушаковой ещё застало работавших на земле, хранящих предание стариков и бабушек, встретило робко возвращающуюся осквернённую веру. Их дети стоически тянутся в оставленные места.

Стоицизм, пожалуй, одно из определений, частично расшифровывающих образные особенности картин Василины Королёвой. Их герои, прежде всего муж Максим Харлов да она сама, упорно, хоть на время, возвращаются на землю. Но это уже не естественное к ней прилепление, а инициация души и тела, формующая «завещанные от века» «самостоянье человека, залог величия его», определяющая смыслы и зримости творчества.

Сергей Гавриляченко, народный художник России

ГНЕЗДО



Татьяна Ивановна Кондратова родилась в Наро-Фоминске, с 1978 года живёт в Коломне, окончила филологический факультет педагогического института, преподавала в школе. Кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы МГОСИ. Член Союза писателей России. В 2011 году выпустила книгу «Три рода жизни», объединившую прозу, драму и стихи. Татьяна Кондратова — организатор фестиваля авторской песни, поэзии и прозы «Господин Ветер», который проходит на коломенской земле; руководитель молодёжной площадки Коломенского поэтического марафона, член жюри Всероссийского поэтического форума имени Гумилёва «Осиянное слово», член редколлегии «Коломенского альманаха».

Рассказ

Я знаю, что, когда уходит любовь, в душе человека поселяются крысы. Я представляю это так: вот в тот самый момент, когда за ней, за любовью, должна захлопнуться дверь, в эту узенькую (ничего приличного туда пройти даже боком не может) щёлочку проскальзывает крыса. Суетливая, с чёрными умными бусинами глаз.

Я представляю это так: вот всё, что там от любви осталось, все вещи, ею брошенные, — теперь это крысиное богатство. И садится новая хозяйка перед зеркалом — глядится и не налюбуется на себя, любопытствует, перебирая добычу, неожиданно на неё свалившуюся. А потом уже своё гнездо вить начинает, и из брюшка её, день ото дня круглеющего, через несколько недель крысятки рождаются. Сначала маленькие, потом они вырастают, сами крысят родят, поскольку инцест в крысином роду — дело обычное. И начинается в человеке скрытая ото всех крысиная жизнь. Сначала они ему всю душу изъедают, но, даже если большая душа, широкая, пищи такой своре скоро всё равно мало будет. И тогда начинаются мелкие вылазки: сначала на разведку — куснуть, оттяпать кусок чужого, потом страх перед опасностью исчезает, азарт даже появляется: на глазах у всех — отъест у жертвы лакомый кусочек, и... Был человек — стала крыса.

Эта картина не плод моего патологического воображения — возникла она в беседе случайной, в самой типичной для нашей русской жизни ситуации — долгая дорога в электричке (до Рязани почти четыре часа от Казанского), после двадцати минут чтения как бы неожиданно завязывается беседа, но

не всегда, конечно. Да это по глазам уже понятно, уже, когда лавочку в вагоне выбираешь, обязательно глядишь: кто напротив, как взглянет на тебя человек первый раз.

Моя попутчица — женщина за... ну, за шестьдесят, наверное. Волосы седые в узел на затылке заколоты (когда я место искала — женщина боком сидела), нос припудрен, неброская карамель помады на губах — вот вся косметика. Чёрный вневозрастной пуховик и, кажется, такого же цвета объёмная строгая дамская сумка. Да, да, не авоська, не баул, а именно дамская. Я сама такие вместительные люблю. Приятная молодая старушка — это первое, что я про неё отметила. Хотела сказать: про себя отметила, но ведь не про себя, а именно про неё (ох уж и заноза — это наше филологическое образование!).

И правда, первые двадцать минут, пока за окнами тянулись индустриальные пейзажи московских окраин, пока догружалась пассажирами гусеница нашей электрички, мы обе, сидящие друг против друга, пытались читать. Мне всегда любопытно: что читают попутчики, и, если видишь книгу, которую считаешь и своей тоже, любимой то есть, человек почти родным уже кажется. Для меня, признаюсь, книга — это как визитная карточка. Так вот: попутчица моя читала... Кундеру! Да-да, ту самую «Невыносимую лёгкость бытия» — книгу о легкокрылой тяжести всего нашего бренного существования, которая когда-то породила во мне просто чёрную и долгую волну депрессии, потому что опровергала хоть какую-то константу, хоть что-то постоянное в системе наших отношений. Книга слома политического режима, на фоне которого там показана драма главного героя, ещё больше усилила мою тоску: ведь и моя молодость на такой слом, пусть с обратным знаком, чем у Кундеры, но всё-таки именно на слом-перелом пришлась.

Вот признаюсь: не ожидала увидеть Кундеру — обычно ведь в ярких, как степь весной, глянцевых обложках какое-нибудь неизвестное женское имя, за которым иногда стоит вовсе не женщина, а изобретательный автор-мужчина. Ну да что об этом? Вопрос мой был совершенно естественным:

— И как вам Кундера? Вижу — читаете, а я в прошлом году... как-то размышлялось после неё много...

Но разговора не получилось: она только начала читать, не хотела перебивать впечатления:

— Начало интересное очень. Ну, я вот только начала: вчера всю дорогу до Москвы читала, вот сегодня тоже, может...

— А едете до...?

— Луховиц...

Вот сейчас я думаю, а она как меня тогда восприняла, то есть оценила по-своему? Я ведь своей визитной карточки тогда не доставала: «Дневник писателя» Достоевского лежал на самом дне сумки (искренне признаюсь, что белых пятен в моём недообразовании ещё ого-го сколько!). А внешне: ехала с работы, значит, во всём: в одежде, в макияже — умеренность. Должны слушать, а не разглядывать — этот девиз я для себя ещё в молодости сформулировала, но, признаться, может быть, он и не действует, может, ошибочный. Но я, как истинный консерватор (люблю консервировать!), девизу своему следую: от верхней одежды до нижней (это я хотела сказать — до духов).

Впрочем, всё это ерунда. Главное — почему эта тема в разговоре нашем высочила? Ведь у женщин нашего возраста уже не «о снах, о книгах», как в песенке молодости нашей пелось, — у нас уже о внуках-огородах. Хотя у меня внуков пока что нет, у неё, как оказалось, тоже. Значит, о детях! Да, конечно: к концу дороги обычно знаешь не только имена всех, скажем, четырёх дочек попутчицы, но и имена их парней и подружек. Но это я вообще — это часто так бывает со мной.

У Надежды (познакомились минут через пятнадцать) всего одна дочь была: после иныза в Москве работала, в турфирме, потом за рубеж махнула, потом вернулась, потом опять... Кстати, вот и родство наше с попутчицей выяснилось — в прошлом училка литературы, как и я, впрочем. Но на пенсии, наверное... И рассказывая о дочке своей Леночке, о работе её в Чехии да о своей собственной поездке в Прагу, достала Надя конверт с фото: городские пейзажи, памятники, ландшафты... дочь красавица... И вот на одном снимке Леночка с подружкой, видно, снята была: стройной, как говорят, очень интересной женщиной, даже по фото видно — счастливой: улыбалась глазами даже. Постарше Надиной дочери, конечно, а может, просто на фото так получилось. И вдруг:

— А это мы с дочкой на Карловом мосту...

— Как вы? Это вы? Когда это?

— Два года назад.

Мне неловко даже стало за выплеск этого изумления моего. Я редко краснею — у меня просто в висках обычно в такие минуты стучать начинает. Вот застучало. И пауза повисла. И сказать что — не знаю. «Ой, как вы тут выглядите прекрасно!» — это же пошло и жестоко, потому что сидит передо мной пожилая женщина — отёчная дряблая кожа под глазами, глубокие борозды, от крыльев носа к опущенным губам бегущие. Всё ведь поймёт, если скажу так. Лучше уж о рыцаре на мосту, на фоне которого снимались. И это поймёт... Это как раз и называют неловким положением. И пока я фото перед собой держала и, пересиливая стук в висках, пыталась всё же сообразить, где выход из этой глупой ситуации, она сама все эти мои мучения, кажется, поняла. Ну, наверное, поняла, потому что сама начала говорить. Твёрдо сказала, мне в глаза глядя — своими серыми, большими и печальными:

— Не узнали? Да, изменилась. Другая жизнь, и я другой стала. Но живу ведь, существую то есть.

Надежда повернулась к окну, за которым бешено мелькали почти пустые огороды, уже готовые к зимнему отдыху, нахальные мусорные свалки, тоже ожидающие снега, чтобы прикрыть культурное свинство дачных массивов, переходящих один в другой на протяжении десятков километров. Вот она — зелёная зона нашей столицы. Да, все ждали зимы с её иллюзией чистоты и безгрешности мира. И я тоже повернулась к окну.

— А хотите — расскажу. Почему на старуху (сама знаю) похожа стала. Вижу ведь, что и вы меня не ровесницей приняли, — Надежда резко повернулась, и глаза её сверкнули силой какой-то, дерзким даже каким-то вызовом. Я уже поняла, что ошиблась первым своим впечатлением, проскользнув по внешности попутчицы легкомысленным своим взглядом. Нет, теперь я видела: передо мною не старая ещё женщина, горе какое-то пережившая.

Я знаю, что на вопросы такие лучше не отвечать: риторические они в сущности. Сидящие рядом с нами визави спали: мой сосед засвистел носом уже после Выхина; женщина напротив мирно посапывала на плече сидящего с краю мужчины — мужа, наверное, но похожего на младшего брата её.

Я видела, что Надежда поняла мой взгляд — мою готовность к вниманию, мой интерес.

— Я вдовой в двадцать восемь стала: купался на Голубых озёрах, нырнул неудачно. Ну, горе, конечно, было, но пережила как-то: дочка была, да и жили мы — не скажу, что хорошо: пил он. Женились когда, мама моя говорила: гляди, семья-то пьющая. Да кто ж по молодости на это внимание обращает — любовь ведь. А я думаю сейчас, что и не любовь, просто одной остаться страшно было: после института три года в Сибири по направлению проработала, вернулась — девчонки все замужем уже, ну и я выскочила. Нет-нет, были чувства, конечно, были. А что ж ещё — по расчёту в наше время никто, мне кажется, не выходил замуж — может, от безысходности выходили, но не из расчёта. Ну, это я не про всех, конечно, а про подруг своих точно сказать могу. Ну, не об этом же хотела — в общем, и с мамой они не ладили потом, к нему жить ушли, и гулять стал, но главное — пить. И в личной, как говорят, жизни никакой радости не было. Из школы я ушла тогда — жалею до сих пор. Ну не могла работать: надо тетради вечером проверять, к урокам готовиться — а мой концерт закатывает. Он уснёт — мать его начинает, уже за него меня ругать. В общем, когда погиб так глупо, — вроде и освободилась от чего, хотя грех так говорить, конечно. И доброго в нём много было: когда трезвый — дочку любил, работой никакой не брезговал. В обрубку с высшим образованием пошёл — на кооператив заработать хотел, но тут перестройка, приватизация, все эти обвалы... Бесплезно всё было, одним словом. Не знаю, любил он меня — нет... Теперь уже не узнаешь этого. Трезвый говорил: любит, а пьяный придёт: кроме суки и сволочи, слов других не знал. Не просто выпивал — напивался до горячки.

— Почему ж терпели?

— А куда, куда деться? На зарплату воспитателя детсада квартиры не снимешь. Уже после смерти Мишиной моя бабушка нам с Леночкой дом свой завещала, в нём и живу сейчас. Все удобства в нём провели. Мне лучше и не надо: и тепло, огородик свой под боком. Сада, правда, нет, земли мало совсем, ну и ладно. Рядом Коломна — город садовый, на рынке яблоки, сливы недорого всегда.

Я глядела на женщину, которая заманила, заинтриговала тайной какой-то, и понимала, что не та далёкая по времени смерть мужа так пригнула, иссушила её. Вот все мы болтушки-женщины: начала об одном, а теперь вот легко к рецептам пастилы яблочной перейти можно или о ценах установки газовой колонки в частном секторе поговорить...

Она сама вернулась к рассказу:

— В общем, пережила я всё это. Легко не легко, теперь что ж об этом? Работа хорошая была, любимая то есть, но не денежная, конечно. Да я эту проблему легко решила: стала подрабатывать, уроки частные давать: русский язык, он же всем нужен. Кого в школе подтянуть, кого к институту приготовить. Ленку растила, её репетиторов по английскому оплачивала:

там цены другие: родной язык, он в этом смысле дешевле иностранного получается. Ну, да это ладно. Я вот сейчас даже сравниваю иногда: в парикмахерской за двадцать минут стрижки полтысячи оставляла раньше, а репетиторством за три часа эти деньги зарабатывала. Вот и считайте, чей труд престижнее...

Мне тоже хотелось сказать и про язык родной, и про престиж (вернее, непрестиж профессии филолога), и про настоящих врагов народа, засевавших в министерстве образования, но я подавила это желание: хоть болтушки мы природные, но я стараюсь бороться со своей природой, и иногда... представляете... даже получается победить её. И Надежда опять вернулась к рассказу:

— И все эти годы я жила без любви. И без личной жизни. Леночку надо было растить, да и в детском саду, сами понимаете, мужчин в принципе нет никаких. На танцы для тридцатилетних не ходила, смеялась даже: толпа баб за каждым инвалидом охотится там. Мне подруга одна рассказала, что женщин там больше. И мужчины там, как индюки важные, ходят и выбирают. Ну и читала я всегда много. Жалела, что из школы ушла, но мозги всегда боялась засушить: «Юность», «Новый мир» читала ещё с советского времени. Сейчас вот Леночка чтение моё определяет...

Вот и Кундере объяснение нашлось! И где-то на периферии сознания мелькнуло, что верю всему, что нравится даже, как она рассказывает: просто очень, хорошо рассказывает. Меня вот многим филология испортила: объясняешь, например, что такое метафора, и, чтобы получше поняли, показываешь, как можно сконструировать эту самую метафору, скрытое сравнение то есть. Вот солнце — оно на что похоже? Правильно, на блин, на апельсин, на футбольный мяч... То есть солнце, как блин, апельсин и мяч. А потом уже это «как» убираем, и получается такая красивая картинка: оранжевый апельсин солнца лежит в голубой тарелке неба. Или вот: румяный блин солнца лил на землю свои жирные тёплые лучи... Интереснее ведь, чем солнце светит на небе? И дети обычно говорят: да-да, интереснее. А я говорю: давайте, дети, мир через метафоры изображать. Чтобы интереснее было... А сейчас думаю: зачем? Пусть просто висит это солнце на небе, а апельсины в тарелке на столе лежат. Вот рассказывает женщина о себе, безо всяких метафор рассказывает, а мне всё равно хочется слушать её. И я стала слушать.

— Мы познакомились с ним случайно. Я купила этажерку угловую для книг — она небольшая, в общем, на обычной машине подруга довезти хотела, но тяжёлой оказалась. Думали грузчика из магазина попросить, за деньги, конечно, но час ждать надо было. Подруга моя говорит: «Да сейчас первого попавшего мужчину попросим, чего час-то ждать!» Вот нам он и попался. Деньги в автомат около магазина клал. Мы его и схватили: приличный такой с виду, и глаза весёлые. Для вас, милые барышни, — говорит, — что хотите, сделаю. Может, говорит, ещё что из мебели прихватим? Балагур, одним словом. И захватили мы его с собой домой, он нам из машины до ворот этажерку донёс и глазами спрашивает: дальше? И мы глазами и головами закивали: дальше! И пошло-поехало дальше: он командировочным оказался, что-то совместное у нашего завода с их предприятием на Урале. Человек свободный совершенно, ну, в разводе то есть, дочка есть любимая, но семья бывшая там, в городе его

живёт. Это он нам о себе всё за чаем рассказал — чай мы втроём пили, с подружкой моей Ниночкой. А она тоже, как и я, одинокая, только у неё принцип жизненный суровый: мужикам верить нельзя, все мерзавцы, только один порядочный — да и тот свинья. Это так мы с ней когда-то в шутку Гоголя переиначили, но Нина её девизом своим сделала. Я не то чтобы завидовала ей, нет-нет, не завидовала, прямо слов не подберу: удивлялась, как она использовать всех мужчин могла. Ну, вот чай попили, и стал он собираться. Нина тоже; спросила, куда ему, подбросить предложила. И я осталась со стола убирать, да книжки на новую этажерку хотелось расставить вечером. Вы мне можете не поверить, но я ничего тогда не ждала, не предполагала, да и, как сейчас говорят, никаких флюидов не почувствовала. Отметила про себя, что хороший мужчина: помог бескорыстно — от денег отказался, обиделся даже. Кроме чая, ничего не просил, я имею в виду — выпить не просил... Это тоже черта важная. У меня после мужа моего на выпивох аллергия просто. Хоть золотой, но если к рюмке рука тянется — унесите...

Надежда всё больше менялась — она оживала: рассказ её оживлял, молодил как-то. Мне особенным ещё то показалось, что она всё время в глаза мне глядела, и я чувствовала, что до остановки её конечной я уже обречена на гипноз этот сильный. Ведь отвести глаза в этой ситуации — разрушить доверие, может быть, тебе одной данное. И я молчала, и глядела, и давила желание рассказать про свой опыт выживания в условиях, мягко говоря, не совсем трезвого образа жизни моего мужа, про удобные и дешёвые книжные стеллажи, которые можно заказать в нашем городе, про Гоголя, крылатые фразы которого мы переиначили совсем по-другому. А Надежда всё говорила:

— Вот убрала я всё, калитку закрыла уже — в частном доме сейчас иначе нельзя, мужчины в доме нет, поэтому чуть сумерки — закрываю на замок. Ну, летом ещё, и Леночка когда приезжает — так допоздна иногда ходим-бродим за ворота: то к соседям, то на костёр перед домом чего вынести надо. Ну, а тогда закрыла я калитку уже. И вдруг — звонок. Наверное, думаю, соседка, тётя Поля, нужно чего ей, — мы с ней, как родные, живём. Пошлёпала открывать. «Кто?» — спрашиваю. — «Надя, это Николай. Пустите?» Я и не сказала, наверное, что Николаем его звали — это он сразу тогда нам представился: «Николай — образование высшее, 43 года, без вэпэ и жэпэ». Как командиру рапортуют, сказал. Мы хохотали тогда ещё по дороге из магазина: смешно ведь, правда, звучит это сокращённое: без вредных привычек и жилищных проблем. Думали даже, что военный. Так вот он просто спросил: «Пустите?» И я пустила. И у него была роза — на длинной ножке такой. И шампанское. Я вообще-то не люблю шампанское. Но я поставила два бокала. И достала что-то на стол. И почему-то подумала, что вот столько лет я думала, что встречу мужчину, своего мужчину, но ведь ни одного не встретила. И если он, Николай, сам пришёл ко мне, значит, это судьба и есть. Ведь никто никогда так просто не приходил. Ночью почти. Он потом уже говорил, что не думал, что пушу, что так вот и любой аферист мог в доверие войти. Но я сразу, вот только когда в голове прострелило, что он это, я сразу поняла, что это моя жизнь пришла. Новая жизнь. И теперь знаю, что люди живут днём ради ночи, что любовь — это не фантазии из книг. Я

раньше просто понять не могла: вот есть на нашей улице женщина одна, не старая ещё и нормальная, не пьющая в общем, так вот (не знаю даже, как назвать его) муж не муж её — из тюрьмы не выходит. Выйдет и опять, как в фильме: украл, выпил — в тюрьму. А она его ждёт: на памяти моей уже лет пятнадцать ждёт, а он больше полугода на свободе и не бывает. Плакалась как-то мне на паразита своего. Так и говорит о нём — паразит! Ну, говорю ей, бросила бы ты его, жила бы нормально. А она мне: люблю его, паразита этого. Вот никогда такой любви слепой понять не могла. А теперь поняла, тогда поняла. И повезло мне очень: Николай таким оказался, таким — ну, не бывает таких. Мне тётя Поля говорила: «Ох, и сдельный мужик у тебя, Надежда!» — «Почему сдельный?» — «А всё сделал, что пообещал вчера: и забор во дворе подправил, и на чердаке разобрался». Это уж точно, переделал кучу дел хозяйственных, и легко так всё, без нервов. И я видела в зеркале, что мне тоже не пятый десяток вовсе, что бывает чудеса, что время иногда в обратную сторону вертеться начинает. И я Леночке (она тогда в Чехии уже жила) написала про Колю, про отношения наши. И ещё больше счастья мне было: Ленка моя письмо прислала по почте страниц на пять — если коротко: она теперь счастлива тоже, потому что я счастлива. Но так красиво написала, так красиво! Я Коле всё это прочитала, он смеялся: вот дочка ещё одна появилась теперь. А я плакала, а он всё смеялся: дура ты, говорит, моя дура литературная. И мы уже вместе смеялись. И как месяц пролетел, я вообще не помнила...

«Следующая станция Фаустово...» — очень резко и громко как-то крикнул наш невидимый вожатый — Надежда вздрогнула даже. Впрочем, я тоже. Сеанс гипноза закончился — мы обе посмотрели в окно: батюшки! Снег! Первый, густой, и за окном стало так плотно бело, что кроме лепёх снежинок, которые ветер гнал и гнал к стёклам поезда, ничего уже не было видно. И снег этот был подкрашен синькой сумерек, потому как из Москвы выехали уже в четыре часа. И скоро будет темно, но уже не так, как темно было вчера — снежный вечер всегда светлее бесснежного.

Теперь я попросила сама, это уж обязательно нужно было, чтобы я сама попросила. Это уже в оправдание того доверия, которое было мне, попутчице случайной, подарено.

— А дальше что? Что было? С вами, с Колей?

— А дальше... Ехать ему в Златоуст надо было, домой то есть. Сказал, что через два месяца приедет снова. «Ты, — говорит, — не звони. Давай пока дочке ничего говорить не будем. Потом, я её подготовлю немного». «А разве вы вместе живёте?» — спрашиваю. — «Вместе. Пока вместе». Я вроде деликатной быть старалась. Он по вечерам обычно дочке звонил, отходил в огороде к сараю — там связь хорошая. Так я ничего не слышала, что он там, о чём говорил с нею. Но после этих слов, что живут с женой бывшей вместе в квартире одной, говорю ему: «Коля, а ты оставайся у меня совсем. Съезди, рассчитайся на работе — переезжай сюда, одним словом. Что ж так жить в разводе и вместе. И дочка твоя сюда приезжать к нам будет. И если Леночка моя вернётся, ещё лучше будет — как сестрёнку младшую любить будешь». Знаю, что не должна женщина первая слова такие говорить, что мужчина должен всё предлагать сам. Но думала: чего ж стесняться — мы же одно целое, что захочет — всё ему отдам. Я и сама переменялась с ним: никогда модницей не была, а тут хотелось

рядом с любимым человеком выглядеть — красивой и молодой. Выглядеть по-новому — это ведь нетрудно. Особенно сейчас, когда по одежке уже никто не встречает, — все хорошо сейчас одеты, но мне хотелось выглядеть стильно. Ну, чтоб видел он, как смотрят на меня, оборачиваются даже. И я видела, что нравится ему это. Вот там на снимке на Карловом мосту: это я два года назад как раз — он домой уехал, а я к Леночке в Прагу махнула. Его тоже с собой звала. Поедем вместе, — говорю, — виза сейчас не проблема. Но он упёрся неожиданно: домой нужно, к дочке. А я не спорила. Нужно, конечно. Вернётся же через два месяца. Я по Праге, как по воздуху, летала: нас с Леночкой подружками называли. И мужские взгляды на себе ловить стала: любовь, она ведь любую женщину красивой делает. Потом я вернулась. И он вернулся. И так же, как в первый раз, неожиданно. Я ведь не звонила ему туда — не хотел, чтобы его слышали. Но он мне каждую неделю звонил сам, иногда по два раза даже. Обычно днём, в час-два, в обеденный перерыв, наверное. А потом вот приехал. И опять с розой, но без шампанского, и уже сразу с чемоданом, в гостиницу не селился даже. А я, я просто поверить не могла, что всё это со мной происходит, что это меня любит человек, рядом с которым я счастлива просто дышать. Видеть его — и это счастье уже. Идиллия настоящая, хотите смеяться — хотите нет: кормишь его после работы и чувствуешь, что каждую минуту продлить хочется, потому что молчим, смотрим только друг на друга и молчим, но понятно всё и так. Летом на речку вечером купаться ходили — у нас Ока недалеко, сядем и смотрим на теплоходы, баржи. Он говорил, что его прапрадед бурлаком на Волге был, до колхозов дожил, а потом в Сибирь сослан был... Ну и много чего ещё рассказывал. Про озёра Синегорья, про рыбалку и охоту, про марки, которые в детстве собирал. И про книги тоже. Он очень читать любил...

...Вот оно: любил! В прошедшем времени глагол-то! Может, сразу спросить, жив он? Любил, потому что уже не любит, то есть не говорит или, может, другому кому говорит, или же любил, потому что теперь нет его? И по глазам женщины я поняла, что да-да, последнее, что-то случилось, видно, смерть какая-то трагическая. Иначе почему ж такая скорбь, какое старение стремительное? Вдова, видимо. Может, и не законная, но вдова. Да вот так: гражданские жёны бывают, а гражданских вдов нет. Может, и не стоит дальше, прервать, пока в рассказе её они вдвоём счастливы, своей любовью поздней счастливы.

— Я трусиха такая: в воду холодную заходить боюсь, так он меня на руках донесёт и прямо со мной окунается. Потом домой вернёмся: на работу всё собрать нужно, ну, телевизор там немного...

Надежда плакала, тихо, то есть совсем беззвучно, катились слёзы, как будто это какая-то естественная стихия была — и никакого участия человек в этом действе скорбном и не принимал.

— Надя, ну не надо, ведь на всё воля Божия, ведь вы всё же были счастливы... А что случилось с ним? — и это был уже не вопрос праздного любопытства — простая история, может, банальная даже, зацепила тем, что счастье в ней — самое простое, как Пушкин писал о своих бедных героях: «И так до гроба рука к руке дойдём мы оба». Ну, нет здесь внуков, которые «нас похоронят», их, конечно же: Надю и Надиного Колю, Николая Надеждина то есть. Красиво звучит, как фамилия.

— Случилось. Но не сразу случилось. В какой-то раз приехал он, как обычно, и вдруг через неделю, кажется, влетает весь бледный посреди дня рабочего. А у меня как раз в саду первая смена была — вернулась уже. Влетел вот и давай в чемодан вещи засовывать. «Такси, — кричит, — вызови!» Я думала: с Иринкой, дочкой его, что случилось. А он говорит: всё, Надя, жена приезжает. «Какая жена?» — «Такая. Лариса» — Так вы же в разводе?». «Прости, — говорит, — глупо всё, я после тебе объясню».

Банально и пошло — вот не думала я, что такой оборот история эта примет! Как там у Лермонтова: «Я, признаться, ожидал трагической развязки». И я ожидала трагической... А Надя говорила и говорила, но теперь уже быстро, глаза в сторону отведя, будто хотела скорее перебежать, перепрыгнуть то, что занозой сидело в душе её.

— Схватил чемодан, такси быстро приехало, через десять минут не было у меня ни настоящего, ни будущего, ни прошлого. Села я у окна — ни плакать, ни кричать. Окаменела. Помню, что на клумбу перед окном уставилась — там маргаритки поздние были. Сажу и считаю их, как ба-ранов. Пять, шесть, семь. Семь, шесть, пять. Вот так с ума сходят. Тихо сходят. И я тихо сходила. А потом он вернулся.

— Когда вернулся?

— Вечером. Пришёл, без чемодана, правда, говорит: это шутка была. Шутка?! Зачем?! А он: «Да не моя, Лариса так пошутила. Позвонила утром на работу, говорит: встречай, я приехала на вокзал, через полчаса у тебя буду...» Никуда не приезжала она, конечно. Ну, а он сорвался, полетел делать вид, что живёт в гостинице.

— Надя, Надя, вот первый раз от вас слышу такое: приехать и проверить — про такое слышала, но чтобы так вот разыграть! Может быть, почувствовала что-то...

— Наверное. Только я-то сломалась. Говорил он мне что-то, успокаивал как-то, кажется — как в тумане всё было. Мне про счастье на несчастье, на других несчастье, мать всю молодость мою твердила. Да и примеров в жизни мно-о-го видела: всегда это смертью, или болезнью страшной, или ещё чем таким оборачивалось. Ну, когда семьи разбивали женщины. «Коля, — просила его, — ну объясни мне хоть что-то... Я же живая... Ведь так, как прежде, не будет уже, никогда не будет...» А он сидит на табуретке, бейсболку мнёт в руках: «Жалко, — говорит, — тебя стало, а потом привык». Жалко?! Да почему жалко?! Я же не косая, не хромая, не убогая, не бедная — чего ж меня жалеть? «Одна ты маялась, без мужика всю жизнь. Мне Нина твоя тогда, в гостиницу когда подвозила, на жалость и надавила: хорошая женщина, правильная очень, интересная. Я ведь, говорит, думал, когда шёл к тебе первый раз, прогонишь, раз правильная такая. А ты не прогнала. Вот и жалко тебя стало — не стал про жену говорить. А в командировках мы всегда холостые. Давай забудем всё. Не было ничего, ладно». И я покорно сказала ему: «Ладно». Сказала потому, что изменилась уже, за короткое время изменилась, и про счастье на несчастье других — всё забыла; и наплевать уже мне было, как это со стороны выглядит, да и своей совести сама же рот заткнула. Пусть так, пусть, только бы остался. Как я без него теперь, куда я такая в жизни? Ладно, ладно, конечно, ладно! Не он верёвку свил из меня, я сама в эту верёвку свилась, петлю себе на шею накинула, а другой конец

к ноге его привязала. Только наши «ладно» разными, оказывается, были. Я-то поняла, что, если забуду, всё по-прежнему будет. Что фраза «не было ничего» — это к розыгрышу, к шутке жены относится. Встала я молча, чай согрела, бутербродов нарезала, покормила кое-как то есть. А потом Коля встал и говорит: «Бритву я там в комнате оставил, пойду заберу». Зачем, почему?? Куда ты? Я же сказала, что ладно, что забудем. «Нет, Надюш, — говорит, — нет у нас будущего никакого. У меня жена, дочь, своя жизнь, в общем. Неправильно всё это. Прости уж меня и отпусти». Взял бритву и ушёл.

«Следующая станция Пески...» Выспавшиеся соседи, на которых мы попросту уже никакого внимания не обращали, начали собирать пожитки: мужчина полез доставать с верхней полки сумки; женщина перекаладывала из пакета в пакет какие-то свёртки — было видно, что поездка на московский рынок была для них удачной. Изменилось время: раньше шутили, что рязанская электричка пахнет московской колбасой, теперь уже не пахнет — продуктами в провинции нашей все прилавки забиты — были бы деньги. Теперь в Москву на рынки одеваться едут — там всё дешевле.

Попутчики наши сошли, их место заняла весёлая стайка студентов, наверное, студентов, скорее всего перешедших из другого вагона, а может быть, и из нашего — целых четыре места освободилось. У них своя жизнь, свои проблемы, смотришь на них и думаешь: а видят ли они нас? Может, и видят, но не нас самих, они сквозь нас смотрят, потому что молоды и счастливы. Да, да, счастье, оно делает взгляд поверхностным, а вот беда любая, горяшко-горе — те пелену с глаз убирают. Только тот понять другого может, почувствовать боль чужую, кто сам испытал её. Может, поэтому так откровенна Надежда — чувствует, что всё понимаю, что всё ощущаю вместе с нею?

— Надя, что же он — навсегда ушёл?

— Да. Ушёл. Я себе внушала, что всё правильно: стыдно ему лжи такой, и перед женой, и передо мной. Правильно сделал, что ушёл. Это я разумом, а душой, всем существом своим, другое чувствовала: родной человек. Каждую морщинку его помню, каждое прикосновение ощущаю. Признаюсь: пыталась вернуть. Какая уж тут гордость! Знала ведь, что подло, но ничего поделать не могла. Встретила его один раз, специально ждала, чего уж скрывать: он чмокнул в щёку, глаза отводит: работы много, говорит, будет время — забегу. Но не заходил больше, оборвал, всё оборвал. Сильный. Одним махом. Так и стала жить. Мой маршрут ежедневный: дом — детский сад. Негде нам пересекаться было, но думала о нём каждый день, да что там день: всё время думала! Но почему-то верила, верила всё время, что вернётся, ведь было же счастье у нас, ведь не могла я ошибаться, что счастлив он, что хорошо ему со мной. А вдруг могла? Но тогда мне мысли такие в голову не приходили. Подруга моя Нина, наоборот, твердила: выкинь из головы, ты таких себе, если захочешь, десяток найдёшь... И призналась мне, что тогда, в первое знакомство наше, он ей на пути обратном встретиться предложил. Но то ли кто-то был у неё тогда, то ли на горизонте маячил — отказалась она и на меня ему показала. Это она так утешить меня хотела. Ничего-то она не поняла, Нинка моя. А вот Леночка поняла. Она-то и пожалела меня по-настоящему: терпи, мама, говорит. Это девочка-то, у которой ещё своей любви настоящей

не сложилось! И я жила и терпела. Это ведь огромное мужество — жить без любви. А у вас она есть? — и Надежда посмотрела так, будто желала услышать одного: «Нет, нет, и у меня нет!»

И я не стала обманывать её ожидания, закрыла глаза и покачала головой. Зачем соврала? А может, и не соврала? Да и зачем сейчас обо мне? Ехать-то уже недолго...

— И всё? Надя, и это всё?

— Нет, это не всё. Подруги у меня деликатные, поняли всё, не спрашивали ни о чём, в гости звали часто по поводу и без повода: я же одна всё время. И вот однажды день рождения был у Милочки — воспитательницы нашей. Ну, салатов наелись, выпили, конечно, но пьяницы мы хилые, так для вида поднимаем, сладкоежки все, а к спиртному-то равнодушны. И вот Милочка нас развлечь решила: показать фотографии свои — она в поход с друзьями ходила куда-то, на Валдай, кажется, ездила... А фотографии у неё электронные, в Контакте выложены. Знаете, сеть такая есть?

— Угу-угу, — я мысленно смеялась — кто ж не попадал в эти информационные сети, на самом деле — прочные и очень опасные сети. Попадёшь — не вырвешься так просто...

— И любопытно было нам, как это всё действует... У меня Интернет был (Лена же за границей, она и поставила, когда приезжала), но ни о каких сетях я не знала. И стала Мила показывать фото, потом друзей искать, ну тех, с кем в жизни знакомы и кто там тоже зарегистрирован. Новости там разные... И вдруг: стоп... кто это? Я-то сразу узнала, и Нина моя тоже. Женщины, пикник. Что он там? С кем он там? А вот с кем — красивая, рыжая, молодая. И вот они опять. И ещё. И здесь. И вместе. И вдвоём. «Кто это, — спрашиваю, — вот эта женщина?» — «Одноклассница моя, Люся», — Мила, кажется, поняла всё, говорила вяло как-то — знали же все, что появился в жизни моей мужчина да бросил меня скоро. Ну, пришла я домой, позвала тётю Полину — внучку-студентку, и она мне этот Контакт установила. Ну, не так это говорится: зарегистрировала она меня в сети этой. И нашла я Милочку свою, через неё на страничку Люси этой вышла. Женщина что надо! И работа солидная — секретарь в суде, и машина своя — на фотке машет рукой из окошка. И в графе «семейное положение» — «есть друг» записано. Свободная, значит, тоже! И молодая — лет, наверное, на десять моложе. И квартира на фотографиях шикарная. И он в той квартире: вот курит на балконе, вот кота её держит. А вот... Господи, да тут же даты есть, даты фотографий... Когда добавлены... Что же это? Ведь это ещё до ухода его? До этой шутки жены? Или до шутки с женой? Значит, это не её, а его была шутка? Значит, придумал всё, чтобы уйти достойно? Вот это и был конец. А из Контакта я удалилась, сразу удалилась, когда поняла, что фото нельзя закинуть раньше, чем сделать их. Ушёл он от меня в конце сентября, а фотографии августовские. Вот так. И если хоть чем-то утешалась раньше: мол, из чувства долга ушёл, перед женой, передо мной — теперь просто тупая боль осталась. Хотя не знаю, чему уж там болеть — души не стало совсем. Будто крыса там поселилась какая-то — грызёт меня изнутри. Вижу его иногда издали, но не подхожу...

— Надя, нет, если бы крыса поселилась (господи, вот и Надя метафорами заговорила!), вы бы зло творили, но вы же ничего такого не...

— Да нет, какое я зло могу делать? И за что? Сама виновата во всём. Но крысы этой в себе боюсь. Потому вот и собираюсь уехать отсюда, пока на время к Леночке. А потом, может, и совсем. Не могу здесь жить... В старуху превратилась — всё понимаю, но не могу найти, за что ещё зацепиться. Знаю, что нельзя самой из жизни уходить — из-за Леночки нельзя. Но каждый день заставляю себя жить, год уже целый. Всё в доме, всё — о нём говорит: что там полотенца, чашки, ложки! Иголку возьму — я ею пуговицу ему пришивала... Не могу так больше — с ума сойду. Может, и не очень я там сейчас Леночке нужна, но обузой не буду. Да и сама она зовёт меня.

— «...закрываются. Следующая станция Луховицы...»

— Вот и доехали. Спасибо вам — послушали: всё как будто ещё раз пережила...

— Надя, но ведь, если это любовь — она же всё терпит, всё прощает, не завидует, не... как там, в писании...

— Значит, это была не любовь. Хотя и теперь простила бы всё, — Надежда уже надвинула капюшон пуховика, застегнула молнию сумки, спрятав туда оказавшегося забытым Кундеру.

Она медленно, вместе с другими, двигалась к выходу. И тут меня пронзило: зачем, зачем была эта встреча, весь этот разговор? Ну, пусть больше её монолог — но зачем-то он был? Ведь не затем же, чтобы я ещё раз убедилась в справедливости слов героя пьесы Горького, который в грязном подвале практически цитировал Ницше: не надо жалеть человека, не надо унижать его жалостью! Ведь не за этим же? Сколько лет внушала студентам и школьникам: не прав Горький, и Сатин его не прав: надо жалеть! Вот и получите: пожалели женщину, а она жалость эту за любовь приняла! Нет, нет! Опять неправда!

Я уже бегу, бегу, расталкивая недовольных пассажиров, пингвинамидвигающихся к выходу. Я догоняю её у дверей в тамбур:

— Надя, всё не так. Он вернётся, он доживёт до любви. Там всё как-то не так было, я это чувствую. Ведь вы же больше не виделись. А фото эти — они же не значат ничего. Ведь просто вместе были они, рядом, в компании одной. И дома тоже — ведь ничего же... Не убивайте любовь — разве вам легче было бы, если бы он умер? Надя...

Не знаю, появился ли в её глазах свет — я сама слепая вблизи. Но изумление я всё-таки увидела. И благодарность, её я тоже прочла во взгляде. И почувствовала себя горьковским Лукой.

Надежда вышла из вагона. И пока электричка стояла, какие-то секунды я видела, как идёт она, вместе с толпой, бредёт, как у Пушкина, «сама собой». Живая, но неживая женщина — прожившая долгую жизнь и раздавленная свалившейся на неё... любовью. Какую же вакцину вводить человеку, чем прививать, чтобы чувства не убивали душу, а окрыляли её? Почему вместо благодарности за пережитые мгновения счастья в душе человека остаётся пустота? Может быть, потому, что рядом с любовью обязательно должна быть вера? Ведь даже когда умирает любимый человек, остаётся вера, что в другой жизни нас ждёт встреча с ним. А Надежда её потеряла — и как странно это звучит: надежда без веры. Но, может быть, окажись моим попутчиком не она, а, скажем, её Николай, и если бы у

него тоже возникла вдруг потребность выговориться, облегчить душу — я услышала бы совсем иную историю. Историю о том, как человек поддался мгновенному желанию — благому по сути — отогрел, пожалел, как попал в зависимость от серьёзности чувств женщины, как боялся обнаружить правду своих чувств, как с самим собой боролся, как нашёл-таки силы разорвать то, что затягивало, что грозило спокойствию семьи. Убежал к той, для которой отношения — это игра, очередная игра. Впрочем, это могла быть и другая история. Ведь и Надя ничего не знает о той другой женщине: разве за внешним блеском обязательно отсутствие души? Не думаю. Но мне почему-то непременно хотелось, чтобы Николай не был пошлым ловеласом, банальным авантюристом... Раз любит его Надежда до сих пор...

Моя электричка мчалась по уже заснеженному бесчеловечному пространству — «ни огня, ни тёмной хаты»... Я прилепилась носом к стеклу и ловила взглядом проносившиеся мимо силуэты одиноких деревьев, преображённых внезапно свалившейся на них зимой. В такие минуты я всегда вспоминаю Лермонтова, этого вечно одинокого странника, который тоже любил «встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень». В сущности, все мы одиноки. И Лермонтов, и Кундера, и вот эта несчастная воспитательница детского сада — все они об одном и том же. О вечном стремлении человека к любви и о недостижимости этого идеала. Но если любовь даётся не всем, отпускается по дозам, и за каждую дозу этого целебного снадобья нужно платить очень дорогую цену, в чём же высший смысл нашего существования? Не в том же, чтобы обустраивать крысиные гнёзда, не согретые любовью? На этот вопрос у меня тогда ответа не было.

Когда-то Карамзин потряс русское общество открытием, что «крестьянки тоже любить умеют». И к этому откровению главы русского сентиментализма спустя два века добавить нечего, разве что — и воспитатели детских садов, и доктора наук, и бомжи. Умеют все, и все по-разному.

Всю дорогу до Рязани я представляла эту странную картину: каждый день, каждый час (какое ж мужество надо иметь!) отгоняет Надежда палкой эту тварь, которая сторожит у входа — ждёт, что зазевается женщина, недосмотрит, как сунет свою острую морду — а дальше уже не удержишь: в замочную скважину влезет. Кто-то баобабы всю жизнь пропальывает, но их, пока уж совсем корни не разрослись, всегда выдернуть можно, если, конечно, сила есть у человека. Крысу же — главное не впустить: выгнать её, если заберётся, уже нельзя: в душу руками не залезешь. Только не впускать — по-иному не спасёшься от этого зверя.

Я знаю, что любовь — странная штука: продать можно — купить нельзя. И заслужить нельзя. Но можно просто дожить до любви. И я буду молиться про себя (думаю, что об этом можно молиться), чтобы этот Надин Коля — Николай Надеждин (здорово, кстати, звучит — как фамилия) — чтобы он дожил до любви. Иначе до конца дней придётся этой маленькой женщине вести борьбу с той, что жаждет хозяйничать в её душе. И кто знает, хватит ли у неё сил?

АЛЕКСАНДРУ КИРСАНОВУ 100 ЛЕТ



В этом году Коломна отмечает знаменательную дату. Имя Александра Фёдоровича Кирсанова по-особому дорого нам. Ведь на протяжении многих десятилетий он оставался единственным профессиональным писателем города. И дело не только в том, что песни на его стихи звучали по всему Союзу. Культурная жизнь Коломны XX века без Кирсанова непредставима. Он был настоящим просветителем: сотни и тысячи коломенцев благодаря ему получили вкус к настоящей поэзии. Кирсанов воспитал целую плеяду стихотворцев, среди которых есть и те, кто вступили

в Союз писателей, и сегодня продолжают миссию своего учителя. Не исчезнет светоносное и доброе кирсановское слово, доколе стоит Коломна на земле Русской!

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ

В старинном
русском городе Коломне
С хорошим,
верным другом мы живём.
Со мной он рядом,
и всегда легко мне.
И в радости и в горе
мы вдвоём.
Наш город,
меж Рязанью и Москвою,
И невелик,
а в день не обойдёшь.
Весеннею и зимнею порою —
Всегда он одинаково хорош.
Другой бы, верно,
так не полюбился,
А этот в сердце
без остатка, весь.
Здесь умер дед,
здесь мой отец родился,

И я свои полвека
прожил здесь.
Всё люблю мне.
Дышу я полной грудью
У двух прохладных
славных рек его,
Где трудятся
души широкой люди,
Такой же,
как у друга моего.
Совсем нетрудно
точный адрес вспомнить,
Коль кто захочет
навестить наш дом:
В старинном
русском городе Коломне
С хорошим,
верным другом мы живём.

Александр КИРСАНОВ



Лариса Александровна Морозова родилась в семье военнослужащего в Белоруссии. Но всё её детство прошло в Коломне. Окончила Первое московское областное музыкальное училище, а затем Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по специальности «музыковедение».

Стихи начала писать ещё в детском возрасте. Кстати, первое её стихотворение было опубликовано в газете «Коломенская правда», когда юному автору было всего 13 лет. А потом уже были книги. В 2002 году вышел её первый поэтический сборник «Клавиши», в 2004 году увидела свет детская книжка стихов об Иосифо-Волоцком монастыре, в 2008 году вышла книга стихов «Ветер времени». Сейчас автор готовит к изданию иллюстрированный сборник стихов-лимериков. Есть у Ларисы и прозаические опыты. Ею написаны рассказы «Человек и бегемот», «Острова счастья», «Вид на крылья в зелёной комнате» и «Марта». Два последних опубликованы в нашем альманахе.

Рассказ

Лариса Морозова

МАРТА

В первый раз я увидела Марту в начале позапрошлой осени.

Две красивые молодые собаки играли на песчаном просёлке. Он — белый с редкими отметинами, длинноногий и поджарый. Она — похожая на овчарку, с очаровательно улыбающейся мордой.

Я не удержалась, сделала несколько снимков.

А уже в начале следующего лета увидела, как она радостно и неутомимо бежит в компании ребятни вслед за велосипедами. Узнала её по славной улыбке, а потом только заметила, что на бегу под брюхом у неё болтаются соски.

Детвора была в курсе, что у Марты скоро будут щенки. Недовольна этим обстоятельством была только лесничиха, обычно в одиночку зимующая в соседней деревне.

Подкармливали Марту многие и охотно. Но, когда выходные заканчивались, посёлок пустел. Тогда она появлялась уже без своей компании, заглядывая туда, где были слышны голоса оседлых дачников. Если ей ничего не выносили — без обид бежала дальше, никогда не останавливаясь и не проявляя настойчивости, не пытаясь разжалобить.

Она стремительно тяжелела и, наверное, должна была испытывать постоянный голод. Поэтому у меня всегда был наготове для неё суп с какой-нибудь кашей и куча мясных обрезков.

Голоса её я никогда не слышала, до поры никак не связывая басовитый лай, доносившийся по ночам откуда-то с окраины, с Мартой. Она была чрезвычайно общительна, а в друзьях у неё числились домашние собаки дачников и деревенских жителей. Никто не бо-

ялся отпускать с ней своих питомцев — в собачьей компании царил дух весёлого товарищества и беззаботности.

В плохую погоду дачники исчезали. На выходные по раскисшей дороге приезжало совсем немного автомобилей. Мы и сами однажды уехали на несколько дней, а вернулись, как только минула полоса дождей.

Было далеко за полночь, безлунно. Мы перетащили вещи в кухню и пили чай. Из-за широко открытой двери слышался стрекот кузнечиков и ещё какие-то непонятные звуки.

Сначала показалось, что кто-то шумно вздохнул, потом зашуршал гравий. Я отдернула тюлевою занавеску и увидела, что у крыльца в полной темноте стоит Марта. Она молча подала мне лапу и тут же тяжело оперлась на неё всем телом, будто и стоять ей было трудно. Было ясно, что она очень голодна.

Немедленно отхватив от привезённого мяса хороший кусок, я плюхнула в миску пару яиц, подсолнечного масла, накрошила хлеба.

Она и в этот раз сначала потыкалась в руку мордой, и только после принялась есть, продолжая выражать благодарность движениями хвоста.

С этого дня я уже старалась не пропускать момента, когда Марта пробегала мимо. Было ясно, что просить она не будет. И голоса не подаст, и не остановится. Не то что домашние балованные псы, требовательно гавкающие, едва завидят, что хозяйева сели за стол.

Стоя в кухне, я посматривала в уголок окна, освобождённый от витражной плёнки — специально вырезала кусок, чтобы видеть, когда она появится.

Настал момент, и Марта пропала. Ребята приносили слухи, что щенки уже появились, но где они, никто толком не знал. И вдруг в один прекрасный момент я увидела Марту выбегающей с брошенной дачи, прямо напротив нашей, через дорогу. Её уже несколько лет не могли продать, дом потихоньку разрушался, а сад зарос. Вот тут, справа от крыльца, под домом, Марта и устроила логово.

Я заглянула в темноту, из которой не доносилось ни звука, и не поняла — есть ли там кто. Но Марта на брюхе вползла в лаз и зашуршала где-то далеко под полом.

С этого момента она редко появлялась на улицах, и только подходила к калитке, чтобы поесть. Но ритуал соблюдался прежний: сначала ткнуться головой, потом уже подкрепляться, не забывая махать хвостом.

Недели шли, писк и повизгивание из-под дома доносились уже отчётливее, однако понять, сколько там щенков, было нельзя. Ребятня разведка доносила: то шесть, то — батюшки мои! — девять.

Не верили и верили, но уже ходили слухи, что лесничиха грозила найти логово и поубивать щенков. Поэтому лазутчики с подношениями для Марты проникали в сад с предосторожностями, только убедившись, что взрослых на улице нет.

Однажды ночью окрестности огласил такой надсадный, отчаянный вой, что я похолодела. Утром бросилась к жилищу Марты — из тёплой темноты доносился мирный писк, и от сердца отлегло. Но почему же она так выла? Может, что-то случилось с одним из щенков?

Мы всё ещё не видели, сколько их, каковы они.

И вдруг в заброшенный сад потянулась ребятня. Одни уходили, другие прибежали им на смену. Появились разнокалиберные лоточки, пакеты с молоком. Марта для всех отступила на второй план. Но я продолжала варить мясные супы, заправляя их овсянкой, которую она очень любила.

Теперь было понятно, что ей надо всего втрое больше против прежнего — щенков действительно оказалось девять. Марта отошала; через три-четыре часа после кормёжки она выглядела так, будто не ела несколько дней. Бока ввалились, шерсть стала тусклой. И всё не могла напиться.

К тому же, начиналась жара. Марта оказалась дальновидной: под полом в брошенном доме было прохладно и тянуло свежим сквознячком, тогда как все изнывали от зноя и безветрия.

Я старалась не думать о щенках и даже не очень к ним присматривалась — понимала, что, стоит прикоснуться хоть к одному, и я пропала. Щенки же были отменные: три чёрных, один рыжий с белой мордой и смешным мышиком надо лбом, три кофейно-бежевых, остальные двое — чёрно-рыжего, овчарочьего окраса, как мать. Все толстые и совершенно игрушечные.

С утра публика рассаживалась на лужайке, побросав велосипеды на дороге, и ожидала, когда щенки вылезут на травку. Их тут же разбирали по рукам, кормили и тискали, и продолжалось это до вечера. Перед домом стояли миски и кастрюли всех калибров и даже небольшой тазик. Кормили малышей вполне диетическими продуктами, поэтому я не вмешивалась. Хотя было ясно, что им и материнского молока сейчас вполне достаточно.

Всеми с тревогой ожидалось время, когда этот детский сад окрепнет и начнёт совершать вылазки.

Прошло около месяца, и на рассвете мы извлекли истошно вопящего чёрненького первопроходца из-под железной сетки за сараем.

С этого времени я даже радовалась, когда ребятня собиралась возле дома: по крайней мере, детки были под присмотром. В остальное же время приходилось доставать их из-под кухонь, сараев и теплиц на обитаемых, а иногда запертых дачах... Соседи перестали обращать внимание на то, как я карабкаюсь то на один, то на другой чужой забор, чтобы поймать очередного пролазу, потерявшего дорогу домой.

Марта относилась ко всему этому разброду и шатанию в семье со спокойствием, предоставляя мне самой записывать расползающихся детишек обратно в сад.

Было и ещё одно последствие взросления щенков: они переходили на взрослую пищу (благодаря стараниям детворы намного раньше, чем диктовала природа). Продолжая сосать мать, они ухитрялись лопать всё подряд, совсем уже не из детского ассортимента. В мисках и кастрюльках, расставленных по лужайке у крыльца, я теперь с ужасом обнаруживала то остатки макарон с томатом, то размоченные пряники, то консервы из кукурузы, приправленные тушёной. Без толку было взывать к сознательности и объяснять добротам, что собакам ни свинины, ни сладкого давать нельзя — они продолжали портить и раскармливать щенков.

Марта же не притрагивалась ни к каким угощениям, принесённым для её детей. И саму её кормить стало гораздо сложнее.

Нельзя было, как прежде, вынести миску к воротам. Тут же набегала тьякающая орава и со всех сторон припадала к посудине. А Марта в ту же минуту отходила в сторону. Как было объяснить ей, что дети досыта накормлены?

Я пробовала разные уловки, но вездесущие щенки ухитрились мгновенно вычислить момент, когда я чуть не шёпотом зазывала Марту к себе на участок или делала вид, что несу миску в конец улицы. Бегали они уже довольно быстро, а потому скрыться от них не было никакой возможности. Марта голодала теперь, не желая отнимать еду у своих и без того сытых детишек.

Но, наконец, выход был найден.

Сначала заготавливалась кастрюля с едой для Марты. Потом — тазик для мелкоты.

Под бдительным присмотром мамыши я несла его на участок к щенкам, и, дождавшись, когда они окружают его и зачавкают, мы с Мартой, как заговорщики, неслись в глубину нашей дачи, хорошенько заперев за собой калитку. И уже там, укрывшись за террасой, бедная Марта могла спокойно съесть свой законный обед.

Она мгновенно поняла, что в таких случаях терять время нельзя — минут через пять обычно оглоеды опустошали свой тазик, и за забором слышалось возмущённое тьяканье обманутых отпрысков.

Понимали мы друг друга с полувзгляда, да и слова Марта понимала тоже очень хорошо. Можно было, например, сказать ей, чтобы она пришла ещё раз вечером. Я выходила к калитке, звала её шёпотом — и она молча возникала из темноты и поднималась на задние лапы, положив передние вместе с мордой мне на плечи.

Шёпот она слышала даже с дальнего конца улицы — а звать громко я опасалась из-за боязни разбудить только задремавшую прожорливую компанию.

Понемногу семейство стало уменьшаться. Сначала разобрали самых крупных щенков. Казалось, что Марта не замечает этого. Она теперь чаще убегала погулять и возвращалась с кем-нибудь из своих подружек — деревенских и дачных собак. Они с любопытством, как-то по-человечески трогательно, заходили полюбоваться малышами.

Лето стремительно шло на убыль.

Наконец, 1 сентября посёлок опустел. Немногочисленные пенсионеры мало интересовались щенками, хотя время от времени появлялись в саду у Марты с угощением. Пристроили и увезли в город ещё парочку, но троица оставшихся всё ещё нежилась перед дачей на дороге, увязываясь вслед за любым прохожим.

Это был как раз тот рыженький симпатяга с мысыком на лбу, чёрный крепыш и маленькая девочка, обещавшая быть окраской и характером похожей на Марту.

Однажды мы собрались по грибы в дальний лес. Марта в таких случаях обязательно составляла нам компанию, попутно лова мышек и валяясь на солнце, пока мы кружили в поисках грибных мест.

Иногда я в шутку говорила ей: «Ты не видела, где тут грибы?» — и она тут же ныряла куда-то в кусты, приглашающе оглядываясь через плечо. Я лезла за ней и — о чудо! — какой-нибудь гриб или кучка опят действительно оказывались там, где она усаживалась.

Вот и теперь мы собрались надолго, но щенки не пожелали остаться дома и увязались за нами. Несколько раз я оглядывалась, грозила палкой

и даже швырялась шишками. Они останавливались, а потом как ни в чём не бывало догоняли нас. Марта же беззаботно бежала впереди.

Наконец, я махнула рукой и решила, что, когда надо, она сама уведёт их домой.

Путь лежал через густые ельники, через овраги, глубокие и заросшие. Марта наслаждалась прогулкой, не обращая внимания на деток, которые протдирались вслед за ней напрямую и жалобно скулили, заблудившись в кустах. Они устали ещё до того, как мы дошли до грибного места, а уж там повалились в изнеможении. Но долго полежать им не удалось, да и назад мы выходили другой дорогой, описывая широкую дугу.

Наверное, бедняги поняли, что зря не послушали моих увещеваний, но делать было нечего: отстать и потеряться было страшнее, чем пробираться на слабых лапах через пни и валежник.

На протяжении нескольких часов я ужасалась тому, как намучились и устали эти дурачки. Но нельзя было не оценить педагогических способностей Марты: она предоставила непослушных детишек самим себе, получая от прогулки полное удовольствие и не выказывая никаких признаков сочувствия или беспокойства.

И приём этот сработал — в следующий раз, когда мы вышли из калитки с корзинами, они только посмотрели вслед и даже не пошевелились.

Материнство нисколько не убавило общительности Марты: она с удовольствием ходила с нами купаться, провожала в магазин соседскую бабушку, а вечерами гуляла вокруг посёлка вместе с пожилой четой, совершавшей часовой моцион. И всё так же радостно носилась за компанией ребят, ещё приезжавших на последние осенние выходные.

Все знали, что предыдущую зиму она провела у деревенских жителей в Сосновке, и предполагалось, что в этом году зазимует там же.

Но что будет со щенками?

Надежда пристроить их таяла, когда на протяжении нескольких дней всё благополучно разрешилось: черныш отправился в город охранять гаражный кооператив, рыженького взяли дачники с нашей улицы, а малышку забрала сторожиха с турбазы.

Марта целыми днями бегала с деревенской подругой Мушкой, будто начисто позабыв о тревогах этого лета. И только вечерами, когда я выходила к калитке, чтобы покормить её на ночь, стоило тихонько окликнуть, как она молча возникала из темноты, словно никуда и не уходила.

Как-то в середине октября вечером мы сжигали в бочке за воротами скопившийся у забора деревянный хлам — спиленную яблоню, звенья трухлявого забора, сухую малину.

Смотреть на огонь всегда доставляет удовольствие. И, оказывается, не только людям.

Марта неслышно подошла, ткнулась лбом в колени. Потом поднялась на задние лапы, привычно опершись мне на руки, и принялась тихонько издавать такие звуки, которые можно сравнить разве с мурлыканьем кошки.

Голоса её я так и не слышала, но вот это тихое урчание было удивительным и трогательным. Она словно чувствовала, что мы скоро расстанемся, и говорила мне, наверное, то же, что и я всегда говорила ей. Кто бы повторил эти бессвязные и важные речи...

За это время у меня в голове не раз складывались планы относительно Марты. Но было понятно, что увезти её отсюда и сделать городской собакой вряд ли удастся. Все убеждали меня, что она благополучно перезимует и на этот раз, а к весне, скорее всего, опять обзаведётся потомством.

И мы расстались.

Приехав в мае, я тщетно искала Марту в её излюбленных местах. В доме молодой семьи на нашей улице появился громадный рыжий пёс с белой мордой и великолепным хвостом. Не верилось, что это и есть наш рыжик со смешным мысыком на лбу.

За ребячьей компанией с велосипедами шустро бегала небольшая собака, окраской похожая на Марту, но не такая красивая и складная. Однако улыбка на её морде безошибочно указывала на то, что это наша малышка, которую взяли в деревню.

И только самой Марты нигде не было.

Дети, которые любят рассказывать всякие ужасы, на сей раз не предполагали никакими слухами — ни один не слышал, чтобы она погибла или попала в беду.

Но она так и не появилась. Всё лето я машинально поглядывала из кухни в уголок окна, выходящий на калитку, — никто не маячил там, весело помахивая хвостом.

Выносила миску и ставила у забора.

Её охотно опустошали другие собаки.

И до сих пор, когда выхожу в темноте к калитке, мне кажется, что сейчас кто-то шумно вздохнёт и поднимется, положив передние лапы мне на плечи.

БИБЛИОТЕ 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ В СПОРТЕ

Клуб краеведов выпустил в свет краеведческий календарь «Коломна спортивная».

В нём отражены памятные и юбилейные даты в истории физкультуры и спорта, отмечаемые в этом году. Летопись начинается с 1912 года, когда в Коломенском уезде открылись первые кружки, имевшие собственные спортплощадки. Как обычно, в календарях, подготовленных краеведом А. Денисовым, человек, интересующийся историей родного края, найдёт множество интересных и малоизвестных подробностей. В календаре содержатся сведения о людях, оставивших след в истории спорта, о физкультурных кружках и спортивных обществах, действовавших в Коломне и районе в разные годы. Много фотографий — чёрно-белых, на которых увидим молодые лица именитых спортсменов, одерживавших тогда свои первые победы, и цветных. Для удобства читателей есть именной и тематический указатели.

Николай Мхов

КУЗНЕЦ СИТНИКОВ



Николай Михайлович Мхов (настоящая фамилия — Гальперин) родился в 1899 году в селе Сасове Рязанской губернии в семье земского врача.

После окончания гимназии учился в Московском университете, но не окончил его. Участвовал в Гражданской войне, был ранен.

С 1920 года жил в Коломне. Работал в коломенских и центральных газетах. В 1935 году в трёх номерах журнала «Новый мир» была напечатана его повесть «Коломенский завод»

Рассказ, предлагаемый читателю в этом номере, — тоже из жизни Коломенского завода. Он был напечатан в журнале «Индустрия социализма» в 1939 году. Действие происходит ещё до революции. В небольшом повествовании автору удаётся показать и «верхушку», аристократию, и совершенно бесправных рабочих, погибающих в борьбе за свои права.

Н.М. Мхов умер 15 мая 1964 года. Похоронен на городском кладбище в Коломне.

В издательстве «Советский писатель» в 1966 году вышла его книга «Лесные тайны».

Рассказ

До завода Митрофан Ситников работал сельским кузнецом. Всякую лёгкую и тяжёлую ручную поковку выполнял мастерски. Был малограмотен, деревенски робок, мужички терпелив, добродушен. Силищей обладал непомерной. Десятипудовую рельсу взять с земли на плечо либо пятерых кузнецов на палке перетянуть — для него чепуха, игрушка.

Рабочие на заводе любили его и гордились его силой.

Однажды мастер кузнечного цеха Адольф Карлович Гербехт подсмотрел, как он подбрасывал и ловил в воздухе за ушко трёхпудовую гирию.

— О-о!

Адольф Карлович пощупал могучие бицепсы, попытался безрезультатно над гирей и заключил:

— Очень хорошо, будем фокус учить!

И стала для кузнеца не жизнь, а мука.

Фокус заключался в том, что мастер клал на наковальню круто сваренное яйцо, а Митрофан бил его пудовой кувалдой смаху через голову. Но в последний миг он страшным напряжением сдерживал, тормозил удар и едва касался скорлупы — она хрустко лопалась, рассыпалась, обнажая молочно-белое, глянцевитое очищенное яйцо.

Эффект получался ошеломляющий: детина — косая сажень в плечах, всё сокрушающий взмах кувалдой, а в результате — аккуратно очищенное яичко.

Гербехт сулил деньги, выдумывая фокусы всё сложнее, эффектнее и хитрее.

Но Митрофана всё это не радовало.

После каждого такого фокуса в гла-

зах плыли оранжевые круги, сердце словно обрывалось, падало куда-то, и тело наполнялось тошнотой, противной слабостью.

Кузнецы видели, как Митрофан после удара, грузно опускаясь на чурбан, скручивал дрожащими пальцами сигарку, как на лицо его ложилась пепельная бледность. Кузнецы пробовали протестовать. Машинист парового молота хмурый, неразговорчивый Панкратов, о котором по углам шептались, что он связан с революцией, даже попросил мастера не мытарить кузнеца.

Гербехт, заложив для важности большой палец в кармашек жилетки, вызывающе надвинулся животом на машиниста и завизжал:

— Не твой дела!

Время было суровое. За малейшее ослушание штрафовали, выгоняли с работы.

Однажды, когда Митрофан после десятичасовой работы собирался домой, его остановил мастер обычным предложением «сделать фокус». Митрофан снял кожаный фартук и, набросив на рваную ситцевую рубаху грязный пиджак, твёрдо ответил:

— Детишки дома хлеба ждут, восемь вёрст идти, — ослобоните, Адольф Карлович!

— Вас?! — Багровея, взвизгнул Гербехт и, круто повернувшись, категорически решил:

— Гут, ты свободен!

На другое утро конторщик-калькулятор объявил Митрофану, что он оштрафован на один рубль.

— За что?

— За брак поковки!

— Какой брак? Сроду не было! — вспыхнул кузнец.

— Мастер велел!

Митрофан с силой громыхнул кувалдой по наковальне.

За вычетом штрафа Митрофану выдали на руки один рубль семьдесят пять копеек...

В дни получек детишки встречали его у околицы. Трёхлетний карапуз Петяшка, обхватив ногу отца и пуская пузыри ртом, захлёбывался радостью:

— Кафетка, кафетка!..

Митрофан, подняв его на руки, вынимал копеечный длинный, с бу-мажной бахромой леденец.

В последнюю получку Митрофан пришёл без леденцов. Петька ревел на всю деревню. Горе было так глубоко, что даже обещание сделать тачку не успокоило ребёнка.

Закинув ручонку за шею отца, он жалобно тянул:

— Аф-ее-етка-аа...

Старшие девочки, понимая беду, понуро шагали рядом.

Митрофан отправился жаловаться начальнику цеха инженеру Остену.

Остен терпеливо выслушал его и, не повышая голоса, назидательно ответил, что кузнец, во-первых, не имел права обращаться к нему, минуя мастера; во-вторых, он не позволит чернить почтенного человека; в-третьих, мастер — опытный, знающий специалист, и кузнец должен быть ему благодарен; в-четвёртых, если инженер Остен, начальник цеха,

узнает, что после этого разговора кузнец Ситников позволит себе не подчиняться указаниям мастера Гербехта, то он, кузнец Ситников, будет немедленно уволен.

Сгоряча хотел было Митрофан отправиться к самому директору, князю Мещерскому. Но, вспомнив мясистое лицо, окаймлённое русой бородой, словно омытые глаза под аккуратно очерченными дужками подбритых бровей, плюнул и вернулся в цех.

Митрофан попробовал мирно объяснить с мастером, но тот выпятил живот, заложил за жилетку палец, отрезал:

— Плохо работаешь, шреклик! Штраф буду давать!

Так прошёл целый месяц. Митрофан стал темней осенней ночи.

Как-то раз, придя до гудка, Ситников нашёл под кувалдой листик папиросной бумаги. Мелким убористым шрифтом описывалось в нём со всеми подробностями издевательство мастера над кузнецом.

Митрофан передал листовку подручному. Тот осторожно прочитал её и вместе с железом записал в пылающие угли горна.

В обеденный перерыв из отрывистых намёков товарищей Митрофан понял, что листовки разбросаны по всему заводу.

Перед окончанием работы к нему неожиданно подошёл Гербехт, строго кивнув головой, взял за рукав и, не оборачиваясь, покатился к себе в конторку.

Здесь стоял курьер из дирекции и заводской стражник. Мастер повернул к кузнецу пунцовые щёки.

— Ти! — взвизгнул он и, отпрыгнув шаг назад, потряс кулаком: — Нах директор!

Ничего не понимая, Митрофан, сопровождаемый курьером и стражником, отправился к директору, князю Мещерскому.

Пальмы, ковёр, огромный чёрного дуба письменный стол, кожаные кресла, в золотой раме портрет царя во весь рост, люстра с хрустальными подвесками ошеломили кузнеца.

Он как вошёл в распахнутую секретарём белую дверь, так и застыл около неё, сомкнув пятки, стиснув в опущенном по шву кулаке шапку.

Князь взглянул на него и негромко подозвал. Митрофан, как на параде, отстучал шаги, оставляя лаптями тёмные следы на малиновом плюше ковра.

— Подходите, подходите, не бойтесь! — улыбаясь, показал директор на кресло.

Митрофан шагнул ещё.

— Экий молодец! — подивился князь, рассматривая богатырскую фигуру кузнеца. — В каком полку служил?

— В Московском, его императорского величества Николая Второго, уланском! — гаркнул, как в строю, Митрофан.

— Прекрасно, прекрасно! — всё так же мягко улыбаясь, одобрил князь.

— Ну, а давно вы с мастером не в ладах? — поинтересовался директор. — Я слышан, вас обижает он!

В голосе князя послышалось участие. У Митрофана мгновенно зародилась надежда.

— Ваше сиятельство! — он шумно передохнул. — Замучил! Хошь руки на себя накладывай!

— А ты, любезный, не волнуйся, поспокойнее, без крика. У меня слух тонкий!

Голос у князя был приятный, подкупающий.

Митрофан переступил с ноги на ногу, вытер шапкой густо запотевший лоб и, путаясь в словах, рассказал о фокусе, о штрафах, о леденцах для Петяшки.

Князь сидел в глубоком кожаном кресле, дымил папиросой, вертел пальцами остро отточенный красный карандаш и молча поощрял рассказ кивками, но, когда кузнец кончил, директор извлёк из крайнего ящика тонкий папиросный листик, вкрадчиво спросил:

— А это как, любезный, называется?

Митрофан вытянулся. Ещё не понимая связи листовки с рассказом, он уже почувствовал надвигающуюся опасность.

— Это называется, — медленно, по складам объяснил князь, — возбуждение масс против существующего строя. А за это, любезный, что полагается?

Князь умолк, прищурился, впился в глаза Ситникова и вдруг, сдвинув брови, вскочил:

— На каторгу, на виселицу!

Митрофан отпрянул, побледнел, замотал включенной головой.

— Не я!.. Ваше сиятельство!.. Не губите! Не при чём я!..

Князь пододвинул ногой кресло, неторопливо опустил, погладил холёную бороду и по-прежнему вкрадчиво, мягко спросил:

— А кто?

Посмотрел, ухмыльнувшись, на кузнеца, подождал и, не получив ответа, саркастически проговорил:

— Конечно, не знаешь?!

— Так точно, не могу знать, ваше сиятельство! — подтвердил Митрофан.

— Ну, ясно! — хмыкнул князь, барабанил пальцами по краю стола.

— Однако, — голос опять зазвучал резко, требовательно, — доверие ты можешь вернуть, только назвав мерзавцев, именующих себя социалистами!

Митрофан стоял вытянувшийся, с выпяченной грудью и поджатым животом, с остановившимся пустым взглядом.

— Они возбуждают недовольство, натравливают на начальство, лишают рабочих заработка!..

«Вроде будто кого-то ещё винит», — мелькнула у Митрофана радостная догадка, и он ещё напряжённее уставился на князя.

— Так вот, любезный, — князь уже опять спокойно сидел в кресле, разглаживая бороду, — тобой воспользовались для злой агитации! Но если ты дознаешься зачинщиков этой грамоты, с мастером мы дело уладим и тебя наградим!.. Понятно?..

— Так точно, ваше сиятельство!

— Ну, вот и прекрасно! Ступай в цех!

«Пропал, — лихорадочно думал кузнец, возвращаясь в мастерскую, — осиротели ребята! Стало быть: доноси — а не то каторга». И такая лютая ненависть к мастеру и к князю охватила его, что он, сцепив пальцы, всю дорогу крепко держал кулаки, словно боясь, что они, не послушавшись его, натворят нечто непоправимое.

Вечером, вместо того, чтобы идти домой, он задворками добрался до хибарки Панкратова, вызвал его и увёл далеко за город к реке. Говорили шёпотом. Только сигарки вспыхивали в ночи красными огоньками.

А когда из тёмного леса вылезло раскалённое солнце и туман заколебался над уснувшей водой, кузнецы выкупались с удовольствием, оттерев песком грязь с тел.

В этот день Митрофан явился к мастеру с повинной.

— Зо-о! — напыжился мастер, — горяч, как молодой коняшка: прыг-скок — и дух весь!

Тотчас же после работы, демонстрируя перед всем цехом свою власть, он заставил Митрофана показать «фокус».

А на другое утро инженер Остен, проходя по цеху, остановился и, выждав, когда подручный отошёл к горну разогревать железо, спросил:

— Ты ещё не выполнил своего обещания директору?

— Это касательно чего? — недоумённо уставился на него Митрофан.

— Касательно автора листовки! — скривил тонкие губы ядовитой улыбочкой инженер.

Митрофан стоял перед ним огромный, с простецки добродушным открытым лицом.

— Покеда ещё никак нет, не узнал! — с неподдельным сожалением вздохнул он и вдруг, оживившись, очень искренне попросил:

— Вы уж сделайте милость, скажите их сиятельству, что, дескать, непременно узнаем — дай только срок!

Когда подручный подбежал к наковальне с раскалённым железом в длинных щипцах, Митрофан плюнул в сторону удалявшегося Остена: **107**

— Спрашивал, кто писал!

— А ты чего?

— Я?.. Нако-сь!

Митрофан ударил молотом, подручный подбил молотком, и под глухой дробный перестук два кузнеца расхохотались.

Панкратов обещал устроить Ситникова через своих товарищей на соседний, цементный завод. Так они думали избавиться и от «фокусов» мастера, и от угрозы директора, явно желавшего завербовать Митрофана в провокаторы.

Но для этого надо было терпеливо ждать удобного случая, не ссориться с мастером и умело обманывать директора.

А мастер, словно награждая себя за упущенное время, изо дня в день донимал Ситникова «фокусами».

Вместо яйца он уже давал разбивать бутылки, стаканы, блюдца. По стеклу разбегались лучами трещины, но вещь оставалась лежать. Последний «фокус» показывали с часами. Кузнец бил по стеклу открытых карманных часиков, — стёклышко рассыпалось мельчайшими брызгами, но часики продолжали деловито тикать.

Сам директор-распорядитель князь Мещерский не раз приходил любоваться могучей силой кузнеца. Митрофан в награду стал получать полтинники.

Но с каждым новым ударом он чувствовал себя всё слабее, хуже.

Головокружение и шум в ушах сделались настолько обычны, что Митрофан привык к ним. Сердце давало знать о своей усталости. К горлу

подкатывал противный, тошнотавый клубок, и голова от затылка наливалась ослабляющей тело свинцовой тяжестью.

Мастер, видя, с каким удовольствием высшая администрация смотрит «фокусы», благодаря которым возрастала и его популярность, стал поощрять Митрофана водкой.

Панкратов, наконец, получил твёрдое обещание цементщиков устроить к себе кузнецю осенью.

В тот год первое августа (медовый спас) совпал с выпуском сотого паровоза.

Акционеры решили отпраздновать это событие торжественно.

В губернский город послали специальный поезд за гостями. Для губернатора прицепили отдельный салон-вагон. Приставы сбились с ног. Всюду стояли пикеты городских и разъезжали конные стражники в огромных чёрных папахах.

Штатские приехали в сюртуках, военные — в мундирах с орденами, лентами, звёздами; дамы — в широких шляпах со страусовыми перьями, в пышных белых платьях и лайковых перчатках выше локтей.

Гостей повели на завод.

Рабочим приказано было принарядиться и стоять на своих местах. Цехи были усыпаны свежим речным песком, а между колоннами повесили гирлянды.

Князь Мещерский, в расшитом камергерском мундире, со звездой и голубой атласной лентой через плечо, с цивильной бутафорской, просунутой в карман шпажкой, сопровождал губернатора с правой стороны, а главный инженер завода — с левой.

Входя в цех, губернатор здоровался с рабочими, как с солдатами:

— Здорово, молодцы!

В ответ слышались разрозненные, неразборчивые голоса.

По знаку директора к гостям подбегали начальники цеха и мастера. Угожливо изгибаясь, они объясняли устройство механизмов.

Рабочие помолоче старались казаться равнодушными. Но старики хмуро отворачивались, не скрывая своей обиды, от наглого, откровенного разглядывания их во все глаза и лорнеты, словно они были звери в зверинце.

Из кузницы с утра вывезли мусор в деревянный дощатый сарай.

Утомлённые разнообразием закоптелых мастерских, гости рассеянно слушали объяснения Остена о порталном кране и паровом молоте. Желание поскорее покончить с официальной частью праздника было так очевидно, что громкий шёпот голубоглазой девушки, спросившей своего соседа, скоро ли окончится это дантово шествие, вызвал у всех благодушную улыбку.

Но вот князь Мещерский остановился и гостеприимно предложил:

— А теперь разрешите, господа, проиллюстрировать перед вами живое воплощение русской мощи!

Митрофан, опираясь на ручку кувалды и не поднимая головы, хмуро уставился в растрёпанные носки своих изношенных лаптей. Чувствовал себя плохо. Сердце, казалось, билось о самую кожу фартука, в висках стучали молоточки. Кружилась голова. Поташнивало.

— В этой штуке, — похлопал князь Мещерский по ручке кувалды, — ровно пуд! Но этот дядя орудует им, «как бы резвяся и играя». Прошу внимания!

Князь отстегнул золотые часы-браслет, положил их стеклом вверх на наковальню.

— Ну-ка! — коротко бросил он Митрофану, отходя с губернатором в сторону.

Митрофан поплевал в ладошки, как-то по-звериному, будто для прыжка, сжался, выцелил, щурясь, точку удара, рванулся, молниеносно описал круг над головой и замер с молотом над часами.

Все бросились к наковальне. Вокруг часов, как брызги воды, блестели стёклышки. Часы нетронуто тикали, и золотой усик секундной стрелки хлопотливо продолжал свой бег.

— Молодец! — похвалил губернатор, доставая пятёрку и кладя её на вытянутый молот. Все тотчас же полезли за кошельками.

Мещерский, Остен, Гербехт улыбались.

А Митрофан выронил кувалду, словно пятёрка губернатора оказалась последним, превышающим его силу весом, странно качнулся в сторону и, поймав ускользающий из-под руки угол горна, поднял налитые кровью, ненавидящие глаза.

Гости ушли, оставив на наковальне кучу бумажек.

Митрофан залился иссиня-пунцовой краской и хрипло прорычал:

— Сволочи...

Мешком сполз кузнец на пол.

В этот момент вбежал мастер.

— На молебен! Быстро! — закричал он.

— Человека дофокусничал! — повернулся к нему бледный Панкратов.

— Зо-о! — взвизгнул было Гербехт, но, взглянув ему в лицо, задом попятился из цеха.

Связав два кожаных фартука, товарищи положили Митрофана на них и отнесли в сарай, на мусор.

— Идите, в гроб их душу, на молебен, а то всех засыпшем, — приказал Панкратов, — а я побегу за врачом!

Во дворе, перед конторой, на помосте, поместился весь церковный притч.

Губернатор с князем Мещерским, именитые, звездоносные гости, отделённые от мастерских барьером, крестились, кланяясь сизому дыму от ладана. Молчаливая чёрная толпа рабочих, строгая, отчуждённая, хмуро наблюдала их.

— Заметили, с кузнецом... — кланяясь паникадилу, шепнул главный инженер Мещерскому.

— Надо, пока народ здесь, убрать! — истово крестясь, распорядился князь.

Врач опоздал. Когда Панкратов вбежал в сарай, Митрофан спокойно лежал на кожаных фартуках. Пальцы сжимали ворот рваной рубахи. По открытому глазу ползала муха. На тело падал луч солнца. Отчётливо долетало сюда пение:

— ...Спаси, Господи, люди Твоя...

— Уу-уу!.. — стиснул Панкратов до боли в пальцах кулак, скрипнул зубами и, трудно передохнув, медленно стянул с головы засаленный суконный картуз.

ГИМН ЗДРАВОВОМУ СМЫСЛУ



Торжеством исторической справедливости можно без преувеличения назвать открытие в центре столицы памятника выдающемуся книгоиздателю и просветителю XVIII века Николаю Ивановичу Новикову.

Открытие великолепного памятника стало своеобразной кульминацией Международной научной конференции «Россия и гнозис: судьбы религиозно-философских исканий Николая Новикова и его круга». В работе конференции приняли участие видные учёные не только из России, но и из США, Германии, Великобритании, Израиля, Италии, Голландии и Швеции. Форум проходил в рамках множества других мероприятий, приуроченных к отмечаемому в эти дни 90-летию Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино.

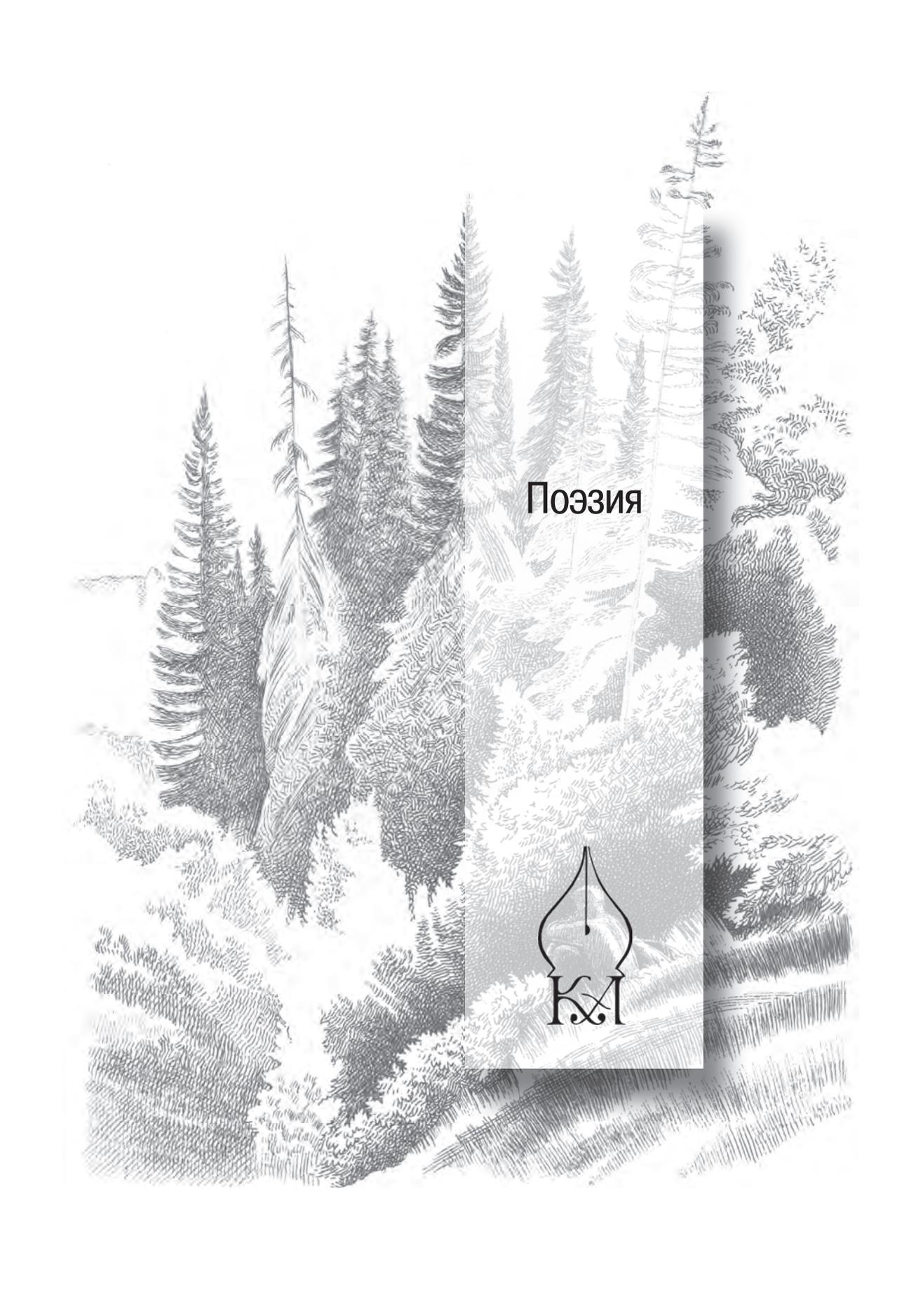
Справедливости ради нужно отметить и соорганизаторов, и доброхотов-благодетелей, оказавших в том числе и финансовую поддержку в отливке и установке памятника Н.И. Новикову: фонд «Собрание», фонд «Дельфис» и недавно созданный научно-просветительский центр «Вольное философское общество».

К конференции «Россия и гнозис» и открытию памятника гуманистическому просветителю был приурочен выход уникального сборника «Утренний свет» Николая Новикова. В его основе — факсимильное воспроизведение редчайшего экземпляра философского журнала «Утренний свет», редактируемого и выпускавшегося Новиковым в Санкт-Петербурге, а затем в Москве в 1777—1780 годах, а также ряд интереснейших архивных материалов, научных статей современных исследователей с комментариями.

Нынешний памятник отлит из благородной бронзы и установлен на солидный гранитный постамент. Весьма реалистичный образ издателя и просветителя создал заслуженный художник России Иван Коржев, который на основе широкого иконографического материала работал над бюстом Н.И. Новикова почти целый год. Так воплотилась идея, зародившаяся почти век назад.

Памятник Николаю Новикову в центре Москвы установлен, нужно радоваться тому, что историческая правда всё же торжествует.

*Александр НЕФЕДОВ, член Союза журналистов России,
почётный работник печати города Москвы*

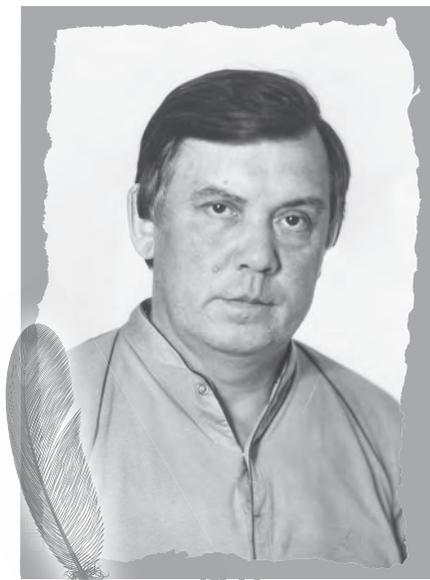


Поэзия





Графика Василины Королёвой



Валерий Константинович Капралов родился в Коломне 20 августа 1937 года. Военное детство прошло в эвакуации в городе Красноярске, послевоенное — в Башкирии. Среднюю школу окончил в Коломне, а в 1959 году — Московский горный институт. Работал изыскателем (геодезистом, геологом), исколесил почти всю страну. В 1982 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга его стихов «Забывтая дорога вдаль», которая была высоко оценена читателями и литераторами. Валерий Капралов — автор четырёх поэтических книг, член Союза писателей СССР (с 1988 года) и России. Живёт в Москве.

ЗНОЙ

Поэма

*Светлой памяти моего отца —
Константина Ивановича*

I

Я не знал на исходе июня,
есть ли край у заволжских степей.
А на небе и после полудня
нет ни облачка.
Пей или не пей —
это жажда не отпускала.
Открывая бездонный простор,
степь протяжно и громко дышала.
И в оконный распахнутый створ
раскалённого солнцем вагона
доносились издали
и раскатистый ход эскадрона,
и закатная песнь ямщика.
Это было давно иль недавно?
Сам ли видел иль помню со слов,
как гулял по степям этим славно
с вольным людом казак Пугачёв?
Подгоняемый царским вельнем
иль надеясь на собственный ход,

поколение за поколеньем
в эту степь устремлялся народ.
Через Волгу, как через экватор —
кто на волю, а кто и на риск.
И недаром пустой элеватор —
месту хлебному — обелиск.
Хлебный край, храбрый люд,
гладь степная,
озарённые издалека...
Эта степь без начала и края —
как гудящие ветром века.

II

Кругозор становился светлее.
Вот и мост через тёмный Иргиз.
— Поднимайся, гляди веселее! —
кто-то с полки тянул меня вниз.
Мать честная!
Рассыпались звёзды,
словно искры сгоревших хлебов.
Отстучали последние вёрсты,
вот и город степной —
Пугачёв.
Промелькнули постройки окраин,
глянул в окна столетний собор.
И прохладной синеющей ранью
просыпается разговор.
Вот и город...
От чёрного крика
оголились верхи тополей.
Край вороньих гнездовий.
Смотри-ка,
сколько их, словно тёмных людей?
Так орут,
словно нынче не ждали.
Да утихните вы наконец!
Приумолкли.
Часы застучали.
И увидел я:
вышел отец.

III

В первый день говорили о доме.
Для меня
где отец, там и дом:
дом в Башкирии или в Коломне,

и в Москве...
Но об этом потом.
Говорил он о самом далёком,
каждый строит во времени дом,
каждый видит на небе высоком,
чтоб на землю спуститься потом.
В сорок первом Москву у Можайска
защищал,
был контужен и — в тыл...
И сумели тогда продержаться —
мы-то помним, а кто-то забыл...
Вот сосед —
новой жаждой томится,
день и ночь он мечтает о том,
чтобы выкрасть перо у жар-птицы —
всё, что плохо лежит,
тащит в дом.
А другой —
тот бездонную жажду
заливает морями вина,
всё пропил не однажды, а дважды.
А детей воспитает жена.
Сорок лет с сорок первого года —
испытанья сегодня, вчера...
— Это было, отец,
с небосвода
дым сошёл.
Всё осмыслить пора.

IV

Но прислушайся к новым раскатам:
что ни день —
или выстрел, иль взрыв.
В этом мире, ураном богатым,
лишь глухой ощутит перерыв.
Для истории время урока.
Год за годом идут, словно день,
в ожиданье единого срока.
Днём и ночью мерещится тень
от крылатых ракет.
Три минуты —
вот и чёрная птица близка...
И локаторы в небо воткнуты,
чтобы слушать секунды, века?
Каждый час он приёмник включает —
может, мирные новости? Вот...
А за окнами ветер качает,
словно парус, земной небосвод.

V

Сон ещё догорал на восходе,
словно лампочки тусклый накал, —
вдруг увидел себя я в полёте
и услышал вопрос: «Ты летал?»
— Как летал?
Тут отец улыбнулся.
Отпечаталась мысль на челе.
Я действительно только проснулся,
приземлился на знойной земле.
Значит, сон этот птицею быстрой
грянул с огненной высоты
и рассыпал небесные искры,
исцеляя от слепоты.
Так летай же!
Свою невесомость
каждый в детстве ещё испытал.
А потом — перегрузки на совесть.
«Ты летал?»
А как будто «Кем стал?»
И распахнута жизнь до предела:
чем живёшь, то с собою возмёмь.
Невесомым становится тело,
но в полёте себя обретёшь.
И, грядущие дни размечая,
не теряй свою древнюю статью.
— Ты летал?
И отец отвечает:
«Человек и родился летать».

VI

Я вернулся в тот город.
Фигуры
жизнь расставила, не скупясь...
Был тот день и холодный, и хмурый.
Застывала осенняя грязь.
Хоронили отца. И проститься
люди шли. Кольхался кумач.
В небе таяли поздние птицы
и терзающий мачехи плач.
Был отец человек здесь известный:
коммунист и для многих пример.
Не пришли из горкома...
Хоть честный,
но забытый пенсионер.
Схоронили его за собором

под железною новой звездой...
И за этим прощанием скорым
день гнезвился совсем молодой.

VII

А под утро —
то ль явь, то ли снится —
встал над городом огненный гром.
Это в небе запела жар-птица,
исцеляя всю землю огнём.
А из клюва посыпались перлы
ярче молний.
Из огненных глаз —
свет кристальный.
Как будто из пепла
возродилась жар-птица,
зажглась.
Разом вспыхнули кроны деревьев.
Вороньё растворилось во тьме.
И как будто дыханием древним
вдруг повеяло по земле.
Распахнулись и крыши, и стены,
открывая высоты под стать...
Если видишь в себе перемены,
стоит память свою полистать,
обратиться к другому потоку,
симметричному ходу времён —
это мысль обратилась к истоку,
и в грядущее мир обращён.

VIII

И все сроки настали.
Ты слышишь,
как от зноя гудит эта степь?
Испаряются улицы, крыши.
Поднимается солнце всё выше,
и земля начинает гореть.
Словно пламенем хлещет по нивам.
Сей по новой — пропало зерно.
Будь же сеятелем терпеливым,
и узнать тебе будет дано
укрошение силы стихийной
в этих белых потоках огня,
встретишь век свой хрестоматийный,
наступленье грядущего дня.

Сей зерно.
Урожай не приснится.
И откроешь в себе наконец
эти светлые крылья жар-птицы,
и увидишь —
вернулся Отец.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАРАДОКС АЛЕКСАНДРА



Александрю Сахарову — 50!

*Как молния сквозь отблески эфира
Внезапно озаряет небосвод,
Высокий голос лермонтовской лиры
Пророчество тревожное несёт.
И ты стоишь, как громом поражённый,
Мгновенно прозревая тёмный путь,
И видишь всё: и Божии законы,
И сердца человеческого суть...*

Роман Славацкий

Нечасто встретишь такого человека. Александр Сахаров, казалось бы — «физик» до мозга костей. Вся его жизнь связана с городом Жуковском, с авиацией, преподавательской работой. И всё это фантастическим образом сочетается со страстной любовью к «золотому веку» отечественной литературы. И особенно — к гению Лермонтова! Сахаров — основатель и глава Московского отделения Лермонтовского общества. А «Коломенскому альманаху» от этого прямая выгода. Потому что Александр Александрович не только сам печатается на наших страницах, но, используя обширные связи в литературном мире, привлекает к работе целый отряд выдающихся учёных. Без Сахарова альманах уже немислим. И мы от всего сердца поздравляем нашего автора и друга с замечательным юбилеем. Желаем ему здоровья, терпения и удачи на избранном им пути.

Коллектив редакции

Михаил Мещеряков



Михаил Викторович Мещеряков родился в 1963 году в Коломне. Окончил Рязанский медицинский институт. Работает врачом. Стихи пишет с юношеских лет. Посещал занятия литературного объединения «Рязания». Печатался в областных и районных газетах. Победитель городских поэтических конкурсов.

Постоянный автор «Коломенского альманаха». Выпустил три книги стихов — «Пустынное бесшумье» (1999), «Тысячелистник» (2002), «Возможность творчества» (2009), тепло встреченные коломенским читателем.

Некоторые стихи, переложенные на музыку и исполняемые автором, перешли в жанр авторской песни.

Награждён литературной медалью И.И. Лажечникова.

МИХАЙЛОВ ДЕНЬ

ЖЕРНОВА

Слово не умеет
превратиться в стих,
пока автор мелет
зёрна букв пустых.

Вот он день, что прожит,
перельёт в слова,
а потом положит
жизнь на жернова.

Те, что прочитали,
слышали их зов,
как стихи кричали
между жерновов?

ФЛЮГЕР И КОМПАС

Спокойно и без помпы
(а помпа-то к чему?)
встречает Флюгер Компас
и говорит ему:

«Пурга ли налетела,
циклон сбивает с ног,
одним с тобою делом
мы заняты, браток.

В полях и перелесках
заблудшим где-нибудь —
железка и железка —
указываем путь».

А Компас стиля ретро
ему ответил сам:
«Ты крутишься по ветру,
а я — по полюсам.

Он лишь подует, ветер,
а ты уж тут как тут.
Таких вертяльвых ведь и
в дорогу не берут.

В Земле есть ветры тоже
у самого нутра —
надёжнее и тоньше
магнитные ветра.

На чём бы и на ком бы
ты б ни стоял, петух,
берёт в дорогу компас
моряк или пастух,

Идёт, не беспокоясь
за мой ориентир:
изменится мой полюс —
перевернётся мир».

НА ОСТРОВЕ КЕНТОВОМ

Юрию Аммосову

Как нас ветер ни вертит,
не потерпим мы крах, —
утверждаю на тверди,
но волнуюсь в волнах.

Нашим катамаранам
волн не страшен разбег,
когда их караваном
мы ведём на ночлег.

Мы на всём здесь готовом:
есть костёр у плиты.
Мы стоим на Кентовом,
мы уже, как кенты.

Он нас поит и кормит.
Здесь морошка, как мёд!
Нас какой-нибудь штормик
просто так не согнёт!

Не согнёт, не укачивает!
Чтобы выскочить в порт,
мастерство и удачу
будто взяли на борт.

Бог везения, с ним бы
я б ходил и ходил!
Но тревожные нимбы
предзакатных светил

говорили нам будто,
упреждали нас, что
штиль растает под утром
и останется — шторм,

что на катамаране
есть счастливый набор,
что проскочим на грани
тех, что взяли на борт.

ЛАДОГА ВЕСНОЙ

Александр Пахомову

Ещё белы снега
на Ладоге в апреле,
и Ладоги дуга
прочна на самом деле.
И лёд ещё трещит,
и лютый ветер свищет,
и чайка не летит
и польнью не ищет.
Но когда снег идёт,
являя непогоду,
продавливая лёд,
выдавливая воду,
участки с желтизной
рождают лёгкий ужас:
на лыжах, как весной,
идти по этим лужам.
А вдруг непрочен щит
и лыж не хватит днища?
Но чайка не кружит
и польнью не ищет.
Подскажут рыбаки
то верное решение:
обходим ропаки
(участки торошенья),
не домик слюдяной
поставим, как саамы...
Но ветер ледяной
приходит с Валаама,
и лютых холодов
несёт взамен капели.
Ты отдыхать готов
на Ладоге в апреле?

Нева, Невы, Невы? —
колеблется в просторе.
Дыханье у него
сродни дыханью моря,
и трескается лёд,
как ружья на охоте —
где трещина проходит,
никто не разберёт.
Мы были прощены.
Оправдываться — нечем.
Кусты превращены
в подсвечники и свечи
дыханием зимы
и шторма ледяного.
Чем заслужили мы
прощения такого?
Агония зимы
вредна в весеннем свете —
от снежной белизны
мы щуримся, как дети.
Ещё один рывок,
и не на грани риска,
маяк и островок,
залив и — берег близко!
Ещё один ночлег
на ледяной подушке,
фонарик на челе,
горячий чай из кружки.
Сдаваться — ни к чему
при всём честном народе.
И трещина проходит
по сердцу моему.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПУТОРАНА

Юрию Афанасьеву

Однажды мы на Пutorана
построили катамаран
и с помощью катамарана
мы плавали средь Пutorан.

Мы плавали? Но вот потеха:
нельзя сказать, что мы плывём,
когда и он на нас проехал
не больше ли, чем мы на нём?

По времени — оно быть может,
по километрам — не скажи,
и первый мой катрен, похоже,
не плавает средь моря лжи.

Когда же начались озёра,
один из нас сказал: давай
катамараны свяжем. Скоро
озёрный сделали трамвай.

И в чаше Кугарамакана,
в просторах озера Кеты
под пение с катамарана
мы плыли дружно, как киты,

пока совсем не уморились,
поскольку Рыбная река
петляла, трубами Норильск
попыхивал издалека.

Арктический пришедший холод
и мёртвый, как у Данте, лес
всё делали затем, чтоб город
манил теплом своих чудес,

таких вот, как, к примеру, ванна.
Но хочется напомнить вам:
а сколько мы на Пutorана
холодных принимали ванн!

Бродя по лесу, как Вергилий,
ты в память кол не забывай,
не забывай об оверкиле¹,
но и триумф не забывай.

Не унижай судьбы дарами,
которых ты не заслужил,
а чаще вспоминай о раме,
что ты по склону протащил.

УРАЛ ЗИМОЙ

Олегу Кузьмину

Тот край, что состоит из руд,
камней, корней и силы прочей —
он пихты тёмный изумруд
несёт и трепетно, и прочно.

Когда прибрежные кусты
пройдёшь решительно и с болью —
 заметишь, что леса густы,
как бы присыпанные солью,

стоят по склонам этих гор,
и лапы их отяжелели,
поскольку снег с давнишних пор
в ладонях еле держат ели.

¹ Оверкиль – переворот судна.

Закат красив, как вишневит.
По снегу, по тайге, по рудам
пройдём, и склона внешний вид
прорежем, как стекло корундом,

спускаясь со скалистых гор.
Тепла не будет маловато:
топор, что рубит дров в костёр,
остёр, как сабля Салавата,

и справедлив. Так, он меня
использует, слагая в пламень
дрова и ветви. И огня
нам хватит до утра. А камень?

А камень мне слагает пусть.
Отсюда до истоков Ая
не самоцвет он — златоуст
сокровищницы Таганая.

ЧЕРНОРИЗЕЦ БОГОЛЕП

Черноризец Боголеп,
что с верховий Енисея,
что пожал и что посеял? —
Горьких истин чёрный хлеб.

Никого не костеря,
не гоня с дремучих вотчин,
просто нас встречает отче
женского монастыря.

Мы ж, в тайге увидев дом,
всё становимся настырней:
«Покажи свой монастырь мне». —
«Да чего уж там, идём».

Ах, как притолка низка!
Со ступени — на колени.
В двоепёрстное знаменье
складывается рука.

Перед ликами дрожит
допотопная лампадка.
Разговор не больно гладкий
про монашескую жизнь.

«А она-то как, трудна?» —
«А ты думаешь — что, сладка ли?»
Вот и лён когда-то ткали.
Обленились. Нету льна.

Всяко дело без любви —
только нудная забота». —
«Ты до ночи на работу,
отче, нас благослови.

Лошадей-то посмотреть,
диких ягод спозаранку,
и корней, пока саранку
не повыкопал медведь». —

«Ты мне вот что Расскажи:
там об чём народ хлопочет?»
А никто придти не хочет
нас спросить, как дальше жить?»

Как же это описать?
Что тебе ответить, отче?
Что никто уже не хочет
душу грешную спасать?

Им спасти б своё лицо,
жизни мнимую химеру.
Ну, а вы спасали веру
от холопов и льстецов.

Да поймём ли мы когда,
кто, кого и чем осудит?
Как потом нужна нам будет
ваша чистая вода

там, где душно для души,
и оракулы пророчат,
и никто спросить не хочет:
отче наш, как дальше жить?»

Неказистый сам на вид,
дом-то вон какой достроил!
Ты на всякий труд достойный,
отче, нас благослови.

Отче очи опустил,
тихо бороду утюжил,
ничего не подытожил,
только взглядами крестил.

ВОДЛОЗЁРЫ

Георгию Воскресенскому

Если повернуть обратно взоры,
то такой мне видится узор:
мы с тобой, брат, тоже водлозёры,
но из тех, из бывших водлозёр.

В том краю, в том времени мы — гости.
Памяти перебираю корм:
помнишь, как на Ильине Погосте
небольшой пережидали шторм?

Опьянев от качки, как от бражки,
наблюдали, стоя на посту,
как бегут по озеру «барашки»;
пятибалльный ветер — их пастух.

Им, казалось, не было предела.
Но пастух, что бешено гулял,
вышел весь. И стадо поредело.
С колокольни глядя в окуляр,

мы узрели: где-то на закате,
там, на рейде, между островов
на волнах покачивался катер,
не боящийся таких ветров.

И, спустившись к берегу с вещами
(лодки там уже заждались нас),
мы к нему рванули: «Верещагин!
Верещагин, заводи баркас!»

На борту качались водлозёры,
четверо туристов из Москвы
и корова. Капитан весёлый
сразу спирт, спросил, везёте вы?

Был у капитана вид не хрупкий.
Я призвал: «Господь, да помоги!
Спирт — потом». Из капитанской рубки
через час торчали сапоги.

А когда приблизился посёлок,
капитан продрал нетрезвый глаз
(вид его был, кстати, невесёлый):
«Спирт не дали? Поверну баркас!»

И тогда с крестьянками, с коровой,
с нами всеми повернул его,
крутанув штурвал рукой здоровой
с силой самодурства своего.

«Нас не жалко — пожалей баркас-то!»
Ведь оно понятно для ослов:
«Спирт, сказал, на берегу и — баста!
Я на ветер не бросаю слов!»

И когда баркас уткнулся в пристань,
был на берег перекинут трап,
я отдал пьянчуге граммов триста —
всё, что было: «Полечись с утра».

Переночевав посёлка подле,
после — вспоминаю как сейчас —
и Падун порвали мы на Водле,
а на Печке положило нас...

Мы уже плоды, а наши зёрна —
там, в озёрной дали, в глубине.
Мы с тобой отчасти водлозёры.
Друг мой старый, помнишь обо мне?

ДВА ПИСЬМА

1. Письмо

Олегу Кузьмину

Еду Воронежской областью
поездом Нальчик — Москва.
Жизнь представляется повестью.
Надо найти слова.

Жизнь представляется повестью,
только её сюжет
дан нам ещё не полностью,
нескольких главок нет.

Путь — не железный, жизненный
не одному тебе
дан как экзамен письменный
с правом Судьбы в судьбе.

Зыбок тот путь — и прочен,
не вечно длящийся...
К литературе, впрочем,
не относящийся...

2. Константа

Сядь ко мне (куда ты денешься?),
локон подними со лба.
Я боюсь, что ты изменишься.
Остальное всё — судьба.

Солона она? Горчит она?
Всё уложится в сюжет,
где угадано, просчитано
так, что даже тайны нет.

САДОВНИК

Осень. Казалось, надо
жить в тишине. Но вот
музыку листопада
слушает садовод.

Общедоступных истин
хватит ему. А так
падают эти листья,
медленно и не в такт.

Позже к палитре сада,
жёлтой уже на третей,
дикого винограда
тянется дико плеть.

Листик его ладоней,
выросший от стены,
яблоневого не тронет,
тёмных и жестяных.

Слушает сад садовник.
Музыкой тут — листва.
Жимолость и крыжовник
шепчут едва-едва.

Медных, багровых, ржавых
листьев ковёр лежит.
Вдруг на ветру шершаво
вишенье прошумит.

Скоро застынет воздух.
Ну, а пока есть дух, —
тянется запах в ноздри,
падают звуки в слух.

Слушайте осень, чувства!
Медленней, лист, кружись!
И из куста — искусство.
Но и в искусстве — жизнь.

Осень. Такие вести
передавать привык
медленней и древесней
терпкий её язык,

пёстрый её письмовник —
тихое волшебство.
Бродит в саду садовник,
вслушиваясь в него.

ВРЕМЕНА ГОДА

Весенняя прививка доброты,
судеб различных странное сближенье,
ветвей вчерашних новые черты,
соединённых для сокодвиженья...

Но вот остановил движенье сок,
и грустно наблюдаешь в день осенний
горчащих мыслей кинутый клубок,
запутанный в кустах стихотворений.

НА МИХАЙЛОВ ДЕНЬ

Под моим окном
белая сирень —
это выпал снег
на Михайлов день.

На Михайлов день,
а не на Покров
принесли земле
кружевных даров.

Ты смотри, душа!
Ты внимай, душа,
чистотой дыша
или не дыша...

Так потом и ты
отлетишь туда,
где покой и льды,
чистая вода.

А по льду пойдёшь —
хоть и берег крут,
то с собой возьмишь,
что питаешь тут...

СКОРО ЗИМА

Скоро опять начнётся зима.
Мы будем снова кормить синиц.
Снег будет белый на все дома
медленно падать вниз.

Поздние пчелы, присев на край
рамы, спят на весу.
Чай будем ставить? Схожу в сарай,
щепочек принесу.

И в самоваре шумит вода,
а на душе тепло.
Только бы это было всегда,
только бы не ушло!

* * *

У дома сад,
в саду есть кот,
а также яблони и вишни.
Над этим — свод,
а выше — God,
но обращаться так излишне.

От дома — шаг,
за шагом путь,
и этот путь однажды начат.
И не уйти,
и не свернуть,
и невозможность быть иначе.
В окно звезда
одна глядит,
и долог путь, и в нём тревожность,
и нереальность впереди,
и отказаться невозможность...

ПОЧТИ ИЗ Г. ПОЖЕНЯНА

*Не паситесь в офсайте,
в тени у чужого крыльца.
Старых жён не бросайте,
несите свой крест до конца.*

Г. Поженян

Не торчите на сайте
вдалеке от детей и подруг,
но и жён не бросайте —
отобьются, отвыкнут от рук.

Королевы,
не в хай-теках ищите утех.
А проблемы...
так нехай они будут у тех,

кто зависим
от сети виртуальной, почти неземной,
но — зависни
в этой жизни реальной, останься со мной.

Интернетно
научились общаться мальцы, ну и пусть.
Жизнь — конкретна,
интересна в деталях, на запахах, на ощупь, на вкус.

Но ментальность
расширяется быстро, так стих твой любой
моментально
может стать достоянием многих, размножен толпой,

как тот вирус.

Не простой, а компьютерный, хамский весьма.

Но папирус

научил египтян и письму как искусству.

Искусство письма

исчезает как форма

выражения образа мыслей, идей.

Исчезает на форумах,

а началом-то был Колизей,

что, наверно, из Рима,

из конкретного Рима, из самого из нутра

и реально, и зримо

остаётся его достоянием, как и собор Петра.

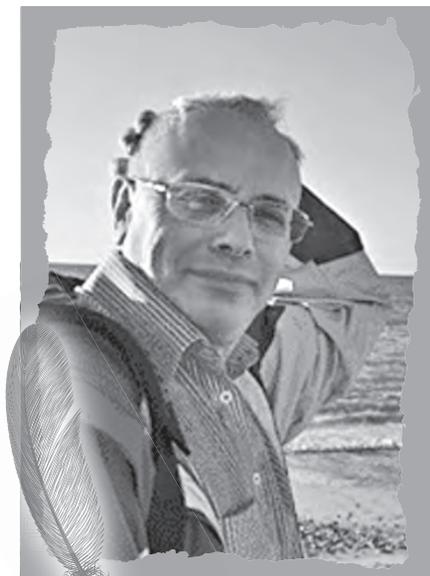
Приезжали

от Бога, изучали, читали, чесали в седой бороде.

Говорят, что от вас остаются детали: скрижали,

несколько строчек в блогах, береста и папирус,

несколько букв в Word'e.



Алексей Ильич Ивантер родился в 1961 году в Москве. Учился в педагогическом институте. Был рабочим в геологической партии на Верхоянском хребте, строил на Алтае линии электропередачи, жил сезонным сбором яблок под Россошью и никогда не придавал значения фактам своей биографии.

Его главное дело — поэзия.

ГОЛУБИЦА

МАРФУША

...и чудится воздух цинготный и дух застоялый квасной в субботу, как кашель перхотный за тонкой хрущёвской стеной. За высохшей липой больною нет старого дома давно, но в воздухе над бузиною бесплотное светит окно. Скользит по руке волоконце: не тягостна ноша своя. И в чистое смотрит оконце Марфушенька, Марфа моя. Долги наши, вечныя долги... Горел этот ясный костёр, придя с раскулаченной Волги, для тёток моих и сестёр; для мамы, меня и племяшки, и бабки моей, и отца... Жировки, кастрюли, рубашки... До светлого в Боге конца. Сидит, зажимая трёхперстье, и в низкое наше окно так смотрит, как смотрят из смерти, живым как смотреть не дано.

ГОЛУБИЦА

Жизнь идёт своим походом — мимо стройки и ларька, день за днём и год за годом бесконечная пока; жизнь идёт своим походом, непонятным чередом: по земле, воздушьям, водам, мимо дома над прудом. Нас выносят на брезенте в свой для каждого черёд; но, как в старой киноленте, всё известно наперёд. Дар провидческий печальный в золотящейся пыли — зов души первоначальный пригибает до земли. Плохо пьётся и поётся, бродят думы на челе; тяжело ль тебе живётся, голубица, на земле? Солона ль тебе водица, горьковат ли чёрствый хлеб,

голубица, голубица, наших знатчица судеб? Но, без грусти подытожа жизнь прозрачную до дна, — «Всё, сынок, по воле Божьей, — отвечает мне она, — всё, сынок, по Божьей воле, всё на ангельский мотив, жизнь твоя — с репьями поле — воле Божьей супротив». И даёт мне Марфа книгу — стёрт телячий переплёт: неподвластен злу и мигу древней азбуки полёт; ни издательства, ни даты, подыстлевшая края... Я читал её когда-то... До начала бытия.

ПАСХАЛЬНОЕ — ДОПИСАЛОСЬ

Под скрипку — бывает и круче — в каморке дешёвой внаём, я плачу от «Бессаме мучо», сгоревшего в сердце моём. А ниже — мощёная площадь со всей суетой и едой, и платье гречанка положит в корыте с кипучей водой. Всею памятью сердца короткой, в ладонь зарываясь щекой, я плачу от выпитой водки, от вьёвшейся соли морской — о том, что всё косо и криво, что спирт не сжигает беду...

Был шторм, и сломало оливу в некупленном нами саду. А речь, как слепая стихия, стоит за стеной крепостной, и жидкие слёзы мужские смешны на неделе Страстной. Груз сердца и мрачен, и светел, но ноша своя ль тяжела?

Нас клюнул прожаренный петел, ужалила в горло пчела.

ЕНДОВА

В хлеву, объятom тишиною, где за стеной бурчал ручей, я спал с беременной женою, и слаще не было ночей, чем на овечьем одеяле с овчиною под головой. И звёзды плавкие сияли через дыру над ендовой. А под горой жевало стадо, свистали птицы на горе; и было всё, что было надо по невзыскательной поре. И понял я, как тот калека, живущий харчем поездным: как мало надо человеку под небом ласковым земным; неважно — хмель пускает плети иль реки схватывает льдом... Но вопреки прозреньям этим я землю рыл и строил дом. Я забывал закут овечий, судьбу московскую кляня, и Русский Круг держал за плечи железной хваткою меня. Я жизнь свою переиначил, я душу выпустил — лети! И Русский Крест мне замаячил в конце неровного пути. Но та светила мне прореха, и та хранила ендова, и чудом прожито полвека и переплавлено в слова.

ТАМАНЬ

Не было ни рая и ни ада — жизнь текла, как липкий пот со лба; близкая мне снилась канаода и чужая виделась судьба. Снились сёла в камне и в самане, низкий берег, Керченский пролив; снилось — пели бабы на Тамани, тёплым спиртом горла опалив. Снились кони, выкрики и лица, речь чужая ночью по двору; снилась, снилась чёрная земляца — не к добру, должно быть, не к добру. Снились мне жи-

вые ополченцы, вестовые — в дыме и огне; снилось мне — оружие младенцы тянут руки чёрные ко мне. И, как Божья кара или милость, босиком на вылегшем снегу, до утра всё женщина мне снилась, о которой думать не могу.

СТАНЦИЯ ПЛЮССА

Боре Левиту

Под обстрелом на станции Плюсса, во дворе нежилого жилья, среди месива стёкол и бруса, под телегою — мама моя. Не найти на пути мне ночлега, не пробиться сквозь синюю мгу: это мама моя под телегой, а я маме помочь не могу. Всё горит он, горит, не погашен, этот свет, не поросший былём; звёзды красные с танковых башен отпечатаны в сердце моём. Торошковичи — Старая Русса... Я к тому отхожу рубежу. Под обстрелом на станции Плюсса под телегой пожарной лежу. Задыхаюсь в случайном побеге, смерти жду в станционном чаду... Всё-то было спасенье в телеге гужевой на железном ходу.

ЗНАМЯ

В зарослях краснотала,
В Устьинском ли бору,
Что-то со мною стало —
Слова не подберу.
Что мы сказать осилим,
С тем и уйдём из мест,
Милых под небом синим,
Под невысокий крест.

И, как седой калека,
Что присягал царю,
Я на руинах века
Всё говорю-горю,
Речью и пьян, и болен,
Слов я, гляди, накрал!
И, как слепой Марголин,
Что-то из них собрал.

Глянь, достославный друже,
Вот негустой улов:
Всё-то моё оружие —
Из немудрёных слов.
Старым еловым кряжем,
Пихтою вековой
В землю родную ляжем —
Это само собой.

Пьяны теплом и болью,
Слышим едва-едва
Тех, кто до нас с тобою
Тут говорил слова,
Выбрал такую ж сечу,
В слово себя облёк,
И на излёте речи
В землю родную лёг.

И остаётся с нами
Лагерный снег зимы,
И под рубахой знамя
Прячем на теле мы.
Судит нас совесть, судит,
Если слеза в горсти.
Будет в России, будет
Знамя кому нести!

ПОКРЫВАЛО С СЕРДЕЧКАМИ

Покрывало с сердечками у меня в головах,
Со следами от «Стечкина» на льняных кружевах.
Вот такое подворие — дух и чёрная кость.
Бремя русской истории не повесишь на гвоздь.

И с крестом, и в безбожии, — как калёный бурав,
Ощущаем под кожей мы память брёвен и трав,
Шёлк венцов ненадёванных, топ казачьих подков,
Пар от уст нецелованных перебитых полков.

За лесами да речками, что твои сторожа,
Покрывала с сердечками по кроватям лежат.
Вот и мне бы в пожилости на такую б кровать —
По Христовой по милости — умирать, умирать.

БУХЕНВАЛЬДСКАЯ ЗОЛА

Что-то мама захворала, навалилось через край;
Мама, нас осталось мало, обожди, не умирай!
Помнишь снег под Павлодаром, голод, бабушку в тифу,
Запах кож и скипидара, ссылку, пятую графу?
Помнишь, бабушка в апреле ни к чему произнесла:
«Мы евреи, мы евреи, бухенвальдская зола...»
И легла, уже не встала, как ушла из-за стола,
Догорела вполнакала, незаметно умерла.
И под русскою ветлою разместились декабрём

Бухенвальдскою золою за Донским монастырём...
Не её ль ладошкой узкой с медицинской иглой
Я подмешан к песне русской бухенвальдскою золой?
Полистай мои страницы: ссылки, войны, холода,
Леденящие больницы, немудрящая беда,
То с обрезом под полою, то с колымскою пилой,
С бухенвальдскою золою, с бухенвальдскою золой...

* * *

Свет, на город снизошедший, подсветивший облака,
Нежен к навсегда ушедшим и к оставшимся пока.
Той идущему дорогой груз земной не по плечу.
На углу за синагогой даже выпить не хочу.
Якиманка, Якиманка, не сберёгшая ребят,
Что-то жизнь моя — жестянка — зацепилась за тебя,
За Солянку-Маросейку, за Колпачный и Донской,
За Абрашку, Федьку, Сеньку под дубовою доской,
За живых и отошедших снежных прежних голубей.
Свет, на город снизошедший, нежен к памяти моей.
И уходит, и уходит за кремлёвские холмы
На Коломну пароходик, на котором плыли мы,
А в Коломне, а в Коломне тётимашино жильё,
Я не помню, я не помню, как фамилия её.
Что-то пили, что-то ели, что-то ввали кораблю,
Чашки били, песни пели, «цигель-цигель, ай-лю-лю»,
И растаяли, как белый пар над речкою Москвой,
Шевелюрой поределой на подушке перьевой...

135

ГОЛУБИЦА

СПЕЦАГЕНТ

Спецагент неизвестной державы, я тетради храню в тайниках, я вдыхаю горящие травы и шифровки пищу впопыхах, — как окошки дрожат выставные, как на Мурманск уходит конвой, как пожары чадят торфяные и безумствует пал верховой; и под лязганье траковой стали различает пожарный расчёт: это память гудит на Урале и губами стальными речёт. Это память, как звон погребальный, догоняет сквозь годы и сны, и стоит городок госпитальный в озареньи пожаров лесных; и среди пепелищ и разрухи, на поленицы руки кладя, хоронившие немцев старухи на огонь, не мигая, глядят.

ВРЕМЕНА ГОДА

Тем летом кончилась война,
Была черёмухой больна
Окраина Рошала.
Но, притворяясь не больной,
Стонала полночь за стеной,
Старухам спать мешая.

А осенью крысиной той
Они просились на постой,
Где лишь бы лечь да охнуть.
Она была за главврача,
А он ночами так кричал,
Что ей хотелось сдохнуть.

А той зимою он ушёл
В поля, где всяк — босяк и гол
В одной артели братской.
Она — жила, она — пила,
И бабкою моей была,
Той самой — ленинградской.

А той весною шли дожди,
И сердце ёкало в груди
В облупленной больнице.
Там было резать, было шить,
И, значит, надо было жить
С неписанной страницы.

Вояки с нашего двора —
Кто блатота, кто фраера,
Кто петь ходил на клирос...
Она была им не сестра,
Её боялись мусор,
Я с ней в обнимку вырос.

Ольга Студенцова



Ольга Андреевна Студенцова родилась в Риге. Закончила Ленинградский топографический техникум. Работала в косметической фирме, консультантом, визажистом, на радиозаводе, картографом, менеджером в турфирме. Любит путешествовать «дикарём», «погружаясь» в страну, в которую приезжает.

Печаталась в разных изданиях России и за рубежом. Выпустила три книги: «Любовь и обнажение» (Москва, 2010), «Книга в журнале «Русский писатель» (С.-Петербург, 2010), «Право на небо» (С.-Петербург, 2012).

Член Межрегионального союза писателей. Живёт в Петербурге.

МОЯ ПРОСТАЯ, МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

СПАСИБО ТЕБЕ!

Спасибо, Господи, за этот день!
За то, что я люблю, жива, здорова.
Что одиночества хмельная тень
не зацепила пламенного слова.

За то, что снег сошёл, смеясь, с небес,
накрыв остатки осени и землю.
Что к жизни не разбился интерес.
Тоску-печаль на сердце не приемлю.

Спасибо за родные голоса,
летающие ко мне через границы.
Ночами сплю по два, по три часа.
Садится вдохновенье на ресницы.

Благодарю за солнечные дни.
За дождь, унёсший пыль с планеты. Лужи.
Как тянут босиком бежать они!..
Есть осень и весна. И Ты мне нужен.

Стучится в окна предрассветный луч,
мне горизонта открывая спину.
Благодарю! Под тенью снежных туч
есть уголок... И жизнь любить причина.

* * *

Моя простая, маленькая жизнь.
Песчинка в удивительной Вселенной.
Соринка в мусоре космических планет...
Мгновенье в бесконечности нетленной.
Но ведь идёт.
Кто знает, для чего?
Где началась и где покинет тело?
Играет днями в дождь, жару и снег.
Странна.
Несносна.
Непонятна в целом.
Я на неё смотрю со стороны.
Боясь встревожить.
Как непознанную тайну.
Как неожиданный подарок и сюрприз.
И верить хочется, что это не случайно —
моя простая, маленькая жизнь...

МЕНЯ НАПРАВЛЕНЬЕ

Свет Луны стремительно, бесшумно
пробегаёт вереницу вёрст
от меня к тебе. Ах, как безумно
хочется раскрасить этот холст!

Солнца луч стирает расстояние
от тебя ко мне мгновенно и
согревает мысли и желание
видеть, слышать. Лучик сохрани...

Ветер сучья набросал под ноги,
чтобы скрыть насыщенный абрис. Нет,
он не сможет спрятать той дороги,
снегом замести любимый след.

Вьётся путь, меня направленье.
Дни скользят, испытывая нас
на любовь, внимание, терпенье...
Пишет жизнь очередной рассказ.

У МЕНЯ СЕГОДНЯ ПОВОД!

Тонко скрипнула калитка.
Осень проскользнула в город
поздравительной открыткой.
У меня сегодня повод!
Улыбаться, петь, смеяться,
надевать шелка и рюши.
Буду кудри завивать я.
Шарфик — от осенней стужи.
И пойду по переулкам.
Заблужусь в мостах Фонтанки.
В арке крикнет эхо гулко.
А Нева блеснёт шампанским.
В свете заиграют волны...
Я влюбилась в этот город!
Осень, а давай по полной?..
У меня сегодня повод!

* * *

В твоих объятьях таять так легко!
Но сердце тает от разлуки. Болью.
Пропитанное ядом или солью
тоскливых дней. И это нелегко.

В твоих объятьях хочется лететь
всё выше в небо, петь над облаками...
Сегодня — необъятными руками
обвила крепко ледяная сеть.

В твоих объятьях мир неуловим.
Так лунный свет — загадочен и мягок.
Когда я в нём — невероятно сладок.
Мне этот мир, как вдох, необходим.

* * *

Меня нет без тебя.
Размывает весна акварели.
Растекаются краски ручьями, шаля и звеня.
Солнце будит любовь,
бесконечные звонкие трели.
Только сердце молчит.
Его стук не тревожит меня.
Тонкий, нежный росток
разрывает асфальт, как пергамент.

Лёд стирает гранит берегов, пробуждая Неву.
Без тепла твоего
разрушается слабый фундамент
замка грёз и надежд.
Начинается жизнь наяву...

* * *

Тысячи жизней прожить
за свою короткую жизнь.
Тысячи глаз одарить бескорыстно
теплом, улыбкой...
Почему же так трудно,
так сложно любить,
скажи,
не повторяя свои и чужие ошибки?

Тысячи стран облететь,
стремясь за мечтой своей.
Тысячи раз
обогнуть
параллели
и меридианы...
Почему
так много вокруг
городов и огней,
а мы —
одинокие айсберги —
по океану?

Тысячи лет пролетят
незамечено для планет.
Тысячи звёзд озарятся светом.
Погаснут снова...
Я для тебя
создам пространство,
которого нет
ни на картах,
ни в небе...
Скажи мне хотя бы слово...

ТЫ ТАК ХОТЕЛ

Я не могла идти,
но уходила.
Сквозь звуки ночи,
солнечный закат,
сквозь дождь осенний,
пропитавший стыло
мосты, Дворцовую и Летний сад.
Я не могла.
Но снова стала тайной.
Ты так хотел.
Ты просто отпустил.
Жизнь оказалась чуждой и случайной...
Ушла любовь,
чтобы набраться сил.

* * *

В том старом доме нет дверей.
Он спит под властью листопада.
В нём жизнь таинственных теней
И аромат волшебный: ладан.

Скрипят ступени в тишине.
В окне завеса паутины...
Я еду, милый Друг, к тебе
найти заветные картины.

Сквозь тучи, пробивая муть,
скользнёт тончайший лучик света.
Пойдём за ним. Да будет Путь!
И время, песнею согрето.

Так незаметно, не спеша,
найдем тот дом, растопим печи.
И вновь вздохнёт его душа.
Подарим безрассудства вечер

тням и стенам. И любви.
Пусть плещется вино в бокале.
И будем мы с тобой одни.
Лишь свет огня в пустынной зале...

В том старом доме нет дверей.
От старости скрипят ступени.
И шепчут жалобно: «Согрей...» —
в ночи таинственные тени.

КТО СОРИТ?

Метель взыграла. Нет конца и края.
Кто мусорит в небесной мастерской?
Заполонила пухом и, играя,
весь кризис завалила мировой.

Ломает ветер сучья, рвёт пальтишки,
спешат прохожие запрятаться в дома...
В руках блокнот и ручка у мальчишки.
Он сочиняет лучшие тома!

Он пишет о волшебных поцелуях,
касаясь нежных и любимых рук.
Про блеск любимых глаз... Нет, не ревнуя,
он ловит свои чувства, сердца стук.

Смущаясь, вспоминает её плечи.
Потупив взгляд, спешит запечатлеть
в дневник свой её сладостные речи.
Кому метель, кому золотая клеть.

Не замечая снега и мороза,
под завыванье вьюги пишет хит...
На Землю Кто-то, глянув с небосвода:
«Эй, кто там снова звёздами сорит?!»

УХОЖУ...

Ухожу в запой — читаю книжки.
В прозу жизни, чтоб ей... лучше быть.
Пью тома. Как тот дрянной мальчишка
пил вино, не в силах позабыть...

Ухожу в запой — в свою работу:
телефоны, встречи и звонки.
Лучше прятаться в полезные заботы,
чем искать виновных... Не с руки...

Ухожу в запой. В стихи и рифмы.
В искаженье жизненных пространств.
В слоги. Сны. Метафоры и ритмы.
Взяток не беру. Не в преферанс...

Ухожу в запой и пью из блюда
жизнь, пропитанную каждым днём.
Пью с трудом очередное чудо,
как все те, кто с нею не знаком.
Ухожу в запой... Ужасно плохо
уходить одной мне, без тебя...
Все поэты в разные эпохи,
хоть немного, каплю невменя...

НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ

Когда пустеет сердце, гаснет Слово.
Когда душа пустеет — гаснет Жизнь.
Слезы бегущей соль, её основа,
смывает подсознания миражи.
Кровь остывает.
Хочется забвенья
и раствориться в судорогах дня.
Зачем пишу тебя, Стихотворенье?
Зачем ответы ищешь у меня? —
ответов нет.
Успокоенья тоже.
Ни мыслям.
Ни назойливым мечтам.
Лишь отрешённость.
И мороз по коже.
А где-то жар.
А что-то пополам.

ХРОНИКА

В ПАМЯТЬ ОБ УСОПШИХ



У храма Иоанна Богослова планируют установить поклонный крест.

С XVI века вокруг церкви хоронили людей. В годы Советской власти кладбище было разорено. В память о тех, кто некогда был погребён на церковном погосте, планируется установить дубовый массивный крест с резьбой. Он будет установлен за алтарной частью храма на специально выделенном месте. В подножье креста будут уложены камни так, чтобы получилось небольшое возвышение, которое символизирует гору Голгофу, на которой был распят Иисус Христос.

Выполнить заказ готовы специалисты православной мастерской «Воздвижение» при храме Великомученицы

Екатерины. Стоимость работы вместе с доставкой и установкой составляет 109 тысяч рублей. Но сумму эту ещё предстоит собрать. Поэтому настоятель храма Кирилл Сладков обращается к неравнодушным коломенцам помочь в сборе средств.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОБРЫЙ СВЕТ ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

В эти вешние дни особенной красотой исполнена старинная земля Подмосковья. Свежий ветер овеивает багряные стены Коломенского кремля, прекрасного, словно ахматовская роза. В марте этого года исполнилось 90 лет со дня рождения Галины Михайловны Липкиной!

Для многих коломенцев она остаётся директором Дворца культуры имени Ленина — так горожане продолжают называть между собой очаг культуры современной Коломны (ныне Дворец культуры «Коломна»).

В далёкие 60-е годы прошлого века Галина Михайловна Липкина была руководителем сначала небольшого клуба, а затем Дворца культуры и техники имени В.И. Ленина Коломенского производственного объединения «Коломенский завод тяжёлого станкостроения». Заветная мечта заводчан сбылась! Дворец культуры распахнул свои двери для всех жителей города.

Уважаемая Галина Михайловна!

Как много может вместить человеческое сердце! Как много может вместить память... Вы прошли достойный уважения путь, не растеряв на крутых поворотах высокой внутренней культуры, искреннего стремления к добру, веры в себя и в людей, идущих рядом, любви к родной земле и к своим землякам.

В истории развития культуры Коломны Вы оставили глубокий след и до сих пор являетесь достойным примером истинного служения людям.

Ваши яркие черты характера: строгость, принципиальность, ответственность, безграничная доброта и способность увидеть, оценить и объединить в единый творческий коллектив талантливых людей — достойны восхищения.

Вашим детищем стала дорогая сердцу многих горожан Детская музыкально-хоровая студия «Костёр». Хоровое искусство явилось центром притяжения, прежде всего для детей и подростков, и способствовало обогащению музыкальной культуры. Концертный хор под управлением заслуженного работника культуры РФ Галины Андреевны Максимовой выступал на самых престижных концертных площадках страны, был активным участником главных городских мероприятий.

Глубокой искренней признательности заслуживает и Ваша огромная просветительская деятельность. Важно, что она всегда была направлена на укрепление связей творческих коллективов, развитие диалога между всеми направлениями сферы культуры города.

Желаем Вам, дорогая Галина Михайловна, крепости духа, здоровья, оптимизма. Пусть излучаемый Вами добрый свет ещё долгие годы озаряет праведные дела Ваших коллег! Искренне благодарим Вас за всё!

*Работники культуры города Коломны,
выпускники Детской музыкально-хоровой студии «Костёр»*



Татьяна Фёдоровна Башкирова родилась в Коломне. Поэт, член Союза писателей России. Автор книги стихов «По обе стороны времён» и многочисленных публикаций в «толстых» литературно-художественных изданиях России. Её стихи предельно искренни. С неподдельным страданием и болью передают они настроения сегодняшнего дня, откликаясь на все наши невзгоды и беды.

Татьяна Башкирова — заведомо поэт «Коломенского альманаха». Все тексты, публикуемые в альманахе, проходят через её руки: набираются, сверяются, корректируются. Её труд — это настоящий жертвенный подвиг. Награждена литературной медалью им. И.И. Лажечникова.

СЖИГАЮТ ЛИСТЬЯ

* * *

Кружатся ласточки в медленном танце,
Это к дождю — невысокий полёт.
Небо свежеет в закатном румянце,
Месяц корабликом белым плывёт.

Бродит июль по ковру многоцветья,
Запахом дышит деревьев и трав.
Клонят ресницы, как малые дети,
Алые цветики, за день устав.

Ночь укрывает заокские дали
Тёмным платком — покрывалом из звёзд.
Через Оку поезда побежали —
И оживился старый наш мост.

Он растревожился, вспыхнул огнями, —
Кто, мол, нарушил сон и покой?
Мягкие тучи гуляют над нами,
Месяц-кораблик плывёт над Окой.

* * *

Кто вошёл в зелёную обитель,
Захламил истоки слабых рек,
Лягушонка малого обидел —
Недруг, варвар? — Просто человек!

У берёз на белые рубашки
Что стекает — сок или слеза?
В поле с корнем выдраны ромашки,
На иголке гибнет стрекоза.

Вспоминаю: было в сказке древней —
Шёл через леса, через бурьян,
Шёл один — искал свою царевну —
Парень незадачливый — Иван.

Человечью мудрую науку,
Знать, сумел постичь Иван-дурак:
Отпустил медведя, зайца, щуку
И свой путь продолжил натошак.

А сегодня время не такое:
Поумнел наш двадцать первый век...
Берегись и прячься, всё живое, —
На природу вышел человек!

ТВОРЧЕСТВО

Бросив перо и чернила,
Бросила дом... Тяжело
Так над дорогою взмыла,
Что окровила крыло.

Что теперь будет с тобою,
Как тебе поле пройти:
Незащищённой стопою —
На каменистом пути!

Душу разбила, как птица,
О придорожье-быльё.
Кровь на дорогу струится,
Строчки растут из неё.

* * *

...И приснится гудок парохода
На заре, в городской тишине.
От черёмуховой непогоды,
Как зимой, забелело в окне.

Снятся мне и леса, и туманы,
Позабывтые ныне поля.
Там ещё не состарилась мама,
Там далёкая юность моя.

Отошло. Отбыло. Отгорело.
Тихо осень встаёт на пути.
Над дорогой моей поседелой
Моросят затяжные дожди.

Ах, черёмуха! Ты виновата!
Ты тревожь мою душу, тревожь! —
Так цветёшь, будто в веке двадцатом,
В моей юности ранней цветёшь...

* * *

Век двадцатый отдавал другому
Светлое сокровище — Россию —
Веку двадцать первому, лихому.
Буйные ветра её носили
Там, на стыке двух тысячелетий.
Даже небо сильно изменилось:
Дымными пожарами ярилось.
Вороны заплакали, как дети,
Видя, как её кромсают тело
Люди, что доселе братски жили.
Призраки вставали оголтело
Из давно забытой, ветхой пыли.
Призраки! Вам место — в старых книгах,
Вы отжили... Там и оставайтесь,
А в дела людские — не мешайтесь.» —
Но они не слушали ни мига...

Над Прибалтикой — ветра чужие.
Стонет Юг, скрестив кинжалы братьев.
Пред распятием молится Россия,
И слеза стекает на распятие.

ЕЙ ДОСТАЛСЯ СКРИПАЧ

Жили — не было пары дружной,
Дом их приветным был.
Но прилетал вдруг зелёный Змей
С тяжкими взмахами крыл.

И не поможешь, и не спасёшь, —
Бога моли иль плач.
Каждая ссора — как острый нож, —
Ей достался скрипач.

Он — весь в искусстве, на ней — семья,
Но у него — талант.
У всех подруг — мужья, как мужья,
У ней, на беду, музыкант.

Он — лишь играть да в ноты глядеть, —
Сникла она головой:
Дочку ведь надо обуть и одеть,
Угол обставить свой.

Вечером — кухня в сизом дыму,
Налит ещё стакан.
«Я уйду, — сказала ему, —
Так что прощай, музыкант!»

Он протрезвел и кинулся вслед,
Понял: его вина...
Поздно. Её на дороге нет —
В доме другом она.

Тут всё обычно: достаток, уют
Льются аж через край.
Только вот мысли уснуть не дают,
Будто потерял рай.

Снится ей музыка скрипача,
Снятся его глаза.
«Ох, ушла-то я сгоряча!» —
Хочется ей сказать.

И однажды, осенней порой,
В дождь холодный и тьму,
Она возвратилась к себе домой —
Она вернулась к нему.

Будто сбылись все её мечты, —
Сердце, от счастья плач! —
Ей улыбались друзья и цветы,
Что преподнёс скрипач.

Минуло два десятка лет.
Ночь была горяча.
Юный художник писал портрет
С дочери скрипача.

Пел соловей им издалека,
Вызнобив сад насквозь,
И потянулась к руке — рука,
Сердце — с сердцем слилось.

И для соседей, и для друзей,
Дом их приветным был.
Но налетал вдруг зелёный Змей
С тяжкими взмахами крыл...

ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ

Буйно восходят разные травы,
Дышишь — и кругом идёт голова.
Двадцать уж лет, как не стало державы, —
Вызрела в поле забвенья трава.

Самое горькое зелье на свете.
Ей бы, поганой, вовсе не цвести!
Запах вдыхают взрослые, дети,
И забывают, кто они есть.

Русь ослабела... В выцветшей шали
Бродит по полю едва-едва:
Чёрные маги хворобу наслали —
Глянь — колосится забвенья трава.

Парень, с похмелья глотнув из-под крана,
Воет по-волчьи: болит голова.
Русая девочка хочет в путаны...
Щедро восходит забвенья трава.

Где ж богатырь наш — могучий, былинный? —
Спит на печи который уж год.
Выйдем на поле с иконой старинной —
Да неужели Господь не спасёт?

Свищут разбойники... Вольному — воля!
Тянет гнильём от заморских болот.
Двинется Русь — до кровавых мозолей
Землю свою от забвенья полоть!

ПРОГУЛКА С СЫНОМ ВОЗЛЕ КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ г. КОЛОМНЫ

«Мама, отчего тут кирпичи красны?» —
«Это кровь, сынок, защитников стены.
В тяжких битвах столько крови пролилось,
Что стена большая вымокла насквозь».

«Мама, отчего тогда земля черна?» —
«Воинов бесстрашных приняла она,
И, как мать, скорбит о них века,
Не снимая чёрного платка».

ВЛЮБЛЁННАЯ ЗИМА

Написала письмо Зима
На сугробе — рукою ивы,
Обнадёжив себя сама:
Может, будет она счастливой?

Дышит холодом белизна,
А слова на снегу — так жарки.
Написала письмо Зима
Без помарки в старинном парке.

Шёл прохожий — в снегу виски,
Взглядом пасмурный — много дела.
Прочитал он слова строки —
И в душе его потеплело.

Пробежала девчонка — ах! —
Хохотунья и озорница.
Оказалось, что в тех словах —
То, о чём ей порою снится.

Зацвели синевой глаза
У случившихся здесь мальчишек.
Солнцем глянули небеса,
И в сосульках — седые крыши.

Поспешу я в тот парк сама,
Всем ветрам сдаваясь на милость.
Кто сказал, что старуха Зима, —
Поглядите — она влюбилась!

* * *

День воскресный. За окном не видать прохожих.
Ярой свечкой ноябрю — ярко-жёлтый куст.
Паутиновым рядом растянулся дождик,
Неприятен серый двор. Холоден и пуст.

Звуки дня ещё скупы. Бродят еле-еле.
Начинающийся день вяло будит нас.
Рыжий кот пришёл с гульбы. Дремлет на постели,
Хитровато приоткрыв изумрудный глаз.

Ох, осенняя тоска... Хмурость без причины
В бесконечной суете бледно-серых дней.
«Ящик» мой молчит, пока мужа нет и сына,
И про кризис — ни гу-гу, к радости моей.
Возле «ящика» сидеть — не жалеть здоровья:
То реклама, то война, — просто нету сил! —
Лучше кот расскажет мне про дела котовьи,
Как по травам при луне ночью он бродил.

Намурлыкай, рыжий кот, трав осенний запах,
И как в прелую листву прячутся ежи,
И про цепкие репы на хвосте и лапах...
Что за птах сидит в кустах — кот, мне расскажи.

Он расскажет мне потом, в времени нескором,
Мы отправимся с котом в гости к ноябрю...
Мне компьютер подмигнул ясным монитором —
За работу, мол, пора... Верно говорю?

* * *

Осенью желанного хочется простора,
Ветра да кленового жёлтого огня.
Туча крылья синие над землёй простёрла,
За руку дорога повела меня.

Роща мне приветливо распахнула сени,
Их красу багряную дождь не смыл пока.
И весомо-зрима, будто плод осенний,
На ветру рождается новая строка.

Стан мой — как подветренный стебель чернотала,
Лес, река походку узнают мою.
Ну зачем ты золото, Осень, разметала? —
«Чтоб смотреть отраднее людям и зверью!»

Осенью особенно хочется простора,
Ветра да кленового жёлтого огня.
Мой панельный, серенький! Я вернусь не скоро,
Да и вряд узнаешь ли ты тогда меня!

ФЕВРАЛЬ

В пуховое облако месяц двурогий
Укрылся, почуяв пургу.
Февраль непутёвый по скользкой дороге
Несётся в колючем снегу.

Пугает звезду над Маринкиной башней,
У Пятницких строит холмы.
Ему и средь ночи проказить не страшно —
Любимый он сын у Зимы!
Декабрь и Январь — это старшие братцы:
Морозны, серьёзны, тихи.
Февраль как подросток бушует: простятся
Ему и стихи, и грехи!

Он с ветром летит, обгоняя трамваи,
Он дух переводит едва.
Пургу остановит — и в небе живая
Лучами блеснёт синева.

Он вербу совсем ещё юную дразнит,
Срывает пушистую шаль.
Гуляет по городу вольный проказник —
Весёлый глазастый Февраль.

Бежит вдоль Оки и опять начинает
Расцвечивать искрами лёд.
Февраль — хлопотун. Он уверенно знает:
Весна без него не придёт!

СЖИГАЮТ ЛИСТЬЯ...

Что такое? Куда их бросили? —
На виду, посреди двора,
Письма Клёна кокетке-Осени
Умирают в огне костра!

Синий дым как в тумане даль.
Ей не жаль... Ей ничуть не жаль...

Ей заката б на плечи алого,
Так, чтоб целый лес ошалел!
Слушай, Клён, — а пошёл ты к дьяволу —
Постоянностью надоел!

Но дождём этот вечер начат —
Осень письма сожгла... и плачет...

* * *

...А к вечеру — снежинки на окно
Усядутся: мохнатые, живые,
И тени штор в углах — как часовые,
И в комнате её — полутемно.
Настанет день — так дел невпроворот,
А ей всё кажется, что жизнь проходит мимо, —
Однообразно, скучно и незримо...
Какую сказку ей расскажет кот?
Летели годы. Выросла из сказок...
Не надо больше на глаза повязок!
Принц или нищий — потерялся вдруг
В густой толпе — кто был единый нужен.
Теперь вот — вечер... Одинокий ужин,
Настольной лампы светлый полукруг,
И спать пора... Вставать поутру рано.
Вода мешает: капает из крана...

Но на ресницы сходит забытьё,
А за окном морозный вечер тает,
И женщина тихонько засыпает,
И с нею — одиночество её.

* * *

Ты прости, что я пришла,
Только мята зацвела.
Мне пятнадцать лет. На танцы
Приходило полсела.
Я любила и ждала.
А увидела с подругой —
И себя превозмогла:
Молча руку отвела...
Ты прости, что я пришла...

Ты прости, что я пришла:
Заманила, увлекла,
Но хозяйкою не стала,
Только сына родила.
Я беспечною была —
Между строчек отдыхала
От семейного угла.
Слишком малое смогла...
Ты прости, что я пришла...

Ты прости, что я пришла, —
Дома не было тепла.
Но твоей судьбы коснуться —
Как же это я смогла?
Две морщинки у чела...
То, что быть со мной не можешь, —
Слишком рано поняла.
Отгорела, отцвела...
Ты прости, что я пришла...

Ты прости, что я пришла, —
Голова моя бела...



Надежда Павловна Цветкова родилась в городе Люберцы. С 1967 года живёт в Жуковском. Сразу после окончания школы начала свою трудовую биографию в жуковском телесервисе. Работала инструктором, начальником участка.

Стихи пишет с детства. Участница XI (последнего!) Всесоюзного совещания молодых писателей. Член Московского Союза писателей. Автор четырёх сборников стихов. Награждена Золотой Есенинской медалью.

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

...Прохожий, остановись!
Прочти — слепоты куриной
И маков набрав букет,
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет...
Марина Цветаева

1.

Никого...
 Никогда...
 Ни цветка...
Неизвестна могила поэта.
Только в памяти
 бьётся строка
О немыслимой участи этой.
Время сделало дело своё, —
Храм сравняв безымянный
 с землёй.
Только — ветер да вороньё,
Только дождь
 слёзы горькие льёт.

2.

Может, заросли там куриной
Слепоты...
Только маков нет...
Не написано: звать Мариной,
Не узнать — сколько было лет...
Травы, птицы поют над нею,
Земляника зовёт, сладка...
И, надеюсь, рябина зреет —
Приснопамятна и горька.

3.

Опять прибрежная волна
мне шепчет ласково: «Марина...»
И поднимается со дна
вздых опечаленной пучины.
Стою я молча, глядя вдаль
с высот волошинской веранды,
И кружит чайкою печаль,
пронзая воздух утром ранним.
И узнаваем вдалеке Максимилиана
профиль горный.
И галька гладкая в руке —
её ласкали эти волны.
Здесь вечность чувствуешь острее,
боль расставания — сильнее,
На берегах других морей
так близко не встречалась с нею.
И в Коктебеле среди гор
вдруг запредельно грустно стало...
И хорошо мне оттого,
что тоже здесь она бывала.

4.

Опять я думала о ней
В знакомой
коктебельской бухте.
Марина, в мареве тех дней
Вы молодой ещё побудьте!
Пусть синь небес глаза слепит,
Шумит морской прибой...
Вы — вечно юная Лилит

С трагической судьбой...
Опять над вольною волной
Кричала одиноко чайка.
И показалось: не случайно
Она кружила надо мной.

...Недолго ведь с крыши на небо.

Марина Цветаева

5.

Она и на Земле — как небожитель —
В плену иллюзий и прекрасных снов.
И ей твердили: «Бросьте, не блажите...
Оставьте миражи созвучных слов!»

Но есть край крыши, где созвучья звонче,
И два крыла, и ветер в звёздах весь...
Оттуда Ты гораздо ближе, Отче,
И проще дотянуться до небес.

Парить легко над сумрачной долиной,
Внизу оставив страх и суету...
Морскою и небесной быть Мариной —
Знать зов глубин и ведать высоту.

6.

Была...
И руку целовали.
Ушла —
Не спросят: а была ли?
Была —
Дороги, хлябь, долги...
Ушла —
В столетия шаги —
Стихи...
И в бесконечность —
Вёрсты...
Грехи —
Легки,
По-детски просто...
Искать вершин...
Предугадать...
Успеть — до капли —
Всё раздать.
Простить —
И стыд, и мрак, и боль...
...И на губах —
Морскую соль...



Татьяна Дмитриевна Максименко родилась на Кубани. Дочь потомственных кубанских казаков. С 1975 года живёт в Жуковском. Стихи начала писать с самого детства, накапливая их в ученических тетрадках. Была участником VIII Всесоюзного совещания молодых писателей. Ранняя увлечённость поэзией переросла в жизненную потребность, которая привела к храму Литературного института им. А.М. Горького.

Сейчас Татьяна Максименко — автор семи поэтических книг. Член Союза писателей России. В 2009 году была лауреатом губернаторской литературной премии имени Р. Рождественского.

КОЛОМЕНСКИЙ БЛОКНОТ

1

Вольюсь в поток огромный... Вокзал... Часы не врут.
Голувин под Коломной — излюбленный маршрут!

По стёклам электрички плывут, скользят лучи.
Войдут в вагон сестрички, достанут калачи.

Войдут с клюкой старушки и дачники войдут...
А солнце лёт веснушки — к ним хохотушки льнут.

Вот Радуга — платформа, вот — Отдых, Конев Бор...
Контроль, компостер, форма, эмоций перебор!

Тут бойкие торговки ошпарят кипятком,
А там цыганки, ловки, следят за кошельком.

Мелькает край озёрный, ковёр зелёных трав,
Москвы-реки просторный синеющий рукав.

Студенточки с филфака бормочут про зачёт,
Про знаки Зодиака — кого к кому влечёт.

Вагон согреет скрипка, шекспировский сонет,
Печальная улыбка и шляпа для монет.

2

Огородная продукция:
Лук, редиска и салат.
Всё, что есть на грядке, — лучшее:
Дразнит рот, ласкает взгляд.

Связан лук суровой ниткою,
Как десяток лет в судьбе.
Жизнь тебе казалась прыткою,
Мне — травинкой на губе.

Ой, вы, труженицы-тётеньки,
Накормили нас опять!
Ваши сотки — наши сотенки,
Вам робить, а нам — гулять.

Жизнь — она всегда с изнанкою:
Мать и мачеха она.
То сгибается крестьянкою,
То пряма её спина...

3

Что ни город — то норы, что деревня — обычай.
От восторженных взоров лик зарделся девичий.

Над Коломною солнце с куполами в обнимку.
На лужайке пасётся жеребёнок с картинки.

Я люблю этот город — весь в купеческом блеске!
Вид заречья мне дорог и пескарёк на леске.

Дорог каждый бульжник, каждый садик в предместье.
Слов не трачу я лишних, я дышу с вами вместе.

Вместе с вами, мадонны на старинных иконах.
Я тяну к вам ладони, дрожь свечей благовонных.

4

Коломна — город куполов, сестра столицы.
Со всех сторон, из всех углов тут свет струится.

Плывут по небу облака поспешным строем,
Как на подмогу — три полка своим героям.

Мы глаз не сводим со стены старинной кладки.
Что было бы, не будь войны, живя в достатке?
И вновь — не дума о врагах, а мысль похлеще:
О том, что кризис или крах был нам обещан.

И как его переварить? Темна лошадка.
Осталось окна затворить и грезить сладко.

5

Держу иголку на свету, в ушко вдевая нитку.
 Я как черёмуха в цвету: под дождиками никну.
 Ломает каждый, кто пройдёт, на куст глаза, мимо.
 Пока однажды не поймёт: жизнь неостановима.

Не остановишь вихрь любви и миг её цветенья.
 Но всё ж рискни, останови прекрасное мгновенье!

6

Кое-как эту ночь скоротали...
 А трамвай грохотал, грохотал...
 А над крышею птицы летали,
 И рассвет был пугающе ал.

Всё забылось — думы и вокзалы,
 Рябь реки и мерцание лиц...
 Был восход, полыхающий ало,
 И дрожанье солёных ресниц.

Так был воздух насыщен любовью,
 А вернее — дыханьем её,
 Что в тревоге, с обугленной кровью,
 Мы впадали опять в забытё.

И следов опечатки на глине,
 И круги, и круги по воде...
 И скрещенье причудливых линий
 На руке, на кленовой звезде.

7

Там, за Коломной, зелёный туман,
 Ветер на Девичьем поле.
 Яблоки с пятнами свежих румян
 Вновь у Настасьи в подоле.

Впрочем, живые! С цветка паучок
 На паутинке спустился,
 Пробует голос негромкий сверчок,
 Как он в траве очутился?

Девочка смуглая, выгнута бровь,
 Куклу кладёт на колени.
 Хлынет из сердца земная любовь
 Вслед за волной умиления.

А за песчаной косою, в воде,
 В речке, разбухшей от ливней, —
 Лилии! В каждой лилейной звезде —
 Плавность таинственных линий.

От беззащитности — локоть серпом,
 Слушай, подружка, секреты!
 И — никому: видишь, люди кругом
 И неживые предметы.

Это судьба нам подарки сулит:
 Солнечных красок обилье.
 ...Кукла губами слегка шевелит,
 Волосы пахнут ванилью.

8

Вновь с велосипедной рамы
 Ты протягиваешь мне
 Руку... А глаза упрямы...
 Словно камушки на дне,
 Тайны детские хранишь ты...
 Мне порою невдомёк,
 Что очерчены границы
 Меж тобой и мной... высок

Небосвод, где ты витаешь,
И дорога широка,
Где за поворотом таешь,
Мне рукой махнув:
— Пока!
Ветреница и шалунья,
На педали жмёшь и жмёшь...
...И, вздыхая в полнолуние,
Неземного принца ждёшь.

9

Коломна над тихой водой
Своё отражение ловит.
И баржи идут чередой,
Припомнив столетье былое.

Всё было не так, всё не так:
Смеялись не так работяги,
Блестел на ладони пятак —
Проезд до ближайшей общаги.

И радовал звонкий трамвай,
И цвет — обязательно красный!
Гармошковый с трубами май
И труд: коллективно-прекрасный.

В учхозе картошка цвела,
В подойниках пенилось млеко...
Хоть жизнь примитивна была,
Но создана для человека.

Теперь всё гораздо сложнее:
На лавочках стонут старушки,
И мечутся в царстве теней
Покинутой деревушки.

10

Я не имею права поучать:
Хожу всю жизнь в бездарных ученицах.
Во мне желает музыка звучать,
Соль — растворяться на моих ресницах.

Я не смотрю на солнце сквозь очки:
К тебе спешу, пронизанная светом!
В стране любви мы только новички:
На крыльях, обдуваемые ветром.

11

По Колычёву бродит ангелок,
На самом деле это — ветерок:
Он дождевые тучи приволок,
Чтоб каждый встречный на ветру продрог.

Но дождь прошёл — и снова кутерьма
На улице, ведущей вниз, к Оке.
И новые высокие дома
Пытаются увидеть вдалеке

Не радугу — а вдохновенья миг,
Небесный праздник, солнца торжество!
Преданье из каких-то древних книг:
Что был Сварог, про наше с ним родство.

12

Корни тянутся к воде, человек — к родне.
Родники — к ночной звезде, а звезда — к луне.

Одиночество — как свист Божьего кнута.
Как с дерев летящий лист в зеркало пруда.

Одиночество — как перст, как гордыни горб:
На спине — чугунный крест, а на сердце — скорбь.

13

Сокровище моё, Анастасия!
Твоя Коломна и твоя Россия,
Твои — Девичье поле и Ока,
Твоя — великорусская тоска
Вместились в детском маленьком сердечке!
А завитки волны на синей речке
Прихлынут вновь к твоим босым ногам...

Из облаков величественный храм
Воздвиг на небесах премудрый зодчий,
А ты возводишь замок на песке,
И смотришь вдалёк восторженной и зорче,
И различаешь принца вдалеке.

А на кладбище — опять
Крупные цветут ромашки...
Повернуть бы время вспять
И не допустить промашки!

Дата их ухода из
Жизни — дочерям зацепка...
И не знаю, то ли вниз,
То ли вверх растёт сурепка.

Но судьба сложилась так,
Случай так распорядился:
Чтобы Любы с Колей прах
На клочке земли вместился.

Но её в полях полно,
Как на кладбище — ромашек.
Но умершим — всё равно,
Кто там крылышками машет.

На свет мы появляемся случайно:
Грохочет время, обнажая суть
Вещей... И дремлет в розе чайной
Желанье уколоть кого-нибудь.

Шипы и розы — это так банально,
Добро и зло — как будто ерунда,
И склоки, что в квартире коммунальной,
Нет, не утихнут, видно, никогда!

Зато когда разъедутся соседи,
Возникнет непонятная тоска,
Желание обнять того «медведя»,
О ком твердят: «тяжёлая рука».

И дружескими кажутся объятия,
И стол накрыт: для гостя этот пир!
И бывшие враги сидят, как братья,
И наступает долгожданный мир!

Художник солнца ждёт:
Оно за тучей скрылось.
А ты, Настасья, ждёшь кого?
О, наконец-то дверца отворилась,
В шкатулке промелькнуло божество —
Плывущий лебедь, замок, танцовщица —
И музыка, шуршанье сильных крыл!
И гладь воды прозрачная искрится,
Отважный принц касается перил.
Он лишь потомок оловянной ложки,
На нём мундир — он служит красоте.
...И можно помечтать ещё немножко,
И ниткой крылья привязать мечте.

17

Под дождём поникла сныть,
Тучи над зелёным лугом.
Хочется дышать и жить,
Плавать в воздухе упругом.

Но приходится идти
По просёлочной дороге,
Встретив радугу в пути,
Как благовую весть о Боге.

18

В трамвае запотели стёкла...
Спешит коломёнский трамвай
Туда, где девочка промокла.
Дымится солнца каравай.

За дверью булочной — ватрушки,
С пахучей коркой кирпичи
Ржаные... Слойки, завитушки:
Попробуй — только из печи!

Задвинута заслонка неба,
И где там солнце — разбери!
Но тёплый дух земного хлеба
Опять струится из двери.

Что повышает настроенье?
Обилье хлеба — это раз,
Ещё — открытые для зренья
Дома — и зонтики у глаз.

19

Ты и я, а вокруг никого.
Круг смыкают заречные дали,
Сердолоиковых глаз волшебство
И слова о любви и печали.

Нам от них не уйти никуда,
От разлуки поспешной не скрыться...
И бормочет речная вода,
Позволяя Оке повториться.

20

Крестьяне из ближайших деревень,
Профессора из университета —
Все ищут тень, в жару уходят в тень,
Вдруг очутившись на макушке лета.

Там, на макушке, хлещет через край
Жизнь! Сладко пахнут ягоды малины...
Откликнется на имя: «Николай!»
Попутчик мой, веснушчатый и длинный.

А тот, которого любили мы,
И он не знал, что мы его любили,
Застрел навечно среди жуткой тьмы...
Там, где он умер, родники забили.

21

Ищет Смерть лазейку, ей излишек
Жизни нужен в недрах бытия.
Хлопнет Смерть одной из чёрных крышек —
И умолкнет песня соловья.
Смерть с косой? Она иной бывает:
В капельницах, в запахе больниц,
И — слепая — мигом прозревает,
Стрелы посылая из бойниц.

Бьёт наотмашь — в грудь или по рёбрам:
Смерть на ринге — опытный боксёр!
Душам сильным, совестливым, добрым
Обещает плаху и костёр.
Но вначале — босиком по углям,
С бичеваньем, с пыткой для души.

...Как проснуться нам однажды утром
И уйти от пропасти во ржи?

22

Со мною домики Коломны,
И храмы, и монастыри,
Спортсменов стройные колонны
И на бульваре фонари.
Гляжу я на речную ленту,
На украшение твоё,
И вспоминаю небо, лето,
Прозрение и забытьё...

Твой величавый вид, Коломна,
И путь к трамвайному кольцу.
И голос девочки влюблённой —
Как был ей красный цвет к лицу!
И шар, что уносился в небо,
В просторно-радостную высь,
Где пела ветреная Геба:
«Резвись, дитя моё, резвись!»



Ольга Юрьевна Ермакова родилась в Коломне. В 1992 году окончила медицинский колледж, а в 2008 году — Современную гуманитарную академию. С детских лет проявляла интерес к поэтическому творчеству.

По-настоящему начала писать стихи с 16 лет. Стихи накапливались, и как следствие появились в печати два сборника: «Мгновения жизни» (2008 г.) и «Между прошлым и будущим, между...» (2011 г.). На тексты двух её стихотворений написаны песни: «Берёза с ветром целовалась» и «Муравейно-мегаполисные тропы».

Ольга Ермакова работает в кардиологическом отделении Коломенской поликлиники.

СНЕГОПАД

Е2—Е4

Замело остановки трамвайные
В рокировке больших городов.
И ферзями массивные здания
С непохожестью серых домов.

И спешим, и мелькаем мы пешками,
Все ведомы незримой рукой.
Только часто всё думаем, мешкаем,
Часто сами играем... С собой.

Жизнь, как шахматы, вся засекречена
Цветом то молока, то чернил.
Я Е2 твои помню... до трещинок,
Ты ж мои Е4 забыл...

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПРИНЦЕССА

Коснись как будто бы случайно
Своим плащом моей руки,
Туманной полночью печальной
Сотри усталый след тоски.

Ты ветром трепетно и нежно
Коснись реки моих волос,
Вплетая ландыши небрежно
В шёлк золотистый длинных кос.

И в шлейфе снов, под шёпот леса,
Шафраном напитав рассвет,
Вновь Земляничная принцесса
Губам подарит сладкий след...

НАДО ПРОСТО РЕШИТЬСЯ

Надо просто решиться. Выбор в воздухе кружит,
Как монетка. А ветер по мурашистым лужам
Пронесётся и стихнет, заберётся под крышу,
Ту, что гладили ливни то сильнее, то тише.
А под крышей уютно, только тесно, как в клетке.
Только бьются под утро в окна мокрые ветки.
Надо просто решиться, выбрать чёт или нечет,
И в рюкзак бросить джинсы
И рубиновый вечер, пару книг, запах встречи,
Шёпот леса, что снится, и, конечно же, ветер...
Надо просто решиться.

ЛЮБЛЮ

Люблю тебя, заплаканная осень,
Оранжевые с листьями ветра...
Люблю, когда светлеет неба просинь,
Сливаясь с акварелями двора.
Бродить легко мне в полосатом мире
С вкраплениями яркими зонтов,
Где вязы молча головы склонили
Вдоль по-кошачьи выгнутых мостов.
Люблю тебя, умытую дождями,
С хрустящим зазеркалем под ногами,
Алеющую гроздьями рябин,
И дым костра, когда сжигают листья,
Что над землёю стелется по-лисьи,
И в хмуром небе — журавлиный клин.

РЕЧИТАТИВЫ НОЯБРЯ

По лестнице верёвочной дождя
Осенние спускаются мотивы.
Кленовые ветра ерошат гривы,
И галки надоедливо галдят.
А блюдца луж с чайнками листвы
Стоят, гостеприимно поджидая
Охочих до диковинного чая,
Но ожиданья тщетные, увы.
И бусами дождевки на ветвях.
Чуть приукрасив серые одежды,
Вселяет осень в лучшее надежду,
Шепча речитативы ноября.

* * *

Робко касаясь крыши,
Кружится снегопад.
Пробую вновь услышать
Ритмы его баллад.
Силюсь поймать дрожанье
Тонкой его струны.
Будто кусочек тайны,
Той, что приносят сны.
Кружевом белым-белым
На декольте рябин
Ляжет, шепча несмело
Что-то на ушко им.
Вот он роняет блёстки
Уж не на их наряд, —
Что нашептал берёзкам
Ветреный снегопад?
Приобнимает скверы,
Словно танцует вальс.
Будто тот танец первый,
И раз, два, три... И раз...

* * *

Всё раскрашено было зелёным
В сочетании с синью небес!
И улыбкой весны опьянённый,
Песни пел залихватские лес.

Думал листик, застрявший в заборе,
В мёрзлый полдень январской порой.
И не знал он, что снег белый вскоре
Скроет лист навсегда под собой.

ОТПУСТИ

Он сказал ей однажды хрипло:
«Задыхаюсь... Нет больше сил.
Стены давят и всё постыло.
Не живу я, а будто... жил.

Положи мне в котомку хлеба
Да рубаху, что цветом в снег.
И пойду, где ещё я не был.
Здесь меня всё равно уж нет».

Он сказал ей однажды хрипло:
«Ветер в пальцах не удержать.
Не кляни ты за то, что было,
Отпусти! Не могу дышать...»

Что ж, иди! В добрый путь, скиталец
С серой грустью дорожной в глазах!
Ты со временем просто станешь
Нежным ветром в моих волосах...

ПОЗДНО

Ты заглядывал в окна дождями,
Гладил стёкла, стремился на свет.
Ты пытался прорваться с ветрами
В дом, в котором меня больше нет.
Ты скулил с неприкаянной вьюгой
На пороге бездомным щенком.
Ты метался меж окон, по кругу,
Непослушным колючим снежком.
Ты вареньем сползал на закате,
Превращаясь наутро в рассвет,
По стеклу на оконном квадрате
В доме том, где меня больше нет.
Ты капелью бесчисленных вёсен
Рифмовал за куплетом куплет,
Чтоб стереть знак «равно» между поздно
И размытым дождём меня нет.

Лидия Иванникова



Лидия Анатольевна Иванникова родилась и живёт в Коломне. В 2003 году закончила среднюю школу № 16, в 2008 — Коломенский государственный педагогический институт (ныне МГОСГИ) по специальности педагог-психолог. Стихи начала писать десять лет назад. Автор, бесспорно, ещё ищет свои темы, но одна из них уже очевидна — это раздумья об историческом прошлом России. И музыка стиха здесь идёт от народных русских песен и лирики Алексея Кольцова.

ЗА ЛЕСОМ СОЛНЦЕ СЕЛО

ДЛЯ ВЕТРА, КОТОРЫЙ ЗАБЫЛ, ЧТО ОН ВЕТЕР

Что сумеет сломать ветер?
Кто подрежет ему крылья?
Кто заставит его стихнуть,
Умереть, забиться, сгинуть?
Нет на свете такой силы!
Не придумана природой!
Ветер волен быть могучим,
Сильным, смелым и жестоким,
Милосердным и спокойным,
Угнетающим, зовущим,
Свежим, диким, беспристрастным
И фатально одиноким.
Он придёт с ночной прохладой,
Высушит печали слёзы,
Обовьёт собою душу...
Ветер, ты мне очень нужен...

СОН

Солнце скрылось в сизой дымке,
В знойном мареве над степью.
И гремит, пылит дорога —
Едет конница Батыя.
Вижу хана — лоб в морщинах,
Хитрых глаз прищур усталый,
Видно, с боя возвращаясь,
Гонят пленников толпою.
Стон стоит над степью жаркой,
Стелется ковыль, седея;
Сверху лишь орёл-стервятник
Наблюдает, не мигая,
За людскою суетою:
Что творится в древнем мире?
Кто его покой нарушил
Человеческой тревогой,
Стоном, грохотом, мольбою?
Не придёт никто на помощь —
Спят славяне в чистом поле.
Русь, родная, ты разбита,
Сколько горечи и боли!
Сыновья твои не встанут,
Не придут к родным порогам.
Дочерей твоих, красавиц,
Угоняют в плен жестокий.
И гремит, пылит дорога,
Стон стоит, и только тучи
Собираются над степью
Необъятной и могучей.

КНЯЖИЙ СТЯГ

За лесом солнце село,
И Русь укрыла мгла.
И кровью заалела
Калёная стрела.
Пусть будет жаркой битва,
И пусть трепещет враг:
Мы с честною молитвой
Встаём под княжий стяг.
В Коломне войско в сборе —
Пора в поход идти,
И в ратном княжьем строе
Знамена впереди.
Вступают в бой дружины,
Мчит конница, пыля;
И клич славян единый
Поддержит мать-земля.

«Умрём, но не сдадимся!» —
Такой врагу ответ.
Из пепла возродится
Руси свободной свет!

МАСТЕР-КЛАСС

В ЗАЩИТУ ПОЭЗИИ

Не все стихи принадлежат поэзии. Стихи — это речь, выражающая мысли и чувства, но мысли и чувства может высказать любой человек, поэт же творит из этого материала художественную реальность. В.Г. Белинский писал: «...Выразить хорошими по своему времени стихами какое-нибудь ощущение или чувство — ещё не значит быть поэтом. Для этого необходим непосредственный талант творчества. Поэзия и стихотворство — вещи совершенно разные...».

Как рассуждал в своих трудах Вадим Кожин, стихи теряют своё значение и умирают вне связи с породившими их явлениями жизни, между тем поэзия живёт собственной энергией. Поэт создаёт мир своего произведения, как суверенный организм, обладающий собственной жизненной силой. Этот поэтический мир есть как бы мельчайшее подобие объективного мира жизни и природы. Поэтический мир устремлён к безграничному, бесконечному, он есть художественное воплощение всей цельности бытия.

Прочтение стихов больших поэтов вызывает желание творить, ибо энергия, заключённая в стихах, воздействует на читающего, словно несёт в себе потенциальный заряд энергии.

Все эти рассуждения вовсе не означают, что всех пишущих стихи можно разделить на стихотворцев и поэтов. У каждого, даже очень слабого стихотворца имеется всегда одно или несколько стихотворений, принадлежащих поэзии. И наоборот, у больших поэтов имеются стихи, которые нельзя отнести к поэзии. Например, можно с ответственностью утверждать, что тексты песен не принадлежат к поэзии, так как без музыки они не являются художественными произведениями.

Так что же такое поэзия?

«...Поэзия есть Бог в святых мечтах Земли...» — так определил В.А. Жуковский место поэзии не только в литературе, но и во всей культуре человеческого общества. Что он подразумевал?

Во-первых, поэзия — высший род литературы, это музыка небесных сфер, расшифрованная в образах и понятиях.

Во-вторых, поскольку это музыка небесных сфер, то поэзия стремится к выражению идеальных понятий, а стремление к идеалу есть стремление к красоте Божьего мира. «Красота спасёт мир», — писал Ф.М. Достоевский, и только теперь, когда всё рушится, понятно, что он имел в виду.

В-третьих, поэзия достигает идеала под пером гениев, но все, кто имеет талант от Бога, стремятся к этому идеалу, а это и есть почва для гениев.

В заключение следует сказать, что в конце XX века русская поэзия осознала своё место в литературе и своё значение в сохранении национальной культуры, теперь главная проблема — осознают ли это в XXI веке издатели и люди, от которых во многом зависит поэтическое и культурное поле России.

Валерий Капралов

СЛОВЕСНЫЙ БРИЛЬЯНТ В РОСКОШНОЙ ОПРАВЕ

Эдвард ЛИР. **Книга Нонсенса. The Book of Nonsense** / Пер. с англ., послесл., примеч. Б.В. Архипцева; Ил. Э. Лира. — СПб.: Вита Нова, 2012. — 304 с.: 241 ил. (Фамильная библиотека. Читальный зал).



Борис Архипцев сумел перевести «непереводимый» английский юмор — лимерики (смешные пятистишия) знаменитого поэта-абсурдиста второй половины XIX в. Эдварда Лира. В течение 20 лет известный переводчик создавал точнейший русский аналог полного корпуса лимериков, словно в алхимическом тигле переплавляя чужую речь. И в результате возник стихотворный шедевр, в котором верность оригиналу чудесным образом сочетается с чистотой и звучностью русского языка.

Блестящая переводческая работа получила достойную оправу. Питерское издательство «Вита Нова» в минувшем году опубликовало «Книгу Нонсенса» на мелованной бумаге, в переплётё из натуральной кожи с многоцветным тиснением, с золотом по корешку и обрезу. Это коллекционное издание стало литературной сенсацией и подлинным памятником Эдварду Лиру к его 200-летию.

Труды переводчика заслужили высокую оценку специалистов. Достаточно привести мнение Натальи Горбаневской:

«Свобода и точность. Вот два качества, нужные переводчику и... трудносовместимые. А на пространстве пяти строчек лимерика — куда трудней. Но переводы Бориса Архипцева из Лира этим-то и характеризуются — свободой и точностью... Архипцев переводит Эдварда Лира, как благочестивый толковник — Писание: он передаёт и смысл, и звук. Точен — часто до мельчайших деталей. Звучен — до самой лихой эквилибристики...»

Лиром у нас занимаются многие. Но, к сожалению, в большинстве случаев получаются лишь весьма вольные переложения, имеющие мало сходства с подлинником. У Архипцева мы видим переводы в истинном смысле слова. Тут сохранены и авторская топонимика, и авторская интонация, и авторское содержание, и неповторимый авторский юмор.

Сегодня коломенский поэт работает над полным изданием Лира, куда войдут не только лимерики, но и баллады и проза английского гения нонсенса.



Галина Валентиновна Самусенко родилась в Коломне. Закончила Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работала на Коломенском тепловозостроительном заводе. Сейчас трудится в автоколонне 1417.

Стихи пишет со студенческих лет. В её поэзии много красочных описаний родной среднерусской природы. Стихи Галины искренни, музыкальны: в них и «песня древняя берёз», и «гроздь рябины в серебряных кепках». Поэт видит, как вместе с осенним дождём «В этот вечер уходит лето, мокрой струйкой стекая вниз».

В 2011 году в Коломне вышла первая книжка стихов Галины — «Живые картинки».

УХОДИТ ЛЕТО

* * *

Ночи в августе холодные.
За звездой скользит звезда.
Их падение свободное
Отражает гладь пруда.
У воды, склоняя голову,
Тихо шепчется рогоз.
И звучит всегда по-новому
Песня древняя берёз.
Околдован ночью сонною,
Чутко дремлет старый сад.
Он желанье потаённое
Загадал под звездопад.

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Дождь упорно стучит в подоконник,
Словно просит открыть окно.
Поздний вечер. Осенний дождик.
За окошком темным-темно.

Ветки яблонь печальны, унылы,
Хлёстким струям покорны висят.
Только розы стоят горделиво,
Покориться дождю не хотят.

Дождик хлещет по мокрым веткам.
Одиноким трепещет лист.
В этот вечер уходит лето,
Длинной струйкой слетая вниз.

* * *

Поля, перелески, холмы, повороты.
Мы катим по снежной дороге.
Мелькают деревни — дома и ворота,
И кто-то стоит на пороге.

Проехали мимо, и вдруг отчего-то
Кольнуло: тебе показалось,
Что в домике этом за тем поворотом
Судьба твоя нынче осталась.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Травы не видно из-под листьев.
Деревья голы и темны.
Лишь радостные солнца брызги
Сквозь тучи — с хмурой вышины.

Дождь то пойдёт, то перестанет,
То снова туча наползёт.
И день ещё короче станет.
И вот уже зима грядёт.

НА РЕКЕ

Рябит, переливается, как рыба чешуя,
Вода речная, солнце отражая.
Гудит баржа, неспешно проходя,
След за кормой широкий оставляя.
Плавающий мост качается, скрипит,
От берега тихонько отплывая.
Доска настила охает, кряхтит,

Пружинит под ногою, как живая.
А небо ясное сияет высоко,
Лазурью всю округу заливая.
Чист горизонт, и видно далеко,
И веет ветерок, волну гоня.
Волна, проворная от ветерка,
Чуть шелестит, на берег набегая;
И стайка ребятни у катерка
Стоит, баржу глазами провожая.
Прибрежных ив зелёные кусты
Шумят, к воде листву свою склоняя,
А с берега крутого, с высоты,
Глядит спокойно старина седая.

* * *

За полями, как тёмное кружево,
Из оврагов деревья встают.
Над широкой равниной завьюженной
Лишь ветра над снегами поют.

Снег под солнцем начищенной медью,
Обжигая глаза, полыхнёт.
Старый тополь, корявою ветвью
Наклонившись к дороге, вздохнёт.

Заскрипит и застынет в смятенье,
Словно жизнь оборвав на бегу,
И останется серою тенью
На горящем от солнца снегу.

* * *

Солнышко прощальные дарит нам лучи,
И в дорогу дальнюю собрались грачи.
Листья пожелтые под ногой шуршат.
Под метелью белою скоро стихнет сад.
Но пока что зеленью радуют кусты,
И пестрят осенние яркие цветы,
Пламенеют огненно россыпи рябин,
И багряны отблески на листьях осин.
Паутинки тонкие с ветром разнеслись.
Летняя закончилась маленькая жизнь.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА



Журнал «Роман-газета» пользуется в читательском мире России заслуженным авторитетом. Поэтому литераторы Коломны давно ждали встречи с творческим коллективом этого авторитетного издания. И вот в сентябре прошлого года эта встреча состоялась. Представительная делегация «Роман-газеты» приехала в древнюю Коломну, познакомилась с её уникальными памятниками. Гости почувствовали своеобразный колорит старины и особый дух коломенского гостеприимства.

И поэтому беседа писателей-коломенцев с московскими коллегами получилась особенно содержательной. Самые острые проблемы современной литературной жизни не остались без внимания.

К нам приехали главный редактор Ю.В. Козлов, ответственный редактор Е.Б. Рощина, работники редакции: Е.И. Дегтярева, О.Г. Наренкова, Е.П. Шевцова и друзья журнала: писатели В.А. Пронин, Е.В. Шишкин и художник А.Л. Дудин.

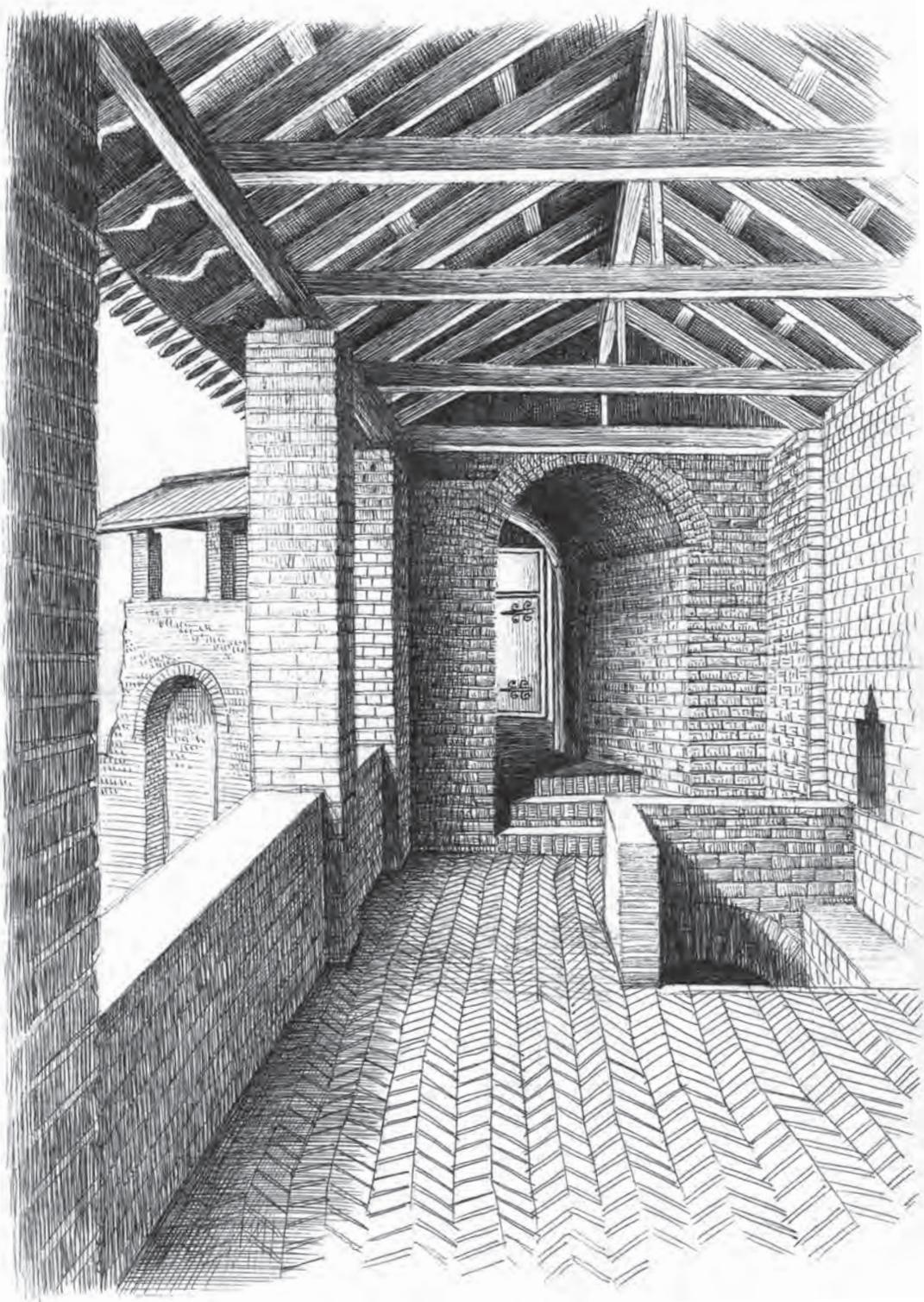
И эта долгожданная встреча принесла свои плоды. Между «Коломенским альманахом» и «Роман-газетой» завязались дружеские отношения. Главный редактор столичного издания согласился быть членом нашей общественной редакции.

И ещё не раз люди слова, москвичи и коломенцы, увидятся, чтобы выработать единый взгляд на бытие современной России. Ведь сегодня, в дни раздора и разделений, так важно это простое, казалось бы, дело — помогать друг другу.



Исторические
чтения





Графика Василины Королёвой

ЭПОХА ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН



Евгений Львович Ломако родился 1 августа 1974 года в Коломне. Окончил технологический факультет Коломенского пединститута (ныне МГОСГИ). Кандидат исторических наук. С 2009 года — заведующий отделом Коломенского краеведческого музея.

Автор нескольких десятков статей в научных сборниках, федеральных и региональных журналах, местных средствах массовой информации, ряда брошюр по истории города, путеводителей. Один из авторов и создателей электронной энциклопедии «Коломна», выдержавшей уже четыре выпуска. Несколько лет вёл краеведческий раздел на Коломенском радио.

Евгений Львович Ломако награждён общественными медалями: «За активную гражданскую позицию и патриотизм» и «За сохранение исторической памяти», юбилейным знаком «Коломне 835 лет».

Исторический очерк

Восемнадцатый век... Это столетие проложило границу между старой и новой страной, определило образ мышления русского человека на многие годы вперёд. Большая часть века восемнадцатого прошла под знаком Великих: Петра и Екатерины. Именно они дали новый импульс развитию и поставили невиданные доселе цели. Но всё это стало возможным при деятельном участии городов, вносящих, словно ручейки, свою долю в широкую реку преобразований. Как раз на их примере становятся заметны изменения, произошедшие в судьбе каждого. Не стала исключением и Коломна, где ярко и выпукло, со своим колоритом, проступает жизнь той эпохи.

К середине восемнадцатого столетия Коломна подходила богатым торговым городом, одним из крупнейших в Московской губернии. С лёгкой иронией, в которой сквозит любовь к родному городу, описывает Коломну рубежа XVIII–XIX веков И.И. Лажечников: «В Холодне¹, кроме тревожной постройки дома Пшеницыных², ничто не изменяло мёртвой тишины города. По-прежнему нарушалась эта тишина мерными ударами валька по мокрому белью и гоготанием гусей на речке; по-прежнему били на бойнях тысячи длиннорогих волов, солили мясо, топили сало, выделявали кожи и отправляли всё это в Англию; по-прежнему, в

¹ «Псевдоним» Коломны.

² Под этой фамилией выведены Ложечниковы — одни из богатейших коломенских купцов, предки И.И. Лажечникова.



Вид Коломны. Конец 1790-х гг.

базарные дни, среди атмосферы, пропитанной сильным запахом дѣтга, скрипели на рынках сотни возов с сельскими продуктами и изделиями, и меж ними сновали, обнимались и дрались пьяные мужики. По воскресным дням толпы отчаливали к городскому кладбищу, чтобы полюбоваться на земле покойников очень живыми кулачными боями. Пузатые купцы, как и прежде, после чаепития, упражнялись в своих торговых делах, в полдень ели редьку, хлебали деревянными или оловянными ложками щи, на которых плавало по вершку сала, и уписывали гречневую кашу пополам с маслом. После обеда, вместо кейфа, беседовали немного с высшими силами, то есть пускали к небу из воронки рта струи воздуха, потом погружались в сон праведных. Выбравшись из-под тулупа и с лона трёхэтажных перин, а иногда с войлока на огненной лежанке, будто из банного пара, в несколько приёмов осушали по жбану пива, только что принесённого со льду; опять кейфовали, немного погода принимались за самовар в бочонок, потом за ужин с редькой, щами и кашей и опять утопали в лоне трёхэтажных перин. Как видите, жизнь патриархальная! Немногие избранники отступали от неё. Книжки в доме ни одной, разве какой-нибудь отщепенец-сынок, от которого родители не ожидали проку, тайком от них, где-нибудь на сенике, теребил по складам замасленный песенник или сказки про Илью Муромца и Бову Королевича».

Но такая ли «мёртвая» была тишина? И так ли купцы (а также другие горожане) наслаждались «патриархальной» жизнью? Конечно же, нет! Купеческое дело требовало недюжинной энергии и смелости. Коломна была одним из самых населённых городов Московской губернии. Тут обитали в 1760-е годы более 4000 человек, а к Отечественной войне 1812 года население подошло к отметке в 7000. Жизнь тут была ключом!

Многочисленные документы свидетельствуют, что активность горожан была высока. Они доказывали свои права на дворовые места, фамилии, строились, решали вопросы об общественных местах, разграничивали зоны ответственности. Всё это накладывалось на «социальную физиономию» Коломны, сформированную из многочисленных общественных групп, зачастую зависевших друг от друга и являвших «единство и борьбу противоположностей».

Купцы, мещане, ямщики, духовенство, крестьяне — все вносили свой вклад в постройку здания под названием «история Коломны». Горожан

и приезжающих торговцев обслуживали многочисленные ремесленники: кузнецы, ткачи, хлебники, рыбаки, мясники, горшечники, кожевники, портные, рукавичники, шапочники, цирюльники, даже золотари¹.

У ремесленников была своя специализация, например, среди хлебопёков особо выделялись пекари калачей и валенцов². Обращает на себя внимание присутствие в этой среде переплётчиков. Значит, немало было в городе людей, которые приобретали книги, выписывали журналы! К концу XVIII века в числе ремесленников значится и часовой мастер, что свидетельствовало о всё возрастающем благосостоянии горожан.

Особенный колорит приобретал город, когда в него «вступали военные». Городская жизнь ещё более оживлялась и приобретала «радужные» краски. Население города увеличивалось в разные периоды, в зависимости от численности воинских полков, наполовину или на треть. На плечи горожан ложились заботы, несвойственные им в повседневности.

В начале 1750-х годов в городе располагался Смоленский пехотный полк, а в 1760-х – 1770-х годах Коломна являлась местом постоя Невского пехотного полка. Нередко в один год в Коломне сменялось несколько различных воинских частей. Например, в 1782 году по пути в Херсон из Владимира в Коломне останавливался секунд-майор Трусков с рекрутами, в этом же году в город вступал Острогжский кирасирский гусарский полк и квартировала отставная команда Смоленского полка. В начале 1797 года в Коломну прибыл Выборгский пехотный (мушкетёрский) полк.

Перед тем, как полк вставал на постой, дома горожан распределялись для пребывания в них определённого количества военнослужащих, а их вступало в город внушительное количество. Например, в составе Выборгского полка находились: шеф, 12 штаб-офицеров, 121 обер-офицер (со священником), 2421 унтер-офицер и рядовые. Размещение рядовых могло доходить в одном доме до 10 человек. Даже именитые граждане не избегали общей участи. Так, дом одного из столпов коломенского купечества — Мещаниновых, был предназначен для столования проезжающего генералитета. Дополнительные траты несли горожане при постою кавалерийских или артиллерийских частей, когда необходимо было думать и о размещении лошадей.

Офицерский состав нередко прибывал и со сворами собак для охоты, а среди горожан-ремесленников долгое время сохранялась такая архаичная профессия, как соколий помытчик, т.е. человек, натравливающий птицу на дичь. Отбытие полков сопровождалось подсчитыванием ущерба от выбитых окон, дверей и прочего, а также констатацией факта наличия венерических заболеваний...

Несмотря на многочисленные попытки горожан организовать постой полков в отдельно построенных зданиях, заведённый порядок сохранялся долгие годы. В 1767 году коломенцы, дабы избавиться от постоя во-

¹ Золотарь понимается в двух значениях: позолотчик по дереву или отходник, человек, промысляющий чисткой отхожих мест (по В.И. Далю). Учитывая значительное число этих людей в Коломне (9), скорее всего, верно в нашем случае второе значение.

² Валенец — ситный или пшеничный хлебец, сайка, обваленная сверху мукой (по В.И. Далю).



*Митрополит Московский и Коломенский
Филарет (на портрете в сане епископа)*

енных, предлагали даже собрать по рублю с каждого двора горожан и жителей пригородных селений, чтобы построить близ города штабной двор, где разместились бы все без исключения военные.

Свою лепту в яркую картину городской жизни вносило и духовенство, численность которого была весьма значительной, так как до 1799 года Коломна оставалась епархиальным центром. В городе находились Архиерейский дом со своим штатом, семинария, 2 соборные церкви, 17 приходских церквей, 2 монастыря. Поэтому в Коломне удельный вес чёрного и белого духовенства, а также лиц, получающих духовное образование, был очень высок.

При Архиерейском доме и городских приходах служили священники, диаконы, дьячки, чтецы, пономари, иподиаконы, звонари, сторожа, певчие. Священниками городских приходов в Коломне становились представители потомственного духовенства, по преимуществу происходившие либо из Коломенского уезда, либо женившиеся на дочерях коломенских священников.

Показателен в этом плане пример отца митрополита Московского и Коломенского Филарета (в миру Василия Михайловича Дроздова) — Михаила Фёдоровича. Он окончил в 1780 году Коломенскую семинарию, женился на дочери иерея Богоявленской церкви и был определён диаконом в соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Рапорт благочинного коломенских церквей в Консисторию от 8 марта 1783 года отразил перевод Михаила Фёдорова (Дроздова) с посвящением его в иерея на место переведённого в Зарайск священника Троицкой церкви Ямской слободы Петра Симеонова. Прихожане этого одного из самых больших приходов Коломны встретили молодого священника недоброжелательно, так как они долгое время хлопотали за другого. Конфликт дошёл до того, что приношения жителей были доведены до минимальной степени, но отец Михаил достойно исполнял свой долг и вскоре переломил ситуацию в свою пользу. Ревностное служение отца Михаила было вознаграждено в 1800 году, когда он в возрасте 40 лет был назначен настоятелем Успенского собора в сане протоиерея.

Примером назначения священника из Коломенского уезда может служить дед известного богослова Н.П. Гилярова-Платонова, предки которого многие годы были священниками двух церквей села Черкизова. Были в Коломне и случаи отстранения приходских священников от исполняемых ими обязанностей. Так, в 1773 году епископ Коломенский Феодосий разбирает дело священника посадской Воскресенской церкви,



который «...как известно живёт непорядочно: упивается почасти и противная чину ево чинить поступки, — драки и ссоры». Провинившегося священника отстранили от должности и назначили викарием (помощником) при вновь назначенном священнике. Отмечались подобные случаи среди церковнослужителей и в дальнейшем. В сказках шестой ревизии (1811–1812 годы) отмечено, что дьячок Алексеевской церкви в 1799 году и пономарь церкви Богоявления в 1810 году были уволены со своих должностей за пьянство.

Упразднение Коломенской епархии по указу от 16 октября 1799 года нанесло большой удар духовенству Коломны. Н.П. Гиляров-Платонов очень ёмко заметил в своих воспоминаниях: «Опустела родина. Она подошла под тот тип казённости, который там раньше, там позже, но неуклонно повсюду овладевает Россией, стирая всё бытовое, местное, историческое, не щадя ни одного уголка, ни одного отправления общественной жизни»¹. По сути, последним коломенским епископом² был Афанасий III (Иванов), занимавший кафедру с 12 ноября 1788 года по 10 апреля 1799 года, когда он был переведён в Воронеж. Об отношении к нему коломенских жителей говорит ода, написанная учителем семинарии Василием Протопоповым, и благодарственные речи при отбытии владыки на новую кафедру. Как свидетельствовал Н.П. Гиляров-Платонов: «С плачем проводили коломенцы архиерейский двор, консисторию, учителей и учеников семинарских. Отселе они живут в городе исключительно торговом. Торговые интересы будут отселе главные и единственные; на них будет сосредоточиваться и покоиться общественное внимание: гурты, барки, хлеб, сало. Экономическая жизнь города с выводом епархии не потерпит (словосочетание приведено в значении «не потерпит урона» — Е.Л.); она держится на твёрдом основании, не зависимом от административных делений; ей нанесён будет удар чрез шестьдесят лет, но с другой стороны».

Архиерейские служители, а также священно- и церковнослужители при Успенском соборе покидали город вместе с епископом. В устоявшейся жизни монастырей и части городских приходов также произошли изменения. В 1800 году был упразднён по указу Святейшего Правитель-

¹ Гиляров-Платонов Н.П. Из пережитого: автобиографические воспоминания: в 2 т. Т. 1. СПб., 2009. С. 32.

² Мефодий (Смирнов), пробывший на кафедре с апреля по декабрь 1799 года, выполнил чисто номинальную функцию, подготовив перевод архиерейского двора в Тулу.



Рисунок М.Ф. Казакова, 1778 г.

ствующего Синода Спасский мужской монастырь, братия которого составила штат восстановленного при учреждении Оренбургской епархии Уфимского Успенского мужского третьеклассного монастыря¹. По метрическим книгам 1800 года, среди церквей Коломны значится Преображенская церковь², что некогда была собором Спасского монастыря³. К церкви были приписаны 15 приходских дворов упразднённой Алексеевской церкви⁴.

Вся жизнь Коломны второй половины XVIII века зиждилась на главном — торговле. Это была основа и ведущая статья экономического развития. Именно ею занималось подавляющее большинство жителей города и уезда. Торговые связи Коломны, важнейшего узла пересечения товарных грузопотоков, шедших как водными, так и сухими путями, охватывали практически всю восточно-европейскую территорию страны. Они традиционно ориентировались на московский рынок, а также всё более крепнущее Санкт-Петербургское направление.

Купцы вели активную торговлю внутри страны, в Коломне, поставляли товар к Санкт-Петербуржскому и Астраханскому портам. Дальнейший путь коломенской продукции (парусное полотно, равендук, юфть) через Санкт-Петербургский порт пролегал в Лондон, Амстердам, Любек, Штеттин и другие европейские города. Торговые интересы коломенских куп-

¹ ЦИАМ. Ф. 51. Оп. 8. Д. 24. Л. 626; Русская православная церковь. Монастыри: Энциклопедический справочник. М., 2001. С. 78; Маевский И.В. Очерки по истории Коломенского края. Коломна, 2004. С. 134.

² По ревизским сказкам 1811 года она проходит как Спасская, что на площади (ЦИАМ. Ф. 51. Оп. 8. Д. 24. Л. 626).

³ ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745, т. 2. Д. 912. Л. 1 — 52.

⁴ ЦИАМ. Ф. 51. Оп. 8. Д. 24. Л. 626 об.

цов распространялись и до окраин Российской империи. Из сообщения Московского губернского правления 1785 года следует, что коломенский купец Фёдор Токарев имел один пай¹ в разбившемся на Камчатке судне «Св. Прокопий» (восемь паёв имел московский купец Гаврила Журавлёв и один — купец Александр Саблев)².

Розничная торговля имела тенденцию к большей специализации и занимала достаточно весомый сегмент в коломенском обороте. В оптовой всё большую роль играла гуртовая торговля скотом. Вместе с тем положительные тенденции развития показывала также торговля хлебом, рыбой и солью.

Выручка вкладывалась купцами в промышленные предприятия. В городе возникают «заводы», в основном связанные с торговлей, торговой инфраструктурой и строительством: кожевенные, клеевые, маслобоянные, мыловаренные, солодовенные, кирпичные, горшечные, кафленные, канатные. Достаточно бурными темпами развивается мануфактурная промышленность. Были заведены суконная и каразейная, а также полотняные, парусные, шёлковые, кумачная, китайчатая, ситцевая фабрики. В области ремесла можно говорить о сложившихся цеховых организациях, а также об отдельных лицах, занимающихся ремеслом без вступления в цеха. Довольно заметную роль в формировании доходов коломенцев играли различные промыслы: садоводство, рыболовство и т.п.

Интересы отдельных групп коломенцев на городском пространстве находились в постоянном столкновении. Ярким примером этого стала активность жителей Ямской слободы. Занимались они, кроме извоза, хлебопашеством, содержанием постоянных дворов, продажей деревенских продуктов, сена, овса, дёгтя, а женщины пряли лён, пеньку и шерсть, ткали холсты и сукна, вязали варежки и чулки. Поэтому коломенские купцы зачастую конфликтовали с ямщиками, перебивавшими клиентуру рынка.

Об этом свидетельствует доношение купцов и мещан: «...Здесьние же ямщики имеют у себя по слободе постоянные дворы, и приезжающих из украинских городов с разным хлебом крестьян при въезде в город, обольщая тех землепашцев, на свои дворы ставить и оной хлеб не допуская до торговой площади перекупают и продают по ящикам на тех постоянных своих дворах, пересыпают с воза на воз... нашему всякому припасу и товарам в продаже и из лавок немалый подрыв и остановку»³. Не отставали от ямщиков и крестьяне окрестных сёл и деревень, торговавшие на рынке Коломны по понедельникам и четвергам. В приведённом доношении говорится: «...Живущие поблизости к городу Коломне и Володимерской дороги крестьяне, по которой дороге в город Коломну привозят нижегородскую и арзамасскую красную, белую и мелкую всякую посуду, то есть липовки, коробки, ценовки, веретья, рогожи, и оные крестьяне не допускают привозом до Коломны тот товар и, останавливая на дороге, перекупают, а мы принужденными находимся у тех перекупщиков те товары покупать и им уже немалые барыши давать. Сверх же сего тем не-

¹ Пай — часть, доля надела или раздела, долянка в складчине, артели, товариществе (по В.И. Далю).

² ЦИАМ. Ф. 41. Оп. 1. Д. 750. Л. 1.

³ ЦИАМ.Ф. 41. Оп. 1. Д. 1070. Л. 6 – 6 об.

довольны, удерживают ещё от тех товаров и привозят по немалому числу возов в город на подторжье и в торговые дни в каждой неделе в четыре дня и тот товар продают в розницу беззаветно, где они похотят»¹.

Наиболее активным элементом «общества градского» и застрельщиками возбуждения многих актуальных вопросов были, как видно, купцы. Они традиционно образовывали большинство среди обитателей Коломны. К середине восемнадцатого столетия они составляли почти половину из общего населения города, достигшего численности более 4000 человек. В 1775 году была образована ещё одна социальная группа — мещане, большинство представителей которых до этого числились купцами. Для данного периода характерно колебание численности и купечества, и мещан, но примерно через десять лет ситуация выровнялась. Мещане занимались мелкой торговлей и фактически стали основными владельцами коломенских кирпичных заводов. Их интересы во многом совпадали с интересами купцов, поэтому на протяжении десятилетий основной тон в жизни города задавали именно эти две группы, составлявшие более половины от общего населения города.

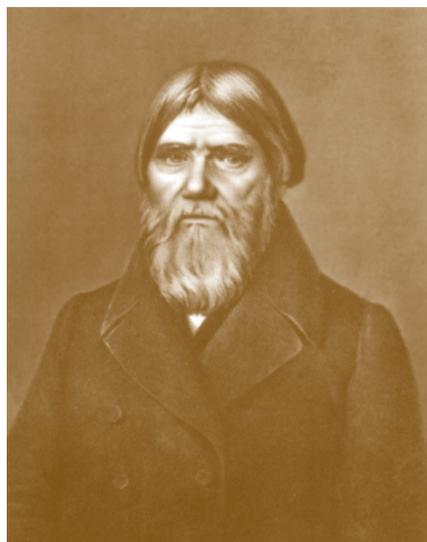
Своё веское, во многом определяющее слово имели вышедшие на первые роли во второй половине восемнадцатого столетия представители таких фамилий, как Мещаниновы, Бочарниковы, Шульгины, Хлебниковы, Панины, Ложечниковы. Часть из них по достижении определённой планки благосостояния предпочитала перебираться в первостольную (сохраняя, однако, производство в Коломне) или даже в Санкт-Петербург. Записывались коломенские купцы также и в рязанское купечество. Значительное пополнение самого коломенского купечества происходило после секуляризации церковных земель в 1764 году из среды экономических крестьян. Купцами Коломны становились крестьяне Коломенской, Егорьевской, Зарайской округи, Серпуховского уезда, дворовые люди, отпущенные на волю, купцы других городов (Зарайска, Каширы), церковники, мещане.

Заметным стал переход в московское купечество в 1782 году Демида Демидовича Мещанинова, обосновавшегося в Москве задолго до начала 1780-х годов и имевшего собственный дом в «Новой Басманной в приходе церкви Петра и Павла». В 1782 году купец первой гильдии Д.Д. Мещанинов становится московским головою. Сын Д.Д. Мещанинова Маркел впоследствии поднимется на одну ступеньку выше отца, бывшего коллежским ассессором, и станет надворным советником, а дочери удачно выйдут замуж: Елизавета — за секунд-майора И.В. Хотяинцева, Анна — за капитана I ранга П.Н. Хомутова.

Путь Д.Д. Мещанинова повторил ещё один представитель коломенского купечества — Кондратий Карпович Шапошников, перешедший в московское купечество вместе с братьями в 1815 году. Так же, как и Д.Д. Мещанинов, он поселился в Москве более чем за десять лет до своего официального вступления в ряды московских купцов — в 1804 году. В 1841–1843 годах К.К. Шапошников занимал должность городского головы. Дед К.К. Шапошникова, староста коломенского купечества Василий Дементьевич Шапошников, был одним из богатейших коломенских

¹ ЦИАМ.Ф. 41. Оп. 1. Д. 1070. Л. 6.

*Кондратий Карпович Шапошников
(1778–1855 гг.)*



купцов, ведшим как оптовую, так и розничную торговлю и владевшим рядом «заводов». Дядя К.К. Шапошникова, Павел Васильевич, тоже был яркой личностью. Занимая должность городского головы Коломны в 1812 году, он был награждён императором Александром I бриллиантовым перстнем за участие в снабжении русской армии продовольствием и одеждой в Отечественной войне 1812 года.

Интересная деталь: на протяжении 1770-х – 1780-х годов активную роль в жизни торговой Коломны играли вдовы и дочери купцов. Документы по пожару 1775 года показывают среди содержателей лавок шесть вдов (Евдокия Борышникова, Евдокия Тулинова, Матрёна Кирилова, Стефанида Никитина, Анна Тимофеева, Федосия Ермолаева), а также дочерей Максима Горбунова. Среди владельцев «заводов» в ведомости коломенского городничего показана жена Фёдора Панина Татьяна, в собственности которой находились салотопенный и кожевенный «заводы». Но наиболее яркой представительницей коломенских купцов была коллежская советница Татьяна Ивановна Тетюшева, дочь Ивана Тимофеевича Мещанинова. Она унаследовала его состояние и вплоть до конца XVIII века продолжала вести дела и заниматься благотворительностью.

Сливки коломенского купечества представляли фамилии, имевшие статус именитых. Попасть в эту категорию было крайне затруднительно. Можно утверждать, что ими были семейства Мещаниновых, Ложечниковых и Шевлягиных. Одним из первых именитым гражданином стал после 1785 года Иван Демидович Мещанинов, владевший в конце 1790-х годов мучной мельницей. Он умер в 1806 году, а его сын, Иван Иванович Мещанинов, в 1808 году стал титулярным советником. Н.П. Гиляров-Платонов добавляет яркий штрих к его портрету:

«Сын Ивана Демидовича, выхлопотавшего изменение городского плана, Иван Иванович Мещанинов был записан с малолетства в гвардию сержантом и тем кончил свою службу. В отставке он был титулярный советник. Отец говаривал, что И.И. Мещанинов есть только личный дворянин, и связывал это обстоятельство с ограничением права иметь крепостных. Однако у И.И. Мещанинова были и населённые имения, и дворовые. Сестра его, Елизавета Ивановна, престарелая девица, числилась купчихой. Брат и сестра жили в своём родовом коломенском доме, Елизавета Ивановна — безвыездно. Иван Иванович был также холост».

К концу восемнадцатого столетия именитыми купцами становятся Ложечниковы и Шевлягины. Иван Ильич Ложечников вместе со старшим братом Емельяном получили этот статус после смерти отца, Ильи Аки-



*Иван Иванович Лажечников
(1790–1869 гг.)*

мовича, в 1795 году. Глава третьей фамилии, Афанасий Акимович Шевлягин, проходит по делу из ЦИАМ 1797 года, содержащему сведения о предоставлении квартир Выборгскому полку: «... имеющийся в Коломне коломенского купца, что ныне именитый гражданин, Афанасия Шевлягина дом от постоя уволить».

С 1807 года звание именитых граждан для купечества было отменено и сохранено только для учёных и художников. Своего рода заме-

ной для купечества стали звания коммерции советника и мануфактур-советника. Так, к 1811 году И.И. Ложечников вместе с тремя сыновьями состоял во второй гильдии в звании коммерции советника. Как видно, несмотря на звание, семья Ложечниковых постепенно утрачивает свои лидирующие позиции. Об этом говорит и тот факт, что Е.И. Ложечников числился в третьей гильдии вместе с шестью сыновьями. К седьмой ревизии (1815–1825 гг.), через пять лет, в семье И.И. Ложечникова опять произошёл ряд изменений. Если Е.И. Ложечников с женой, шестью холостыми сыновьями (старшему из которых было 26 лет) и дочерью всё так же числился в третьей гильдии, то И.И. Ложечников продолжил спускаться по социальной лестнице и числился в мещанстве с женой и дочерьми Катериной и Анной. Выбывшие сыновья И.И. Ложечникова, напротив, к этому времени получили классные чины: 1-й Николай — XIV (актуариус Коллегии иностранных дел), Иван — XIII (прапорщик Московского гренадерского полка, кавалер), 2-й Николай — XIII (подпоручик Таврического гренадерского полка, кавалер).

С ростом благосостояния жителей совершенно естественно возникает понимание того, что богатый город, которым становилась Коломна, перестают удовлетворять скромные каменные и страдавшие от пожаров деревянные церкви и жилые дома. Наступает «золотой век» коломенского купечества. Благодаря своим капиталам Коломна одевается в камень: все церкви перестроены к концу восемнадцатого столетия в кирпиче, на Посаде возникают многочисленные купеческие усадьбы. Период с конца XVII по начало XIX века ознаменовался в Коломне полосой интенсивного строительства, а частые пожары стимулировали возникновение всё большего числа каменных строений. У купечества появляются свободные средства от занятий торговлей, а затем и мануфактурной промышленностью, направляемые на благотворительность и улучшение собственных условий жизни.

Символом окончательно уходящей в прошлое Коломны с её славным военным прошлым и наступления совсем иных порядков стал кремль, постепенно ветшающий и разрушающийся. К концу XVIII века этот процесс принимает практически необратимые последствия... В 1791 году



*Вид Кремля со стороны Москвы-реки.
Литография И. Селезнёва 1839 г.*

коломенский городничий Васильков ведёт переписку с московским губернатором П.В. Лопухиным о ремонте. Вопрос был поднят в связи с тем, что 1 июня 1791 года со стены напротив крепостной земли князя В.М. Голицына упало пять зубцов. Возможность подобного развития ситуации возникла и в других местах. При этом ярко выступает приверженность коломенского чиновничества чётко следовать инструкциям: «...во многих местах к таковому же упаду городской стены предвидится опасность. Ворота же, называемые Пятницкие, от таковой же к падению опасности для проходящих и проезжающих, по предписанию Вашего превосходительства, мною заложены брёвнами и остался въезд в городскую крепость в одни ворота Ивановские, но и те во многих местах сверху как в стенах, так и в сводах, немалые имеют расседины, что также наносит великую опасность, о чём Вашему превосходительству сим почтейнейше и рапортую»¹.

Проблема была разрешена только после письма Павла I из Павловска от 16 июня 1797 года к московскому военному губернатору Ю.В. Долгорукову. Император писал: «По докладу Вашему я дозволяю в городах Московской губернии: Коломне, Серпухове и Можайске, крепостные стены, так как и ворота, по крайней их ветхости, разобрать и на место оных те города обнести палисадником с воротами, какие обыкновенно при въездах употребляются; материалы же от разобранных стен продать, обращая вырученные деньги на сию самую работу»². В 1798 году губернский архитектор И.А. Селехов доносил гражданскому губернатору П.Я. Аршеневскому, что «в городе Коломне крепостная стена находится в крайней к падению опасности, а паче башня, называемая Косые ворота, половина которой уже внутрь крепости и упала, и что ежели слу-

¹ ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 104. Д. 189. Л. 1 – 2.

² Русский архив. Книга 1. М., 1876. С. 12 – 13.



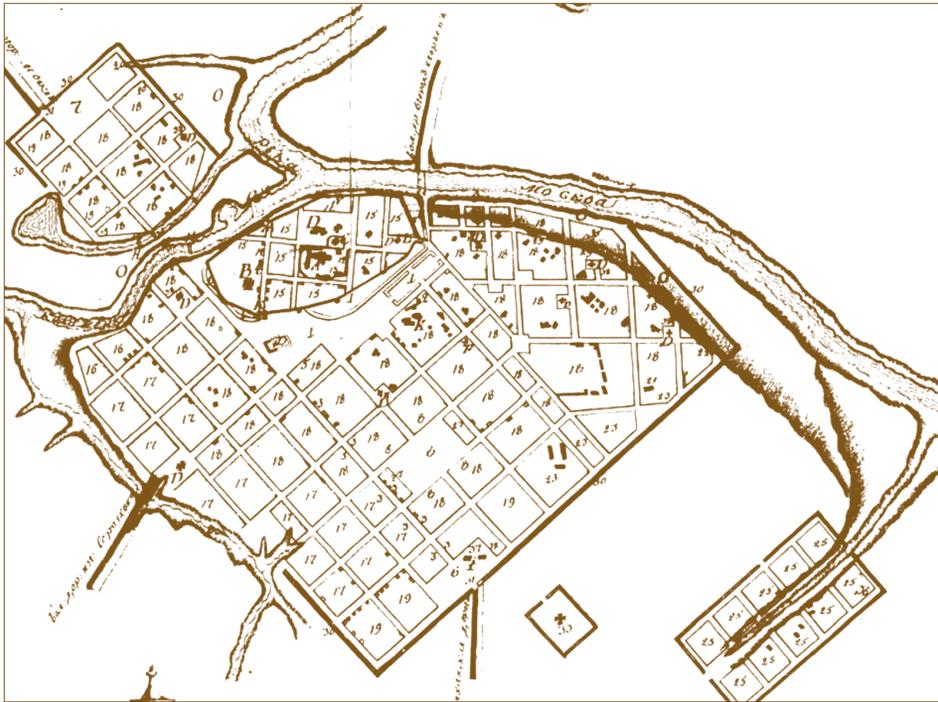
192 *Генеральный план Коломны, 1778 г.*

чится то может нанести строению, а паче проходящим великой вред»¹. В 1804 году разборка Борисоглебской башни и Косых ворот, а также стены между ними и частично в стороны и стены между Вознесенской и Симоновской башнями была осуществлена.

А вокруг кремля кипела работа по претворению в жизнь регулярного плана на основе принципов классицизма. Одной из главных задач выступало стремление преодолеть деление города на слободы и создать единое городское пространство. Наибольшим препятствием к этому, естественно, являлась средневековая планировка. Её слом шёл самыми решительными методами. Особо надо заметить, что данная работа была начата после путешествия Екатерины II по российским городам. Так, 14–15 октября 1775 года императрица посетила Коломну². Этот визит состоялся практически сразу после достаточно крупного пожара (следствием которого, в частности, явился рапорт московского губернатора Ф.А. Остермана). Несмотря на то, что горожане сделали всё, чтобы сгладить неприятное ощущение, вполне возможно, что Екатерина II обратила внимание и на застройку города, и на возможности его перепланировки. Подобная же ситуация могла наблюдаться и в других местах. Результатом явился вывод об изменении облика российских городов в сторону европеизации.

¹ ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 890. Л. 4.

² Из Коломны от 16 числа октября / «Московские ведомости», № 90. 1775. 10 ноября.



Регулярный план Коломны, конец 1790 г.

Одним из видимых факторов, ускоривших перепланировку Коломны, был пожар с 9 по 10 мая 1782 года, начавшийся на постоялом дворе купца А. Бочарникова на Житной площади, который сдавался внаём экономическому крестьянину Е. Степанову¹. На это рассуждение наталкивает и свидетельство Н.П. Гилярова-Платонова в книге «Из пережитого»: «В случайном разговоре услышал я замечание о кривизне улиц московских и задал себе мысленный вопрос: «А какие улицы у нас?» Представляя улицы ясно, тем не менее я затруднился решить вопрос заочно: какие они в самом деле, прямые или кривые? Только уже приехав снова на родину, убедился, что город распланирован правильно. А между тем об этой планировке я слышал ещё ранее, и притом неоднократно, с рассказом об обстоятельстве, которым она была вызвана и которым потом сопровождалась. Был пожар; за исключением нашего околотка весь город был истреблён. Это случилось в восьмидесятых годах, ибо отец был ещё мальчиком; вместе со старшим своим братом, на крыше дома, он метлой отмахивал падавшие головни. Ветер дул в нашу сторону; опасность была неминуема. «Тогда, — рассказывали мне, — к покойному батюшке (моему деду) пристали, чтоб он поднял иконы». Он исполнил, обошёл околоток; околоток, который был обойдён, уцелел. Мне перечисляли уцелевшие дома, с заключением, что «батюшка Никита Мученик заступился». Околоток уцелел, а город, и в том числе наш околоток, всё-таки

¹ ЦИАМ. Ф. 41. Оп. 1. Д. 78. Л. 6.

получил новый план, по которому церковь, выходящая на улицу, была отброшена от неё (ул. Никольская, ныне ул. Посадская — Е.Л.)»¹

Пожар был действительно опустошительным: на Посаде сгорели шестьдесят два обывательских двора с шестнадцатью прилавками, полицейская изба, церковь Симеона Столпника, лавки, амбары, пострадал Спасский монастырь; в кремле огонь уничтожил шестьдесят пять обывательских дворов, церковь и кельи в Брусенском монастыре, пострадал архиерейский дом. После пожара поступило предложение губернатора Н.П. Архарова строить новые дома таким образом, чтобы их не жалко было сломать, когда будет претворяться в жизнь опробованный новый план города².хлопот у коломенцев прибавилось.

Потребность в возведении новых зданий удовлетворяли плотники, кирпичники, печники, изготовители изразцов. Вследствие внедрения плана застройки города, утверждённого в 1784 году рескриптом Екатерины II: «Быть по сему», радикально перекраивалась уличная сеть, переносились и перераспределялись дворовые места. Поданные заявления о застройке по высочайше подтвержденному³ плану свидетельствуют о том, что к реализации плана приступили в том же году. Вместе с тем нормативная база, необходимая для воплощения генерального плана в жизнь, была далека от детальной проработки. Об этом свидетельствует дело купца К.К. Попова, который, несмотря на то, что подал в 1784 году прошение о построении деревянного строения на каменном фундаменте, получил его только в 1788 году⁴.

Проблемы, возникающие при наделении участками горожан, разрешались разными способами. На примере одного из богатейших купцов Коломны, И.Д. Мещанинова, это видно наиболее отчётливо. В 1789 году рассматривалось дело И.Д. Мещанинова об отводе ему места под постройку обывательского двора взамен отошедшего в площадь крепостного места⁵. В течение ряда лет Коломенский магистрат не отводил И.Д. Мещанинову взамен потерянных мест другие участки для постройки каменных дворов и лавок, несмотря на неоднократные его обращения. Отказано И.Д. Мещанинову было и в просьбе построить постоянный каменный двор и трактир на Большой Лубянской улице около купца Бочарникова. В результате обращения И.Д. Мещанинова к московскому губернатору П.В. Лопухину в марте 1790 года выяснилось, что просимое место было отведено магистратом жене бежавшего купца Ульяне Осиповой. По другим просьбам также было предоставлено много мест, причём на них между каменными возводились непредусмотренные планом деревянные строения, портящие вид города и создающие опасность пожара.

Магистрату было предписано подыскать для И.Д. Мещанинова просимое место и строго следить за тем, чтобы деревянные дома не строи-

¹ Гиляров-Платонов Н.П. Указ. соч. С. 14.

² ЦИАМ. Ф. 41. Оп. 1. Д. 78. Л. 26, 28.

³ Конфирмовать — утверждать подписью постановление, решение, приговор (по В.И. Далю).

⁴ Мазуров А.Б. О реализации плана регулярной застройки Коломны в конце XVIII века // Лажечников и Коломна: сб. науч. тр. Коломна, 2005. С. 69.

⁵ ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 104. Д. 172. Л. 1–9.



*Главный дом усадьбы Мещаниновых
(пр. Артиллеристов, 7)*

лись. В конечном итоге И.Д. Мещанинову предложили строить лавки около торговой площади в 30-ом квартале, недалеко от Спасских (Пятницких — Е.Л.) ворот, что совпало с предложением московского главнокомандующего А.А. Прозоровского 4 сентября 1790 года о постройке лавок от указанных ворот к реке Москве с переносом старых домов в другие места. И.Д. Мещанинов, получив место, выстроил на нём двухэтажный корпус в 24 сажени с лавками в нижнем этаже, крытый железом.

Активность И.Д. Мещанинова не ослабевала и далее, когда в 1791 году он подаёт прошение об отводе ему выгонной казённой земли под «фабрику» с обязательством построить каменную ограду¹. Вообще же владения И.Д. Мещанинова в Коломне были обширны. Кроме жилого дома с построенными при нём «фабрикой» и кожевенным «заводом», непосредственно И.Д. Мещанинову принадлежали каменный дом с усадьбой на Житной площади (24,5×12,5 сажени), пустопорожнее место по отводу магистрата (22,5×18 сажений), ещё одно пустопорожнее место (49×30 сажений), каменный дом около Москворецкого моста (7 сажень 2 аршина × 3 сажени 2 аршина), который отходил по плану под набережную. Также его жене Арине (Ирине) Федуловой принадлежал каменный дом на Житной площади (30×24 сажень) и пустопорожнее место (16×10 сажень)². В 1797 году за И.Д. и И.Ф. Мещаниновыми числились один жилой и шесть постоялых домов³.

¹ ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 104. Д. 172. Л. 1 – 12.

² ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 104. Д. 172. Л. 16.

³ ЦИАМ. Ф. 41. Оп. 1. Д. 3623. Л. 116.

Усадьба Мещанинова (ныне проезд Артиллеристов, 7), сложившаяся в 1760-х годах при суконной фабрике Ивана Тимофеевича Мещанинова, отличалась своим размахом и богатством. В XVIII веке это была типичная коломенская купеческая усадьба, одна из тех, которые описаны Н.П. Гиляровым-Платоновым в книге «Из пережитого»: «...Город был собранием отдельных усадеб; каждая усадьба сама по себе и была своего рода замком, ограждённым вместо рва и подъёмного моста двором, забором и воротами». Главный дом с парком, фабричные строения и огород занимали в Коломне целый квартал. Главный дом дворцового стиля (единственный в городе), построенный под влиянием школы В.В. Растрелли, представляет собой миниатюрную копию Санкт-петербургского Зимнего дворца. 15 октября 1775 года, на второй день своего визита в Коломну, новый дом И.Т. Мещанинова, бывшего тогда членом городского магистрата, посетила Екатерина II. Интерьеры дома украшали изразцовые печи, которые имели значение самостоятельных художественных произведений и свидетельствовали (как и печь из дома Шевлягиных) о высоком уровне развития художественной керамики в Коломне в XVIII веке. Одна из печей Мещаниновых, современная постройке дома, перевезена в 1913 году в Москву и установлена в палатах Волкова (дом Юсуповых) в Большом Харитоньевском переулке.

Н.П. Гиляров-Платонов писал: «Задняя часть мещаниновской земли занята была луговой, огородом и фруктовым садом; за ними следовал во французском вкусе устроенный сад для гулянья, с дорожками, пересекающимися под прямым углом; ели шапками, аллеи шпалерами, аллея крытая, каменные двухэтажные беседки — всё, как водилось при барских усадьбах»¹.

С описанной усадьбой связано и некоторое отступление от чертежа регулярного плана Коломны при прокладке новых улиц. В 1789 году возникает вопрос о прокладке двух проезжих дорог в результате предложения московского губернатора П.В. Лопухина через территорию «фабрики» наследников И.Т. Мещанинова, а также через берёзовую рощу, посаженную И.Т. Мещаниновым между «фабрикой» и Бобышевской слободой². Это обстоятельство встретило активное противодействие со стороны дочери И.Т. Мещанинова Т.И. Тетюшевой и его племянника Д.Д. Мещанинова, выкупившего в 1787 году «фабрику». Их аргументация строилась как на указе императрицы от 8 августа 1762 года, который запрещал раздроблять дворы и лавки, так и на пользе жителям города, которые ограждены берёзовой рощей от пожара. Т.И. Тетюшевой были представлены план и межевая книга, данные И.Т. Мещанинову 11 декабря 1767 года Серпуховской провинциальной межевой конторой. Само межевание было проведено 5 июля 1766 года, а его результаты подтверждались подписями коллежского советника А. Брянчанинова и землемера первого класса Наваленского пехотного полка капитана В. Вакселя. Вполне возможно, что ситуация разрешилась тем способом, который описал Н.П. Гиляров-Платонов в своей книге «Из пережитого»: «Новую улицу (Никольскую, ныне ул. Посадскую — Е.Л.) пересекал по новому плану переулок (ул. Рождественская, ныне пер. Посадский — Е.Л.), который должен был от берега пройти насквозь до выгонного поля. На пути ему

¹ Гиляров-Платонов Н.П. Указ. соч. С. 190.

² Гиляров-Платонов Н.П. Указ. соч. С. 190.

представлялись ворота и за ними сад Мещаниновых, тех самых, которых предок, Иван Тимофеевич, был «коломенским богом». Коломенский бог был уже в могиле, а здоровствовал его племянник, Иван Демидович. Видя беду, что двор и земля его разрежутся переулком, он отправился в Москву с апортовыми яблоками своего сада. Кто правил тогда Москвой, — не знаю¹, но подарок был принят. «Да, сад с такими прекрасными фруктами губить жалко», — произнёс правитель. Сад был пощажён, и переулок остановился перед воротами мещаниновского дома².

Отметим, что многие дома строились опять же с прицелом на торговлю и выступали зачастую как один из существенных залогов. Об этом свидетельствовал в романе «Немного лет назад» и И.И. Лажечников, выводя Коломну под именем Луковок: «В Луковках, заметим, однако ж, побольше каменных домов, нежели в других подобных городах, но они, по крайней мере на третью часть их, стоят без окон, отданные зубам времени и разным невзгодам нашего климата на окончательное разрушение. Кстати, хозяева их, живущие в одной, двух задних уцелевших каморках, где ночью едва виден подслеповатый огонёк, под защитою этого разрушения избегают надлежащего военного постоя. Говорили одни, что эти дома строены для отдачи в залого и, отслужив свой казённый срок, заброшены».

Иллюстрацией сказанному могут служить дворовладения Ложечниковых. В ЦИАМ сохранилось несколько описаний дома писателя И.И. Лажечникова, Ильи Акимовича³. Два описания датируются 1783 и 1787 годами⁴. Согласно им, И.А. Ложечников владел в Коломне двумя домами, общей стоимостью 12000 р. в Запрудной и Лубянской слободах. Дворовладение в Запрудной слободе было в это время основным и оценивалось в 7000 р., главный дом в Лубянской слободе значился как «каменные палаты о двух этажах, в них восемь покоев, которые не в отделке»⁵. Опись от 7 июля 1794 года по-прежнему фиксирует два дома Ложечниковых, оценённых в 13500 р.: один в Запрудной слободе, а другой — в Лубянской, на Астраханской улице. Обращает на себя внимание повышение общей стоимости строений. Основным становится дом в Лубянской слободе, который обозначен трёхэтажным⁶, размером 6 × 10

¹ Указанный эпизод относился к концу 1780-х годов когда генерал-губернатором Москвы был П.Д. Еропкин (занимал пост с 20 июля 1786 года по 16 февраля 1790 года), а гражданским губернатором — П.В. Лопухин (занимал пост с 1783 года по 1793 год) (источники: Балязин В.Н. Московские градоначальники. М., 1997. С. 170 – 181; Большая русская биографическая энциклопедия (150 томов текстов, 132015 статей, 13725 иллюстраций) [Электронный ресурс]).

² Гиляров-Платонов Н.П. Указ. соч. С. 14.

³ Публикация: Залеснов К. Дом Лажечникова // Вопрос–Ответ. 2004. № 43 (384) (27 октября).

⁴ ЦИАМ. Ф. 41. Оп. 1. Д. 387. Л. 9 – 9 об.; ЦИАМ. Ф. 41. Оп. 1. Д. 1247. Л. 6 – 6 об.

⁵ ЦИАМ. Ф. 41. Оп. 1. Д. 387. Л. 9 об.; ЦИАМ. Ф. 41. Оп. 1. Д. 1247. Л. 6 об.

⁶ Первым этажом считался цокольный этаж. Можно предположить, что именно в начале 1790-х годов усадьба Ложечниковых начинает приобретать те черты, которые мы наблюдаем в наше время. На обозначенный временной отрезок указывает и автобиографическая повесть И.И. Лажечникова, в которой отражены

саженей, находящийся на дворе с огородом размерами 45 саженей×13 саженей 1 аршин. На первом этаже дома располагались две комнаты с двумя печами, две кладовые и два нужника, что свидетельствовало о высоком социальном статусе владельца. На втором этаже со сводами располагались две комнаты с изразцовыми печами и две кладовые. На третьем этаже располагался балкон и восемь комнат с четырьмя изразцовыми голландскими печами. На дворе были построены два каменных погреба, деревянные амбар для хлеба и конюшня, два каретных сарая и людская изба 12×3 сажени. При доме находились две каменные лавки. Вокруг дома была сооружена каменная ограда с дубовыми воротами с резными фонарями под золотом. На участке был посажен регулярный сад, огороженный дощатым забором. В нём росли 180 яблонь и слив, кедры, вишни, а также кустарники крыжовника и смородины. Вся усадьба была оценена в 10000 р. В дальнейшем усадьба продолжала расти, и к 1796 году в ней находилось три дома «под одной связью» и 5 лавок с погребями; её стоимость оценивалась в 25000 р.¹

его детские впечатления в момент смерти И.А. Ложечникова (ок. 1795 года). В воспоминаниях переплетаются и подлинные события, и вымысел, и отголосок городских легенд: «Место под новый дом тотчас было куплено, спешно началась заготовка под него материалов. Оно занимало почти целый квартал и выходило на три улицы. Было где разгуляться капиталам Ильи Максимовича (*под этим именем выведен И.А. Ложечников — Е.Л.*)! Закипела работа, и в марте потянулись к пустырю целые обозы с лесом, камнем и кирпичом; застучали сотни топоров, ломы начали шевелить остов одряхлевшего, давно не обитаемого дома; с писком и криком высыпали из него стаи встревоженных нетопырей и галок. Эта постройка составила важную эпоху в городе, едва ли не равную с построением кремля. Толпы народа ходили глазеть на неё, как на необыкновенное зрелище. Каждый толковал о ней по-своему; домостроительным фантазиям этих прожектёров не было конца. Иной возводил здание едва ли не с Ивана Великого, другой вытягивал его сплошь на все три улицы. С этого времени жители ещё ниже кланялись семейству Пшеницыных. <...> В Холодне, кроме тревожной постройки дома Пшеницыных, ничто не изменяло мёртвой тишины города. <...> Случались, однако ж, в городе важные происшествия, возмущавшие спокойствие целого населения. То появлялся оборотень, который по ночам бегал в виде огромной свиньи, ранил и обдирал клыками прохожих; то судья в нетрезвом виде въезжал верхом на лошади и без приключений съезжал по лесам строившегося двухэтажного дома; то резывался казначей, обворовавший казначейство. <...> Между тем дом Пшеницына рос не по дням, а по часам. Из ветхого каменного здания между тем сколотили домик, на который надстроили деревянный этаж. Верхний должен был служить для временного житья самих владельцев, нижний назначался для служб. Флигель этот с выведенным уже вчерне большим каменным двухэтажным домом, соединили галереей на арке. В нижнем этаже этого дома устроили с одной стороны две огромные кладовые, а с другой — две большие комнаты: одну для залы, а другую для Вани. Пшеницыны хотели переезжать на новое жилище, когда получили с нарочным известие, что Илья Максимович умирает» (Лажечников И.И. Беленькие, чёрненькие и серенькие // Лажечников И.И. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1994. С. 144–145, 147, 148).

¹ Невзорова Л.Г. Очерки из истории рода Ложечниковых // Коломенский



*Главный дом усадьбы Ложечниковых
(ул. Октябрьской рев., 192а)*

Гораздо скромнее стали стоить владения Ложечниковых в Запрудной слободе, оценённые в 3500 рублей. Но двор с огородом в этой части Коломны занимал участок размером 60×35 (38 с противоположной стороны) саженей. Дом был деревянным, двухэтажным, на первом этаже располагались две комнаты, на втором — четыре тёплых и одна холодная. Во дворе были построены деревянные конюшня, четыре сарая (три из них обозначены как ветхие), баня с предбанником, каменные палаты с кладовыми и каменный кожевенный завод с ветхим деревянным сараем.

Всё возрастая, к концу XVIII века количество каменных домов в Коломне достигло 145, что составило 18 процентов от общей застройки. Известный историк архитектуры М.В. Фехнер подчёркивала необычность этого явления для уездного города, обращая внимание на то, что в Рязани даже в 1837 году каменные дома составляли всего 8 процентов застройки.

Значимым событием последнего десятилетия XVIII века стала постройка каменного Гостиного двора. Его возведение символизировало торговую мощь Коломны. Начало строительства Гостиного двора можно отнести к концу 1780-х — началу 1790-х годов. Прямых указаний на время его строительства не сохранилось. Наиболее ранним источником о постройках Гостиного двора является свидетельство о каменной лавке Фирса Ивановича Бочарникова, выстроенной на отведённой ему 22 декабря 1792 года земле¹. При распределении лавочных мест между коломенскими купцами, а также мещанами возникали трения. В 1794 году купец П. Ситников построил лавку № 6 лицом на Владимирскую улицу с дозволения городни-

альманах: лит. ежегодник. Вып. 6. М., 2002. С. 292.

¹ Мазуров А.Б. Указ. соч. С. 75.



*Гостиный двор,
ул. Яна Грунта, 1а*

чего и членов магистрата без выписки из плана. В 1798 году мещанин Д. Лохов, указывая на новый план, подчёркивал, что лавочное место № 6 — общее с купцом П. Ситниковым¹. Каре нового каменного Гостиного двора было почти полностью достроено к 1798 году. Препятствием на пути застройки стал императорский указ 29 сентября 1797 года о запрещении постройки гостиных дворов. В дело вмешалось сумасбродство Павла I, стремившегося пересмотреть все распоряжения своей матери. На этот момент только по Владимирскому тракту оставались незастроенными некоторые места, и линия лавок получалась незаконченной, а также вдоль Спасской улицы имелись желающие построить ещё ряд лавок. Коломенский магистрат ходатайствовал в Московском губернском правлении о застройке пустопорожных мест, чтобы закончить постройку двора, но получил отказ². Гостиный двор был достроен после 1801 года, в начале царствования Александра I. Об этом свидетельствует план 1804 года, на котором каре Гостиного двора обозначено как полностью завершённое.

Важным в формировании облика города являлось создание присутственных мест, общественных зданий и общегородского кладбища. При организации последнего в полной мере раскрылась интереснейшая страница истории Коломны — раскольническая. В соответствии с указом императрицы Екатерины II 1771 года, вызванным чумой, предписывалось организовывать общегородские кладбища за городской чертой на выгонных землях. Уже 1 декабря власти города определили два места под кладбища. Одно из них, размером 70×70 сажень, располагалось на выезде из города

¹ ЦИАМ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 1216. Л. 1–8.

² ЦИАМ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 1318. Л. 1–2.

в сторону Астрахани, где находился так называемый убогий дом. Второе место (размер — 30×30 сажень) отвели в Запрудной слободе около озера Бельского, что было вызвано трудностями доставки тел умерших на другой конец города в весеннее половодье и осеннюю распутицу. Возможно, лоббирование жителями Запрудной слободы вопроса о создании у них своего кладбища было вызвано не столько природными препятствиями, сколько стремлением создать раскольническое кладбище. За этим явно стояла фигура И.А. Ложечникова, что подтвердилось дальнейшими событиями.

Что касается постройки церквей при кладбищах, то здесь возникли некоторые проблемы, связанные со сложностями сбора денег. Поэтому епископ Феодосий в 1774 году, видя нерачение коломенских граждан, предписал перенести малоприходную деревянную церковь Алексея, человека Божия, на кладбище. Этот факт послужил толчком к активным действиям как городского магистрата, так и жителей Запрудной слободы, которых вынуждали хоронить своих умерших на городском кладбище. Из магистрата пришло заверение, что купечество из неокладных сборов желает построить каменную церковь святых апостолов Петра и Павла. Жители Запрудной слободы, чьи интересы представляли первогильдейские купцы И.А. Ложечников, Фёдор и Семён Семёнович Панины, Лазарь Герасимович Попов, ссылаясь на неудобство и факт того, что на их кладбище уже были захоронены родители, просили разрешения построить деревянную церковь во имя Боголюбской иконы Богородицы. Судя по всему, магистрат настоял на своём решении, и Алексеевская церковь осталась на своём месте, а в 1775 году началось строительство кладбищенской церкви Петра и Павла, законченное в 1779 году.

Жителям Запрудной слободы разрешили построить церковь, но без особого причта, с отправлением службы в ней священником Борисоглебской церкви. В 1774 году церковь была построена, но с раскольническим умыслом: «... при построении оной целию их было неблагочестивое к храму Божию усердие, но по приверженности к раскольническому суеверию единственно злоумышленный происк, что сим способом избегнуть сообщения с погребаемыми на отведённом же по другую сторону города кладбище при Петропавловской церкви...»¹. Следствием конфликта ста-



¹ Руднев М. К истории Коломенской епархии // Чтения в Императорском обществе Истории и Древностей Российских. М., 1903. Кн. 4. С. 22.

ло распоряжение духовной консистории в 1786 году погребать жителей Запрудной слободы на общегородском, Петропавловском, а не на их кладбище. Умерших раскольников надлежало хоронить на особом месте, а построенную церковь упразднить, о чём должен был объявить прихожанам церкви Бориса и Глеба церковный староста Аксён Ермолаевич Кочергин¹. Но семья Ложечниковых, употребляя всё своё влияние на протяжении ряда лет, находила способы сохранить эту церковь. Вопрос о её упразднении и дальнейшем сломе вставал ещё в конце 1790 года². Похожая ситуация возникла и с приходской церковью Бориса и Глеба в Запрудной слободе, что следует из доношения коломенского благочинного Покровского священника Василия епископу Коломенскому и Тульскому Афанасию. После реставрационных работ в указанной церкви, проведённых на средства И.А. Ложечникова, ряд икон оказался написан согласно старообрядческим принципам — с двуперстным сложением. Консистория вынесла следующее решение: «на вновь написанных иконах благословляющие руки (в двуперстии) переправить, а на старых иконах оставить как есть»³.

В то же время, несмотря на явную приверженность И.А. Ложечникова к старообрядцам, необходимо отметить интересный момент, на который указывают исповедные ведомости. В 1775 году он вместе с семьёй в раскольниках не значился, но был отмечен как неисповедавшийся и неприверженный. Можно сделать вывод, что И.А. Ложечников относился к тайным раскольникам. Это вполне объяснимо, так как явное декларирование себя в этом качестве вполне могло помешать вести торговые и промышленные дела.

Возникает резонный вопрос: а не могли ли представители других ведущих купеческих фамилий Коломны поступать подобным образом? Та же исповедная ведомость за 1775 год показывает нам в приходе Никитской церкви разветвлённое семейство Мещаниновых. В нём отмечен и записной раскольник Демид (Диомид)⁴ 78-ми лет. Указание на принадлежность Д.Т. Мещанинова к старообрядчеству может служить свидетельством не только о принадлежности предков Мещаниновых к обозначенному сообществу, но и о тайном сочувствии ему. Подтверждением этому являются и прочные связи Маркела Демидовича Мещанинова (внука Д.Т. Мещанинова) с представителями московских старообрядцев — Рябушинскими. Определённые связи со старообрядцами прослеживаются и у представителей другой богатейшей коломенской купеческой фамилии — Шапошниковых. Александра Карповна Шапошникова⁵ была замужем за купцом 1-й гильдии, старообрядцем «по Рогожскому кладбищу» И.Г. Рахмановым⁶.

¹ ЦИАМ. Ф. 41. Оп. 1. Д. 1080. Л. 1, 3.

² ЦИАМ. Ф. 41. Оп. 1. Д. 1080. Л.12.

³ Орловский С.П. Усадьба Лажечникова в Коломне // Лажечников и Коломна: Сборник научных трудов. Коломна, 2005. С. 110–112.

⁴ Д.Т. Мещанинов являлся и одним из первых попечителей Рогожского кладбища (URL: <http://www.nvkz.kuzbass.net/dworecki/star/m.htm> [дата обращения 2.10.2009]).

⁵ Сестра К.К. Шапошникова.

⁶ Рябкова Л.Б. Коломенские благотворители. Коломна, 2009. С. 197.

В 1790-е годы сильные позиции староверов в купечестве, а особенно в первогильдейском, также составляли особенность города: «...раскольников из россиян звания поповщины по 5-й ревизии состоит купцов 1-й гильдии мужеска одиннадцать женска тринадцать; 2-й гильдии мужеска четыре женска одиннадцать; 3-й гильдии мужеска дватцать женска девятнадцать; мещан мужеска пятнадцать женска тринадцать душ; итого мужеска пятьдесят женска пятьдесят шесть душ»¹.

Но парадокс Коломны в том и состоит, что именно купечество стало опорой просвещения и «новых веяний». Их трудами поддерживалось не только грандиозное храмостроение. Шевлягины, Ложечниковы, Хлебниковы, Мещаниновы, Сурановы... С этими фамилиями связано строительство школ, создание обширных библиотек, православное меценатство, живой интерес к родной истории и памятникам старины. Недаром из коломенского купечества происходит «отец русского исторического романа Иван Лажечников, один из основоположников «коломенского текста».

Вот таким неординарным, живущим полной жизнью городом предстаёт Коломна в восемнадцатом веке. Городом, который воспитывает, учит преодолевать трудности и не падать духом. И в энергии и целеустремлённости предков до сих пор черпают силы их потомки, коломенцы наших дней.

¹ РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 18861, ч. 10. Л. 14 об.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

РЫЦАРЬ НАУКИ



Нисону Семёновичу Ватнику — 65 лет! Кандидат исторических наук, доцент МГОСГИ, он всю жизнь свою положил на алтарь Истории. Результат его исследовательской работы — более сотни публикаций, посвящённых главным образом развитию народного образования в России. Но Нисон Семёнович не замыкается в рамках узкой темы! Читателям «Коломенского альманаха» памятны его увлекательные исследования по краеведению и геральдике Коломны.

Мы от всего сердца желаем нашему другу и соратнику плодотворного труда, новых неожиданных и удивительных открытий! Служением таких подвижников, как Нисон Ватник, и поддерживается слава и память нашего любимого града.

Редколлегия



В конце XIX, начале XX века Коломну посетил некий фотограф, который сделал порядка 60 снимков центральной площади (Житной), Кремля, некоторых улиц. Эти фотографии уже давно находятся в общем доступе в интернете и на улице Лажечникова в рамках проекта «Кремлёвский дворик». Мы используем в нашем проекте те же фотографии.

Но это не просто электронная выставка ретро-фотографий. Самое интересное — это то, какими места на фотографиях стали сейчас, в наши дни. Нет ничего более захватывающего, чем перенестись из настоящего в прошлое (и обратно) и сделать это своими руками, в данном случае при помощи «Кисти Времени».

Всё элементарно. Многие в детстве клали монетку под лист бумаги, проводили сверху карандашом, и происходило маленькое чудо — на листе проявлялись «решка» или «орёл» монетки. Мы используем тот же принцип.

Человек сам выбирает интересную старинную фотографию, берёт «в руки» виртуальную Кисть Времени, проводит ею по фото, и происходит чудо — на фото начинают появляться черты современности.

Технически это очень простой механизм — под старинным фото находится фото нашего времени, сделанное с той же точки и с тем же ракурсом, точно подогнанное под древние очертания предметов на фото.

И вся эта красота находится на нашем сайте www.timebrush.ru (от английского «time» – время и «brush» – кисть).

В итоге с одной фотографией на сайте можно работать длительное время, в зависимости от того, какого результата вам хочется достичь. Например, кому-то захочется на современной улице оставить только старинный экипаж с важным купцом. Кому-то,

наоборот, к старинному фото кремля захочется добавить только памятник Дмитрию Донскому и, таким образом, провести временную параллель. Всё зависит от вашей фантазии.

Нет художественных навыков — не беда.

Для таких пользователей есть простой «бегунок», который плавно превратит старинное фото в современное и наоборот.

Все работы, которые у вас получатся в итоге, можно сохранить в своём профайле и показать друзьям, коллегам с помощью известных социальных сетей. На самом сайте также будет постоянно пополняться галерея работ пользователей.

Более того, вы сможете сами загрузить старинную фотографию из семейного архива, а мы возьмём на себя изготовление её современной копии.

Творить всегда интереснее, когда знаешь историю того места, которое рисуешь. Наш проект не только творческий, но и образовательно-исторический, а значит, на странице с фотографией присутствует история этого места, кто жил или работал в этом доме, что в нём находится сейчас.

А может кто-то захочет оставить свои комментарии к фото или рассказать занимательную историю? И это тоже возможно.

Предусмотрена также ещё масса интересных современных «фишек», такие как: «лайки» в соцсетях для каждой работы, голосование за лучшую модификацию современной и старинной фотографий, рейтинг участников и т.д.

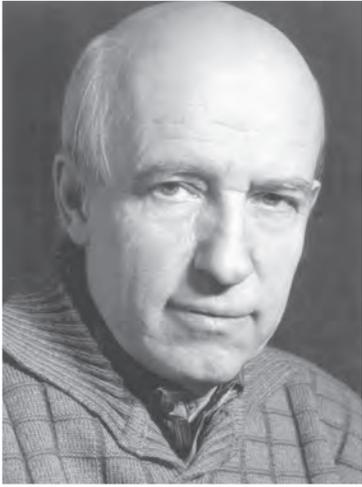
Заходи на www.timebrush.ru и попробуй, как работает «Кисть Времени»!



Анатолий Кузовкин

ЦАРИ В КОЛОМНЕ

К 400-ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ



Анатолий Иванович Кузовкин — краевед, заслуженный работник культуры РСФСР (1988 г.), член Союза журналистов СССР (ныне РФ) с сентября 1969 года, член Союза писателей России с января 2000 года, родился 18 августа 1939 года в Москве. Осенью того же года семья переехала в Коломну, и вся последующая жизнь А.И. Кузовкина связана с этим городом, за исключением 3-х лет службы в армии на Южном Урале — в Челябинске и Копейске. После увольнения из армии в 1961 году поступил в Коломенский педагогический институт, на историко-филологический факультет. С ноября 1965 по сентябрь 2005 года А.И. Кузовкин работал в штате редакции газеты «Коломенская правда» литературным сотрудником, ответственным секретарём, корреспондентом. И по сей день сотрудничает с редакцией «Коломенской правды» по договору, как редактор историко-краеведческого приложения «Край родной». В 1986 году был одним из организаторов Коломенского клуба краеведов, бессменный первый заместитель председателя совета клуба.

С 1973 года издано более пятидесяти его книг, брошюр и буклетов о Коломенском крае и коломенцах.

А.И. Кузовкин является лауреатом Московской областной премии имени А.П. Чехова «Служение общему благу» (2012 год).

Постоянный автор «Коломенского альманаха».

Исторический очерк

В этом году исполняется 400 лет основания династии Романовых. Но появление царской власти на Руси имело свою предысторию, кстати, тесно связанную с летописью Коломны.

Иван IV Васильевич, Грозный был первым венчанным русским царём. Однако ещё до принятия высокого сана он бывал в Коломне — родовом наследии и важнейшей стратегической крепости, которой потомки князя Даниила Московского владели с начала XIV столетия.

В мае 1546 года великий князь прибыл в Коломну и осмотрел войска, которые охраняли на окском берегу землю Московскую от нападений крымских татар. Обосновался Иван Васильевич в отдалении от военного лагеря, недалеко от Голутвина монастыря.

Поведение наследника московского престола шокировало небывалой распущенностью. Как сообщает «Пискарёвский летописец», шестнадцатилетний князь увлекался «потехами», в которых заставлял участвовать и своих сверстников: «пашню пахал вешнюю и з бояры сеял гречиху и иные потехи, на ходулах ходил и в саван наряжался».

«Наряжаться в саван» — это была игра в «покойника». Известный этнограф, фольклорист и писатель Сергей Васильевич Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила», вышедшей в Санкт-Петербурге в 1903 году, даёт описание этой отвратительной игры. Она представляла собой пародию на обряд церковных похорон.



*Иван Грозный,
миниатюра с царского
титулярника, 1672 г.*

В избе устанавливали гроб с мнимым покойником и устраивали «отпевание», «состоящее из самой отборной, что называется «острожной» брани... По окончании отпевания девок заставляют прощаться с покойником и насильно принуждают их целовать его открытый рот, набитый тыквенными зубами».

Но однажды обычное времяпровождение князя было внезапно прервано. Он отправился поохотиться. Неожиданно путь ему преградил вооружённый отряд. Это были новгородские пищальники, которые несли

службу в одном из полков под Коломной. Пищальники (пехотинцы, вооружённые огнестрельным оружием) набирались из посадского населения городов. Поэтому и расходы по набору и снаряжению должна была нести вся городская община. Однако в Новгороде в 1546 году при сборе пищальников богатое купечество часть расходов переложило на менее состоятельных рядовых горожан. В результате произошли столкновения.

Служившие в районе Коломны новгородские пищальники, притеснённые в своих имущественных правах, попытались изложить свои просьбы великому князю. Но он «велел их отослать». Однако челобитчики людьми оказались твёрдыми, стояли на своём. Князя такое упорство взбесило, и он приказал дворянам прогнать пищальников силой. Вспыхнула стычка с применением оружия. Несколько человек было убито.

Расследовать случившееся было приказано дьяку Василию Захарову Гнильевскому. Он преподнёс произошедшее как «заговор» против государя бояр-воевод Ф.С. и В.М. Воронцовых и И.И. Кубенского. Их казнили. Великий князь приказал отрубить им головы «у своего стану перед своим шатром». После этого власть в государстве перешла от Воронцовых к Глинским, близким родственникам Ивана IV.

16 января 1547 года в Успенском соборе Московского кремля Иван IV венчался на царство: митрополит Макарий возложил на его голову шапку Мономаха. Великий князь стал царём, а Россия — царством. Это возвысило московский трон. Россия заявила о себе как о могучем государстве. Она начала расширять владения на восток и на запад.

В ноябре 1547 года Иван IV прибыл в Коломну, где принялся готовиться к походу на Казань, откуда совершалось большинство набегов на русские земли. Но поход оказался неудачным...

24 ноября 1549 года Иван IV вновь отправляется к войскам. Однако и на этот раз Казань не покорилась.

16 июня 1552 года во главе сотысячного войска царь выходит из Москвы. Остановились в Коломне. Здесь Иван IV долго молился перед

чудотворной Донской иконой Божией Матери в кафедральном Успенском соборе. По преданию, образ был с великим московским князем Дмитрием Ивановичем (впоследствии Донским) на Куликовом поле во время битвы с Мамаем.

2 октября Казань была взята, Казанское ханство присоединено к Русскому государству.

В память о победе по приказанию Ивана IV в Коломенском кремле заложили Успенский Брусенский монастырь и построили на его территории шатровую церковь Успения Пресвятой Богородицы, памятник Казанскому походу. На закладном камне храма сделали надпись: «Лета 7060 (1552) прославлена бысть сия церковь Успения Пресвятыя Богородицы при благоверном царе и великом князе Иване Васильевиче и при епископе Коломенском Феодосии».

Но недобрую память оставил по себе царь в Коломне. В 1568 году город был по его приказу страшно разорён опричниками. Да и вся Россия по вине царя погрузилась в пучину войн и террора. Следствием этого и стала Смута начала XVII столетия.

Самозванцы, гражданская война, польско-литовская интервенция... В круговороте трагических событий оказалась и Коломна. Неприглядный след в истории города той поры оставила Марина Мнишек. Дочь польского магната Ежи (Юрия) Мнишка, одного из организаторов интервенции против России, жена русского царя-самозванца Лжедмитрия I, выдававшего себя за сына Ивана Грозного — в мае 1606 года Марина короновалась в Москве — и затем самозванца Лжедмитрия II, некоторое время жила в Коломне.

Марине Мнишек было 16 лет, когда она познакомилась с Лжедмитрием I. Юная красавица согласилась стать женою неизвестного и некрасивого беглого монаха лишь из-за болезненного властолюбия. Она страстно мечтала стать русской царицей. И это произошло. 3 мая 1606 года она с невообразимой пышностью в сопровождении отца и многочисленной свиты въехала в Москву, где спустя пять дней состоялось её венчание и коронавание.

А через неделю Лжедмитрий I был убит заговорщиками во главе с Василием Шуйским. Тело его сожгли на костре, а прах развеяли. Марина же чудом спаслась, схоронясь... под юбкой своей гофмейстерины!

Более чем через два года бурной, полной лишений жизни она тайно обвенчалась с “тушинским вором”, Лжедмитрием II, другим самозванцем, выдававшим себя за Лжедмитрия I, якобы спасшегося во время событий 17 мая 1606 года. Вместе с новым мужем жила в Калуге. Там Лжедмитрий II был убит в декабре 1610 года.

Под своё покровительство Марину и её младенца-сына — «ворёнка» Ивана — взял Иван Заруцкий, предводитель казачьих отрядов. Алчный, ненасытный в любовных утехах, он не только ублажал царицу, но и всячески подогревал оскорблённую гордость Марины, её жажду мщения и стремление вновь вернуться в Москву, где обещал возвести на престол маленького Ивана и надеялся властвовать с нею в качестве правителя.

В январе 1611 года Иван Заруцкий, примкнувший к первому народному ополчению, добился в нём первенства и перевёз Мнишек из Калуги в Коломну. Атаман поместил её на государевом дворе под охраной

верных людей. И жила она “по царскому чину”, окружённая почётом и вниманием.

Государев двор, который называли и великокняжеским дворцом, и царским дворцом, находился в кремле. Он отличался большими размерами: в длину — 102 метра, в ширину — 85 и был сопоставим с царским двором Московского кремля.

Заруцкий часто навещал Марину в Коломне. В один из дней 1612 года он уехал отсюда с твёрдым намерением осуществить свои замыслы. Ради этого выступил против народного ополчения и организовал покушение на князя Д.М. Пожарского.

7 августа 1612 года Заруцкий появился раздражённый и взвинченный до предела. Сообщил, что его отряды разбиты у Москвы, оставшиеся в живых казаки будут в Коломне к ночи. Сказал настойчиво и решительно: в эту ночь Марине необходимо уехать из города. Иначе будет поздно: ополчение князя Пожарского может помешать уйти его казакам на Рязань и Воронеж и дальше в Астрахань.

Вошедшие в сумерки в город казаки и татары начали поджигать деревянные строения то в одной части, то в другой. И вскоре вся Коломна превратилась в огромный костёр. Беснующееся пламя лизало небо, ночной воздух сотрясали тревожные звуки колокола, крики обезумевших от ужаса и горя людей, выстрелы из ружей и пистолетов, треск горевших домов. А люди Заруцкого и примкнувшие к ним изменники делали чёрное дело: жгли и грабили город.

Под утро атаман вместе с Мариной и её сыном выехал из Коломны по каширской дороге.

По преданию, когда стало ясно, что везти с собой захваченное в Коломне добро сложно и небезопасно, часть богатств решили схоронить. Верстах в двадцати пяти от города, недалеко от села Богородского в урочище Старцевский Брод нашли подходящее место. Ценности сложили в большую яму, прикрыли сверху предусмотрительно прихваченными металлическими створами, снятыми с Пятницких ворот кремля, и засыпали землёй. Рассказывали, что царица заколдовала клад...

Налегке направились к Астрахани. В мае 1614 года бежали на реку Яик. Там казаки выдали Марину и атамана правительственным войскам. Пленницей прибыла 6 июля Марина Мнишек в Астрахань. А через неделю её, скованную, отправили вместе с сыном в Москву. Сопровождали их с полтысячи стрельцов. Другой отряд вёз под стражей Заруцкого.

Как гласят легенды, в пути Марина занемогла, и её оставили в Коломне.

Заруцкого и малолетнего Ивана отправили в Москву, а Марину Мнишек якобы заточили в наугольную девятнадцатигранную восьмьярусную башню Коломенского кремля.

В Москве Заруцкого посадили на кол, Ивашку повесили. А Марина Мнишек, как сообщает одна из легенд, в 1614 году умерла в Коломенской башне “с тоски по воле”. Другое предание гласит, что пленница обернулась сорокой (вороной) и улетела через окно-бойницу... С той поры кремлёвскую башню, официальное название которой Коломенская, чаще стали называть Маринкиной.

Однако историки до сего дня не пришли к однозначному выводу по поводу смерти Марины Мнишек. Да дело-то, впрочем, не только в том,

подтверждаются ли историческими источниками эти легенды или нет, а в метком названии башни. Народ, много переживший в период Смутного времени, назвал башню не Марининой, а презрительно — Маринкиной. Уничжительное именование свидетельствует, что полячку так и не признали законной царицей.

В 1613 году созывается Земский собор, на котором представители различных сословий избрали царя — родоначальника новой династии — Михаила Романова. Коломенцы также принимали участие в выборах. На соборной грамоте сохранились их подписи: “смиранный Иосиф, Коломенский и Коширский..., с Коломны Богоявления Господня Голутвина монастыря игумен Авраамей, Коломны города и посадьских и уездных людей место руку приложил; Коломненин Михаил Юренев, в выборном дворенина Коломны города Ивана Змеева и во всех коломничь выборных дворян, места руку приложил”.

Вряд ли новый государь бывал в Коломне. Зато его наследник, Алексей Михайлович, может быть, и не посещая город, занимался коломенскими делами весьма основательно. И тому были причины.

К СЕРЕДИНЕ XVII столетия в России сложился единый государственный рынок. Московия расширяла торговлю с другими странами, в частности с Персией. Но для такой торговли было необходимо иметь суда, как для перевозки грузов, так и для их охраны на Хвалынском (Каспийском) море. Один из образованнейших людей того времени боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин представил царю Алексею Михайловичу план создания военного флота на Хвалынском море. На основе этого плана появился царский указ, который положил начало истории первой русской государственной кораблестроительной верфи. В документе говорилось: «1667 года июня в 19 день великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Великие и Малые и Белые России самодержец, указал, для посылки из Астрахани на Хвалынское море делать корабли в Коломенском уезде в селе Дединове...» Было указано «то корабельное дело ведать в приказе Новгородской чети боярину Ордин-Нащокину, да думным дьяком Дохторову, Голосову и Юрьеву...».

Почему выбрали Дединово? Попытка делать подобные суда на далёкой Двине была неудачной. Решили, что надёжней такие работы вести во внутренних водах. Дединово было дворцовым селом, располагалось в ста с небольшим верстах от столицы, недалеко от крупного города Коломны, что позволяло контролировать ход постройки кораблей. К тому же рядом находился лес, где росли корабельные сосны. В Коломне были мастерские, в которых изготовляли канаты, а неподалёку имелись центры железоделательного производства — Тула и Кашира.

Проживавший в Москве голландский купец И.И. ван Сведен, бывший в хороших отношениях с русским царём, нанял за рубежом четырёх корабельщиков, а в селе Дединове набрали плотников и кузнецов. Главными распорядителями работ были назначены Яков Полуехтов (Полуэктон) и Степан Петров. 14 ноября 1667 года заложили первый корабль. Вся тяжесть работ легла на плечи Якова Полуехтова, одного из доверенных государевых служивых людей. В указе царя, направленном Полуехтову в январе 1668 года, говорилось: «Корабли делать наспех, и над плотниками



*Портрет Петра I.
Поль Деларош, 1838 г.*

смотреть, чтоб от того дела не отходили и были безотступно, чтоб к весне корабли совсем изготовить».

26 мая 1668 года Яков Полуехтов доложил Алексею Михайловичу, что «корабль спущен и доделывается на воде, яхта и шлюпка поспеют в скором времени».

Окончательная доделка корабля заняла почти год.

24 апреля 1669 года после успешных испытаний последовал царский указ: «Кораблю, который в селе Дединове сделан вновь ... прозвание дать ... Орлом ..., поставить на носу

и на корме по орлу и на знамёнах, и на еловичках нашивать орлы же». Таким образом, впервые русское судно получило персональное название.

Через 15 дней «Орёл» отправился вниз по Оке в Волгу и дошёл до Астрахани, куда в это время докатилась волна восстания под руководством Степана Разина.

Среди историков нет единодушного мнения о судьбе первого российского военного корабля. Одни считают, что его сожгли разинцы. Другие – что «Орёл» и иные построенные в Дединове суда не имели вооружения и простояли в волжской протоке Кутуме у стрелецкой слободы, пока не пришли в негодность.

ЦАРЬ Алексей Михайлович умер 20 января 1676 года. Престол занял его пятнадцатилетний сын Фёдор (родился от первого брака Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской) и правил до 1682 года. После его смерти царём был провозглашён сын Алексея Михайловича от второго брака — с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Было царю Петру I всего-то 10 лет.

При Петре I Алексеевиче Россия приобрела значение великой державы. А самого царя, который с 1721 года стал первым российским императором, называли Великим.

Многие места России связаны с именем Петра I. Не обошёл стороной он и Коломну.

Переломным моментом в жизни Петра можно считать 1695 год. Азовский поход был первым самостоятельным шагом его правления. Царь решил пробиться к морю.

Чтобы дезориентировать владевших Азовом турок, было объявлено традиционное место сосредоточения русских войск — Белгород и Севск. Именно там прежде войска концентрировались перед походами на Крым. Но на сей раз центром сбора стала Москва. И отсюда часть соединения в марте 1695 года двинулась в низовья Днепра. А авангард русской армии

пошёл через Коломну и Тамбов к Азову. Тогда Пётр I, участвовавший в походе в скромной должности бомбардира, познакомился с коломенскими стругами. На них войска переправлялись до Нижнего Новгорода. Оттуда царь писал думскому дьяку Посольского приказа А.А. Винуису: «Ветры нас крепко держали в Дединове два дни да в Муроме три дни; а больше всех задержка была от глупых кормщиков и работников, которые именем слывут мастера, а дело от них, что земля от неба». А в письме князю Ф.Ю. Ромодановскому отметил: «суды ... гораздо худы, иные насилиу и пришли».

Поход закончился неудачей.

Пётр I, проанализировав причины, пришёл к выводу, что без флота Азов не взять. С этой целью он приказал организовать в Воронеже верфь и построить 1300 стругов.

При этом он учитывал опыт строительства первого русского военного корабля «Орёл» и других судов в Дединове. В «Уставе морском» записал: «... это намерение отеческое ... достойное оно есть вечного прославления; понеже ... от начинания того, аки от доброго семени, произошло нынешнее дело морское».

Во многом благодаря действиям воронежских стругов второй Азовский поход закончился капитуляцией турецкого гарнизона. Это была первая крупная победа русских войск и впервые созданного в России флота, начало превращения России в морскую державу.

Занимаясь усовершенствованием флота, много лет спустя Пётр I начал упорно добиваться, чтобы на некоторых верфях изготавливали речные струги по новым образцам. Начиная с 1715 года регулярно подписывал указы, запрещающие строительство «старым способом». Это когда использовали сырой топорный лес, ещё не конопатили, применяли для крепления не просушенных досок обшивки металлические скобы. Но судостроители упорствовали: не хотели использовать дорогие пильные доски, металл. А это удорожало строительство судов.

Царь решил подать личный пример. В 1718 году принял участие в изготовлении «новоманерного» струга для Оки и Москвы-реки. Построили его из сухого леса, использовали конопать и не применили скоб. В последовавшем затем царском указе говорилось: «Судно, называемое коломенка, которое переделал, послать в Дединово ... и там оную поставить, и чтобы против её все вновь делали, под наказанием и ссылкой вечной на галеры, если инако станут делать».

Этот усовершенствованный струг в качестве образца поставили в приделе Троицкой церкви, и там он простоял до середины XIX века.

Последний раз Пётр Великий побывал в Коломне в 1722 году, когда отправился в так называемый персидский поход. Вместе с императрицей 15 мая он выехал из Москвы. В «Походном журнале» имеется запись: «Его Императорское Величество из Москвы путь свой взял до Коломны сухим путём». Из Коломны вниз по Оке пошли на москворецкие струги. На корме судна «устроены были каюты, а на носу лавки для гребцов, которых на каждой стороне находилось по 18-ти».

Сделали остановку в Дединове. Пётр I не смог не поучаствовать в строительстве коломенских стругов. Крестьяне долго потом хранили топор, которым работал император.

С именем великого преобразователя связано и основание российской геральдики.



*Портрет Екатерины II,
Ф.С. Рокотов, 1763 г.*

КОЛОМНА одним из первых русских городов получила свой отличительный знак — герб.

Само понятие «городской герб» в России появилось при Петре I, в 1692 году, когда император предписал изготовить для Ярославля печать с гербом и надписью «Печать града Ярославля». Позже подписал указ «О сочинении гербов городов». Учредил должность герольдмейстера и Герольдмейстерскую контору, перед которой поставил задачу создавать государственные, личные и областные гербы по европейскому

образцу. На службу в Герольдмейстерскую контору был определён знаток геральдических наук, художник, пьемонтский дворянин граф Франциск Санти. За три года он сочинил 137 гербов, в том числе герб Москвы и уездных городов Подмосковья — Коломны и Серпухова. Имя нашего города было присвоено одному из российских полков. На его знамени появился и наш геральдический символ.

Однако высочайше утверждён коломенский герб был только спустя много лет. Это произошло 20 декабря (по старому стилю) 1781 года. Сохранилось описание герба города Коломны: «На лазоревом поле столб белый, наверху корона, около две звезды».

ГРАНИЦЫ государства Российского расширялись, и потому Коломна из оборонного всё больше превращалась в город торгово-промышленный.

В 1773–1775 годы сюда докатились волны восстания под предводительством Емельяна Пугачёва. Один из отрядов нагрянул в город, запасы провиантом и пополнил свои ряды такими же недовольными и обездоленными.

Восстание жестоко подавили, и правительство предприняло ряд мер для укрепления власти дворян на местах. Чтобы узнать настроения дворян, купцов, нарождавшихся промышленников, императрица Екатерина II предприняла поездку по городам России.

14 октября 1775 года прибыла в Коломну.

Около семи часов пополудни поезд из карет, миновав Запрудье, медленно приблизился к мосту через реку Коломенку. Над дорогой, словно радуга, перекинулась украшенная огнями, цветами и тканями триумфальная арка. Здесь кучера и придержали коней.

Представительный фрейтор распахнул дверцу императорской кареты и помог государыне спуститься на коломенскую землю.

С низким поклоном приблизились к ней представители коломенских купцов, преподнесли на блюде только что испечённый хлеб и солонку, наполненную мелкими белыми кристалликами.

После этого императрица со свитой проехала по деревянному мосту через неширокую Коломенку, и кавалькада проследовала вдоль массивных кирпичных крепостных стен к главным, Пятницким, воротам Коломенского кремля. Здесь государыню встретили уполномоченные дворянства. В их сопровождении и въехала высокая гостья на территорию кремля.

У пышного западного портала величественного пятиглавого Успенского собора Екатерину Великую приветствовало коломенское духовенство во главе со своим пастырем Феодосием III (Михайловским). Он был хиротонисан в епископы коломенские 28 декабря 1763 года из архимандритов рязанского Солотчинского монастыря. Феодосий многое сделал для того, чтобы был возобновлён и украшен золочёным иконостасом соборный храм Успения Божией Матери. И ему было приятно ввести в святые стены, ещё пахнувшие краской, государыню императрицу.

Екатерина II приложились к иконам, осмотрела убранство храма и с удовлетворением отметила его изящество и изысканность.

Высокопочтимой гостье предложили пройти в архиерейские покои, метрах в ста от Успенского собора. И она проследовала в отведённую ей резиденцию.

После короткого отдыха состоялась беседа с дворянами, купцами, предпринимателями. Императрица с благодарностью приняла дар — несколько кусков шёлковой материи и ситца, изготовленных на коломенских фабриках.

Приём длился недолго. Хозяева понимали, что даже царственным особам после долгой дороги требуется отдых.

Горожане не могли успокоиться всю ночь: простое ли дело — их посетила сама государыня императрица Екатерина Великая! Яркая, красочная иллюминация по всему кремлю, специальный щит, украшенный разноцветными огнями и прозрачными картинами, перед покоем её величества ещё более поднимали праздничное настроение.

Утром 15 октября, допустив к руке дворянских и купеческих жён, императрица отправилась в Успенский кафедральный собор. Присутствовала на литургии, которую совершил епископ Коломенский Феодосий. А по окончании пожелала побывать в старинной обители, основанной преподобным Сергием Радонежским — Богоявленском Голутвине монастыре. Осмотрев монастырь, прошла к месту, где Москва-река впадает в Оку, и полюбовалась открывшейся панорамой.

Екатерины II с нетерпением ждали в доме крупного коломенского фабриканта и члена городского магистрата Ивана Тимофеевича Мещанинова, которого в народе называли «коломенским богом». Мещанинов построил двухэтажный особняк незадолго до приезда Екатерины II, сделал его миниатюрной копией Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. В этом доме с пышным лепным декором лестницы и полы в залах к приезду высокой гостьи застлали сукном и разной расцветки ситцем, которые изготавливались на мещаниновских фабриках. А хозяин дома преподнёс Екатерине Великой несколько кусков ситца и платки.

Императрице представили купеческих жён и дочек. Государыня поблагодарила купцов за радушие и гостеприимство, заверила, что будет всячески поддерживать развитие предпринимательства. Выразила надежду, что курс, проводимый ею как внутри страны, так и во внешнеполитической



*Портрет Николая I,
Франц Крюгер, 1852 г.*

жизни, по всей вероятности, коломенские купцы поддержат.

Не исключено, что императрица обратила внимание на некоторую хаотичность коломенской застройки, позднее она окажет содействие перепланировке города.

Екатерина II отбыла из Коломны в Москву 15 октября в 4 часа пополудни.

Спустя некоторое время, уже в Петербурге, под впечатлением тёплого приёма, оказанного купцами Коломны, и их богатых подарков императрица заказала портрет у придворного художника, пожелав быть изображённой в коломенском кокошнике и ожерелье. Когда в 1777 году узнала, что в Коломне произошёл пожар, при котором серьёзно пострадал архиерейский дом, выделила 12 тысяч рублей на его ремонт.

Екатерина II позаботилась об архитектурном оформлении Коломны. Она остановила выбор на хорошо известном московском зодчем Матвее Казакове. В конце 1777 года императрица поручила ему «как наискорее» представить план уездного города Коломны и «проспект» кремля.

М.Ф. Казаков с командой архитекторов приехал в Коломну 20 декабря 1777 года и пробыл здесь до 10 января 1778 года. Сделал пять рисунков кремлёвских стен и рисунок с изображением Успенского собора и Соборной площади, снял план города.

Поместив работы в «золочёные рамы с резьбицей», М.Ф. Казаков поехал в Санкт-Петербург и представил рисунки на суд императрицы. Одновременно передал два плана, выполненные на плотной чертёжной бумаге, размером 59 на 93 сантиметра. Под одним, озаглавленным «План города Коломны», стояла размашистая подпись: «Арх. М. Казаков».

16 мая 1784 года в Санкт-Петербурге был утверждён план застройки Коломны. При этом учли предложения, сделанные Матвеем Фёдоровичем Казаковым по расположению улиц.

Павла I в Коломне поминали недобрым словом за то, что им была упразднена древняя Коломенская кафедра.

Его сын, Александр Павлович, любил путешествовать, но в коломенских анналах сведений о его посещении не осталось. А в Успенском соборе хранилось пожертвованное императором серебряное паникадило с его монограммой.

ОТ НИКОЛАЯ I сохранился лишь анекдот, записанный Борисом Пильняком. Неприхотливый в быту царь остановился на ночлег в скромном здании. «Ночь не спав от клопов, утром хмуро спросил:

- Чем занимаетесь?
— Гуртами, царь-батюшка, скотом...
И император изрёк, хлеб-соль принимая:
— То-то сами и есть, как скоты!”

Этот забавный эпизод, тем не менее, не ослабил верноподданнических чувств.

На Житной площади во второй половине XIX века была выстроена нарядная часовня во имя св. Александра Невского, небесного покровителя Александра II, в память о спасении императора от покушения террориста Каракозова.

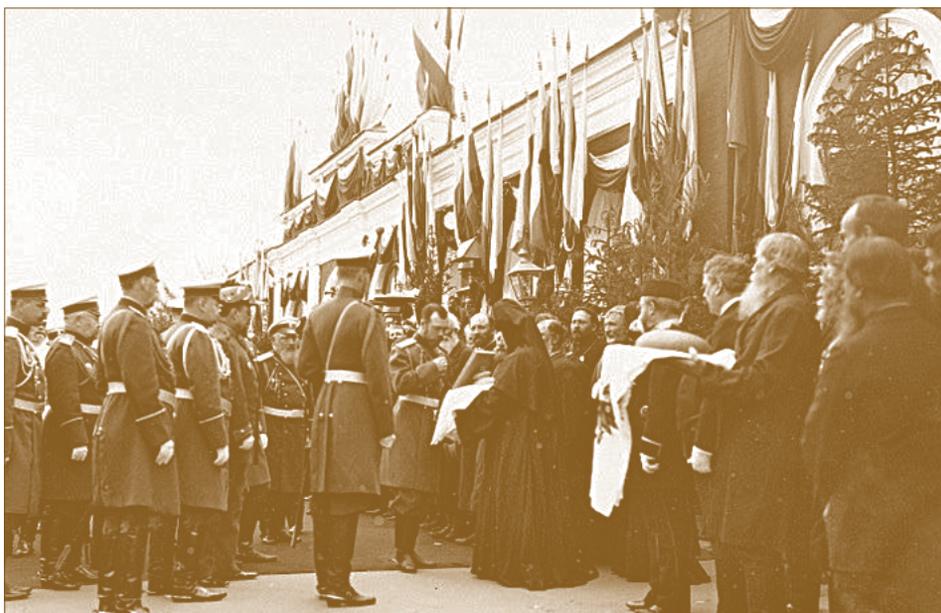
В Бобренев монастырь были пожертвованы хоругви в благодарность за спасение августейшего семейства Александра III во время железнодорожной катастрофы.

ПОСЛЕДНИМ русским императором был Николай II. На престол он вступил в 26-летнем возрасте. Царствование совпало с быстрым социально-экономическим развитием России. При Николае II Российская империя потерпела поражение в русско-японской войне 1904–05 гг., стала членом Антанты, в составе которой вступила в Первую мировую войну. В августе 1915 года император занял пост верховного главнокомандующего. Во время Февральской революции 1917 года отрёкся от престола.

Впервые он побывал в Коломне, на станции Голутвин, в 1903 году, перед торжественной канонизацией Серафима Саровского.

Но особенно запомнился визит 1904 года.

О начале боевых действий Япония официально объявила России 28



Посещение Николаем II Коломны, фото 1904 г.

января (10 февраля по новому стилю) 1904 года. Первые месяцы повлекли за собой большие потери в рядах русской армии. Стали срочно формировать воинские части и отправлять их на театр военных действий. Летом 1904 года его величество государь император Николай II принял объезд войск, отправлявшихся на Дальний Восток. И первым городом на его маршруте стала Коломна.

На станцию Коломна императорский поезд прибыл в 8 часов 27 июня (10 июля по н. ст.). Воскресный день был тёплым, но ветреным.

Вагон-салон остановился напротив здания вокзала, украшенного флагами и зеленью. Под колокольный звон и громкое «ура» многотысячной толпы Николай Александрович спустился по ступенькам на разостланный ковёр, окинул взглядом встречающих. В первых рядах стояли московский губернатор, начальник жандармского управления, дворяне с уездным предводителем, городской голова, представители земства и мещан, сельские старшины, депутация рабочих машиностроительного завода Струве, представители местного общества хоругвеносцев, монахини Брусенского монастыря. На привокзальной площади теснились жители города, крестьяне.

Вслед за императором на коломенскую землю сошли наследник великий князь Михаил Александрович, командующий войсками Московского военного округа великий князь Сергей Александрович, военный министр генерал-адъютант Сахаров и другие сопровождающие лица.

Его величество Николая II приветствовал предводитель коломенского дворянства барон Александр Амандович Крюденер-Струве. Городской голова преподнёс царю коломенскую пастилу в шёлковой коробке. От



27 июня 1904 г. император Николай II направляется от вокзала станции Коломна на военный плац, там он благословил воинов войсковых частей, отбывающих на войну с Японией.

представителей земства, мещан, крестьян, хоругвеносцев и рабочих Николай II принял хлеб-соль. При этом выступил старый рабочий Коломзавода Егор Гоняев. Прерывающимся от волнения голосом он произнёс:

— Батюшка государь! Счастливы видеть тебя в заботах о своём войске. Все мы, рабочие, готовы вступить в ряды твоего войска и положить головы за веру, царя и отечество. Осчастливь, прими хлеб-соль от верно-подданных своих рабочих Коломенского машиностроительного завода. Сердце радуется, когда видим тебя.

В ответ его величество удостоил старика милостивыми словами, чем растрогал его до слёз.

Монахини преподнесли царю икону Успения Богоматери чеканной работы и просфоры.

Побеседовав с коломенскими дворянами, среди которых находился почитатель Киевского учебного округа генерал-лейтенант Бутурлин, Николай II сел на коня и в сопровождении свиты проследовал на плац. Там находились генералы Соболев, Соколов и Игнатъев. Выстроившимися частями — 5-м и 6-м восточно-сибирскими сапёрными батальонами и 5-м мортирным артиллерийским полком — командовал полковник Святловский.

При приближении царя оркестр исполнил встречный марш.

Николай II объехал войсковые части, поздоровался с воинами. А затем вызвал к себе офицеров, побеседовал с ними, поздравил с походом и выразил уверенность, что они поддержат честь русского оружия и грудью постоят за матушку Русь.

Император высоко поднял икону и крестообразно осенил коленопреклонённых офицеров, а затем вручил командирам частей иконы: и свои, и императрицы и благословил воинов на ратные дела...

На всё ушёл ровно час.

Огромная толпа напирала, теснясь всё ближе и ближе к императору и его свите. Большого труда стоило освободить дорогу, по которой Николай II проследовал к станции.

Сев в поезд, сразу же раскрыл лежавшую на столике тетрадь — дневник, куда по выработанной годами привычке заносил день за днём всё происходившее. И сделал краткую запись: «27-го июня. Воскресенье. В 8 час. утра прибыли в Коломну. На поле почти у самой станции был небольшой парад. Представлялись: 5-й и 6-й Вост.-сиб. сапёрные батальоны и 5-й мортирный-артиллерийский полк. Толпа себя вела бурно, всюду залезала и очень мешала. В 9 час. отправились дальше».

Поезд медленно набирал скорость. За окном поплыл дебаркадер со станционной постройкой, на фасаде которой царь прочитал: «Голутвино». Стоявший на платформе народ приветливо махал руками.

Николаю Александровичу вспомнилось, как он побывал на этой маленькой станции с год назад, 16 июля.

Тогда он ехал в сопровождении супруги Александры Фёдоровны и матери Марии Фёдоровны и приближённых к нему лиц в Саровскую пустынь на открытие мощей преподобного Серафима Саровского.

Тогда императорский поезд подошёл к голутвинскому вокзалу в 14 часов 29 минут. День был знойным, солнце пекло немилосердно. Всё пространство вдоль путей заполнили рабочие в праздничных одеждах. При приближении поезда тугой горячий воздух всколыхнуло громовое тысячеустное «ура!».

Поезд остановился, дверь салона-вагона отворилась. И на платформу с улыбкой на губах шагнул император. Восторгу собравшихся не было предела. Воздух разрывался от кликов приветствия.

Порядок событий был почти тем же. К его величеству подошла депутация от города Коломны, поднесла хлеб-соль на резном деревянном блюде и всё ту же коломенскую пастилу. Второй каравай преподнёс старый седой человек от мастеровых и рабочих машиностроительного завода Струве.

В начале того же года руководство предприятия обратилось к государю с просьбой укрепить специально выполненный из цветного металла царский вензель на юбилейном, 3-тысячном паровозе. Чтобы не обидеть государыню императрицу, изготовили ещё один паровоз той же серии и попросили Александру Фёдоровну разрешить украсить локомотив её вензелем. Венценосные супруги великодушно разрешили.

Праздничные торжества на заводе состоялись 26 января 1903 года. Из Петербурга прибыли высокие гости во главе с министром путей сообщения действительным тайным советником князем М.И. Хилковым. Он и сообщил царю, что после того, как отшумели праздничные торжества, паровозы № 3000 и № 3001, украшенные царскими вензелями, отправятся на восток страны для работы на Средне-Сибирской железной дороге...

После обоих приездов высочайших персон в Коломне долго обсуждали событие. Мнение о монархе сложилось неоднозначное. Многие были разочарованы: реальность не соответствовала их представлению. Некоторые не могли поверить, что царь — не тот рослый, одетый в яркую ливрею человек (а это был один из придворных), а невзрачный мужчина с бледным, изрезанным морщинами лицом с рыжеватой бородкой. Одна сандырёвская крестьянка даже сказала, поглядев на Николая II: «Такой же солдат».

Царь был уверен, что его личный объезд воинских частей морально воодушевит, поддержит ратных людей. Но в войне за перераспределение сфер влияния на Дальнем Востоке царская Россия потерпела поражение, хотя солдаты и офицеры русской армии проявляли героизм и высокое боевое мастерство.

Уже приближались трагические события 1905 года... А потом грянет Первая мировая война и переворот 1917-го. Эпоха царей уйдёт в прошлое, но память о ней навсегда останется в истории страны и, конечно же, Коломны, которая веками была надёжной опорой первопрестольной столицы.

Из дошедших до наших дней свидетельств, летописей и преданий явствует, что, за редким исключением, монархи приезжали в Коломну на сбор русских ратей. Видно, такова судьба города — на протяжении столетий оставаясь ядром, инициатором сгустка той святой энергии, которая отбрасывала врагов от Руси. Не исключением стала и Великая Отечественная война, когда в Коломне формировались артиллерийские полки.

Да и первые лица новой страны — страны Советов — тоже не обходили стороной древний город. Но это уже совсем другая история.

Леонид Решетников

РУССКИЙ ЛЕМНОС

Предисловие

Апрель 2004 года. Светлая Седмица. Мы, сотрудники посольства России в Греции — советник-посланник Алексей Попов, третий секретарь Артур Ростовов и автор этих строк, — съезжаем на предоставленном греками автомобиле с асфальтовой дороги на просёлочную. Впереди пылит машина с нашими греческими спутниками. Вокруг разворачивается однообразная картина: покрытые высокой колючкой холмы, вдалеке мелькает бирюзовая полоска моря.

Мы на острове Лемнос, или, как его называют греки, Лимнос. Остров большой, есть два городка — Мирина и Мудрос, три десятка сёл, удобные для судоходства гавани...

Греческих спутников нашли в селе Портриану. Так посоветовал нам префект острова Георгиос Бавеас, когда мы неожиданно нагрянули к нему из Афин с просьбой найти русское кладбище, которое должно быть на Лемносе. Воодушевлённый нашим приездом префект — русские, мол, здесь не бывают, а остров чудесный, вот бы туристов из России побольше — подтвердил: да, кладбище есть, точнее было, так говорят старики. Само место он не знает, но район известен, около села Портриану, там ещё англо-французское кладбище времён Первой мировой войны. Ведь на Лемносе находился штаб союзных войск, который возглавлял У. Черчилль. Его кресло до сих пор сохранилось, можно увидеть в местном музее. Англичане и французы пытались овладеть Дарданеллами, но не смогли одолеть турок в Галлиполийском



Леонид Петрович Решетников родился 6 февраля 1947 года. В 1970 году закончил исторический факультет Харьковского государственного университета. С 1971 по 1974 год обучался в аспирантуре Софийского университета (Болгария). В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1974 по 1976 год работал в Институте экономики мировой социалистической системы АН СССР. С апреля 1976 года по апрель 2009 года — во внешней разведке. Последняя должность — начальник информационно-аналитического Управления СВР России, член коллегии СВР, генерал-лейтенант. 29 апреля 2009 года Указом Президента Российской Федерации Решетников Леонид Петрович назначен директором Российского института стратегических исследований.

Этот очерк — о наших соотечественниках в изгнании, заброшенных в 1920–1921 годах на далёкий от России греческий остров Лемнос. В те страшные годы Лемнос стал символом стойкости и мужества десятков тысяч русских людей, оторванных от Родины, но сохранивших свою веру, достоинство и честь.

Исторический очерк

сражении 1915–1916 годов. На острове хоронили погибших, а также умерших в лемносских госпиталях раненых англичан, австралийцев, французов, сенегальцев и других. «Если не найдёте своих на антантовском кладбище, — сказал Бавеас, — то поспрашивайте у жителей Портриану».

Союзное кладбище выглядело как национальный английский парк: ухоженные газоны, средиземноморские сосны, ровные ряды белых надгробий, памятники. Русских могил мы здесь не обнаружили. Немного растерянные, стоим на площади сонного села — солнце в зените, два часа пополудни, греки до пяти попрыгали в своих домах, отдыхают. Вокруг ни души. Но вот появляется какой-то человек и сразу, без колебаний, утвердительно отвечает на наш вопрос: да, русское кладбище здесь недалеко, километрах в трёх-четырёх, он давно там не был, но сейчас позовёт крестьянина, который пасёт в том районе овец и хорошо знает дорогу...

На двух машинах мы трясёмся по каменистой ухабистой колее: всё смотрим, когда появляются ограды, кресты. Поднимаемся на очередной холм. Греки выходят из машины, машут нам. Вокруг море колючек. Дальше — настоящее море, островок с церквушкой, противоположный берег залива. Красиво... но больше ничего не видим. «Это русское кладбище», — утверждают наши проводники. Молча бредём с Алексеем по заросшему полю и натываемся на край ушедшей в землю плиты. Руками расчищаем, читаем: «Елизавета Ширинкина». Вот ещё плита, расколота, но слова читаются: «Таня Мухортова». В десятке метров от нас Артур, зовёт — нашёл надгробие: «Георгий Абрамов». Вместе с нами поле уже прочёсывают и греки.

Указали на едва различимые плиты. Смогли прочитать только имена — Александр, Анна. И всё... Как всё? Ведь здесь должны быть сотни могил. Да, говорят греки, их здесь не меньше трёхсот, ещё в конце 60-х годов над могилами были кресты. Но прошло столько лет с октября 1921 года, когда русские покинули остров...

Потрясённые, мы стояли на холме залитого солнцем Лемноса. Тишина, морская гладь, и там, далеко-далеко, — Россия. «Давайте споём», — неожиданно предложил Алексей, и мы запели «Христос воскрес». Пели и плакали. Обернулись — греки тоже плачут, говорят: «А мы всё думали, когда же русские вспомнят о своих...»

Вспомнили через 80 лет. Память, русская память, как же ты оказалась коротка, загажена, забита всяким мусором! Как забивали во времена воинствующего безбожия святые источники. Не восстановим, не очистим русскую память — не выживем...

Так как же появились русские могилы на далёком греческом острове?

Первая волна русской эмиграции на Лемносе (февраль–ноябрь 1920)

С начала 1920 года Вооружённые силы Юга России (ВСЮР) под командованием генерала А.И. Деникина терпят поражение за поражением. Всё явственнее становится угроза катастрофы. Генерал Деникин принимает решение о переброске раненых и больных военнослужащих, а также членов их семей и родных остающихся в строю офицеров за рубеж. Англичанами и французами в качестве мест размещения были



Высадка на Лемнос. Ноябрь 1921 г.

предложены острова Халки, Принкипо, Антигона и Проти в Мраморном море, Константинополь, Кипр, Египет, греческие Салоники, Пирей и Лемнос. Имелось в виду предоставить русским беженцам часть военных лагерей и госпиталей, использовавшихся союзниками в ходе операций

221

Первые пароходы с ранеными и больными ушли из Новороссийска в середине января 1920 года. Затем к ним прибавились корабли из Одессы и Севастополя. В конце февраля — начале марта массовый характер приобрела эвакуация из Новороссийска, а также Крыма (Феодосия, Ялта). Пароходы «Ганновер», «Иртыш», «Херсон», «Брауенфельз», «Бюргермейстер Шредер», «Рио-Негро», «Бруенн» и другие брали на борт по две, а то и по три тысячи русских беженцев, хотя не были приспособлены для транспортировки такого количества людей. На английском «Рио-Негро», вывозившем из Крыма беженцев, официально было 750 пассажирских мест, а корабль взял на борт 1400 человек. При этом английское командование считало, что ситуация на нём лучше, чем на других судах, и перевело с «Брауенфельза» ещё 800 человек.

Боеспособные воинские подразделения перебрасывались в Крым для продолжения борьбы, а семьи офицеров, их родители, близкие отплывали на неизвестные острова. Мало кому потом довелось встретиться... Последние пароходы с беженцами ушли из Новороссийска 25 марта 1920 года.

Марина Дмитриевна Шереметьева (урождённая Левшина), которой тогда было восемь лет, так вспоминает об эвакуации 5 марта семей двух братьев — генерал-майора Д.Ф. Левшина и капитана 2 ранга С.Ф. Левшина на пароходе «Брауенфельз»: «Трюм без окон... без коек, на полу разбросаны маты... лежали на них тело к телу... палубы заполнены... скамеек не было... сидели кто на чём... первые два дня нас не кормили, на третий день дали сухую провизию... через 36 часов пришли из Новорос-



Дети русских беженцев на английском корабле, идущем из Новороссийска в Лемнос. Конец марта 1920 г.

сийска в Константинополь, где простояли неделю... на берег не пускали, так как на пароходе выявились сыпной тиф и скарлатина... Однажды вечером неожиданно отплыли и на следующее утро увидели перед собой почти пустынный остров, гористый, вдали видны какие-то постройки, похожие на сараи, и больше ничего».

Это был Лемнос. С корабля по-прежнему не выпускали — ждали палатки из Египта. Среди беженцев, а их было более 1500 человек, росло число больных — всё те же сыпной тиф и скарлатина. Ежедневно катер увозил на берег 15–20 больных. Англичане, взявшие на себя заботу о размещении беженцев на Лемносе, «не разрешали матерям сопровождать даже крошечных детей и проститься с умершими».

Начало скитанья стало трагичным для обеих семей Левшиных. После нескольких недель жизни на Лемносе умерли их сыновья: 20 апреля 1920 года — четырёхлетний Михаил Сергеевич, 28 апреля — трёхлетний Алексей Дмитриевич.

Безусловно, были среди беженцев разные люди, в том числе и те, кто всегда и везде хорошо устраивается. И совсем не обязательно, что они по преимуществу знатного происхождения. Очевидно другое — знать и аристократия в преобладающем своём большинстве делила с остальной частью беженцев все тяготы скитания, положив начало русским эмигрантским кладбищам. Левшины, кстати, древний дворянский род. Первая же русская могила на Лемносе принадлежит графине Аглаиде Голенищевой-Кутузовой (1857 — 30.03.1920), камер-фрейлине императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны. Она умерла на пароходе «Брауенфельз», когда тот стоял у острова и англичане не разрешали беженцам сходить на берег. Графиню отпели в греческой церкви села Портиану, её гроб покрывал российский флаг.

Вскоре лёг в лемносскую землю потомственный дворянин, генерал-майор Анофриев Николай Юрьевич. 63-летний георгиевский кавалер скончался 15 апреля 1920 года. Он, кстати, был не только боевым генералом, участником русско-турецкой 1877–1878 годов, Первой мировой и Гражданской войн, но и литератором, и видным деятелем охотничьего просвещения. Анофриев владел крупнейшим в России частным собранием охотничьей и рыболовной литературы (свыше тысячи томов). В 1905 году он издал библиографический справочник по этой тематике, который до настоящего времени остаётся незаменимым подспорьем для исследователей отечественной охотничьей культуры. На остров генерал Анофриев прибыл с двумя дочерьми. Обе они — семилетняя Людмила и девятилетняя Наталья — лежат на русском погосте в Калоераки рядом с отцом.

Чтобы закрыть тему «хорошо устроившейся русской знати», приведу ещё несколько характерных фактов. На кладбище на мысе Пунда в Калоераки в апреле — мае 1920 года полковник кавалергардского полка барон Розен Константин Николаевич и его супруга графиня Розен (урождённая Канкрин) Нина Ивановна похоронила своих детей, умерших от воспаления лёгких, — сначала Андрея (11 лет), а затем Кирилла (10 лет) и Марию (7 лет). Англичане после долгих уговоров допустили родителей к умирающей дочери только после смерти мальчиков. Их хоронили вместе с Володей Рябушинским, сыном известного русского предпринимателя и банкира. Здесь же, на мысе Пунда, могила графини Анастасии Граббе, жены шталмейстера Императорского двора, полковника кавалергарда графа П.М. Граббе, и их сына, талантливого, как отмечали современники, поэта, 19-летнего графа Михаила Граббе.

Недалеко от них похоронили четырнадцатилетнюю графиню Елену Граббе, двоюродную сестру Михаила. Когда разбирали вещи умершей от чахотки девочки, то нашли написанную ею в 1918 году молитву о Государе: «Спаси, Господи, Государя нашего Императора Николая Александровича, уменьши страдания его, поддержи его и соблюди от врагов его. Дай ему, Господи, силу побороть врагов своих и, если будет на то воля Твоя, просвети его на мудрое царствие. Спаси, Господи, Цесаревича Алексея, укрепи его телом и духом, помоги ему перенести испытания, которые Ты послал ему. Укрепи его в вере Православной, в милосердии и добродетели и, если суждено, Господи, престол отца, умудри его и споборствуй ему. Аминь».

В этот день умерли ещё две девочки — Женя Михина и совсем маленькая Валя Рыжкова. Обе из дворянских семей. В мартирологе, публикуемом в этой книге, можно найти имена представителей и других титулованных и дворянских родов России.

Как уже отмечалось, первые месяцы пребывания на Лемносе были крайне тяжёлыми. В рапорте от 17.04.1920 года Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России, главный комендант лемносских беженских лагерей, 67-летний генерал-лейтенант П.П. Калитин пишет: «Лагеря (всего 8) из палаток английского военного образца, без пола. Все спят на голой земле в страшной скученности, подвергаясь всем видам простуды до воспаления лёгких включительно».

Русских врачей всего трое (Широкоград, Попов, Маркевич. — Авт.). Медикаментов и перевязочных средств нет. Английская медчасть постав-

лена ниже всякой критики... Отношение безжалостное. Заболеваемость и смертность огромна. За три недели уже около 50 могил. Повально косит детей скарлатина, корь, воспаление лёгких.

Все лагеря, все умывальники, отхожие места — построены нами, нашими же руками. Все без исключения, даже самые заслуженные генералы и высокопоставленные лица, превращены в чернорабочих и грузчиков, работающих от 8:30 до 12:00 и от 14:00 до 16:30, кроме случаев разгрузки пароходов, которые заканчиваются поздно вечером. Английские солдаты выполняют только лёгкую работу.

Питание неудовлетворительное... Хлеба выдаётся мало и не каждый день. Молоко — 1 банка на 20–30 человек. Самый тяжёлый вопрос — варка пищи и кипячение воды. Не в чем и не на чем готовить. Дров почти нет. Все бродят и собирают щепки, тростник и т.п. 2–3 часа тратится на кипячение воды.

Почти все беженцы крайне нуждаются в белье, обуви, одежде, мыле. Мы совершенно отрезаны от мира. Масса самых разноречивых слухов, сильно всех волнующих. Во всех лагерях и на пароходах около 500 офицеров из числа раненых и выздоравливающих выражают желание возвратиться в действующую армию».

Нельзя без волнения читать рапорт старого боевого генерала, который взял на себя ответственность за устройство, а по большому счёту, за жизни детей, женщин, стариков, больных и раненых. Пётр Петрович Калитин нёс этот крест до 12 августа 1920 года. К этому времени жизнь в лагерях более или менее наладилась, и он выехал с Лемноса в Константинополь. Когда знакомишься с жизнью таких людей, поражаешься, какие в российской армии были офицеры и генералы! Судьба лишила большинства из них возможности заниматься тем, к чему они были подготовлены, — военным делом. Надо было зарабатывать на жизнь, кормить семью. И они пошли в шофёры, столяры, техники. Но у многих открылись самые неожиданные способности. Сколько кадровых военных стали научными работниками, причём и в гуманитарных, и в естественных науках! Среди бывших офицеров и генералов — писатели, журналисты, художники, музыканты, певцы, хормейстеры.

Во многом это объясняется воспитанием и образованием, которое будущие военные получали в семьях и учебных заведениях царской России. Тот же генерал Калитин был не только высокопрофессиональным командиром, возглавлявшим в Первую мировую войну 1-й Кавказский армейский корпус и награждённым орденом Святого Георгия, но и известным востоковедом, знатоком Средней Азии, тюркских языков. Он стал первым русским путешественником, пересекшим Туркменские Каракумы с юга на север. После Лемноса через Константинополь генерал перебрался в Париж, где в возрасте 69 лет вынужден был устроиться рабочим на автомобильный завод. Последние годы жизни он провёл в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа. Умер генерал П.П. Калитин 6 июня 1927 года. Его могила стала одной из первых на этом, ставшим впоследствии таким известным, русском кладбище во Франции.

Из рапорта очевидны причины высокой смертности в лагерях на Лемносе в марте — мае 1920 года. Именно тогда по русским эмигрантским колониям в Турции, на Кипре, в Греции, Болгарии, Сербии прошла мол-



Семья генерал-майора Д.Ф. Левшина в 1919 г. На первом плане сын Алексей, похороненный на Лемносе 28 апреля 1920 г.

ва, что на Лемносе беженцы вымирают целыми семьями, а сам остров они называют «островом смерти».

В конце марта англичане выделили под русские могилы участок земли на каменистом, абсолютно голом мысе Пунда, рядом с лагерями. Участок небольшой, 50 на 40 метров, но он постоянно расширялся в течение весны — лета, достигнув к сентябрю 1920 года около 80 метров в длину и 50 в ширину. В марте — мае священники отец Константин Ярмольчук и отец Георгий Голубцов отпевали умерших чуть ли не через день. Большинство, прежде всего дети, умирали в английском госпитале, персонал которого, по-видимому, был малоквалифицированным и помочь больным существенно не мог. Один из эмигрантов — В. Светозаров — с грустной иронией отмечал в своём лемносском дневнике: «По-видимому, русские организмы не приспособлены к английским методам лечения». Но умирали и прямо в палатках, на кораблях с беженцами, подолгу стоявших в мудросском заливе из-за неготовности мест для расселения людей. До 28 мая у причала в Калоераки стоял пароход «Владимир», на котором находился госпиталь с ранеными офицерами, эвакуированными из Новороссийска ещё в марте 1920 года. Большинство скончавшихся в этот период офицеров и унтер-офицеров были из этого госпиталя.

Если у умершего рядом были родственники или знакомые, то в списках русского коменданта и союзников фиксировались более или менее подробно имя, возраст, вероисповедание, происхождение. Но нередко умирали люди, прежде всего тяжелораненные, одинокие, и тогда в документах появлялась запись: «С парохода «Владимир» похоронен мужчина (православный), лет 35–40, в военной форме без знаков различия».

Вот как описывает беженскую жизнь корреспондент одной из эмигрантских газет, побывавший на Лемносе летом 1920 года: «Луна сменяет



Семья русского офицера. Июнь 1920 г.

солнце и придаёт фантастический вид городу палаток... Со всех концов острова несётся пение: здесь хор, там цыганские романсы с аккомпанементом гитары, вот льётся широкая русская песня, а вот и украинская думка. Больно слышать родные, милые напевы... Тяжёлым кошмаром кажется эта луна, эти палатки, эта унылая бессодержательная жизнь, эти голые поля, по которым бредёшь из лагеря в лагерь, спотыкаясь о камни и царапая ноги о единственную растительность Лемноса, какую-то бурую колючую траву».

Но русский дух и в таких крайне сложных условиях не угасал. Его поддерживала вера, религиозные чувства, усилившиеся в дни лишений и испытаний. Первая церковь была создана в середине апреля в Донском лагере. В большой палатке донцы из подручного материала соорудили иконостас, многие пожертвовали свои иконы. 28 апреля 1920 года генерал П.П. Калитин в рапорте в Константинополь просит прислать всё необходимое для устройства церкви. На острове в этот момент находились около десяти православных священников и епископ Елизаветградский и Новомосковский Гермоген. Они-то в тяжёлых походных условиях и окормляли духовно тысячи православных христиан.

В первой половине мая в больших палатках были оборудованы ещё две церкви, многие беженцы стремились стать певчими, алтарниками, псаломщиками. Хор в донской церкви возглавил профессор И.В. Татаркин. Очень быстро этот коллектив стал известен не только среди русских эмигрантов, но и в греческих окрестных сёлах, а также в городках Кастро и Мирина. Один из беженцев в своих воспоминаниях пишет: «Когда я впервые посетил эту палаточную церковь и услышал трогательную службу, то слёз умиления и внутреннего рыдания нельзя было скрыть и сдержать».

Работа школы и гимназий в крайне тяжёлой ситуации беженских лагерей стала ещё одним выражением нестигаемого русского духа. Не хватало учебников и пособий, классных досок, схемы и карты часто чертились на земле, на земле сидели и ученики, так как не было стульев и столов, но занятия проходили регулярно, и от учёбы никто не бегал.

Документы сохранили имена самоотверженных преподавателей лемносских школ — проф. А.А. Зайцев, В.В. Паскевский, проф. А.А. Васильев, В.М. Стрежнева, проф. Л.А. Сопощко, действительный статский советник М.А. Александров, И.И. Сергеев, д.с.с. М.А. Горчуков.

На Лемнос в результате эвакуации из Новороссийска, Одессы, Севастополя вместе с родителями или самостоятельно попали кадеты и преподаватели Донского, а также Киевского, Крымского и Одесского кадетских корпусов. Организацией их жизни на острове занялся генерал-лейтенант Андрей Михайлович Саранчов (1862–1935, Париж), в своё время директор Сумского, а затем Киевского кадетских корпусов. С ноября 1919 года по март 1920 года он был начальником управления военных учебных заведений Вооружённых сил Юга России.

Не были забыты и самые маленькие. С особой торжественностью 26 июля 1920 года на Лемносе открылся детский сад (заведующая — госпожа Буткевич). После молебна в приветственной речи к более чем двумстам собравшимся эмигрантам представитель Союза городов М.П. Шаповаленко сказал: «Пусть на каменистом, сожжённом солнцем острове зазеленеют побеги нашего детского садика». В двух отделениях детсада было 40 детей в возрасте до семи лет. Для детей, оставшихся без родителей, Российский Красный Крест открыл приют на десять человек.

Своего рода мотором организации беженских лагерей стал генерал от инфантерии П.Н. Лазарев-Станищев (04.12.1857–17.09.1920). Офицер с 1876 года, выпускник Николаевской инженерной академии, он с 1903 по февраль 1917 года возглавлял Донской Императора Александра III кадетский корпус, который под его руководством стал одним из лучших учебных заведений такого типа в России. В феврале 1917 года перед строем кадет и преподавателей корпуса генерал отказался присягать Временному правительству, заявив, что он присягал императору. В марте 1920 года, прибыв на Лемнос, старый генерал стал решать не менее сложные задачи «расквартирования» детей, женщин, раненых, больных. И умер он одним из последних среди тех, кто высадился на Лемнос весной 1920 года, тогда, когда практически всё возможное по обустройству беженцев было уже сделано.

Спустя три месяца после смерти П.Н. Лазарева-Станищева на Лемнос был переброшен Донской казачий корпус. Среди его офицеров находилось немало выпускников кадетского корпуса, который в своё время возглавлял покойный генерал. Они прошли через сражения, стали опытными боевыми офицерами, сохранив при этом свойственное русским кадетам братство, и, конечно, вспоминали и чтли память своего директора. Каково же было их изумление и огорчение, когда весной 1921 года они обнаружили на кладбище на мысе Пунда в Калоераки могилу П.Н. Лазарева-Станищева! Бывшие донские кадеты (В. Калинин, И. Сагацкий, М. Бугураев и другие) привели её в порядок, подновили крест и надпись на нём, возложили большой венок из живых цветов, украшенный лентой российского триколора, и отслужили панихиду. Это было их

последнее прощание с заслуженным русским генералом, так как вскоре началась переброска Донского казачьего корпуса в Болгарию.

Кончина П.Н. Лазарева-Станищева, одной из видных фигур первой волны русской эмиграции на острове, стала своего рода знаковым событием в жизни беженцев. Примерно с конца сентября их число начало резко сокращаться. Люди уезжали в Константинополь, чтобы затем перебраться в какую-нибудь европейскую страну или в Крым. В октябре три большие партии по 500–700 человек на пароходах отправились в Сербию.

16 октября 1920 года с Лемноса в Севастополь отплывает пароход «Херсон». Никто из его 1150 пассажиров не мог предположить, что это будет последний рейс с острова в Крым, в действующую армию. До поражения Врангеля и эвакуации белых войск оставалось три недели. На пароходе — свыше 440 генералов и офицеров, решивших после выздоровления продолжить борьбу: С. Позднышев, М. Пржевальский, А. Линицкий, П. Шапошников, А. Семёнов, А. Котляревский, Н. Гринёв, Н. Дятлов, Н. фон Витте, Н. Страшкевич, Б. Пальшау, В. Вяземский, Г.А. Розалион-Сошальский, М. Палажченко, Д. Заборовский, Н. Мартос, П. Доброхотов, кадет Г. Куторга и другие. На фронт ехали 30 врачей и 94 сестры милосердия. Здесь же 198 жён офицеров, сражавшихся в Крыму, — С. Меснянкина, Д. Григорович-Барская, В. Космачевская, М. Турбина, Е. Гребенщикова (Черепанова), Н. Череева, В. Соцевич, Е. Моргушина, супруга полкового священника С. Дановская и другие.

Многие из них оставили на острове могилы своих детей, жён. Так, поручик Розалион-Сошальский похоронил на Лемносе сына Олега, чиновник военного времени Заборовский — дочь Галину, штаб-ротмистр Палажченко — трёхлетнюю Клеопатру... Весной 1920 года офицеры, уезжавшие в армию Врангеля, с разрешения командования отправляли свои семьи в эвакуацию на Лемнос, чтобы чувствовать себя на фронте спокойными за детей и жён. Никто не мог и предположить, что в эвакуации они окажутся в смертельной опасности. И вот Елизавета Меснянкина возвращалась к своему мужу, поручику, без сына Петра, Вера Космачевская — без трёхлетнего Владимира, Мария Турбина — без сына Бориса, матушка Софья Дановская — без девятилетней Ани. Этот список можно продолжать и продолжать.

Сегодня, несмотря на активную поисковую работу в архивах, мы не можем точно сказать, сколько беженцев оставалось на острове к середине ноября 1920 года. По косвенным признакам можно предположить, что их число было незначительным: приблизительно человек триста. Во всяком случае, на могилах на русском кладбище в Калоераки их имён с этого времени очень мало. На надгробьях всё чаще появляются казачьи фамилии. Но это уже другая печальная история.

Казачьи части армии П.Н. Врангеля на Лемносе (ноябрь 1920 — ноябрь 1921)

В ноябре 1920 года из Крыма ушло свыше 125 тысяч военнослужащих, их семей и гражданских беженцев. Один из лучших поэтов Русского зарубежья, донской казак-офицер, четырежды раненный в боях, в

последующем «лемносец» Николай Туроверов (1899–1972) так писал об этой странице русского исхода:

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня.
Я с кормы всё время мимо
В своего стрелял коня,

А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Всё не веря, всё не зная,
Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь всё плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.

Мой денщик стрелял не мимо —
Покраснела чуть вода...
Уходящий берег Крыма
Не забуду никогда.

За переброску воинских частей и беженцев отвечали французы. Они-то и предложили генералу П.Н. Врангелю в качестве места базирования крупных соединений «проверенный» остров Лемнос. Решено было отправить туда Кубанский казачий корпус под командованием генерала М.А. Фостикова, всего около 16 тысяч человек.

Вся территория, занимаемая кубанцами, была оцеплена французами войсками, в основном сенегальцами и марокканцами, что на первых порах вызывало у простых станичников, никогда не видавших африканцев, повышенное чувство опасливого любопытства. Речь шла о фактическом интернировании. Рядовой состав разоружён, были оставлены винтовки из расчёта 20 единиц на 1000 человек. Они использовались в основном в юнкерских училищах и караульных командах. В январе 1921 года французы издали приказ о сдаче оружия и офицерами с оставлением у них шашек и кинжалов. Генерал Фостиков не спешил выполнять эти указания — в феврале 1921 года у офицеров кубанского казачьего корпуса оставалось свыше 230 пистолетов. Французский комендант Лемноса генерал Бруссо, говоривший на русском языке, проводил жёсткую линию на уничтожение всякого напоминания того, что речь идёт о воинских подразделениях союзной Франции Русской армии. Он всячески добивался от казачьего командования самопризнания: мы интернированные беженцы. Французы ввели строгий режим передвижения: из лагеря можно было выйти только организованно и обязательно по пропускам, которые выдавались в крайне ограниченном количестве.

Жили казаки в палатках по восемь-десять человек в каждой. Палатки были маленькие, низкие, в них можно было только сидеть или лежать. Рацион питания очень скудный, острой проблемой стал поиск дров

для обогрева и приготовления пищи. Во многом повторилась ситуация с русскими беженцами весны 1920 года, только тогда хозяевами были англичане, а сейчас французы. Как отмечалось в публикациях русских газет, издававшихся в Константинополе, «материальные условия жизни на Лемносе такие же, как и в Галлиполи, то есть одинаково скверные».

С начала декабря 1920 года на острове высадилось свыше 3600 военнослужащих Донского казачьего корпуса, включая подразделения 80-го Зюнгарского калмыцкого полка и 655 казаков — терцев и астраханцев, сведённых в один полк (в январе 1921 года полк вырос до 900 человек за счёт дополнительной присылки людей из Турции). Вместе с ними прибыли и гражданские беженцы, в том числе некоторые члены донского правительства и сотрудники аппарата управления Всевеликого войска Донского. О характере первых впечатлений казаков об острове красноречиво говорит запись в дневнике терского офицера К. Остапенко: «Скалы, скалы и скалы, ни деревца, ни травки, ничего абсолютно. Дали нам турецкую палатку на пять человек, в которой разместились вдевятером. Голод отчаянный. Жрать нечего — ничего не дают ни 10-го, ни 11 ноября. Холод. Страшный ветер, палатки разносит».

В январе — феврале 1921 года на Лемнос из Турции прибыли остальные части Донского корпуса. Всего на острове в разное время находилось свыше восьми тысяч донцов, терцев и астраханцев. В «лемносском сидении» Донского корпуса (командир Генерального штаба генерал-лейтенант Ф.Ф. Абрамов) участвовали штаб и управление (начальник генерал-лейтенант А.В. Говоров), 1-я Донская казачья дивизия (генерал-лейтенант Г.В. Татаркин), 2-я Донская казачья дивизия (генерал-лейтенант А.К. Гусельщиков), Донской технический полк (полковник Л.М. Михеев) и Атаманское военное училище.

Для управления всеми частями Белой армии на Лемносе (25 тысяч человек) и гражданскими беженцами (около 3,5 тысячи человек) было создано командование Лемносской группы во главе с генерал-лейтенантом Ф.Ф. Абрамовым и начальником штаба полковником П.К. Ясевичем. Штаб, а это всего полтора-два десятка человек, денно и нощно занимался решением самых разнообразных вопросов, связанных с организацией жизни двух казачьих корпусов. Во многом успех обеспечивался самоотверженностью и высоким профессионализмом Петра Константиновича Ясевича (1889–1970), выпускника академии Генерального штаба, участника Первой мировой войны, в годы Гражданской — командира Донской дивизии.

Вот так на острове, всего восемь лет назад освобождённом от турецкого владычества, с населением, не превышавшим 20 тысяч человек, внезапно в течение двух-трёх месяцев сложилась огромная русская колония. Если в первой половине 1920 года в столице острова городе Кастро (Мирина) о находившихся в 20 км в районе Калоераки 4,5 тысячи наших соотечественников мало кто что слышал, то теперь все лемносцы только и говорили об огромном числе русских в военной форме, в непривычных и удивительных для греков сапогах.

Отношения с православными греками были тёплыми, сердечными. Местное население тогда бедного, ещё не оправившегося от турецкого господства острова с сочувствием относилось к военным и беженцам из России. Нередко были случаи, когда наших казаков и офицеров при-



Вот так пережили казаки лемносскую зиму. Февраль 1921 г.

глашали в дом, кормили, снабжали хлебом, брынзой, овощами. Однако со временем стали происходить эксцессы в основном из-за того, что в многолюдных скоплениях людей, находившихся в очень тяжёлых условиях, неизбежно проявляются отчаяние, озлобление. ЧП имели место в основном к концу пребывания частей Белой армии на Лемносе, когда некоторые интернированные, подталкиваемые голодом и неустроенностью быта, уходили в «самоволку» в греческие деревни. Около 30 казаков бежали из расположения своих частей, сбились в банду и начали грабить греческих крестьян. После двух-трёх нападений на греков генерал Ф.Ф. Абрамов с согласия французского командования поднял по тревоге Донское атаманское училище, и юнкера в короткой схватке обезвредили новоявленных «зелёных».

Но были и происшествия, не продиктованные каким-либо злым умыслом, а вызванные скорее желанием как-то скрасить однообразную до боли жизнь на острове. Иногда это происходило даже по-мальчишески — не будем забывать, что большинство казаков были люди в возрасте 20–30 лет. Приведу в связи с этим занятный приказ по Лемносской группе войск от 2 марта 1921 года:

«В воскресенье 27 февраля (1921 года) хор трубачей Атаманского военного училища по окончании спектакля в городе Мудрос возвращался около трёх часов ночи домой, играя по дороге марш. Явление, безусловно, недопустимое и тем более поразительное, что при оркестре находился адъютант училища войсковой старшина Маркин, которому следовало самому догадаться о непристойности игры в такой неурочный час. Во всех лагерях пение, музыку, всякого рода собрания и игры разрешить только до 22 часов». Видно, крепко напугали лихим маршем юнкера-трубачи безмятежно спавших жителей греческого городка. Как говорится, знай наших!

В расположении казачьих лагерей действовало небольшое по составу, но весьма энергичное представительство Красного Креста США. Американцы быстро нашли общий язык с казаками и оказывали им без всяких условий реальную помощь продуктами, медикаментами, оборудованием. Особенно ценно, что американское представительство открыло и содержало «санаторий» для больных и раненых казаков и детский дом на 60 мест. Для детей, оставшихся без родителей, этот дом стал спасением. В качестве характерного примера расскажу о судьбе 12-летнего Николая Згонникова. Его отец, нестроевой казак Степан Родионович, зная, как красные расправляются с потомственными казаками, решил уйти из родной станицы с отступающими белыми войсками. Из всей многочисленной семьи с собой он взял только старшего сына Николая, так как считал, что тот вынужден будет «отвечать» за отца перед большевиками.

Последние несколько месяцев скитаний Згонниковы попадают на Лемно в кубанский беженский батальон. Буквально через две-три недели Николай заболевает тифом. В палаточном госпитале он чудом выжил. Выйдя из госпиталя, он узнаёт, что отец его умер. 12-летний мальчишка остаётся один на далёком острове — ведь они толком не успели познакомиться даже с людьми из беженского батальона. Спасло Николая командование Кубанского казачьего корпуса, устроившее мальчика в детский дом американского Красного Креста. Потом был переезд в Болгарию, детдом для русских сирот, учёба в Софийской сельскохозяйственной академии и спустя 35 лет возвращение на родную Кубань, где он застаёт ещё живую мать. Вот такая история, в которой американцы на Лемносе сыграли важную роль.

Значительно хуже складывались отношения с французскими военными, прежде всего с частью офицеров, которые относились к русским коллегам с плохо скрываемым презрением. Атмосфера накалялась из-за того, что французское командование вынуждено было, нередко даже вопреки своим взглядам, выполнять указания из Парижа, направленные на расшатывание единства казачьих частей.

Французские власти стремились избавиться от 25-тысячной «обузы». С начала 1921 года они преднамеренно поддерживали состояние полуголода. Каждому казаку ежедневно полагалось по 500 граммов хлеба, 200 граммов мясных консервов, немного картофеля или фасоли, 30 граммов сахара, 4 грамма чая. Но и этот весьма скудный «паёк» периодически урезался, выдача продуктов часто задерживалась на сутки, двое. Искусственно создавалась ситуация постоянной нехватки дров, тёплых вещей, кроватей, палаток. Немало казаков и беженцев месяцами спали на голой земле, их крайне редко выпускали за пределы лагерей в греческие деревни, где они могли приобрести дополнительные продукты и необходимые для жизни вещи. Запрещено было снаряжение команд для сбора в горах бурьяна и колючки, которые использовались в качестве топлива при приготовлении пищи.

Таким образом французы надеялись внести в казачьи части разброд, деморализовать их, вынудить интернированных массово возвращаться в Советскую Россию, вербоваться на работу в латиноамериканские страны, записываться во французский Иностраннный легион.

Командование русской армии в Константинополе стремилось не допустить массового отъезда казаков в Советскую Россию, а также в другие страны. Генерал П.Н. Врангель, донское и кубанское правительства

жестоко протестовали перед лицом французских военных и гражданских властей в связи с развязанной ими кампанией по рассеиванию казачьих частей. В начале февраля 1921 года Лемнос посетили донской, кубанский и терский атаманы. Их участие в разъяснительной работе несколько снизило число желающих вернуться на Родину или записаться на работы в третьи страны. Однако французы всячески старались ослабить эффективность усилий русского командования, направленных на сохранение армии. В самом начале апреля французские власти даже запретили возвращение на остров командира Кубанского казачьего корпуса генерала М.А. Фостикова, выезжавшего в Константинополь для доклада о положении дел. Он вообще отказывался выполнять указания французов без их одобрения генералом П.Н. Врангелем. С апреля 1920 года Лемнос был закрыт и для кубанского атамана генерала В.Г. Науменко. Командующий лемноской группой войск генерал Ф.Ф. Абрамов внешне выглядел более стоворчивым, но на практике он искусно строил свою линию, направленную на защиту интересов вверенных ему войск. Французы нервничали, но корректность генерала часто не давала им повода для резких действий.

В ходе очередной кампании по записи добровольцев в Бразилию и Советскую Россию генерал-губернатор острова Бруссо (острые на язык казаки звали его Брусок) потребовал опрос казаков проводить отдельно от офицеров. При этом с целью оказания морального воздействия на опрашиваемых каждому французскому офицеру придавалось по 15 стрелков-сенегальцев и по четыре конных жандарма. Согласившиеся казаки сразу же конвоировались в расположение французских войск. Передумавших, а таких набралось свыше ста человек, обратно не отпускали. Их насильно усаживали на корабли, отходившие в Советскую Россию или в Бразилию. Генерал Бруссо издал печально знаменитый приказ № 1515, смысл которого сводился к следующему: французы кормят казаков только до 1 апреля 1921 года, после этой даты все должны решить: или они едут в Советскую Россию, или в Бразилию, или переходят на самообеспечение.

В результате прессинга «союзников», агитации советских эмиссаров, которых французы не только допускали на остров, но и защищали от нападков офицеров и большей части казачества, под воздействием тяжёлых лишений в Советскую Россию с Лемноса вернулись 8582 человека, из них 1460 гражданских лиц. Среди последних определённое число составляли беженцы, находившиеся на Лемносе ещё с весны — лета 1920 года, в том числе около 70 жён и детей офицеров, погибших или оставшихся в Крыму. Задерживаться на Лемносе, надеяться на эмиграцию в другие страны без главы семейства не имело смысла. Возвращались и некоторые чиновники, не принимавшие активного участия в белой борьбе. 7120 военнослужащих (из них 3200 донцов), решивших выехать в Советскую Россию, были, кроме пяти офицеров, рядовые казаки, в большинстве своём ещё ранее перешедшие из строевых частей в беженские батальоны. Они надеялись, что новая власть отнесётся к ним снисходительно. Некоторые казаки, погрузившись на корабли, сразу начали срывать погоны и вести разговоры о создании Совета. Все радужные надежды развеялись уже в Одессе, когда в результате чекистской «филтрации» было «выявлено» около 300 «врагов трудового народа». Подавляющая часть остальных бесследно сгинула в 20-е–30-е годы.

ИЗ СЕМЕЙНЫХ ЗАПИСОК РОДА ЗГОННИКОВЫХ

Казаки — это особый народ, особый этнос со своим мировоззрением, менталитетом. Всех казаков отличает особенная любовь к своей стране, своей Родине. И любовь эта берёт своё начало на пашне, на простой земле, которую казаку приходилось возделывать мотыгой и одновременно защищать с саблей. Вот из такого казачьего братства происходит мой дед, Згонников Николай Степанович. Родился он в 1908 году на Кубани, в станице Владимирской под Лабинском. Его отец, Степан Родионович, имел большую семью — был женат, имел троих сыновей и пять дочерей. Степан Родионович был освобождён от призыва в регулярные казачьи войска, поскольку хромал на одну ногу. Мой дед Николай был старшим ребёнком в семье.

Моему деду было около 12 лет, когда началось отступление белогвардейцев. Николай был в поле на бахче, когда к нему прискакал его отец, посадил мальчика на арбу, и они сразу отправились вместе с отступавшими, даже не заезжая домой и не прощаясь с родными. Почему Степан взял с собой только Николая, остаётся загадкой. Возможно, это дело случая, а может, он специально забрал именно старшего сына, опасаясь мести красноармейцев. Дело в том, что двоюродный брат Степана, Пётр Згонников, возглавлял вооружённое сопротивление красным то ли в самой Владимирской, то ли в соседних станицах. Сколько казаков было под его началом, мне не известно, но красные о нём прекрасно знали. Николай вспоминал свой разговор с красноармейцем (по всей видимости, станица не раз перешла из рук в руки). Красноармеец спрашивает Николая:

- Фамилия?
- Згонников.
- А не родственник ли ты того самого Петра Згонникова?
- Нет, однофамилец.

На удивление, красноармеец поверил, и это, по мнению деда, его тогда и спасло. А тут ещё страшные события на окраине станицы, когда красные шашками насмерть порубали мирных жителей только за то, что они были казаками или членами их семей. В общем, Степан со своим старшим сыном Николаем отправились на юг, по пути объединяясь с такими же, как они.

К морю беженцы шли через Грузию. Мне не известно, в каком именно месте они к нему вышли; возможно, где-то в районе Новороссийска. Неизвестно и название парохода, на котором они плыли до Константинополя.

Приведу одно яркое детское воспоминание деда. Голодная орава русских детей попала на стамбульский рынок. Они где-то раздобыли пустые консервные банки. С этими банками ребята подбегали к лавочке с халвой, и, можно сказать, на глазах у продавца-турка врезали их снизу в большой пласт халвы и быстро убежали. А турецкая халва — она, как сливочное масло, и дети уносили в руках полные баночки лакомства.

Степан с Николаем недолго пробыли в Константинополе и были переправлены на греческий остров Лемнос. Дед называл его Лимнос, с

*Згонников Николай Степанович,
Болгария, 1924 г.*



ударением на последнем слоге. Для детей там организовали лагерь, где Степан часто навещал своего сына.

Надо сказать, что условия на острове были крайне тяжёлыми для проживания. Люди спали в палатках на голой земле. Была острая нехватка еды, воды, медикаментов и перевязочных средств. Поскольку на острове скудная растительность, то очень трудно было достать дрова для растопки, чтобы согреться или накипятить воды. Дед рассказывал, что в его обязанности входил сбор колючек для костра. Колючки были сухие и моментально прогорали, поэтому требовались постоянно и в большом количестве. Людям также не хватало одежды, обуви, белья, мыла. Всё перечисленное послужило причиной для распространения различных заболеваний: от простуды до воспаления лёгких. Среди детей начались вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь, скарлатина и т.д. Заболеваемость и смертность были огромными.

На Лемносе Николай тяжело заболел тифом. Поскольку он был ещё ребёнком, то его определили в госпиталь и положили на одну койку с какой-то старухой. Когда он очнулся и пришёл в себя, старухи уже не было, персонал сказал: снесли. Ну, а когда поправился и вышел из госпиталя, стал искать своего отца. Нашёл казаков, которые знали Степана. Те привели его на кладбище, указали на свежую могилу и сказали: «Вот твой отец Згонников Степан». Николай упал на могилу, заплакал и тогда понял, что остался на чужбине совсем один. Вскоре после этого стали формировать пароходы во Францию и Болгарию. У Николая спрашивали, куда он хочет поехать. «А что к России ближе?» — спросил он. Так он и попал в Болгарию.

В Болгарии его с такими же, как он, сиротами определили в интернат, который был организован в заброшенном монастыре близ города Велико Тырново. Там он получил среднее, а затем и среднетехническое образование с сельскохозяйственным уклоном. Много кем ему пришлось поработать: и землемером, и чертёжником, и станочником, и даже музыкантом. К слову сказать, дед был разносторонне развитым человеком: играл на гитаре, мандолине, балалайке, неплохо пел, рисовал и рифмовал. Скорее всего, это результат образования, полученного от педагогов ещё старой русской школы.

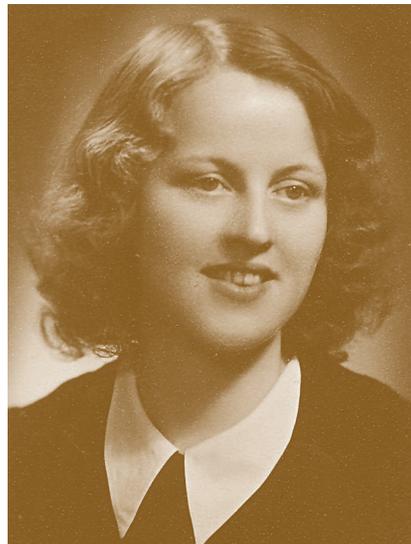
Годы войны пришлись на время его обучения в Софийской сельскохозяйственной академии. А поскольку в то время высшее образование было платным, то он год учился, а год — зарабатывал на дальнейшую учёбу. Таким образом, процесс обучения растянулся у него на целых десять лет. Война не коснулась деда, как не коснулась, впрочем, и всего его русского окружения.



*Згонников Николай Степанович,
Болгария*

Вскоре после войны дед встретил мою бабушку, русскую девушку Елизавету Прокопенко. Её отец, Прокопенко Дмитрий Михайлович, был офицером Дроздовского артиллерийского полка, а мать, Елизавета Сергеевна Серебрянникова, была медсестрой в этом же полку. Они в своё время, при отступлении частей белой армии, так же были эвакуированы и попали на турецкий остров Галлиполи, откуда тоже были переправлены в Болгарию. «Галлиполийское сидение» было не менее трагичным, чем «Лемносское». В 1921 году, сразу же после рождения дочери (моей бабушки), Елизавета Сергеевна умирает. Новорождённая девочка, тоже Елизавета, попадает в русскую семью, которая её вырастила и воспитала. Это была семья покойного к тому времени Эрнста Андреаса (Эрнеста Андреевича) Гейне, винодела и управляющего тифлисским имением князя Чавчавадзе. Его жена, Варвара Гейне, растила Елизавету вместе со своими детьми. Родной отец моей бабушки, Дмитрий Прокопенко, уехал из Болгарии во Францию на заработки, да так там и остался. Он женился на француженке, обзавёлся детьми, но и старшую дочь никогда не забывал — переписывался и, как мог, заботился о ней. Одно время Дмитрий Михайлович был председателем Общества Галлиполийцев. В конце жизни он преподавал русскую словесность в Лионском университете и всю жизнь считал себя русским солдатом.

В 1947 году Николай и Елизавета поженились, а в 1949 в городе Варне у них родился старший сын, Владимир. В 1955 году они переселились в Советский Союз. В то время многие русские семьи возвращались на Родину из эмиграции. «Железный занавес» был приоткрыт, да и власти Народной Республики Болгарии настороженно относились к русским. Никаких репрессий, конечно, не было, но если ты русский и живёшь в Болгарии — значит, белогвардеец. Моя бабушка вспоминала, что для переезда их семье выделили целый вагон, чтобы



Елизавета Дмитриевна Згонникова

они смогли перевезти всё своё имущество. В России же они обосновались в городе Ейске Краснодарского края. Дед любил говорить:

«Пока Кубани не найду исток,
Буду стремиться на восток».

По приезде Николай разыскал своих братьев и сестёр, даже застал в живых мать, Ирину Платоновну Згонникову (урождённую Мельникову). После того, как её муж со старшим сыном ушли в отступление, она осталась одна с маленькими детьми. На её долю тоже выпало тяжкое испытание. Того, что Степан и Николай оказались на стороне белых, красные ей не простили и подвергли репрессиям — её сослали на Соловки. Добирались до места ссылки долго, большую часть пути приходилось идти пешком. Ирина Платоновна вспоминала, как во время этапа их устроили на ночлег в разорённой церкви. Среди ссыльных был священник, который собрал вокруг себя небольшую группу людей, в том числе и мою прабабушку. Он, как мог, утешал их, укреплял в вере и вселял надежду. Ночью священник позаботился о том, чтобы хоть чем-нибудь укрыть людей от холода, а утром его нашли умершим.

До Соловков Ирина Платоновна не добралась — где-то по дороге ей чудом удалось бежать. Домой она добиралась долгие два года, не имея при себе ни денег, ни документов. При себе она имела только маленькую ручную швейную машинку. С её помощью она зарабатывала себе на жизнь — помогала простым людям, выполняла небольшие швейные работы, вязала. Вернувшись на Кубань, она жила поочерёдно у своих дочерей. Окончательно Ирина Платоновна обосновалась в Ставрополе, у дочери Евдокии, где и нашёл её Николай.

Как уже сказано выше, Николай с семьёй жил в Ейске, в маленьком городке на берегу Азовского моря. У них была часть дома с небольшим садиком в старом районе города. Дедушка работал агрономом в местном совхозе, а бабушка — бухгалтером. Николай очень любил свою профессию и даже на маленьком участке возле дома чего только не выращивал. Там было несколько сортов винограда, из которого он делал прекрасное домашнее вино. К дикой абрикосе, росшей во дворе, дед привил шесть видов сортовых абрикосов и два сорта персиков. Лакомство было необыкновенное. Он также выращивал черешню, персики, груши, яблоки и малину. В 1957



*Николай Степанович
на уборке урожая
в Ейске*



Елизавета Дмитриевна с сыном Евгением, внуком и правнуками

238 году у Николая и Елизаветы родился второй сын, Евгений (мой отец). На долю моего дедушки выпала трудная, полная забот, но довольно долгая жизнь. Умер он в 1992 году и похоронен в Ейске.

Отец мой, Згонников Евгений Николаевич, по окончании школы поступил в Таганрогский радиотехнический институт. После окончания института он уехал по распределению в Ростов-на-Дону. Там он познакомился с моей мамой, которая так же работала там по распределению после окончания Рязанского радиотехнического института. В 1985 году мои родители поженились. Свадьбу играли в Коломне, на родине мамы. Ещё несколько лет они проработали то в Ростове-на-Дону, то в Ейске, пока окончательно не переехали в Коломну. В 1986 году родился я, а в 1995-м — мой брат Егор.

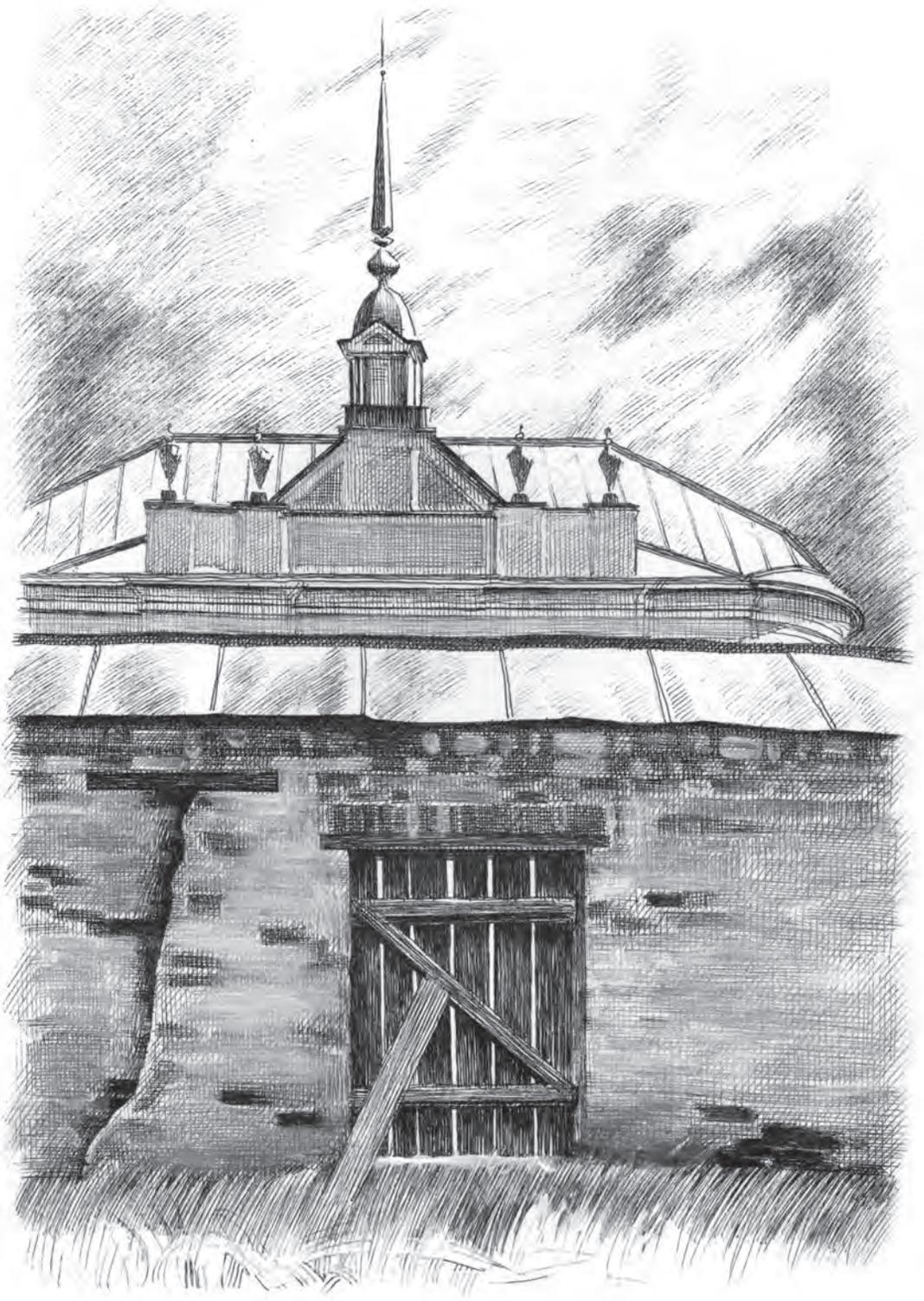
В том же 1955 году в Коломну переехала из Ейска и моя бабушка, Елизавета Дмитриевна. Город произвёл на неё приятное впечатление. Мощь крепостных стен, тихие кремлёвские улочки, обилие церквей и соборов, дивный колокольный звон — всё это никого не может оставить равнодушным. Полюбилось ей и стройное богослужение коломенских храмов. Так в лице моей бабушки в славную историю нашего города вплелась ниточка, связывающая её с драматической историей русского казачества начала XX века. В 2011 году бабушка отметила свой 90-летний юбилей. Я очень люблю слушать её рассказы о жизни, всегда интересные и поучительные. Несмотря на свои немощи, она никогда не унывает и живёт в полном согласии со словами апостола Павла: **«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите»**. (1 Фес. 5: 16–18).

Священник клира храма Троицы-на-Репне
Андрей ЗГОННИКОВ



Terra
incognita





Графика Василины Королёвой

Сергей Малицкий

КАЖДЫЙ ОХОТНИК

*«Нет, дружочек! — Это проще,
Это пуще, чем досада!»*

Марина Цветаева

1



Сергей Вацлавович Малицкий родился 12 октября 1962 года в Иркутской области, но проживает с самого раннего возраста в Подмосковье. В 1983 году поселился в Коломне, там же сменил множество мест работы и занятий, пока не остановился на литературной деятельности.

В 2000 году издал книгу «Легко». С 2005 года увлёкся жанровой прозой. Неоднократно публиковался в «Коломенском альманахе».

Произведения печатались в журналах «Москва», «Полдень. XXI век», «Если», «Реальность фантастики», в сборниках рассказов издательства «Альфа-книга», «Амфора», «Астрель-Санкт-Петербург» и других.

С 2006 года по 2012 год в издательстве «Альфа-книга» вышли книги «Миссия для чужеземца», «Отсчёт теней», «Камешек в жерновах», «Муравьиный мёд», «Компрессия», «Арбан Саеи», «Оправа для бездны», «Печать льда», «Забавник», «Карантин», «Блокада», «Вакансия», «Пагуба». На этом автор останавливаться не собирается, пробует себя в классической прозе.

В 2007 году автор был награждён издательством «Альфа-книга» премией «Меч без имени» за книгу «Миссия для чужеземца». Она же стала лучшей дебютной книгой на фестивале 2007 года «Звёздный мост» в городе Харькове.

В 2011 году администрация города Коломны отменила его творчество медалью имени Ивана Ивановича Лажечникова.

Повесть

Время в наших краях густое. Словно в лодке лежишь, шуришит по днищу, не переставая, а закроешь глаза — унесёт неведомо куда, замучаешься возвращаться. Главное — не попасть в туман. Серёга-болтун как-то попал, вернулся к полудню — волос белый, лицо в морщинах, руки трясутся, на плече татуировка — баба с рыбьим хвостом. Неделю озёрную воду через тростниковую трубку сосал, пока не оклемался. Потом ещё с полгода вспоминал, кого как зовут. Ничего, выдюжил. Волос снова потемнел, руки окрепли, лицо разгладилось, даже улыбка образовалась. Вот только татуировка не сошла да болтливость не вернулась. Раньше, бывало, Серёга прохода не давал: по сотне раз одну и ту же байку каждому встречному-поперечному пересказывал, а теперь примолк. И не так молчит, как будто память ему отбило, а так, словно знает много, да говорить не велено. Или нечем. Я даже язык его показать просил. Показал. Обычный язык. На месте.

2

Никто не верил, что Лидка за меня пойдёт. Я плавать не умею. Воды боюсь. Болтун, когда ещё болтуном был, вдоволь надо мной покуражился. Проходу не давал. Ветра, спрашивал, ты не боишься? А рыбы? А тростника?

— Нет, — улыбался я ему по десять раз на дню. — Ветра я не боюсь, Серёга. Ветер лёгкий, а я тяжёлый. И рыбы я не боюсь. Где она, твоя рыба? Ту, что не вижу, в воде, — чего её бояться? А ту, что вижу, — или дохлая на берегу валяется, или на сковородке шкворчит. И тростника не боюсь: я из него циновки вяжу. А воды боюсь.

— Почему? — не понимал Серёга.

— У неё края нет, — отвечал я. — И дна.

— Есть дно, есть! — орал он и порой даже прыгал с берега, показывал чёрные от ила пятки.

— Глубже зайди, глубже, — предлагал я ему.

— По воде не ходят, по ней плавают! — ржал Серёга. — Ты же не лодка. И добавлял, стирая пучком травы с пяток ил:

— Циновки он плетёт! Половички, а не циновки!

Да как ни называй. Их всё равно никто не покупает. Лидка велела их в сарай складывать. Я и складываю.

3

— Папка, а море какое?

Файка как раз в вопросительном возрасте. Пять лет, как пять пальчиков: ни убавить, ни прибавить.

— Море? — я откладываю в сторону плетение. Не получается в этот раз вытащить рисунок. Или тростник блеклый, или пальцы не слушаются. — Море, Файка, солёное.

— Горькое? — жмурится Файка.

— Нет, — терпеливо поправляю я, — солёное — это солёное. А горькое — это горькое. Ну, смотри. Горчица горькая.

— Горчица гадкая и жгучая, — морщится Файка.

— Хорошо, — с Файкой лучше не спорить: налёт глаза слезами — с чем угодно согласишься. — Горькое — это гадкое. А море солёное. В нём соли много.

— А если наше озеро посолить? — Файка начинает жмуриться. Она всегда жмурится, когда что-то затевает. Глаза Файку выдают, все её хитрости выкладывают — или блестят, или бегают, или таращатся, поэтому она жмурится. Или закрывает глаза ладошками. Серёга, когда ещё болтуном был, рассказывал, что далеко на севере живут белые мишки, которых выдаёт на снегу чёрный нос. Так вот они, когда подкрадываются к полынье, чтобы поймать рыбу или тюленя, закрывают нос лапой. Я пересказал эту историю Файке. Теперь Файка закрывает ладошками глаза. Но это уж в тех случаях, когда тайна так и рвётся наружу.

— Море не получится, — огорчаю я Файку. — Во-первых, соли нужно очень много. Во-вторых, если посолить озеро, только озеро и получится. Просто будет солёным. Ну и, наконец, а о тварях озёрных ты подумала? Они же тут же все передохнут!

— А если с краешка? — она собирает крохотные пальчики в щепотку. — Если совсем чуть-чуть? Чтобы не всё озеро в море превращать, а только кусочек?

— Тогда... — мне не хочется обрывать Файкину мечту, — тогда это будет очень маленькое море. Крохотное.

Наш остров маленький. Нет, конечно, бывают и ещё меньше: взять клочок земли того же Кузи Щербатого — даже дом не помещается, под кухней сваи в ил забивать пришлось, чтобы дом с острова не сполз; ну, так и народу у нас побольше, чем на острове Щербатого. Да и дома три, а не один. С одной стороны острова — лачуга Болтуна, с противоположной — маяк Марка, в центре — наш дом. Ну, не в центре, чуть в стороне — в центре родник из земли бьёт; да, всё одно, считай, что в центре — до дома Болтуна пятьдесят шагов, до Марка — пятьдесят восемь. Да на окрестные стороны по паре десятков шагов всяко будет. Кирьян-торговец смеётся: как ты, Улыбчивый, за Лидкой своей следишь? Будешь халупу от Болтуна оборонять — Марк тебя оплетёт, станешь Марка стеречь — Болтун сваю под тебя подобьёт.

— Никак, — смеюсь в ответ. Зачем им Лидка? У Лидки семь дочек: кому охота семь довесков заполучить? — Шесть, — отчего-то начинает загибать пальцы Кирьян: — Ксения, Ольга, Жанна, Зинаида, Галина, Софья. Шесть?

— Семь, — смеюсь я. Файка ползает у моих ног, лепит куличики из песка, ковыряет в носу грязным пальцем, чихает, как котёнок, окунувшийся в молоко мордочку.

— Да хоть восемь, — кривит лицо Кирьян. — Лидка сказала, что часы у вас встали. Батарейки будешь брать? Или часы обновить?

Я вытаскиваю из кармана мелочь, передвигаю на ладони монеты от безымянного пальца к большому.

— Не хватит на часы.

— Хватит, — уверенно говорит Кирьян и подаёт лодку к берегу. Половина лодки застелена досками, на досках товар: банки, крышки, чашки, ножи, ложки, верёвки, батарейки, гвозди, молотки, спички. На носу лежат часы. Круглые, с цифрами, в золотом ободке. Лидка как раз такие и хотела. Повесить в обеденном зале на стену в самый раз.

— Ходят? — сомневаюсь я.

— Сейчас, — успокаивает меня Кирьян. Наклоняется, вытягивается над товаром, подхватывает часы, отщёлкивает крышку, вставляет батарейку, показывает циферблат. Стрелки уверенно ползут слева направо. Не прыгают, не отщёлкнувают, а ползут, вкручиваются буравчиком в мою голову. Бесперерывно. До боли.

Я отшатываюсь назад. Закрываю глаза ладонью.

— Стрелки почему не прыгают?

— Такие часы, — не понимает меня Кирьян. — Зато и не тикают. Но время точно показывают. Будешь брать?

— Нет, только батарейки.

Я протягиваю Кирьяну ладонь. Торговец сбрасывает с неё нужное количество никеля, подаёт мне пару батареек в пластике, отталкивается веслом от берега.

— А за Лидкой следи, — подмигивает мне обоими глазами. — Дело ж не в довесках. Когда жеребец на кобылу смотрит — что ему телега, в которую она запряжена?

— Где ты видел жеребца? Кобылу? Телегу? — кричу я ему.

— В Городе, — уже издали откликается Кирьян.

— Папка, — дёргает меня за штанину Файка. — Я хочу лошадку посмотреть.

Город на Большом острове. Точнее, весь Большой остров — Город. Он рядом. Не совсем рядом — полкилометра; но что там полкилометра, если Город сам километр на полтора? Я нагружаю лодку циновками, накрываю их мешковиной. Сажаю Файку на корму. Файка в надувном круге-уточке. Глаза у неё блестят, и она уже готовится закрывать их ладошками. На мне спасательный жилет. Над спасательным жилетом смеются все, кто меня знает. И кто не знает, тоже смеются. И пусть смеются: что мне их смех? Я сам смеюсь не переставая. Я не утонуть боюсь — я боюсь Файку одну оставить. Файку, а также Ксению, Ольгу, Жанну, Зинаиду, Галину, Софью. Хотя толку от меня немного — всю семью тянет Лидка. И от этой мысли я и в самом деле начинаю тонуть. Изнутри.

Файка сидит на корме, чертит ладошкой озёрную воду и поглядывает мне за спину. Я гребу. Лодка движется плавно, но неведомо куда. Куда — знает Файка. Она должна предупреждать меня о других лодках и плавучих островках. Но Файка чертит озёрную воду и второй ладошкой закрывает глаза. Я оглядываюсь. Так и есть — забрал влево; ещё немного, и воткнулся бы в кочку Кузи Щербатого. Кузя щерится на меня из открытого нужника. Нужник у Кузи устроен тоже на сваях. Хотя чего там было устраивать? Отгородил закуток, вырезал дырку в полу, поставил стульчак. Сиди, получай удовольствие, а откроешь дверцу — удовольствие будет двойным. В руках удочка. На удочке леска. На леске поплавок да крючок. На крючке наживка. Прошлый улов, пропущенный через Кузины кишки, падает в воду, новый улов насаживается на крючок тут же.

— Кузя! — порой кричит Щербатому Кирьян. — Ты что, рыбу прикармливаешь?

— Нет, — откликается из нужника Кузя. — Остров свой увеличиваю. Земли у меня мало!

Ему бы Филимона позвать для увеличения острова. Филимон в два раза больше Кузи. Он бы ему точно остров увеличил. Но Филимон в Кузин нужник не войдёт. А войдёт — так сваи в ил собственным весом загонит. Так загонит, что Кузе по колена в воде сидеть придётся. К тому же у Филимона и собственный остров не шибко большой. Нет, придётся Кузе самому свой остров увеличивать. Интересно: правда ли, что он гальку глотает, чтобы новые части острова не расплывались по озеру?

— А что он делает? — спрашивает Файка.

Я продолжаю грести и уже вижу остров Филимона, который приближается по правому борту. Филимон — гончар. Остров у него глинистый. Из этой глины Филимон лепит горшки. Потом обжигает их в печи. Дрова на растопку печи Филимону поставляет как раз Кузя. Кузя — плавщик. Плавник собирает. На всякую деревяшку, что в воде плавает, как ястреб бросается. Случалось — прямо из нужника выпрыгивал, штаны забывал надеть. Выловит, на крышу отволочёт, сушит. Если начинается дождь, грозит небу кулаком. Продаёт Кузя деревяшки недорого, но Филимон отдаёт ему за дрова горшки в городе и ругается на Щербатого. Тот перепродает Филимоновы горшки в городе и перепродает по той же цене, что и Филимон. Но в отличие от последнего не требует с покупателей к цене полведра земли или камней, или осколки от такого же разбитого

горшка. Поэтому горшки покупают у Щербатого в первую очередь. А требовать с Щербатого за горшки землю или камней Филимон не может, потому как у того у самого остров меньше кукиша; да и не деньгами Щербатый Филимону за горшки платит — он ему дрова поставляет. И понимает Филимон, что никак ему Щербатого не сковырнуть, а всё одно злится — остров-то у него маленький: изведёшь его весь на горшки, а жить потом где?

— Кузя дрова ловит, — отвечаю я Файке.

— А Филимон? — смотрит в другую сторону Файка.

— Филимон лепит горшки, — говорю я. — Горшки, тарелки, миски.

— Зачем? — не понимает Файка. — Зачем их лепить, если их можно у Кирьяна купить?

Хороший вопрос. Каждая дочь в пять или шесть лет задавала мне его: зачем ты плетёшь циновки, отец? И каждой я отвечал одно и то же — так надо (Ксения, Ольга, Жанна, Зинаида, Галина, Софья, Фаина).

— Кому надо? — был следующий вопрос.

— Во-первых, он хочет заработать, — отвечаю я Файке. — Во-вторых, он хочет, чтобы его остров хотя бы чуть-чуть увеличился.

— Он из острова горшки лепит? — спрашивает Файка.

— Из острова, — отвечаю.

— То есть Филимон расходует остров, чтобы его увеличить? — пытаются докопаться до истины Файка.

— Получается так, — пожимаю я плечами, не переставая грести.

— Странный он... — жмурится Файка. — Хотя я ведь тоже такая. Что-бы у меня появилась новая конфетка, мне нужно съесть ту, что у меня уже есть. Ведь так?

— Так, — смеюся я. — И где же твоя старая конфетка?

Фантик мгновенно шуршит, рот захлопывается, и конфетка обозначается изнутри Файкиной щеки.

— Нету!

— Держи новую.

6

Я не люблю Город. Он грязный. Слишком много домов, слишком много людей. Но в городе Школа, куда я вожу дочерей. Летом на лодке, зимой по льду на санках. На санках — Софью и Галку. Остальные на лыжах или, если лёд чистый, на коньках. Галка со следующего года тоже встанет на лыжи или на коньки. Файку пока не вожу. Она ещё маленькая. Ей работать моим хвостиком ещё целый год, а то и два.

Ещё в Городе есть Завод, где работают Лидка и многие другие. Где и я пытался работать, но у меня не вышло. В Городе Контора, где заполняются всякие важные бумаги. Комитет, который предписывает и запрещает. Управа, которая всем управляет. В Городе много чего: Газета, Милиция, Суд, Тюрьма, Магазины, Техникум, Больница. И в Городе Рынок, на котором я изредка продаю циновки. Лидке не нравится слово «продаю»: она настаивает, что я не «продаю циновки», а «пытаюсь продавать», причём «безрезультатно». Она не против того, чтобы я плёл циновки и сидел с ними на рынке, но желает точности в определениях.

— Где лошадка? — крутит головой Файка.

«Я — лошадка», — хочется мне ответить дочери, потому что связку циновок от пристани я тащу на себе. Обычно её удаётся пристроить на тележку к Филимону, но сегодня я задержался, и Филимон уже со своими горшками на месте. Мы торгуем «на аппендиксе» — в ряду для народных промыслов. Народу там мало, зато места бесплатные. Филимон грустный: его горшки блестят новой глазурью, но покупателя нет. Он равнодушно смотрит, как я раскатываю по серым доскам циновки, и явно собирается сказать какую-то гадость. Я его опережаю:

— Привет, Филимон. Кирьян сказал, что в городе лошадь появилась. Не видел? Файке хотел показать.

Пару минут Филимон смотрит на меня, как на идиота. Потом зло сплёвывает и выщёлкивает из портсигара сигарету. Портсигар — гордость Филимона. Внутри него сигареты, снаружи кнопка. Нажмёшь — из уголка портсигара появляется язычок пламени. Красиво. Был бы у меня такой портсигар, я бы тоже курил. А так-то — никакого смысла. Опять же, расходы.

— Я отойду на час, — лениво бросает Филимон через плечо. — Посиди тут. Цену на горшки знаешь. Скоро буду.

Сунул крепкие пальцы с глинистыми полосками по заусенцам в карманы, зашагал в сторону Завода. Плохо дело, если пошёл на Завод, да ещё злой: значит, без торговли уже с неделю. У Филимона жены нет. Его никто не тащит по жизни, он сам тащится. Не продаст горшок — ляжет спать голодным. Понятно, что вокруг его острова не одна верша закинута, но лишь рыбой сыт не будешь. С другой стороны, детей у Филимона нет. А на себя можно и наплевать. Правда, сначала надо выпить.

Я заглядываю под стойку. Файка уже на любимом месте: в тенёчке, на пачке тех циновок, что я уже и не предлагаю. Лежит, тычет пальцами в электронную игрушку, укладывает корявые фигурки друг на друга, поворачивается ко мне:

— Что с лошадкой?

— Пока ничего, — отвечаю я и вздрагиваю от прикосновения.

7

— С кем вы там?

— С кем?

Я выбираюсь из-под стойки и вижу...

— Вы...

— Я? — она недоумённо сдвигает брови, потом называется. — Маша. Если вы об имени, конечно.

Я выбираюсь из-под стойки и вижу, оказывается, Машу. Она среднего роста, стройная, без излишеств и без недостатков. У неё милое лицо, русые волосы, нос с маленькой горбинкой, полные губы. От неё пахнет озером, и её платье надето на мокрое тело. Я, как дурак, пялюсь на её грудь и что-то говорю ей.

— Там дочь.

— Дочь? — она удивляется и зовёт:

— До-о-очь! Ты что там делаешь? Как тебя зовут?

— Файка! — словно новогодняя хлопушка, выстреливает Файка из-

под стойки; прикусывает нижнюю губу и пускает чуть-чуть слюны, что бывает с нею только в минуты предельного восторга. — Я там играю в тетрис! И ещё папа обещал мне показать лошадку!

— Лошадку? — удивляется Маша. — Разве в Городе есть лошади?

— Ему Кирьян-торговец сказал, что есть, — тут же выкладывает Файка и прячется под стойкой. На ближайšie десять минут её смелость израсходована.

— Понятно, — заговорщицки кивает Маша и переводит взгляд на горшки. — Где горшечник?

— Отошёл, — расплываюсь я в привычной улыбке и слушаю. Слушаю её обоими ушами, но каждым ухом по-разному. Одним ухом слышу голос, другим пытаюсь понять смысл произносимых ею слов. И почему-то не отвечаю ей, а спрашиваю в ответ:

— А вы можете мне помочь?

— Помочь?

«Ну, перестань же, перестань улыбаться, как идиот!» — твержу я себе.

— Да. Сколько стоит вот этот горшок?

— Двести рублей.

— Двести рублей... — она выбирает из ряда коричнево-зеленоватых крынок ту, что облита глазурью ниже других, протягивает мне две сторублёвки и объясняет:

— Молоко из крынки другое. Пробовала и из пакета, и из банки, и из бидона, — всё не то. Только из крынки!

Я, кажется, киваю. Лицо от улыбки вот-вот парализует. Она опускает крынку в пакет и из вежливости подходит к моим циновкам. Я убираю локти, встаю. Возвышаюсь над нею на половину головы и примерно лет так на двадцать — худой, нескладный, неудачливый. Или неудачный? Нет, неудачный, но удачливый. Всё-таки семь дочек.

Верхняя циновка самая яркая — я красил тростник разноцветными чернилами, а потом собирал из него что-то вроде орнамента, в котором кружочки и квадраты пересекают друг друга до мельчешения в глазах, и тайком покрывал Ксюхиным лаком для волос. Мне самому не нравятся такие циновки, но покупателю нужно яркое. Всегда нужно что-нибудь яркое. Циновки, правда, в последнюю очередь.

— Сколько? — скучнеет она на глазах.

— Пятьдесят рублей, — говорю я в ответ и тут же понимаю, что меньше. Ну, конечно же, меньше.

— А можно я посмотрю ещё? — спрашивает она из вежливости.

Конечно, можно, — теперь уже скучнею я. Те, которые снизу, лучше, но они некрашеные. Все оттенки — золотой, почти белый, жёлтый, серый, коричневатый и зеленоватый. Те цвета, которыми одарило тростник солнце и обычная вода. Всё.

Она осторожно отворачивает мою старательную яркость в сторону и замирает. Смотрит долго: минуту, другую, потом поднимает взгляд к небу, в котором висит палящее солнце, и отходит в сторону, чтобы её тень не ложилась на рисунок. Я приглядываюсь. Да, на солнце циновка блестит, но солнце слепит. Нужно смотреть в пасмурную погоду. Тогда всё становится тем, чем должно. Солнца в сухом тростнике и так предостаточно.

Она возвращается назад, поднимает яркую циновку, держит её в руках так, чтобы прикрыть тенью ту циновку, которая лежит верхней в пачке, потом поднимает взгляд на меня.

— Почему я?

— Вы? — я наклоняюсь над циновкой и вижу там Машу. Да, на рисунке она. Белесыми и серыми линиями — вода. Зелёными линиями поперёк воды — тростник. В просветах между тростинок — золотом: МАША. Силуэт, лицо — всё её.

— Это Сиринга, — кашляю я. — Наяда. Из мифа.

— Это я! — приподнимается она на носках и шепчет мне прямо в лицо. — Я! Да смотрите же вы!

— Да, — соглашаюсь я. — Очень похоже. Совпало...

— Беру обе, — оставляет она на стойке сто рублей. — Вот эту, яркую, на пол брошу, на крыльцо. И буду надеяться, что её затопчут как можно быстрее. Не делайте так больше! А вот эту себе. Только...

Она накрепко зажмуривает глаза и скатывает выбранные циновки в трубку, не глядя. Так же, не глядя, подхватывает со стойки пакет с крынкой и открывает глаза, только уже сделав шаг в сторону. Я не могу оторвать взгляд от её стана.

— Боюсь опять увидеть яркое. Загляну ещё. Высмотрю что-нибудь.

— Папка, — высовывается из-под стойки Файка. — Мороженое купишь?

— Купишь, — слегка ошалело отвечает папка.

Больше ни одного покупателя.

— Ну что, — появляется через два часа Филимон. — Продал что-то? Я кладу перед ним двести рублей.

— И то хлеб, — радуется Филимон и показывает тяжёлый промасленный мешок размером с его голову. — Я тоже с добычей.

— Что это? — интересуюсь я.

— Подшипники, — отвечает Филимон. — Шарики от подшипников. Не шибко большие, миллиметров по пять: то, что надо. В масле, зато не ржавые. Одна приятность — что на пальцах, что на языке.

— На языке?.. — я не могу понять. — Зачем тебе шарики от подшипников?

— Как зачем? — удивляется Филимон. — Кузе Щербатому. Ему надоело гальку глотать. Толку мало. Да и непроходимость в животе у него какая-то образовывается. Да и найди эту гальку... На городском пляже и горсть песка с собой не унесёшь. Досматривают!

8

Мы идём с Файкой к лодке. Я тащу рулон циновок, которых стало меньше на две, Файка лижет мороженое в стаканчике с кремовой розочкой. Филимон остался на рынке. А нам нужно домой. Сегодня должна вернуться с Самого Большого Острова Ксюха. Она поступила в Институт. По этому поводу дома будет праздник.

— Папка! Папка! Смотри! Вон же лошадка!

Я медленно оборачиваюсь. У заводского забора стоит ослик. Он прядёт ушами и без особого желания обтрёпывает верхушки призаборных

сорняков. Хозяин ослика, судя по приставленной к забору лестнице, добывает что-то нужное на территории Завода.

— Это ослик, Файка, — говорю я.

Она смотрит на меня снизу строго, как учительница. Даже грозит пальчиком.

— А какая разница? — и добавляет через секунду: — Ты что, заболел?

— Почему заболел? — не понимаю я.

— Ты улыбаться перестал, папка! — горячо шепчет Файка. — Влюбился, что ли?

— Глупости! — делаю я страшное лицо.

Наверное, примерно так визжат маленькие поросята. Даже в ушах зазвенело.

9

Я гребу к нашему острову. Лидка не любит лодку. Нервничает от скрипа уключин, от низкой скорости, от сырости под ногами. Добираться до дома или на маршрутном катере, или берёт моторку. Хочет купить свою, что-то подсчитывает. До нашего острова на катере — десятка, на моторке — четвертной. Туда и обратно — одна цинковка. Попробуй ещё продай её... Ксюха должна приплыть на большом катере. Он остановится у пристани Города, Ксюха сойдёт на берег, где её уже будет ждать Лидка. Она обнимет дочь, поцелует, затем отстранит от себя, осмотрит, приняхается и только после этого снова поцелует. Лидка строгая. Ксюхе только семнадцать, но она тоже строгая. Вся в мать. Кто из них в меня? Наверное, Ольга. Но Ольга всё время молчит. Молчит и смотрит. Молчит и смотрит. А вот в кого Файка, пока непонятно. Она ещё не определилась. На данном этапе Файка сама в себя.

— Что там? — спрашиваю я неугомонную, которая наконец расправилась с мороженым, облизала губы, облизала пальчики. Потом прополоснула пальчики в воде, умыла ими рожицу и замерла, раздумывая над продолжением собственной беззаботности.

— Ничего, — Файка зевает. Её беззаботность требует отдыха. — Маяк торчит, но не горит. День потому что. Но над нашим домом дым. Наверное, мамка уже дома, и Ксюха уже дома. Готовятся к застолью.

«Готовятся к застолью, — повторяю я про себя. — Позовут Серёгу и Марка. Девчонки будут смотреть на Марка влюблёнными глазами. А мы с Серёгой будем молчать. Как всегда. Вся разница между нами в том, что я улыбаюсь, как дурак, а Серёга не улыбается. Но тоже сидит, как дурак.

— Папка, — спрашивает Файка. — А что ты купил Ксюхе?

— Портмоне, — смеюсь я.

— Портмоне, — закатывается в хохоте Файка. — Какое смешное слово! Портмоне!

10

Марк — красавец. Профиль точёный, глаза голубые, волосы на взгляд жёсткие, но лежат, как нужно. На худых щеках и подбородке — лёгкая небритость. Плечи широкие, в теле — ни капли жира. Я как-то спросил

его: Марк, откуда стать такая? Маяк, ответил, всё маяк. Высота — сорок метров. Двести ступеней. Поручни. Десяток раз за день ручками-ножками вверх и вниз, вверх и вниз. Стать сама собой нарисуеться.

У меня маяка нет. Но руки сильные: от вёсел. Ноги, конечно, — да, подкачали. Длинные и худые. А Серёга-болтун всё равно завидует. Раньше завидовал. Говорил, что, если плыть устанешь, нужно шупать ногами дно — вдруг мелко. У тебя, говорил, на целую голову больше шансов выжить. Глупость сказал. Какие шансы? Серёга-болтун плавает, как рыба. Раньше плавал. Больше не хочет. Наплавался.

Сейчас Серёга сидит с торца стола рядом со мной. Сидит, молчит, ковыряется в тарелке. Марк по длинной стороне. Слева от него Ксения, справа — Жанна. Ухаживают. Подкладывают разных вкусовостей, которых сами и наготовили, рассказывают ему какие-то глупости. Напротив сидят Софья, Галина и Зинаида. Стучат ложками, уши врасстопырку, ни слова стараются не пропустить. Они — мой средний класс. От семи до одиннадцати лет. Ксении — семнадцать. Жанне — тринадцать. Ольге — пятнадцать. Ольга сидит рядом с Лидкой, помогает ей: приносит из кухни тарелки, блюда, столовые приборы. Вытаскивает из кадушки со льдом вино. Лидка любит холодное. А Ольга смотрит на меня — глаз не может оторвать, словно взгляд её приклеился к моему виску. Она единственная чёрненькая из всех. Остальные светлые. Всех оттенков. А Ольга чёрненькая. Когда была маленькая, таскалась за мной, как Файка. Кирьян одно время тыкал мне пальцем на Ольгу, глаза таращил, на Марка намекал. Только Марк появился на острове, когда Ольге уже пять было. А до него смотрителем маяка был Рыжий. Был рыжим, и рыжим помер. Потом стал Марк. Но Ольге уже было пять лет. Да, она единственная чёрненькая из всех. Ну, так и Лидка чёрненькая. Сидит, слушает щебетанье Ксюхи, которая всё-таки стала студенткой, собирается приобрести какую-то сложную специальность, нужную для Завода. Лидка на меня не смотрит. На меня смотрит Ольга. А на руках у меня Файка, орудует ложкой в моей тарелке. Я улыбаюсь, время от времени вытираю Файке щёки, заляпанные тушёной картошкой. Наконец, слышу голос Лидки:

— А что скажет отец?

Я снимаю с коленей Файку, медленно поднимаюсь, смотрю на Лидку. Она красивая. Лицо нежное, фигура — всё при ней. Если бы встретил восемнадцать лет назад её ещё раз, опять бы женился. Даже если бы знал, что будет так, как будет. Что раздражать её буду и улыбкой, и всяким пустяком, и даже тем, чего нет. Что, упоминая моё имя, она будет махать в сторону рукой. Что сначала будет терпеть мои ласки, потом ссылаться на больную голову, потом и терпеть перестанет, и ссылаться тоже. Что обиду будет носить в себе на меня неведомо за что. Сколько мы уже не ложились с нею в одну постель? Три года? Четыре? Какая разница? Мне уже и не хочется. Её не хочется. Хочется, но не её. Кого-то ещё. Хотя ни с кем не было так, как с нею. Но её не хочется. Это как пить чай из любимой чашки, если перед этим туда его не налить.

— А что скажет отец?

— Вот, — я протягиваю Ксюхе портмоне. — Тут немного внутри, пятьдесят рублей. Только на развод... Ты молодец! Горжусь.

Дочь поднимается, тянется через стол, трётся через холодный шёлк платья бедром о лёгкую небритость Марка, да так, что он жмурится. Берёт простенькое дерматиновое портмоне, старательно улыбается, потом бросает его за спину, на комод, где стоит сумка, с которой она приехала. Обычная сумка, плетённая из тростника, — своими руками сделал перед отъездом.

— Ты бы лучше ещё парочку сумок сплёл, — говорит небрежно. — Подружкам понравилось. Говорят, что прикольно...

— Хорошо, — говорю я. Медленно сажусь, снова помещаю на колени Файку. Случайно ловлю взгляд Лидки. Она смотрит на меня с такой ненавистью, что внутри у меня что-то обрывается. Обрывается, но не падает, а повисает где-то между сердцем и животом. Улыбаюсь... А что ещё делать?

— Ты чего, папка? — оборачивается Файка.

— Ничего, — с трудом выдыхаю я. — Всё хорошо.

Серёга, который сидит рядом, пихает меня локтем и подвигает стакан.

— За тебя, Ксюха, — подношу я его к губам.

Она кисло кивает.

11

Утром я иду на гнилой бережок с южной стороны островка, где пляжа нет и песка нет, только ил, и открываю сарай. Стопа сплетённых мною циновок почти упирается в потолок. Потолок, правда, низкий, и двух метров не будет, но всё же. Я начинаю вытаскивать циновки на траву. Файка пытается мне помогать, потом ей надоедает, и она начинает собирать одуванчики. С этой стороны острова у нас луг. Четыре метра бурьяна, за ними пятнадцать метров луга. До самой воды. Кузя очень завидует. Не раз говорил мне, что мечтает сходить по нужде в луг. Чтобы сидеть, слушать стрекотание кузнечиков и чтобы трава щекотала ему задницу. Я, помнится, пообещал ему тогда голову открутить.

Нижние циновки отсырели, даже почернели по краям, — считай, что половина сделанного. Я укладываю их на камни, на которых разогреваю воду для отпаривания тростника, и зажигаю.

— Зачем? — подбегает Файка.

На голове у неё венчик, пальцы чёрные от одуванчикового сока.

— Они умерли, — объясняю я Файке. — Видишь, чернота по краям? Всё, эти циновки уже никуда не годятся.

— Почему? — надувает губы дочь. — А в Музее? Помнишь, мы ходили в Музей?

Я помню. Музей стоит между Школой и Законом. В нём четыре зала. В первом — чучела рыб. Во втором — предметы быта и какие-то окаменелости. В третьем — картины. В четвёртом — поднятый со дна озера маленький торпедный катерок, ржавый и бессмысленный. В том зале, где лежали предметы быта, Файка нашла истрёпанные циновки, расписанные краской. Циновки обветшали, из распадающегося плетения на нас с Файкой смотрели лица неизвестных людей.

— Помню, — отвечаю я. — Те циновки уже попали в историю, поэтому они ценны. А наши ещё не попали.

— Но ведь так они и не попадут уже? — пытается что-то понять Файка.

— Из этого сарая они никуда не попадут, — объясняю я. — Они не доживут до истории. Лучше уж превратить их в дым. Пусть летят, куда хотят.

— Когда человек умирает, он тоже становится чёрным по краям? — осторожно спрашивает Файка.

Она не знает, что такое смерть. Когда умер Рыжий, Файки ещё не было.

— Не сразу, — отвечаю я. — Эти циновки были живы, когда я складывал их в сарай. И умерли они постепенно. А человек умирает сразу. Правда, иногда сначала долго болеет.

— Понятно, — тарабанит заученные наставления Файка. — Нужно мыть руки и смородину перед едой, не сидеть подолгу в воде, зимой одеваться тепло...

— Правильно, — смеюсь я и добавляю в разговор немного ужаса. — Если человек болеет долго и тяжело, тогда может и почернеть по краям. Но Файку испугать трудно.

— А может быть, они больные, а не мёртвые?

Файка подходит к костру, ойкает от взлетающих хлопьев пепла, смотрит, как тонут в пламени лица, фигуры, силуэты, линии, пятна, тени.

— Нет, — отвечаю я. — Они умерли.

— А что ты собираешься делать с остальными циновками? — теряет она интерес к пламени.

— С этими? — я растаскиваю десятки, сотни уцелевших работ по траве. — Думаю выбрать штук десять, получше, а из остальных сделаю сумки. Только смотри внимательно на воду. Увидишь Кирьяна — скажи мне. Бечева у меня есть, но мне будут нужны ленты. У меня их мало.

— Зачем тебе столько сумок? — восторженно шепчет Файка. — Ведь Ксюха просила только парочку?

— Эти сумки будут нужны нам всем, Файка, — с улыбкой обнимаю я дочь. — Надеюсь на это. Лучше помоги мне выбрать десять лучших циновок. Представь себе, что тонет катер, на нём много людей, а у тебя в лодке только десять мест. Выбери тех, кого ты возмёшь в лодку. Хорошо?

— Нелегко это, — бормочет Файка.

— Конечно, — киваю я. — Найти что-то стоящее в куче барахла, особенно если стоящего там нет.

— Нет, — не соглашается Файка. — Выбрать лучшее из очень хорошего. «Я люблю тебя, Файка», — думаю я.

Не говорю, думаю. Незачем говорить. Она и так знает.

12

Они все разные. Вылеплены из одного теста, но разные. И не потому, что пеклись по-разному: кто-то в середине противня, кто-то с краешку, кто-то остался чуть сыроват, кто-то подрумянился, кто-то в самый раз. — Нет, просто они разные. Мы делаем всё, что можем. Растапливаем печь, сдвигаем угли в сторону, смазываем гусиным пером противень. Готовим вылепки, пробегаем пером и по ним, присыпаем нашими надеждами, ожиданиями, нашей нежностью, задвигаем в печь и ждём. Следим, чтобы жар не был слишком мал или слишком горяч, передви-

гаем противень, беспокоимся. Даже тогда, когда печь уже остыла и от нас почти ничего не зависит. Ещё бы: ведь мы не знаем, что за начинка в наших вылепках. Её явно закладывает кто-то третий, в тот самый миг, когда мы настолько увлечены друг другом, что забываем о тесте напрочь. Поэтому каждая из семи — тайна.

Ксения знает себе цену. Она первенец. Может быть, самая красивая из семерых. Она не ходит, она носит себя. И не смотрит, а показывает себя. Есть чего показать, есть. К тому же умница, помощница — без надрыва, но помощница. Правда, порой слишком безапелляционна и резка. Это от мамы.

Ольга — как открытая рана. Чёрненькая, тонкая, то быстрая, то окаменелая. То бегом, то шёпотом. То нервно, то тихо. Она как тонкий слух, который годеи, чтобы различать шорохи, и никуда не годится, чтобы прислушиваться к грому. Вся на пуантах. На кончиках пальцев. В кого она такая?

Жанна — кремь. Губа прикушена. Волосы затянуты в хвостик. Плавает лучше всех. Берётся «на слабо», но с умом. Понимает больше, чем говорит, но если говорит сама, то коротко и точно. Проломит всё, что нужно, лишь бы не сломалась, когда наткнётся на кого-то, кто ещё твёрже. А ведь бывают такие, бывают.

Зинка. Копия Жанны, но вполборота. Тоже твёрдая, но тоньше. Плавает чуть хуже. «На слабо» вовсе не берётся: иногда знает, что «слабо», иногда не хочет показывать, что «не слабо». Говорить может много, но не сказать ничего. Молчит хорошо. Пока ещё как маятник: куда качнётся — к уму или к хитрости?

Галка. Почти мальчик. Коленки содраны, нос расковырян, ногти стрызены. На носу веснушки. Видит только то, что перед носом. Зато всё остальное слышит. Слышит и мотает — усов нет, значит, мотает на нос. Честная до неудобства. Когда кто-то рядом врёт, белеет. Губу прикусывает. Но не ябедничает. Хотя разобраться с вруном может. Трудно ей будет в жизни. А может быть, и легко. Галку все любят.

Сонька. Коробочка с сюрпризом. Угловатая коробочка. Прочная. Без музыки, без присвиста. Молчаливая, медленная, как черепаха. Настойчивая. Очень добрая. Но не настырная. Вот уж из кого мамка получится высший сорт! Лишь бы одиночеством её не накрыло. Подставляется со своей добротой.

Файка — человек-говорун. Не белый листок, нет: уже написано что-то, но мелко. Мне уже не разглядеть. А хотелось бы. Интересно.

И что в них во всех от меня?

Лидка говорит, что ничего. А если что-то и проявится — калёным железом будет выжигать.

13

Ольга подходит к нам по узкой тропинке, осторожно отстраняется от лопухов, смотрит, чтобы не поймать репейник на кислотную маечку. Мы не богаты: кроме семи дочек, никакого богатства, — дом и тот на ладан дышит, но одевает дочек Лидка на совесть.

— Что делаешь?

Вопрос из тех, которые задаются просто так. Узелок.

— Сумки.

— Ксюхе?

Когда любая из шести прищурилась бы, чёрненькая Ольга только шире глаза распахивает. Похожа на Марка. Но нет. Он после на острове появился, после.

— Ей нужны две, а я делаю много сумок, — весело объясняю Ольге.

Она особенная. И люблю я её по-особенному, словно диковину какую, что прижилась и стала дороже прочих. Она знает.

— Дай мне одну, — просит.

Это что-то новенькое.

— Выбирай.

Я успел собрать пару десятков. Из готового проще. Раскроил, края прихватил рыбьим клеем, по склеенному набил дырок, прошнуровал лентой. Лента пока есть, но мало, — нужно Кирьяна напрячь. Я ею циновки по краю обмётывал, теперь вот остатком прошнуровываю по углам сумки да ручки оплетаю из ивового прута. Проваренный прут имеется: зимой корзинками занимался. Но корзинки — не моё. Сумки, впрочем, тоже.

Выбрала одну, осмотрела, повесила на плечо, шагнула в лопухи, обернулась, спросила зло:

— Так ты и в самом деле ничего не видишь или притворяешься?

— Ты о чём? — улыбаюсь я в ответ, зная, что разозлю её ещё больше.

— Файка, о чём она?

— Какая Файка? — начинает почти кричать Ольга. — У тебя шесть дочерей, шесть! Понимаешь? Шесть! Мамка аборт сделала пять лет назад! Забыл? Аборт!

— Не забыл, — отвечаю я и продолжаю улыбаться, хотя улыбка моя становится маской.

— Идиот, — шипит она себе под нос и уходит, забыв и о лопухах, и о репейниках.

— Ты идиот? — осторожно спрашивает меня Файка.

— Все люди идиоты, — беру я её на руки. — Но некоторым не удаётся этого скрыть.

14

Назавтра Кирьян останавливает мою лодку за островом Филимона. Я один — Файка осталась дома: некуда было её посадить. Кирьян таращится на гору сумок. А ведь я порезал за два дня только половину циновок. Просто ленты у меня нет больше. Хотя, если буду сплетать именно сумки, то ленты потребуется меньше. Углы будет не нужно обмётывать.

— Лента есть? — спрашиваю торговца.

— Будет, — напряжённо высчитывает он что-то в уме. — Всех цветов будет. И по низкой цене... Ты что затеял, Улыбчивый?

— Как «что затеял»? — удивляюсь я. — Сумки сделал. Везу продавать.

— Хочешь доказать Лидке, что ты полезный? — корчит Кирьян коммерческий прищур.

— Деньги нужны, — делаю я серьёзным лицом. — Ксюха в институт поступила. Нужно. На книжки.

— На наряды, на косметику, на кафешки, — перечисляет Кирьян и высматривает, высматривает что-то. — А ну-ка, дай одну пощупать!

Я вытаскиваю из пачки крайнюю — узор на солнце блестит, лента по углам легла плотно, внутри всё гладко, ни одной заусеницы, ручки на ощупь, словно спинки у стульев на Лидкиной работе — загляденье одно. Или зашупованье? Бросаю сумку Кирьяну.

Он её трогает, рассматривает на вытянутых руках, потом утыкается носом. Выглядывает что-то на дне, изнутри, проверяет швы, дёргает за ручки. С недоверием косится на мою улыбку.

— А если дождь?

— Да хоть два, — смеюсь я. — Клей с добавками: в сумке можно воду носить, если недалеко. Сразу не выльется — плетение плотное. И по весу... Ведро песка входит. Остров обошёл от маяка до халупы Серёги. Ручки не оторвались.

— Сколько их у тебя? — спрашивает Кирьян.

— Сто пятьдесят, — гордо отвечаю я. — И ещё будет. Где-то под двести. Ну, это уже с лентами. А торг пойдёт — ещё лучше буду плести! Без швов, без стыков. Цельные. И ручки буду сплестать из тонкой лозы, без лент.

— Сто, — решается Кирьян.

— Что «сто»? — не понимаю я. — Сто сумок?

— Сто рублей! — выдыхает торговец. — Даю сто рублей за сумку!

Я почему-то перестаю улыбаться. Продавать собирался за тридцать. Если я просил за одну циновку пятьдесят, то на сумку уходит половина циновки. Значит, двадцать пять, к этому лента, моя работа... Ну, пусть будет тридцать. Хотелось бы, конечно, тридцать пять, но уж больно число не круглое. Кирьян называет сто. Как я потом буду продавать остальные по тридцать? Узнает, обидится. Да и самому как-то неловко.

— Да ты что? — неверно истолковывает моё молчание Кирьян. — Я ж оптом беру! Больше не могу: самому на навар ничего не останется. К тому же плачу сразу... И все прочие, что сплетёшь, тоже заберу. Только уж ты никому чтобы не продавал. А сплётешь без стыков — посмотрим, другую цену поставим... Да нечего думать! А ну-ка, перебрасывай мне связки, перебрасывай! По рукам? По рукам, я говорю!

Вмиг забирает у меня все сумки, пересчитывает, довольно крикает, выуживает из-под лавочки барсетку, топырит защёлку, отсчитывает ассигнации.

— Вот, дорогой мой, держи, — протягивает пачку пятисоток. — Пересчитывай. Я сказал, пересчитывай! А то скажут потом, что блаженного обманул. Сто пятьдесят сумок по сто рублей — пятнадцать тысяч рубликов. Тридцать бумажек по пятьсот. Всё правильно? Эх, Улыбчивый, да мы с тобой... Плети дальше, а я на Самый Большой остров. Дальше уже моё дело.

Заводит моторчик и закладывает вираж. Я ошалело тереблю в руках пятнадцать тысяч рублей. Потом прячу их в грудной карман рубашки, застёгиваю на пуговицу, снимаю с воротника булавку и закальваю карман ещё и булавкой. Сажусь за вёсла и разворачиваю лодку.

Даже не знаю, что и думать. Но улыбаюсь. Глупо, наверное, выгляжу. Постричься, что ли?

Дочки распластались на пляжном краю острова. Шесть точёных фигурок в разноцветных купальниках: от детских до почти взрослой. Головы накрыты от солнца лопухами. Файка в панаме роется в песке рядом, строит замок. Но песок сухой, и замок у неё не получается. Она поднимает лицо к небу, жмурится на ясное солнце, что-то шепчет. Наверное, выпрашивает дождичек. Файка считает, что надо договариваться не только с живыми существами, но и с растениями, с предметами и явлениями природы. Уговаривает крапиву возле сортира, чтобы та её не жагалила. Просит воду в душе, чтобы вода её не обжигала. Просит ветер, чтобы он не дул слишком сильно. Мороз, чтобы не морозил. Комод в родительской спальне, чтобы тот не оставлял острыми углами синяки на Файкиных ногах. Сейчас она что-то просит у солнышка. Впрочем, делает она это недолго — подхватывает ведёрко и шлёпает к воде. Да, песок нужно смачивать, иначе никакой замок не поднимется на берегу маленького моря. Точно: начатая пачка соли торчит из Файкиной майки в двух шагах. Значит, море будет.

Я загребая вправо к лачуге Серёги. Как и большинство домов на островах, она построена из плавника. Когда Серёга ещё был болтуном, он смеялся, что теперь построить дом на ближних островах нет никакой возможности, потому как весь плавник вылавливает Кузя. Серёга лежит на крыше своей халупы. Не загорает. Спит. Под боком клеенный-переклеенный надувной матрас, на голове лист газеты «Островная правда», на плече баба с рыбьим хвостом. Очень Файка интересовалась: как же это создание осуществляет естественные надобности, есть ли у неё икра, и на что она надевает туфельки на высоких каблуках? Но Серёга больше не болтун. Иногда он недоумённо разглядывает татуировку на собственном плече, но чаще всего спит. В последнее время это у него получается на зависть. А ведь до пропажи мог болтать часами.

Я огибаю лачугу Серёги и причаливаю к сараю. Нахожу в воде цепь, размыкаю замок и пристёгиваю лодку к углу сарая. На всякий случай: бывало, что угоняли и лодки. Да и что её угонять — вяжи к килю поплавок с фалом метра в два да топи лодку где-нибудь на отмели, чтобы поплавок был на метр в воде. По началу лета, когда течения сильные, муть идёт, никто лодку не разглядит. А как искать перестанут — поднимай, перекрашивай, пользуйся.

Я выпрямляюсь, поднимаю глаза и вижу на фонаре маяка женский силуэт. Женский силуэт в тёмно-зелёном. Тёмно-зелёное платье есть только у Лидки. Лидка на маяке. Рядом Марк. Бинокля у меня нет, но в том, что он обнимает кого-то в тёмно-зелёном, нет сомнений. Наверное, хватается видами с маяка. Я поднимался наверх. Раньше часто, а с Марком один раз. Помогал ему поменять треснувшее зеркало. Виды сверху действительно отличные. Острова торчат из воды, словно кочки. На каждом кусты, огородики, домики. Словно рассматриваешь картинку-раскладку из детской книжки. Марк не слишком разговорчив. Не молчун, конечно, как Серёга — бывший болтун, ну и не трепло какое-нибудь. Тогда он сказал сразу много слов. Разглядел, как я таращусь, кручу головой, подошёл и выдал.

— Это не озеро, Улыбчивый. Это океан. Огромный пресноводный океан, в котором набрызганы миллионы островов. Им нет числа. Этого не может быть, понимаешь? Поэтому я думаю, что мы все дураки.

— Особенно я, — рассмеялся я.

— Ты в первую очередь, — серьёзно сказал тогда Марк.

Теперь он стоит там, у зеркал, с кем-то в тёмно-зелёном и обнимает её. А я стою у сарая, в котором ещё осталось больше сотни циновок под разрез и десять циновок, которые отобрала Файка и которые я пока ещё не видел. И думаю, что самое страшное, когда не хочется жить, но и умереть нет никакой возможности. И ведь ещё и улыбаюсь при этом.

16

В середине весны ко мне в сарай пришла Жанна. Села напротив и долго, с час, смотрела, как я заряжаю раму, как начинаю переплетать разложенные по цветам стебли тростника. Хмурилась, сопела, пока наконец не произнесла то, зачем пришла:

— Почему ты нас не бросишь?

— Почему я должен вас бросить? — перестал я улыбаться. Странно: именно говоря с Жанной, улыбаться я не могу. Ещё с Лидкой. Но с ней по другой причине. Лидка взрывается от моих улыбок, они её обжигают. А с Жанной по-другому. С нею я не умею улыбаться.

— Просто, — она не пожалала, а как-то дёрнула плечами. — Тебе же нет от нас никакой пользы.

— Пользы? — удивился я. — Мне от вас пользы? Зачем мне от вас польза? Это от меня должна быть польза!

— От тебя много пользы, — стала загибать пальцы Жанна. — Ты смотришь за нами, особенно за мелкими. Возишь в школу на санках. Проверяешь табели. Читаешь вслух. Готовишь еду. Ну, пусть иногда готовишь еду. Убираешься вокруг дома, чистишь пляж. Плетёшь циновки.

— Какая польза от циновок? — вздохнул я.

— Большая, — кивнула Жанна. — Если бы не твои циновки, остров бы зарос тростником. А ты его выдёргиваешь. Посмотри: почти все острова вокруг в тростнике, а наш — как картинка! Но и это ещё не всё. Ты держишь маму.

— Держу? — не понял я.

— Держишь в тонусе, — объяснила Жанна. — И отдохнуть ей позволяешь. Ей трудно на Заводе: она много работает. Приплывает домой, а тут ты. И если даже на работе проблемы, дома их нет. Дома одна проблема — ты. Поэтому можно на тебя ругаться, обижаться, кричать, шипеть, бросаться блюдечками...

— Ну, это было всего один раз, — запротестовал я. — И то лишь потому, что я нечаянно разбил мамину чашку, и блюдечко стало ненужным.

— Она разряжается на тебя, и нам меньше достаётся, — продолжила Жанна. — Мы все — её любимые дочки. Польза самая прямая. Пользы нет только для тебя.

— Стоп, — не согласился я. — У меня от вас всех очень много пользы! Еда, крыша над головой, твёрдая земля под ногами, ваша любовь...

— Любовь... — задумчиво повторила Жанна. — Любовь — это, конечно, очень интересно. Но где она, эта твоя любовь? Ты спишь в пристройке, в вашей спальне с мамой спит Сонька. Не всегда, но всё же. За последние несколько лет мама ни разу не обняла тебя, не поцеловала, только щёку подставляет, когда уходит к утреннему катеру. Да и то лишь тогда, когда мы на неё смотрим... Это любовь?

Я долго молчал. Потом отодвинул раму с начатой циновкой, посмотрел в глаза Жанны, взгляд которой я не мог выдерживать дольше пяти секунд, и сказал:

— Не хочу смотреть на всё через пользу. Она как мутное стекло. Мелочи куда-то исчезают. Остаются только общие силуэты. Да и то... Хочу, чтобы без пользы. Просто так.

— Просто так? — с сомнением повторила Жанна. — Просто так ничего не бывает. Мама так сказала.

— Хорошо, — уцепился я за подсказку. — И я с вами не просто так. Я как смородина.

— Смородина? — не поняла Жанна.

— Ну да, скоро поспеет красная смородина. В палисаднике за пристроем. На грозди много ягод. Но отщипни хоть одну и посмотри. Уже через день она съжётся, помутнеет. А остальные будут себе наливать соком дальше.

— Ты не смородина, — вдруг налилась слезами каменная девчонка. — И мы не смородина. Мы живые. И мы... Нет, я... я не хочу, чтобы у меня было так.

— Как? — не понял я.

— Как у вас! — хлопнула она дверью.

17

Иногда я думал, что нужно было уйти. Когда была только Ксюха. Потом, когда появилась чёрненькая Ольга, я уже не думал об этом. Я не мог себе представить, что где-то буду я, а где-то отдельно будет всё ещё родная и желанная Лидка с двумя моими детьми. Что та же Ольга без меня начнёт сначала переворачиваться, потом ползать, потом сидеть, потом ходить. Что Ольга без меня прочитает первую книжку, что не меня будет мучить бесконечными «почему». Что не я буду вставать ночью, сбивать температуру, укачивать, носить на руках. И что всё это будет делать одна Лидка — тоже не мог представить.

Хотя Серёга, когда ещё был болтуном, как-то сказал, что главное, чего нельзя делать в семейной жизни, — это жертвовать собой.

— Почему? — заинтересовался я словами болтуна, который вроде бы никогда не был женат.

— Потому, что второй, тот, ради которого приносится жертва, будет придавлен чувством вины, — объяснил Серёга. — А уж если твоя жертва фигуральна, так сказать, и ты в виде домашнего экспоната продолжаешь маячить в поле зрения — готовься к глухой ненависти.

— Я не чувствую себя жертвой, — твёрдо сказал я. — Может быть, немного неудачником. Да и то! Семь дочек!

— Семь? — почему-то повторил Серёга, задумался, потом махнул рукой. — Ты не понял. Не ты жертва. Лидка.

— Она? — удивился я.

— А кто же? — хмыкнул Серёга. — Женщина отдаёт себя, вручает. Можно сказать, доверяется. Мол, неси меня, приятель к светлому будущему через желательное светлое настоящее. Но не успевает она оглянуться, как вдруг оказывается запряжённой в тяжёлую повозку, на которой сидит её многочисленное потомство, а рядом идёт и понукает её любимый муженёк.

— Я не понукаю, — ответил я тогда Серёге. — И не иду рядом. Я тоже тащу.

— Ага, — со смешком кивнул Серёга. — Тащишь. Не понукаешь. Лидка в понуканиях не нуждается. Поэтому ты тоже взгромоздился на телегу и дремлешь на облучке.

Тогда я обиделся. На завтра пошёл к Серёге, чтобы разобраться с его словами. Но Серёга пропал. Попал, как оказалось, в белый туман. А когда вернулся, ему уже было не до разговоров.

18

Я иду домой. Иду на почему-то подрагивающих в коленях ногах домой. Разуваюсь. Прохожу в спальню, в которой не появлялся уже несколько лет. Открываю шкаф, в котором стоят две стеклянные пивные кружки. На одной ещё детской Ксюхиной рукой написано эмалью: «мама», на другой — «папа». В Лидкиной кружке торчит пачка сотенных, не слишком толстая. И счёт за свет. Я выцарапываю из кармана пятнадцать тысяч и кладу их в её кружку. Потом выхожу на крыльцо, сажусь и смотрю на маяк. До него полсотни шагов. До Лидки — полсотни шагов и двести ступеней с поручнями вверх. А если ей до меня — то вниз. Если бы я остался работать на Заводе, то, когда умер Рыжий, мог бы занять его место. Меня бы откомандировали. Марка же откомандировали. Но я не остался на Заводе. Не смог. Не захотел. Кем только не работал — и сторожем в Музее, и мастером трудового обучения в Школе, и даже пытался торговать пивом. Ничего не получалось. Нет, с работой проблем не было — денег не получалось заработать. Одному бы хватило, а на семью... Так бы и мыкался, пока Лидка не начала нормально зарабатывать на Заводе сама. Тогда и сказала мне, теребя как-то в руках сделанный мною из тростника её портрет:

— А попробуй... Может быть, и получится что-то такое. Сплети жалюзи рулонные нам в бюро. Вдруг пойдёт?

Пошло... Только недолго. В Лидкином бюро десять окон, а не десять тысяч. Кому нужны жалюзи из тростника? Кому нужны циновки?

Я вспомнил Машу и задержал дыхание.

Почему мы не совпали с Лидкой? Да нет же, совпали. Да, не без шероватостей, но притёрлись же. Не хватило благополучия. Мы словно складывали наше счастье из камня, но камни были не слишком тяжелы, и не было благополучия, чтобы промазать швы, чтобы сложить из этих камней монолит. И счастье пошло трещинами. Если оно было. Нет, нас особо не трясло. Счастье пошло трещинами под действием собственного веса. Накопилось. Что-то такое накопилось. Или растратилось. Да, растратилось. И вот пустота.

«Папа, почему ты не бросишь нас?»

Потому что боюсь показаться самому себе ещё большей сволочью, чем чувствую себя теперь.

Дверь маяка открывается, и оттуда выбегает Ксюха в тёмно-зелёном мамином платье. Пробегает мимо меня и недоумённо хмыкает. Значит, одной из точёных фигурок на пляже была Лидка. Она совсем не изменилась. Такая же, как и раньше. Значит, что-то изменилось во мне. Из маяка появляется Марк. Он медленно идёт ко мне. Останавливается в пяти шагах, достаёт пачку сигарет, выстукивает одну с пятого удара. Закуривает. Ни капли жира, голубые глаза, подбородок, скулы, — как на картинках из журнала мод. Но пальцы чуть дрожат.

— Жениться хочу, — говорит глухо. — На Ксении. Зарплата у меня нормальная. Жить есть где.

— Ну, я-то не Ксения, — улыбаюсь я хорошему мужику Марку.

— Это да, — кивает Марк и медленно бредёт обратно к маяку.

Ксюха выбегает из дома через минуту: волосы распущены, купальник — две ниточки: одна с треугольничком, другая с чашечками. Дух захватывает.

— Марк хочет на тебе жениться, — говорю я ей.

— Пусть хочет, — кривит она губы. — А я не хочу замуж. За него не хочу... Подумаешь, смотритель маяка! Двести ступеней. Да и рано мне замуж.

— Тогда зачем ты ходила к нему? — не понимаю я.

— Мало ли, — фыркает Ксюха и бежит в сторону пляжа; оборачивается через пять шагов, бросает: — Поцеловаться, потискаться, потрахаться. Я уже взрослая, папочка.

Я несколько минут прихожу в себя. Потом медленно бреду на пляж. На ходу сбрасываю рубашку. Если не снимать брюки, я всё ещё неплохо выгляжу. Плечи — так уж точно не уже, чем у Марка. Подхожу к Лидке, снимаю лист лопуха с её лица, наклоняюсь, чтобы поцеловать. Она прячет губы.

Она прячет губы.

Отворачивается.

19

Если бы у меня было много денег, я бы купил остров. Большой остров. Метров сто на сто. Или бы нанял землечерпалку. Рабочие бы забили бетонные сваи, а землечерпалка намыла бы ил и завалила им пространство между сваями. Получился бы остров с высокими берегами. Так делают некоторые. Находят мель, забивают сваи, правда, деревянные. И начинают намыывать ил. Обычными вёдрами. Чаще всего это дело затягивается на несколько лет. Бывает, что сваи выпирают из дна, и ил размывается. А некоторые строят из всякого хлама плоты. Но это не для меня. Мне нужно твёрдое под ногами.

Чтобы остров был прочным, нужно туда же бросать что-то вроде арматуры или сталистой проволоки, сеток. Но это можно взять только на Заводе, а на Заводе взять что-то не так просто. Тот же Филимон рисковал, воруя подшипники. Если бы я послушался Лидку, то работал бы на

Заводе охранником. Филимона я бы подстрелил точно. А когда бы смеялся со смены, то сам бы притащил кучу подшипников. И притаскивал бы что-нибудь каждый день. И подстреливал кого надо. А тот, кого не надо подстреливать, платил бы, и я бы имел две или три зарплаты сверху. И ведь никакой ответственности, потому что Завод и предназначен для того, чтобы с него всё красть. Лидка так и не простила мне того, что я отказался от этой работы.

Но если бы я был богат и купил остров, то устроил бы его так, чтобы с одной стороны был пляж. А с других сторон высокий берег. Я посадил бы на нём ивовые кусты, чтобы они скрепили ил корнями. И несколько сосен, чтобы они пришилили мой остров ко дну озера опять же корнями. И построил бы большой дом, в котором и у Лидки, и у каждой дочери была бы большая комната. И отдельная кухня: мало ли, заведут семьи. И очень большая общая кухня. И тёплые сортиры. И даже сауна. И много ещё чего-то такого, о чём я даже не подозреваю. И ещё я бы купил Лидке небольшой катер. И снегоход на зиму. И открыл бы счета в банке на каждую дочь с очень приличной суммой денег. А потом бы умер.

Умер бы.

Нет, уехал. Точнее, умер бы, но так, чтобы все они думали, что я уехал. И даже прислал бы им свои фотки со счастливой физиономией, чтобы думали, что я сволоочь последняя и просто променял их на кого-то ещё. То есть умер бы, но чтобы никто меня не жалел. Потому что ни при каких обстоятельствах на самом деле я не мог бы оставить своих девочек — Ксению, Ольгу, Жанну, Зину, Галину, Софью, Фаину. Да и Лидку, пусть не осталось ничего, кроме досады за промелькнувшую молодость. Но ведь все они, все они — из Лидки. Она их выносила. Не для меня, не для себя: просто выносила. Поэтому я живым их оставить не могу. Только умереть. Но я не могу купить остров, я ничего не могу. Только если сплести тысячу сумок. Десять тысяч сумок. Тогда да. Только тогда да.

— Почему вы в жилете?

Я выпрямился, встал, застыл с глупой улыбкой на губах. Раннее утро, лето, солнце светит, а я думаю о смерти.

— Я не умею плавать.

— В самом деле?

Маша удивлена. У неё на плече пляжная сумка, из которой торчит полотенце, бутылка воды, ещё что-то.

— Я думала, что на островах все умеют плавать. Ладно, если здесь кто не умеет, но на островах-то...

— А мы разве не на острове сейчас?

Я недоумённо топаю ногой. Вокруг рынок, передо мной стол, на нём десяток свернутых в рулон циновок, которые я так и не развернул: Филимона нет, рано для него. Мы все на острове. Мы все на островах. Файка говорила, что каждый из нас на острове, потому что каждый, как маленький остров. Но кто-то большой остров, а кто-то — как несколько свай и ведро для ила. И так до самой смерти. Что она понимает о смерти? Она же не знает о ней ничего — Рыжий умер, когда Файки не было ещё.

— А, понимаю, — она смеётся. — Здесь говорят так, потому что Город на Большом острове. На Б-о-л-ь-ш-о-м!

Она расставляет в стороны руки и надувает щёки.

— Поэтому все, кто живёт на маленьких островах, — именно что на островах. А мы вроде как на большой земле... А где Файка?

— Дома осталась, — говорю я. — Я рано поехал на рынок.

— Лето... — пожимает плечами Маша. — Сейчас все пойдут на пляж. Хотите, я вас научу плавать?

— Меня? — я не знаю, что ответить.

— Да, вас. И не спорьте.

Она подхватывает мои циновки и уходит.

— Не медлите. А то утащу. И не бойтесь. Я знаю укромное местечко, где нет никого. Там даже можно купаться голышом.

20

Я возвращаюсь на остров в сумерках. Стараясь грести без всплесков, огибаю лачугу Серёги, приковываю лодку, сарай не открываю. Иду на ватных ногах к дому. Циновки держу под мышкой: хочу с утра посмотреть, что же всё-таки отобрала Файка. В пристрое слышу рыдания. Даже нет, скулёж. Словно щенку перебили лапу, и он уже устал скулить и только поскуливает. Вместе с дыханием. Вдох-выдох. Вдох-выдох.

Рыдает Ксюха. Она лежит на моей постели, мокрая от недавнего купания, и рыдает. Я откладываю циновки, сажусь рядом, нащупываю мокрое плечо, тянусь за полотенцем, вытираю её. О чём тут говорить? Рядом с женщинами, даже маленькими, нужно уметь молчать. Особенно, когда они в слезах. Молчать и быть с ними. Уходить, когда они хотят, чтобы ты ушёл, но оставаться поблизости. Слушать и слышать то, что они говорят, что не говорят и что не хотят сказать. И ни словом, ни жестом, что ты слышишь больше, чем тебе отпущено. И всегда помнить, каким было вот это рыдающее существо, — да-да, то самое, которое уже умеет курить, и способно говорить гадости, и делать гадости, и способно обидеть смертельно, и испортить жизнь кому угодно, в первую очередь самой себе; всегда помнить, каким оно было лет пятнадцать назад. Как оно ело кашу с ложечки, как сосало мамкину грудь, как играло с собственными пальчиками, а потом радовалось игрушке, книжке, платью...

Я наклоняюсь и тыкаюсь носом в ямочку на шее. Целую. Прижимаюсь колючей щекой. Ксюха поворачивается, обнимает меня, прижимается, сильно прижимается — так, словно хочет забраться внутрь меня, и начинает понемногу успокаиваться. И я обнимаю её и глажу. Поддерживаю. Держу. Держу на весу.

Уже ночью, когда на небо выкатывает луна, Ксюха успокаивается окончательно. Завёртывается в одеяло, садится рядом, кладёт голову мне на плечо. Говорит тихо.

— У тебя мамка первая?

— Нет.

— А ты у неё?

— Спроси у мамки.

— А ты никогда не жалел, что вот с теми, кто был у тебя до мамки...

Ну, что не вышло? А?

— Понимаешь, до мамки у меня не было ничего... серьёзного.
— А что такое «серьёзное»?
— Это когда глубже, чем просто так. Глубже. Когда под кожу. Внутрь.
Понимаешь?

— А если все под кожу? Как отличить?

— Не знаю.

— Как ты отличил?

— Что?

— Что мамка та самая?

— Никак.

Разве она та самая? Разве вообще была в моей жизни та самая?

— Так чего же? — Ксюха чуть отстраняется. — На удачу?

— Не знаю.

Я ведь правда не знаю.

— А глупый вопрос?

— Валяй.

— Если бы снова, ну, на двадцать лет назад?

— Всё так же.

— Почему?

Спросила так, словно ждала другого ответа.

— Потому что у меня есть вы. И мне нужны именно вы. Все. До единой. Поэтому никаких двадцать лет назад. Пусть всё остаётся, как есть.

— А мамка?

— А что мамка? — переспрашиваю я.

— Знаешь, — она вдруг ложится мне на колени грудью. — Вот Марк — хороший вроде. Но он старый... Нет, ты не старый... А Марк старый. Ну, не сопи. Он младше тебя лет на десять. Ну, и старше меня лет на двенадцать или тринадцать. Но он тусклый. Нет... так-то яркий, даже очень. И где надо, горячий. Ну, не бери в голову: я же уже не маленькая девочка. Я давно не маленькая девочка... Но он тусклый, понимаешь? Ну, остывший. Как чай. Его можно разогреть до кипятка. Он сам разогревается до кипятка, но он тусклый. Ему уже ничего не надо. Понимаешь? Нет, меня ему надо, конечно. Но...

Я слушаю Ксюху, ужасно ревную её к Марку; удивляюсь, какая она уже взрослая, вижу, какая она ещё маленькая, и спрашиваю себя: а я разве не тусклый? Я разве не остывший?

21

— **Я**, правда, знаю место, где можно купаться голышом. Да вы не смущайтесь: я же не заставляю вас купаться голышом. И сама не собираюсь. Я только хочу научить вас плавать. Уж больно нелепо вы выглядите в этом спасательном жилете. Жарко к тому же. Лето!

Да. Лето.

Мы идём вдоль заводской ограды к городскому пляжу. Уже издали я слышу крики и визг. Половина Города пытается пережить жару, забравшись в воду.

— Сюда, — зовёт меня Маша.

Она стоит у пролома в ограде. Я знаю этот пролом. Он ведёт в южную часть территории: там склады готовой продукции, особая охрана, собаки. Туда даже Филимон не суётся.

— Да не бойтесь вы! — она тянет меня за руку. — Мы же не воровать идём. Спокойно, не скрываясь, пройдем вдоль «колючки» к воде. Тут по выходным купаются многие из заводоуправления.

«Лидка», — подумал я.

— А в другие дни никого. Но охрана никого не трогает. Вот ночью я бы не советовала.

За натянутой «колючкой» и «пúтанкой» полоса в десять метров шириной, за ней опять «колючка» и «пúтанка», а дальше склады готовой продукции, в которых я не был и даже не знаю, что за готовая продукция хранится внутри алюминиевых ангаров. В Городе никто не знает. Точно никто. Потому что самые страшные секреты, вроде того, кто в заводоуправлении с кем поддерживает отношения чуть более близкие, чем дружеские, знает в подробностях даже Кузя Щербатый, а что хранится на складах — никто не знает. И про Лидку Кузя ничего не знает. Или говорит, что не знает. Мне говорит. А может быть, моя Лидка что-то вроде тех же складов с готовой продукцией?

— Да не бойтесь вы: днём они даже и не лают. Лучше улыбайтесь. Вам идёт улыбаться. С улыбкой вы естественны. А когда перестаёте — словно маску натягиваете.

Собаки лежат в пыли и жарко дышат, вывалив языки. На них строгие ошейники, от ошейников цепи ведут к кольцам, закреплённым на тросах. Тросы тянутся внутри «колючки» от столба к столбу. Невесёлая жизнь.

— Сюда, — Маша раздвигает кусты сирени, влечёт меня в сторону от утопанной тропинки. — Чтобы вы совсем успокоились, вот тут есть место, где не бывает вообще никого. Совсем. Но ещё сто метров через бурьян. Только когда будете плавать, не кричите и не фыркайте, а то провалим явку.

За сиренью, за репейником, за ржавыми станками с ЧПУ, обвитыми хмелем, за крапивой (мне поднять руки, Маше ойкать с голыми коленками), за бузиной — крохотный пляж. Пятно чистого песка пять на пять метров в раме из реликтовой мягкой травы шириной метра в два. По бокам — непроходимые заросли бузины. У самой воды снова песок и мягкие волны. Большой пляж в стороне, его почти не слышно. Впереди только кочки островов. С этой стороны города нет ни одного ближе километра.

— Раздевайтесь, — говорит Маша и начинает расстёгивать платье.

22

Утром Ксюхи уже нет. И Лидки нет. Ольга на кухне гремит чайником. Жанна, Зинка, Галка и Сонька о чём-то судачат во дворе. Точнее, судачат Зинка, Галка и Сонька, а Жанна изредка резюмирует. И речь идёт о Марке. Боже мой, они обсуждают его достоинства!.. Файка ковыряется у меня в ногах, пытается сообразить платье для плюшевого мишки из моего старого носка. Из чистого носка, разумеется. Поднимает на меня глаза.

— Не бери в голову. Они и не о таком говорят. Подожди. Они ещё будут сравнивать тебя с Марком. Просто про тебя они говорят шёпотом.

— И ты это слушаешь? — ужасаюсь я.

— Я бы заткнула уши, но с затычками ходить неудобно, — признаётся Файка. — А потом, мне это неинтересно. Пока неинтересно. Но скоро будет интересно. И вообще, лучше бы они об этом у Ксюхи спросили.

— А где Ксюха?

— С мамкой уплыла в Город. У мамки деньги появились, хотят что-то Ксюхе купить.

«Хотя что-то Ксюхе купить», — повторяю я про себя и, кажется, радуюсь.

— Ты куда? — спрашивает Файка, видя, что я одеваюсь.

— К сараю, — отвечаю я. — Надо сшивать сумки. Ты пойдёшь?

— Нет, — пыхтит Файка. — Надо мишке носок на голову натянуть.

— Кровать уберёшь?

— Ага.

— Точно сможешь?

— Точно!

Мишка отброшен, ладошки у глаз. Точно что-то затеяла, егоза. А не проверить ли мне Ольгу?

— Скажи Ольге, что я ушёл в сарай. Пусть попозже принесёт мне чего-нибудь перекусить. Скажешь?

— Ага.

Кивает, а ладошки от глаз не убирает.

— Ну, говори, что у тебя?

— Пап, а что такое сюрприз?

— Сюрприз? — я думаю. — Хороший или плохой?

— Просто сюрприз.

— Сюрприз — это такой неожиданный подарок, — я подбираю слова. — Внезапная... радость, которой не ждёшь. Что-то интересное, нужное, ценное, доброе, о чём ты не знаешь, но что тебе приготовил твой близкий человек.

— Понятно, — убирает ладошки от глаз Файка. — А то утром мамка с Ксюхой собирались в город, Ксюха что-то спросила у мамки, а та ей ответила, что для женщины всякий мужик, как сюрприз: пока штаны не снимет — не узнаешь... Пап, а у тебя тоже в штанах бывает сюрприз?..

23

Ольга появится ближе к обеду. Вместе с Сонькой. Я уже успею раскроить все оставшиеся циновки и буду усердно их клеить. Клей варится тут же в котелке. Сонька морщится от запаха, переворачивает пустой ящик, стелет на него тряпицу, берёт из рук Ольги сумку и быстро и аккуратно расставляет: бутылку с чаем, два куска хлеба, сало, зелёный огурец, лук, соль, два варёных яйца. Делает шуточный книксен и, не говоря ни слова, топает по своим делам. Маленький идеал женщины. Ольга ставит к ящику вторую сумку.

— Ленты. Кирьян был с час назад. Просил передать. Сказал, чтобы ты не расслаблялся, и он завтра-послезавтра всё заберёт. И чтобы ты не

забыл про обещанный эксклюзив. Цена будет выше. И что даже много гнать не нужно. Если всё срастётся, то чем меньше, тем дороже.

— Хорошо.

Она подходит ближе.

— Ты постель не убрал, я убрала. А Сонька посоветовала отнести тебе поесть. Садись, я помогу.

Ольга может. Они все рукодельницы. Лидка позаботилась, но Ольга лучше всех. Однажды села со мной плести — словно свежей водой меня окатила. Такие узоры, такие блики вывела, что и в голову не приходили. И теперь так же. И минуты не смотрела на мои руки, и вот же, присела к столу и делает не хуже меня.

Я ем.

— Как думаешь, у Ксюхи всё получится?

Я давлюсь яйцом.

— Почему ты не спросишь: как думаешь, у Марка всё получится?

— Марк уже получился, — объясняет Ольга. — Он уже... Понимаешь, уже... Остыл.

— Умер, что ли? — пытаюсь я пошутить.

— Нет, — Ольга думает. — В другом смысле. Он уже холодный. Отлит. Его можно уже выколачивать из формы. Он уже не изменится. А если переливать, то надо плавить. А плавить — значит, разогревать как следует. И без гарантий. Вот скажи: Ксюхе оно надо?

— Бесплезно, — говорю я.

— Что «бесплезно»? — не понимает Ольга.

— Бесплезно плавить, — говорю. — Если только расплавить и расплескать. Уничтожить. Стереть в пыль. Это да... Лучшее средство. А под другую форму бесплезно.

— Почему? — настаивает Ольга.

— Человек не меняется.

— Это как же? — она поднимает брови. — Ну, не становится лучше? Не меняется в мелочах?

— Мы же не о мелочах говорим, — поправляюсь я.

— Подожди, — она хмурится. — Но если был человек нормальным, а потом запил, превратился в мерзавца... А это что?

— Запить может каждый, а вот мерзавцем надо быть изначально, — объясняю я. — Давай так. Забудем о том, что с кем стало и кто кем стал. Забудем об обстоятельствах и превратностях. Возьмём обычного человека. Представь его, как... механизм. У него есть набор функций или опций. Что-то он может, что-то нет. Что-то делает хорошо, что-то не очень. В разных обстоятельствах работают разные его функции, но они все имеют место быть. И останутся.

— Человек не механизм, — не соглашается Ольга. — А если ты ошибаешься?

— Конечно, ошибаюсь, — не спорю я. — В конкретных случаях. Но в целом — нет.

— И какой ты? — она смотрит на меня пристально, перестаёт клеить мои сумки. — Какой ты — вот, неизменившийся с юности, один и тот же... Какой ты?

— Я? — думаю, с чего начать. — Я обыкновенный. И единственный. Изнутри единственный. Наверное, эгоист. Латентный. Всегда казалось,

что я один. Остальные — как проекция. Функция. Образы. А материальный, настоящий, — я один. Я не поменялся: просто понял, что не один. Но эгоизм остался — он всегда найдёт какие-то дырочки, чтобы устроить фонтанчик. Потом, я ленивый, сомневающийся, одновременно наглый, но с умом, хотя умным себя назвать не могу. Глупостей наделал в жизни много. Много вспоминать стыдно. Но без криминала. Но...

— Но... — оживляет меня Ольга.

— Но у меня, кажется, есть совесть, — думаю я вслух.

— И ничего не меняется? — уточняет Ольга.

— Всё меняется, — улыбаюсь я. — Вот в эту минуту я совсем другой. А завтра обернусь на эту самую минуту и увижу опять всё то же — эгоизм через самолюбование и самобичевание, глупость в том же самом, наглость, сомнения и лень там, где и всегда.

— А мама — это глупость?

Ведь глаз не сводит, паршивка. Молчу.

— Мама — это глупость?

— И да, и нет. Понимаешь, глупость в той степени, в какой глупостью пронизано всё. Глупость в том смысле, что глупы все, кто ищет одновременно и душевного, и физического соития на всю жизнь, поскольку считает вечным преходящее. Но мудрость-то в том же самом. Нашёл бы я семь золотых девонок, если бы не споткнулся на этой глупости?

— Шесть золотых, шесть! — отрезает Ольга.

— Да сколько угодно, — улыбаюсь я.

— Послушай, — теперь думает, сомневается она. — Вот скажи. Тогда... Ксении семнадцать, значит восемнадцать лет назад. Тогда, когда ты начал ухаживать за мамой. За будущей мамой. За Лидой. На что ты надеялся? Что тебе давало уверенность, что ты завоюешь её?

— Разве я уже её завоевал? — смеюсь я.

— Не отвлекайся, — морщится Ольга. — Почему ты смел надеяться, что она станет твоей? И что ты хотел ей предложить?

— Ты сейчас о брачной раскраске самца? — пытаюсь пошутить я.

— Обо всём, — отрезает Ольга.

— Хорошо, — я вытираю пальцы, глотаю из бутылки. Опять пересластила Сонька.

— Хорошо. Я думал, я верил, я старался, я был лучшим.

— То есть? — не понимает Ольга.

— Послушай, — я морщусь. — Ты заставляешь меня говорить о вещах, которые я и сам всё ещё не могу обозначить точно. Это как огонь. Ты же сама начала с того, что Марк, к примеру, уже остыл. А я не был тогда остывшим. Я пылал. И я думал, что счастье мамы вот в этом моём огне. Ей только нужно откликнуться, согласиться. И тогда всё будет хорошо. Во мне много огня, его хватит нам надолго. Очень надолго. Понимаешь, — я наклоняюсь к Ольге, — моя сила была в том, что я и вправду был уверен, что так, как люблю её я, никто не будет и не сможет её любить.

— В этом твоя глупость? — спросила Ольга.

— И в этом тоже, — вздохнул я. — Но больше всего в том, что я развёл слишком жаркий костёр. Ей не пришлось разводить свой.

— И? Твой костер прогорел?

- Нет. Не знаю. Нет. Но он её уже не согревает. Давно.
- Может быть, она привыкла к холоду? — спрашивает Ольга.
- Может быть, я привык к холоду? — отвечаю я ей.
- То есть всё? — разводит она руками. — Всё, значит, всё? Я думаю. Потом осторожно говорю.
- Не всё. Но дальше, наверное, вот так.
- Не хочу так, — надувает губы Ольга.
- Я тоже так не хочу... — вздыхаю я. — А что делать?

24

— Раздевайтесь, — говорит Маша и начинает расстёгивать платье.

Я путаюсь в пуговицах. Она отлично сложена. Не как Лидка. И дело не в возрасте. Хотя и в возрасте. У Маши чуть больше грудь, чуть уже бёдра, но фигура не мальчиковая, а спортивная.

— Качалка, — объясняет она, поймав мой взгляд. — Тут на Заводе есть. Абонемент недорогой. Тренажёры, бассейн. Сейчас немного запустила, но тут, — она проводит рукой по плоскому животу, — даже были такие... квадратики. Ничего так?

— Много чего, — решаюсь я пошутить.

— Хорошо, — она подходит к воде, отворачивается, даёт мне справиться с брюками. — Вода тёплая, — переходит на «ты», не глядя на меня. — Иди сюда.

268

СЕРГЕЙ МАЛИЦКИЙ

У неё светлый купальник. В воде он сразу намокает и становится прозрачным. Я тороплюсь войти в воду по пояс. Мои совсем не плавательные трусы вздуваются пузырьём. Она смеётся. Ложится в воду у берега. Тёплая вода чуть перекачивается через ложбинку спины. Я ложусь рядом. Она говорит тихо.

— Надо сначала привыкнуть к воде. Ничего нельзя делать насильно. Привыкнуть. Подружиться. Это как секс.

— Плавать — это как секс? — уточняю я. — Тогда я умею плавать.

— Файка — какой по счету ребёнок? — спрашивает Маша.

— Седьмой, — гордо отвечаю я.

— Марафонец, — уважительно кивает Маша и улыбается. — Или спринтер. Семь раз.

— Ну, это уж... — я пытаюсь развести руками в воде: получается, будто я похлопываю плавниками.

— Пошли, — она поднимается, показывает на мгновение ставший прозрачным треугольник трусиков и тянет меня за руку на глубину.

Дно на этом пляже песчаное, твёрдое и чистое. Редкость.

— Успокойся, — волны облизывают её грудь. — Ничего страшного. Человек сам по себе плавуч. Чтобы держаться на воде, нужно минимум движения. Когда научишься держаться на воде, тогда научишься плавать легко. Вот так.

Она вдруг изгибается, плавно входит в воду, только ступни её, словно хвост русалки на плече Серёги-болтуна, брызгают мне в лицо прощальным бульком; потом, словно огромная рыба, оплывает мои колени по дуге: впереди вздувается пузырь, голова Маши, плечи, почти сползший лифчик, тонкие, но сильные руки.

— Вот так, — повторяет она. — А теперь медленно, очень медленно ложись спиной мне на руки.

— На руки? — удивляюсь я.

— Не бойся, — она берёт меня за плечо. — Медленно, медленно.

У неё и в самом деле очень сильные руки. Или это я теряю в весе, погрузившись в воду?

— Спокойно. Вот смотри. Ты лежишь в воде. Я тебя почти не держу. Нос, рот — над водой. Можно дышать. Это очень важное положение. Так можно отдохнуть. Долго плыл, устал. Полежал на воде, отдохнул, дальше поплыл. Усилий — минимум. Да. Вытягивай руки вдоль туловища. Да. И делай лёгкие движения ладонями вниз. Словно отталкиваешься от воды. Легче. Ещё легче. Видишь? Ты не тонешь. На спине можно и плыть. Но это не теперь. Теперь давай попробуем подержаться на воде спиной вверх. Сейчас ты перевернёшься. Опять медленно. Голову при этом держи вверх. Но не туловищем её поднимай, а за счёт шеи. Понял? Давай. Медленно. Не бойся. Я держу тебя.

25

— Папка! Тебя мамка зовёт! — кричит Галка.

— Иду, — я с трудом разгибаю спину. День удался. Да и Ольга хорошо помогла, пока не убежала купаться. Мало того, что в плотных связках лежат двести готовых сумок, так ведь успел ещё и перетрясти снопы заготовленного тростника, прикинуть, сколько нужно накопить ещё да каких оттенков, так ещё и пару новых сумок успел сплести. Без углов, почти без ленты, с оплёткой только по верхнему срезу, с хорошими ручками. Опробовал плетение, без рисунка. В два оттенка — зеленоватый с золотым. Играет на солнце.

— Папка! — не унимается Галка.

— Ну иду же! — отвечаю я, закрываю сарай и отправляюсь к дому.

Дома праздник. Девчонки примеряют обновки. Светло-голубое шёлковое платье у Ксюхи. Очередная кислотная маечка и шорты у Ольги. Спортивный костюм у Жанны. Курточка с отражательными вставками у Зинки. Сарафан на лямках у Галки. пляжный комбинезон у Соньки. У Файки — ничего. Она сидит, надувшись, в углу. Я подмигиваю ей и прикладываю палец к губам. Всё будет нормально, Фаина. Завтра же.

Протягиваю новую сумку Лидке. Берёт, окидывает мгновенным взглядом, но не улыбается. Впрочем, хорошо уж, что раздражение из глаз не плещется.

— Вот, — кладёт на стол пакет. — Переоденься. А то ходишь, как... Кузя Щербатый.

Я беру пакет, иду к себе в пристрой, открываю. Внутри рубашка-ковбойка, свободные джинсы, комплект белья, кроссовки, носки, суконная курточка-жилетка с кучей карманов. Переодеваюсь. Всё в пору, словно на меня сшито. Или мой размер не меняется, или Лидка иногда поглядывает в мою сторону. Иду в гостиную. Дочери уже накрывают на стол. Моё появление вызывает хор восторженных криков.

— Все за стол! — кричит Сонька.

Я споласкиваю руки у рукомойника, сажусь с торца стола, подхватываю подбежавшую Файку.

— Ничего не забыл? — смотрит на меня Лидка.

Все замирают. Я недоумённо оглядываюсь, показываю Лидке чистые руки. Виски и мочки ушей у неё белеют. Она суживает взгляд и начинает в тишине отчеканивать слово за словом.

— Сними жилет. За стол в верхней одежде не садятся. Сколько можно повторять? Сейчас же обляпаешь всё...

26

Я опять на вёслах.

— От любви до ненависти один шаг.

— Что ты сказал? — не понимает Файка. Она сидит на корме.

— Так, — мотаю головой. — Пустое.

— А... — кивает Файка. — Я тоже часто так... Говорю что-то, а получается пустое. — Она тяжело вздыхает. — А у тебя точно есть деньги?

Деньги у меня есть. С утра пораньше у сарая нарисовался Кирьян, без лишнего разговоров забрал все сумки, посоветовал порезать на них же и последние десять циновок и «не заниматься больше разной ерундой». Потом показал липкие наклейки с чудными иностранными словами.

— Видел?

— Что это? — не понял я.

— Ты эти сумки не плёл, понимаешь? Они импортные.

— Импортные? — всё ещё не понимаю я.

— С очень дальних островов, — поясняет Кирьян. — С очень-очень-очень дальних... Вот так!

Он снимает с одной из наклеек защитную плёнку, приклеивает картинку на бок сумки, шуршит целлулоидом, превращая моё творение в заграничный продукт.

— Поэтому дальше всё только через меня и только внутри сарая! — шепчет Кирьян. — Чтобы никому... Держи деньги.

Я пересчитываю двадцать тысяч рублей, пихаю их в карман жилетки. Сейчас Кирьян закутает мои сумки брезентом и поплывёт превращать продукцию народных промыслов в таинственный заграничный и полновесные рубли. А я пойду в спальню, в которой не засыпал уже несколько лет, и вновь положу деньги в кружку с надписью «мама».

— Так, — тарачит глаза Кирьян и выхватывает у меня последнюю сумку — двойняшку Лидкиной. — А это что?

— Вот, — пожимаю плечами. — Попробовал. Я же тебе говорил. Две штуки сплёл. Вторая у Лидки...

— Сколько сделаешь таких в день? — почему-то переходит на шёпот Кирьян.

— Две, — отвечаю я, потом прикидываю, морщусь. — Если сырёе будет уже готово да доньшки заранее сладить, то и три.

— Мало, — чешет голову Кирьян. — Ладно! Посмотрим: может быть, дочек привлечёшь, кому подзаработать надо. За такую буду платить двести. А пока в качестве премии. Вот.

Я получаю в руки ещё две тысячи рублей.

— Лично от меня! — надрывно шепчет Кирьян, прыгает в лодку и толкается от берега. — Не пропадай, Улыбчивый! У тебя золотые руки! И так даже лучше, чтобы без рисунка!

Двадцать тысяч я положил туда, куда и собирался. Две тысячи прибрал в карман нового жилета. Подхватил Файку и вот уже подгребаю к пристани. Десять циновок, которые Файка отобрала, подмышкой, в кармане две тысячи, впереди — шумный рынок, над головой утреннее солнце, которое уже почти превратилось в полуденное.

— Нравится? — показываю Файке платье.

На платье два кармана, куча жёлтых цветов на салатном фоне, оборки, рюшечки, но всё в меру. Файка стягивает через голову выцветший сарафанчик седьмой доноски, ныряет в платье. Смотрит на себя в приставленное к столу уличного торговца зеркало, обнимает меня за ногу, утыкается носом в брючину, что-то шепчет. Я наклоняюсь, отколупываю от себя заплаканное лицо.

— Что ты говоришь?

— Потеряюсь, — отвечает Файка. — Я в этом платье потеряюсь на нашем лугу. Там тоже одуванчики.

— Не потеряешься, — успокаиваю я её. — Сейчас мы ещё купим тебе очень белую панамку и самые красивые сандайки. Хорошо?

— И котёнка, — просит Файка.

— И котёнка, — соглашаюсь я. — Но если мамка выгонит меня с этим котёнком из дома, тогда мне придётся уйти жить в сарай.

— Давай сразу уйдём жить в сарай, — предлагает Файка, и я понимаю, что мне очень хочется жить с ней в сарае.

— Но только до зимы! — предупреждаю я её.

27

— Так бывает, — пытаюсь я оправдаться. — У меня давно ничего не было. Поэтому так бывает.

Маша лежит рядом, уже без купальника, восхитительная и недоступная. Она улыбается. Не смеётся, а улыбается. И я начинаю понимать, что ничего не случилось: просто и в самом деле «так бывает», тем более что у меня и в самом деле давно ничего не было, а если и было, то без Лидки, а так, как водится, и вообще...

Потом, когда я наконец вспомню, что такое «быть мужчиной», когда вспомню, какво это, когда снизу в твои крылья бьёт горячий воздух, как легко лететь, когда снизу бьёт горячий воздух, как долго можно пролететь, когда снизу бьёт горячий воздух, и как прекрасно срываться в отвесном падении и снова взмывать, срываться и снова взмывать, потом, когда она, по-настоящему уставшая, замрёт возле меня, уставшего в том же липком, свежем поту, как и я, и прошепчет что-то неразличимое, потом я вдруг спрошу её:

— Зачем?

Она будет долго смотреть на меня, покусывая травинку, и когда я уже буду готов успокоиться, прошепчет:

— Просто так.

А когда мы, уже одетые, будем идти обратно вдоль колючей проволоки, добавит:

— Не заморачивайся. Когда я захочу тебя оставить, я скажу. Когда будет всё, я скажу.

— Посмотри.

Она появляется не одна. Рядом с нею высокий молодой парень, который даст мне тысячу очков вперёд. Определённо, я никогда не смогу её любить так, как любит он. Конечно, если он её любит.

— Посмотри, — она бросает на меня короткий взгляд, тайком показывает большой палец и разворачивает циновки. — Вот. Как тебе?

Он рассматривает их по очереди, потом смотрит на меня и снова рассматривает циновки. Щурится.

— Вам плохо?

— Нет, — с удивлением смахиваю капли внезапного пота со лба. — С чего вы взяли?

— Так, — он пожимает плечами. — Побелели что-то. Нет, Маш... В целом — неплохо, но сама стилистика не для современного интерьера. Тут ведь всё сюжетные вещи. А нам бы подошло что-то не так уж чётко оформленное, абстрактное. Понимаешь?

Она кивает, берёт его под руку, и они уходят. Файка, которая высунулась из-под прилавка в последний момент, замечает с какими-то почти старушечьими интонациями:

— Хороший парень. Но когда я буду в самом соку, он уже станет старичком.

— Вроде меня, — я собираюсь переложить циновки и заодно посмотреть, что выбрала Файка.

— Ты — особый случай, — не соглашается Файка. — Тебя бы я выбрала в любом возрасте.

— И в любом состоянии, — качаю я головой. — Желательно спящим.

Из всех циновок Файка оставила десять одинаковых. На всех из них серым — вода, коричневатым — пузыри островов, зелёным — щётки тростника у берега. И всё. Самые простые, самые слабые работы. Да, прав Кирьян: нужно бросать заниматься ерундой и плести сумки. Под последней циновкой листок бумаги. На нём ровным, уверенным почерком надпись: «Завтра у входа в Контору в двенадцать часов».

— Что там? — спрашивает Файка.

— Бумажка, — отвечаю я.

Вечером Лидка снова куда-то уезжает. Мы едим без неё. Ксения отварила макароны, Ольга из куриной тушки, помидоров, перца и ещё чего-то изобрела чудный соус. За столом молчанье, только позвякивают вилки да хлюпают девичьи рты, с шумом засасывая из тарелок длинные макаронины. Лидка живо бы всех построила и прекратила свинство. Я наклоняюсь над тарелкой и с шумом засасываю сразу две макаронины. Дочери следят за моими упражнениями с интересом, но повторить решаются только Сонька и Галка, остальные уже думают о фигуре. Фигура требует от них питания небольшими порциями, чтобы наполнение желудка не опережало насыщение. Файка переводит взгляд с Соньки на Ксению и не знает, кому подражать. Наконец выбирает Ксению и

продолжает чинно тыкать вилкой в тарелку. Понятно, что остаётся последней.

С криками «морской закон» дочери разбегаются, торопятся на вечернее купание, остаётся одна Ксюха. Она включает водонагреватель, моет посуду. Всю, кроме Файкиной тарелки. Файкину тарелку всегда мою я. Так я поступаю и в этот раз. Файка блаженно разваливается на продавленном диване. Ксюха садится за стол, подпирает подбородок рукой, точно как Лидка.

— Ты не спросил у мамы, куда она отправилась? — напоминает мне Ксюха.

— Угу, — вытираю я руки.

— Всё ещё не можешь простить, что она сделала аборт?

— ... сделала аборт?

Я мог бы работать эхом. Оказывается, это несложно.

— Пойдём, — Ксюха берёт меня за руку и тянет за собой. Как маленького.

— Вот, — она толкает дверь девичьей комнаты. — Смотри. Шесть кроватей. Моя, Ольгина, Жанны, Зинки, Галкина, Сонькина. Шесть, понимаешь?

Выпрямляет перед моим лицом шесть пальцев — по три на каждой ладони. Поворачивается к другой стене.

— Видишь? Шесть шкафчиков! Шесть! Пошли, пошли!

Теперь мы в гостиной. Оказывается, что в трельяже шесть полок с книгами и тетрадями. И настольных ламп, простеньких, с кривыми кронштейнами, тоже шесть. Я оборачиваюсь. Файка стоит на пороге и сосёт леденец на палочке. В самом деле, всё всего по шесть.

— Что ты молчишь? — спрашивает Ксюха.

— Корабль плывёт, — отвечаю я ей.

— Не поняла, — морщится дочь.

— Корабль плывёт, — говорю я. — Может, уже и мотор заглох, и парус порвался, но он всё ещё плывет. Понимаешь? Берег ещё далеко, но виден. Не нужно бросать якорь, чтобы начинать ремонт. Лучше его бросить там, поближе у берега. Может быть, он доплывёт и так.

Ксюха молчит. Только бледнеет, оттопыривает нижнюю губу и дует время от времени на собственное лицо. Потом медленно поднимается и уходит. Едва не сбивает Файку. Останавливается в дверях и произносит по складам:

— Я так не хо-чу!

30

Мы с Файкой устраиваемся в сарае. На коленях у неё котёнок. Он, кажется, даже не умеет мурчать. Файка его учит. Я, к её восторгу, развешиваю по стенам все десять циновок. Стелю на топчане принесённую из пристройки постель. Затягиваю окошко от комаров марлей. Зажигаю свечу. Кипячу на костре воду, завариваю чай. Достая купленный в Городе пакетик цукатов. Файка в восторге. Она сидит на топчане, гладит котёнка, тянет из эмалированной кружки чай, хрумкает сладости и довольно смотрит по сторонам.

— Здесь очень хорошо. Давай навсегда переедем в сарай. Будем жить втроём.

Я плету сумки. Завтра мне будет некогда.

— Зимой в сарае будет холодно, — объясняю я Файке. — Зимой мы вернёмся в дом.

— Вернёмся, — соглашается Файка.

— А завтра я уйду, — говорю я Файке. — Мне нужно в Город. Уйду рано. Ты ещё будешь спать. Не пугайся.

— Я не из пугливых, — жмурится Файка. — И я теперь не одна.

— Я закрою дверь сарая на крючок, — продолжаю я успокаивать Файку. — Крючок внутри. Я опущу его в петельку ножом. Так что ты будешь в безопасности.

— В безопасности, — смеётся Файка, и мне кажется, что я предаю именно её. Не Лидку, не Ксюху, не Ольгу, не Жанну, не Зинку, не Галку, а вот эту малышку с засахаренными губами.

— Красивые сумки, — говорит Файка. — Ты всё равно рисунок какой-то вытаскиваешь?

— Не могу по-другому, — признаюсь я. — Иначе тоска.

На желтоватом боку сумки вода, тростник, лодка и девичья фигурка спиной к зрителю. Она стоит в лодке и не решается прыгнуть в воду.

— Здорово... — шепчет, засыпая, Файка. — Мне сплетёшь такую же?

— Обязательно, — обещаю я. — Лучше сплету.

— Не хочу лучше, — шепчет Файка.

31

Утром я просыпаюсь от настойчивого стука в окно. Осторожно снимаю с руки головку Файки, открываю дверь. За дверью Кузя Щербатый. Переминается с ноги на ногу, оборачивается к своему дредноуту, собранному из пустых пластиковых бутылок. На дредноуте несколько охапок тростника.

— Деньги давай.

— Какие деньги? — не понимаю я.

— Кирьян сказал, что тебе нужен тростник, — морщится Кузя. — Разных цветов, не ломанный, а накошенный. Сказал, что если я наберу тебе копёшку такого тростника, ты заплатишь мне сто рублей.

— Сто рублей?

Я вглядываюсь в нарезанные Кузей снопы. Половину, конечно, на выброс, но половина пойдёт в дело.

— Ну, так будешь платить? — весь извёлся Кузя.

— Буду, — отвечаю я.

32

Зачем меня принесло на рынок? Да ушёл рано, чтобы не тащить с собой Файку, но до двенадцати ещё четыре часа. Надо их куда-то деть, а то сердце зайдётся. Поэтому я на рынке. Сажу рядом с Филимоном, закинув руки за голову, дремлю. Филимон долго молчит, потом всё-таки спрашивает:

— Половички-то твои где?
— Продал, — отвечаю ему, не открывая глаз.
— То-то я смотрю, что в обновке, — сплёвывает Филимон. — А я вчера Лидку твою видел. И Кирьяна.
— Ну и что? — спрашиваю я.

Единственное, что может изменить мою жизнь, — это новость, что кто-то видел Лидку мёртвой. Хотя, если я продолжу так же плести сумки, то однажды смогу и сам умереть по-настоящему. Ну, а если представить? Представить, что нет Лидки? Нет Лидки и нет Ксюхи, Ольги, Жанны, Зинки, Галки, Соньки, Файки? Всё есть, я есть, а их нет? Метеорит уничтожил остров? Цунами? Воронка засосала? И что дальше? Что дальше? Свобода? Нет, приятель... Смерть. Немедленная. Мучительная. И за эти мысли — особенно. Никогда. Никогда. Никогда. Идиот...

— Ты чего по голове себя кулаками долбишь? — спрашивает Филимон. — По голове бесполезно. Поверь. Хочешь сделать себе больно — щипай сам себя за сосок, да с вывертом. Вот ведь зараза: всё, что бабе на пользу, мужику во вред. Я говорю, что Лидку твою видел. И Кирьяна. Он её на пристани подкараулил, сумку из рук, считай, что вырвал, а ей в руки тысячную сунул. Ты бы поинтересовался, что за дела?

— Филимон, — спрашиваю я гончара. — Ты почему не женишься?

Филимон недовольно пыхтит. Потом нехотя отвечает:

— Ты бы ещё Кузю Щербатого спросил, чего он не женится.

— Он никому не нужен, — отвечаю я.

— Ерунда, — сплёвывает Филимон. — На всякий кусок дерьма муха найдётся. **275**

— Тогда повторяю вопрос, — почему-то я вовсе не боюсь Филимона.
— Почему ты не женишься?

В этот раз он молчит дольше, потом вдруг шепчет:

— Я, Улыбчивый, не могу так, как ты.

— А как я?

— Ты гнучий, Улыбчивый. Тебя гнут — ты гнёшься. Ветер подует — опять гнёшься. Ветер перестал дуть — выпрямляешься. А я — как горшок. Меня только разбить можно. А если не разбивать, то я сам кого хочешь разобью.

— Значит, так и будешь один маячить? — спрашиваю.

— Так и буду, — соглашается Филимон. — Если, конечно, единственную не встречу.

— А какая она должна быть, единственная? — спрашиваю я Филимона.

Он опять долго молчит, потом вдруг бросает:

— Как твоя Лидка. Или как твоя Ольга.

— А что тебя привлекает именно в них? — спрашиваю.

— Знаешь, какие перловицы у меня возле острова водятся? — вдруг сам спрашивает Филимон. — Когда вода спокойная, на мелкоте каждую можно разглядеть. Главное, Кузю Щербатого отгонять, потому что он, подлец, жрёт их. Так вот, когда вода спокойная, я смотрю на них. Где помельче — совсем мелкие. Лежат, створки врастопырку, внутри что-то бело-розовенькое колышется. Это как раз, как твоя Ольга. А чуть поглубже — большие. У них тоже розовое и белое внутри. Но они опытные,

стерегутся. Щёлку маленькую держат или вовсе на замок, и ни-ни. Вот эти — как твоя Лидка.

Повисает пауза. Я представляю лежащих на мелководе Лидку и Ольгу, Филимон тоже что-то такое же представляет, а потом вдруг говорит:

— Знаешь, почему у тебя с Лидкой не получилось?

— Это как же не получилось? — открываю я глаза. — Семь дочек!

— Семь? — сомневается Филимон, разжимает пятерню, вторую, долго загибает пальцы, потом раздражённо машет рукой. — Да какая разница? Семь, шесть... Я вот к чему. Да хоть десять. Дурное дело — нехитрое. Я про другое. Понимаешь, я хоть и не женат, но кое-что повидал. Родители у меня до сих пор живы, на Самом Большом Острове домик у них. Думают, что я тут чуть ли не начальник гончарной фабрики. Пусть думают. Так вот: у них всё не так, как у вас с Лидкой. Они другие. Я когда к ним приезжаю — поверишь, словно на солнышке погреться выбираюсь. Они, когда друг друга видят, они светятся. Радуются друг другу. Понимаешь, жизнь — такая штука: всё время откуда-то может ударить. Ветер песчинку несёт — раз тебя по щеке: вот уже царапина. Так вот: секрет в том, что нужно залеплять царапины, а не расковыривать. Понимаешь? Сколько живёшь, столько и залеплять. Но не на себе, а друг на друге. И не откусывать ничего друг от друга. Залеплять. А если откусывать, тогда люди превращаются в огрызки.

— Я не откусывал, — говорю я.

— Но и не залеплял, — пожимает плечами гончар. — Обиделся, наверное, что тебя не залепляют, а то и прикусывают при случае. А тут ведь как: отвечать за себя надо. А с остальным уж как повезёт.

— Знаешь, — говорю я гончару, с которым и не говорил толком никогда. — Знаешь, Филимон... А ведь бывает и так. Вот живут двое. Была любовь, не была, или срослось просто и застыло — неважно. Вместе живут. И один любит, а второй терпит. И чем больше один любит, тем больше второй терпит. И чем больше он терпит, тем больше ненавидит того, кто любит. И тот, кто любит, вдруг понимает, что уже не любит. Устал любить. Не может больше. Но и не любить не может. Потому что срослось. И что тогда делать?

— Вот этого я и боюсь, — вздыхает Филимон. — Потому что, если что, — я раз залеплю, второй, а потом ведь и убить могу...

33

В двенадцать я у Конторы. Жду. Сердце колотится так, что впору виски пальцами зажимать. Мальчишкой так не волновался. И ведь и любви никакой нет. Просто, словно родник, эта самая Маша. Припасть бы и не отрываться. Пока зубы не заломит.

— Второй этаж, третья дверь справа, — выглядывает Маша в окно. — И быстро!

Взлетаю по лестнице. За дверями стрекочут машинки. В коридоре накурено. На третьей двери справа надпись — «Секретная часть». Машка высовывается в коридор, быстро оглядывается, хватается меня за карман и затаскивает внутрь и, ещё защёлкивая дверь, уже припадает к моим губам и пьёт так же, как и я хочу пить из неё.

Потом, через час или через два часа, мы сидим голые на кожаном потёртом диване, пьём остывший чай и трогаем, трогаем друг друга, словно хотим убедиться, что мы есть. И я понимаю, что это, конечно, не любовь, но если и бывает любовь, то вот это отличная почва, чтобы она выросла. В такую почву и циновку брось — корнями и побегами разветвится. Но надо ли?

— Знаешь, — она смотрит на меня с каким-то странным смешком, словно боится моей усмешки и играет на опережение. — В тебе-то ничего особенного так вроде и нет. Но вот когда живёшь, живёшь, живёшь, а вокруг всё каменные истуканы, каменные истуканы, каменные истуканы, и вдруг бац — живой человек! Тогда уже всё равно, кто он. Понимаешь?

— Примерно, — отвечаю я. — Хорошо, что ты появилась. А то я уже задыхался.

— Так плохо? — делает она участливое лицо, и я мгновенно понимаю, что плакаться нельзя. Нельзя плакаться.

— Нет, нормально, — отвечаю. — Просто хочется чего-то для души. Чтобы раствориться. Очень нужно.

— Да, — тянет она и откидывается назад, кладёт ноги мне на живот.

34

Я бреду к пристани, где причалена моя лодка. Мимо катит тележку с горшками Филимон.

— Улыбчивый, а Лидка-то моторку взяла. Почти катер. С хорошим мотором.

— Да, я знаю, — вру я Филимону.

— Как дела? — ловит меня за локоть Кирьян уже у лодки.

— Нормально, — отвечаю. — Вчера сел, запозднил, но три сумки сообразил.

— Вот! — радуется Кирьян. — Новая жизнь, Улыбчивый! Твоя Лидка, я слышал, моторку купила? То ли ещё будет!

— Да, конечно, — соглашаюсь я и сажусь на вёсла. Гребу. Потом бросаю их, опираюсь локтями на колени, просто смотрю вокруг. Над моим островом торчит маяк. В маяке сильный, но тусклый Марк. Ни капли жира. А ведь он работал тогда на Заводе. Я же помню. Да, я попробовал, но не смог. Когда уходил, видел смуглого паренька. Он тогда ещё так странно на меня смотрел. Когда это было? Ольге пятнадцать... Ну, как раз... Ксюхе был год, Лидка всё не могла её от груди оторвать, но сосала Ксюха лениво, не хотела Лидкину грудь рассасывать, а от смесей отказывалась. Вот уж я тогда попрыгал с молокоотсосом вокруг Лидки. Да и самому приходилось прикладываться, чтобы грудь спасти. Ничего, кстати, особо приятного в этом не было. А потом родилась Ольга и работала отличным молочным насосом целых полтора года. А остальные дети — все, как Ксюха. Только Файка другая. Что-то я не помню, как она сосала Лидкину грудь.

А потом Марк перебрался на маяк. Подстрелил, что ли, на этом Заводе кого-то не того — не помню. Спрятался на маяке после смерти Рыжего, который всё грозил мне пальцам: упустишь Лидку, Улыбчивый,

упустишь, — да так там и остался. Я ещё ревновал тогда, даже при-сматривал. А Лидка тогда только румянилась. Всё хорошо тогда было. Как мне говорил лет десять назад Кирьян: знаешь, говорил, Улыбчивый, когда передёрнешь с какой-нибудь девицей где-то по случаю, дома — просто райский сад. Чувствуешь вину, что ли: начинаешь ухаживать за женой, она прям расцветает. Со всех сторон польза.

Польза, значит. А теперь Марк с Ксюхой. Может быть, поэтому Лидка злая? Она же видеть меня не может, я чувствую. Но уйти не могу. Некуда уйти. Я на острове. А и уйду... Далеко ли уйду? Меня же эта цепочка из семи звеньев прочнее любой другой цепи держит.

Лодку сносит. День клонится к закату, но ещё держит в запасе часа два. Файка, наверное, сидит на лугу. Гладит котёнка. Одуванчики опять обрывает. Она их обрывает, а они не убывают. Она их обрывает, а они не убывают. Какие же всё-таки живучие растения случаются. А тут — поливать перестали, и ты уже деревенеешь...

Что делать? Да ничего. Или я сам Лидке не изменял? Случалось. Всегда странно, быстро, случайно. Ни сердцу, ни чреслам. Что-то непонятное. Это по молодости простоты и яркости хочется, а потом-то — уже глубины. Без взгляда и голоса, без глаз и губ, без того, что тонет в этих глазах, и того, что звучит на этих губах, — вроде и не женщина перед тобой.

Рыжий много умных вещей говорил. Подзывал иногда меня, вытягивал ноги с большими коленями и говорил:

— А ну-ка, заберись, Улыбчивый, наверх да зажги лампу. Вечереет. А я тебе что-нибудь умное расскажу.

Я, конечно, поднимался. Двести ступеней, что мне это тогда было? А когда Рыжий умер, радовался, что отсчитывать их больше не придётся. А то ведь был бы теперь, как Марк, без единой капли жира.

И такой же тусклый.

А разве я теперь не тусклый?

Маша сказала...

В окно сказала, когда я уже вышел на улицу.

Слетел со ступеней. Не носом вниз, а как бы не наоборот. Словно крылья выросли за спиной.

В окно сказала:

— Пока.

Нет, я, конечно, и по собственному разумению всегда балансировал между дураком и придурком. Лидкиных желаний так и вовсе никогда не угадывал, как ни пытался. А тут понял сразу.

— Пока.

Четыре буквы. Зачем эти четыре буквы, когда уже и попрощались наверху, и ещё раз попрощались, и уже условились о другой встрече, и опять едва не упали на диван? А затем, что всё.

В смысле «пока».

— Ты многого хочешь, — сказал Рыжий. — А кто многого хочет, тот мало получает.

— А кто хочет малого, тот не получает ничего, — смеялся я тогда.

— Нет, парень, — качал головой Рыжий и гладил колени. — Это уж как кому повезёт. Внутри ты, конечно, можешь мечтать о разном. Но уж если глазки открыл — тогда довольствуйся. Понимаешь?

— Нет, — почти всегда отвечал я Рыжему.
— Довольствоваться — это значит получать удовольствие, — смеялся Рыжий. — А если ты довольствоваться не хочешь, тогда нечего и на удовольствии рассчитывать.

35

— Эй! — слышу я голос Кузи Щербатого.
Голос, а за ним характерный бульк.
— Эй, — тужится Кузя. — Спишь, что ли? Тростник ещё нужен? А то я мигом. Да, Улыбчивый, ты не знаешь, что можно съест от изжоги? У меня на стальные шарики какая-то странная изжога образовалась...

36

Улыбчивый. Я трогаю собственное лицо и не нахожу улыбки. Берусь за вёсла и загребая не к лачуге Серёги, а к маяку, к пляжу. Там что-то белеет. Ну, точно: опять кто-то из девчонок оставил полотенце. Но моторки нет. Значит, Лидка ещё не вернулась. Интересно, что она купила? И скажет хоть что-то? Раньше я всё пытался разговорить её, но всякий раз это заканчивалось скандалом, руганью. Самым лучшим оказалось твердить про себя, что она молодец, что она тащит семью, что женщина всегда в проигрыше, потому что все мужики козлы, и я тоже, конечно же, козёл, так что бодать можно только самого себя, да и вообще...

279

37

Я чалю лодку к песку, выхожу на берег.
Полотенце висит на воткнутом в песок суку. Под ним бумажка. На ней выведено рукой Жанны:
«Папка и мамка. Мы с Марком поехали кататься на моторке и купаться на городской пляж. Вернёмся с сумерками. Не волнуйтесь. Ксения. Ольга. Жанна. Зинаида. Галка. Софья».
Понятно. Отправились без Файки. А она, выходит, осталась одна. Может быть, даже в сарае. Её хоть покормили? Я бегу в дом. Обыскиваю комнаты. Файки нет. В пристрое у меня холодеет в груди. На моей кровати лежит Файкино платье, сандальки, панамы. В панаме спит котёнок. Я бегу к сараю. Вхожу внутрь. Файки нет. Три сплетённых мною ночью сумки висят на гвозде. Файкина чашка полна холодного чая. Луговина полна одуванчиков. Одежда на кровати — вся с этикетками и в пакетах, ненадёванная.
Я бегу к маяку. Отсчитываю ступени, перехватываю поручни. Наверху Файки нет. Снова бегу в дом. Считаю кровати. Шесть кроватей. Ничего не понимаю.
Что мне сказала однажды Сонька? Самая маленькая до Файки. Но уже пять лет не самая маленькая. Она сказала ни с того ни с сего:
— А я знаю, как буду мужа выбирать.
— И как же? — спросил я её.
— А как увижу того, на кого должны быть похожи мои дети, так и скажу: «Привет, мой муж. Иди сюда».

— А если он не пойдёт? — спросил её я.

— Не знаю, — вздохнула Сонька. — Над этим я ещё не думала. Но способ, в принципе, верный.

38

Я иду мимо дома, мимо сарая, по берегу, через лопухи, к лачуге Серёги. Нет, бывший болтун не мог обидеть Файку, но на всякий случай. Мало ли... Потом ведь не прощу себе. Впрочем, я себе и так уже ничего не прощу.

В лачуге Серёги сопение. Я осторожно открываю дверь. Моя Лидка голая — вместе с Серёгой. Сколько уж лет я не слышал вот этого сладостного полустона через стиснутые губы и шумного дыхания через нос. Они оба взмылены. «Серёженька», — шепчет она ему. Потом вдруг открывает глаза, видит меня, перекашивается, наливается слезами и горячо шепчет:

— Не-на-ви-жу!

39

Я выхожу на воздух. Бреду к пляжу, на котором сук, полотенце и записка. На ходу сбрасываю жилет. Жарко. О чём же я говорил с Машей перед лестницей и этим «пока»? Да, что-то плёл насчёт того, что неизвестно, как быть. Вот, к примеру, кто-то влюбился в кого-то. Но у кого-то имеется жена. И он не может её оставить. Даже независимо от детей. Но никак. Трудно. Трудно раздавить человека.

— Надо оставлять, — строго сказала Маша.

— Почему? — спросил я её.

— Да просто, — хмыкнула она. — Смотри. Сейчас несчастны трое. Он. Его жена. И его любовница. Примем за основу, что мы рассматриваем классическую схему. Без отягощений. Итак, несчастны трое. Он уходит к любовнице. Он счастлив. Любовница, скорее всего, счастлива. Ну, хотя бы пока. Несчастлива только жена. Но и она, опять же, изменила позицию к лучшему, имеет шансы на счастье. Понимаешь? Было три чёрных шара, остался один. Всё просто. Нужно поверять гармонию алгеброй. Выручает.

Гармонию алгеброй.

— Файка! — шепчу я, но с ужасом понимаю, что мой шёпот вдруг оборачивается криком, разлетается в стороны, ударяется об острова Кузи и Филимона и возвращается ещё более громким эхом — «ненавижу!» Становится темно. Между нашим островом и островом Кузи Щербатого клубится белый, непроглядный туман. Серёга-болтун однажды попал в такой. Вернулся к полудню — волос белый, лицо в морщинах, руки трясутся, на плече татуировка: баба с рыбьим хвостом. Я тоже хочу такую на плечо. Похоже, удачу она приносит. Тем более что плавать я уже умею.

Я сбрасываю новую ковбойку, новые джинсы, кроссовки и вхожу в воду. Пятки шкочет ил. Ил я не люблю, поэтому почти сразу ложусь на воду и плыву. Я плыву! В самом деле, плыву! И белый туман становится всё ближе и ближе. Всё ближе и ближе...

— Файка! — захлёбываюсь я от счастья.

Моя пятилетка подкараулила меня на диване, запрыгнула на живот и принялась месить крохотными кулачками мне рёбра. Я рычу и изображаю свирепого медведя. Дочка визжит. Что за Файка? Какое странное слово? Дочка! Доченька! Дочурка! Солнышко моё! Нет, дочка — самое оно. Один ребёнок, конечно, — это мало. Надо бы ещё и парня соорудить. Но дочка — класс!

— Аллё! — кричит с кухни жена. — Сонная команда! А ну-ка, на помощь! Чайник свистит, а у меня руки в муке.

Мы с дочерью наперегонки мчимся на кухню. Моя половинка и в самом деле в муке. Лепит пельмени. Смотрит на меня и смеётся.

Я ловлю дочь, отодвигаю её от страшной плиты и жгучего чайника, выключаю газ, снимаю с носика чайника свисток, смотрю на струю белого пара и пытаюсь что-то вспомнить. Что-то очень важное. Очень. Однажды я вспомню.

*«Нет, дружочек! — Это проще,
Это пуще, чем досада:
Мне тебя уже не надо —
Оттого что — оттого что —
Мне тебя уже не надо!»*

Марина Цветаева
3 декабря 1918

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СВЕТ ЩУРОВА



Долгими вечерами не гаснет свет в окне одного из древних пригородов коломенских — Щурова. Там у компьютерного дисплея идёт таинственная работа... Татьяна Башкирова набирает тексты для нашего альманаха, и эти страницы касаются не только кончиков пальцев. Они проходят через её сердце.

Татьяна Фёдоровна — всесторонне одарённый человек. Коломенцам она известна прежде всего своими проникновенными стихами. Но в «Альманахе» к ней — особое отношение. Она не только поэт, но и наш талисман, наш хранитель.

Сегодня у Башкировой юбилей.

Дорогая наша Татьяна Фёдоровна! Пусть творческое горение никогда не оставляет Вас! Пусть льётся вечерами долгий свет Щурова — словно заветная лампада в прекрасном храме!

Коллектив редакции

КОЛОМНА В 1812 ГОДУ

В центральном выставочном зале «Коломенский альманах» открыл свой первый литературно-артистический салон.



Его задача возродить традицию дореволюционной России — создать место общения для интеллигенции. Первой темой встречи избрали 200-летие Отечественной войны 1812 года. В музыкально-литературной композиции, созданной музыковедом Наталией Кочетковой, выступили актёры народного театра, студенты и преподаватели музыкального колледжа. Примечательно, что речь шла в основном о фактах малоизвестных, имеющих отношение к Коломне. Этому был посвящён и слайд-фильм, созданный в городской библиотеке имени В.В. Королёва.

Художественное чтение чередовалось с музыкальными произведениями, помогая многочисленным зрителям представить себе духовную атмосферу тех далёких дней.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕКРЕТ КАЛАБУХИНА

Сергей обладает навыками настоящего разведчика. За обликом «простого инженера» он много лет искусно скрывал натуру писателя-фантаста. Но редколлегии «Коломенского альманаха» он дорог не только своими произведениями!

Последние годы Калабухин с энтузиазмом и совершенно бескорыстно обрабатывает альманах в электронном виде и размещает его номера в Интернете. И особая благодарность коломенской писательской организации — за раздел «Пятницкие ворота».

Сергей Владимирович! В этом году тебе — 55. И пусть под знаком этих волшебных цифр твой таинственный талант в полной мере раскроется не только друзьям, но и всему миру!

Коллектив редакции

ТРИ РАССКАЗА

Свеча на ветру

— Прекрасно, мальчик! Ты становишься настоящим мастером. Вот только... — Старик отошёл от картины ученика, сел в кресло у пульсирующего жаром камина. — Я же много раз говорил тебе: пиши только то, что ты сам видел, хорошо знаешь.

Гибкий безусый юноша осторожно поставил на стол подсвечник, порывисто опустился на одно колено перед стариком.

— Но, учитель, твои рассказы о далёкой стране, где нет богатых и бедных, где все люди свободны и счастливы, где нет войн, голода и болезней, живут во мне. Я вижу цветущие города, смеющиеся лица детей и женщин, плывущих в солнечном небе на летающих кораблях!

— Мальчик, без фантазии нет гения. Тебе всего пятнадцать лет, ты ещё очень юн, но я ясно вижу твоё будущее. Тебя ждёт великая слава. — Старик подбросил полено в пылающий камин. — Пиши пейзажи, натюрморты, стражников у ворот, нищих пилигримов, торговцев. Помни, мы живём в страшном мире. Я бы давно сгорел на костре, если б не жадность и тщеславие епископа. Каждый месяц я дарю ему одно из своих полотен. Но если люди узнают, о чём я тебе рассказываю, если увидят эту твою картину, даже епископ не спасёт нас от костра.

— Эй, колдун, отворяй! — забарабанили в дверь.

Ученик мягко скользнул к окну.

— Сандрелли, придворный живописец!



Сергей Владимирович Калабухин — коломенец. Родился в 1958 году и с детских лет увлекался техникой. Высшее образование получил соответствующее — окончил факультет АСУ МИСИ. Работал на Коломзаводе наладчиком сложных станков, инженером-электроником, инженером-конструктором. Да и сегодня не расстался с родным предприятием: руководит одной из фирм при Коломзаводе.

И всё это удивительным образом сочетается с беллетристикой. Уже в десятилетнем возрасте Сергей начал сочинять фантастические рассказы. Он остаётся верен этому жанру и сейчас, хотя наряду с фантастикой пишет реалистические рассказы и литературно-исторические эссе.

В 2008 году опубликовал книгу «Лабиринт чувств», а в 2011 — сборник эссе «Спорные мысли». Печатался в местной и российской периодике, в журнале «Молодая гвардия» и, разумеется, — в «Коломенском альманахе».

Лауреат Всероссийского фестиваля авторской песни, поэзии и прозы «Господин Ветер» (2012 год).

Рассказ

— Открой. — Старик встал, сорвал с подрамника картину ученика и бросил в камин. Огонь мгновенно слизал с холста счастливые улыбки и смех летящих меж облаков людей.

Громяхая сырыми ботфортами, в мастерскую вошёл закутанный в короткий чёрный плащ высокий полный человек.

— Ты ещё жив, старый колдун? — прорычал вместо приветствия Сандрелли. Сняв широкополую шляпу с поникшими от дождя перьями, он бросил её ученику и, задев длинной шпагой за подрамники, прошёл к камину и сел в кресло хозяина.

— Вы промокли, сеньор, — склонился перед гостем старик. — Эй, мальчик, вина!

— Некогда мне пить твою кислятину, — раздражённо подёргал кошачьими усами Сандрелли. — Ты сделал то, что мне надо?

— Да, сеньор, с божьей помощью ваш слуга сделал проект нового дворца для герцога.

Ученик развернул на столе эскизы дворца. Маленькие тёмные глазки гостя зажглись, пухлые щёки затряслись. Не сдержав возглас изумления и восторга, Сандрелли вскочил с кресла и склонился над столом. Старик придвинул поближе свечи, чтобы ни одна линия не осталась незамеченной и неоценённой заказчиком.

— Ты не колдун, старик, ты — сам дьявол! — Сандрелли бросил на стол туго набитый монетами мешочек, спрятал эскизы на груди и выбежал под дождь, забывая укрыть свои свисающие до плеч кудри шляпой. Старик стряхнул с кресла натёкшую с плаща гостя воду и сел у огня. Ученик запер дверь и опустил на пол у ног старика.

— Учитель, я не понимаю, почему ты меняешь свои прекрасные картины на бездарную мазню? — спросил юноша, разбивая кочергой в мерцающую пыль остатки сгоревшего холста.

— Запомни, мальчик, важно не имя художника, стоящее на картине, а сама картина. Пусть епископ берёт мои полотна и подписывает своим именем. Меня это не волнует. Зато его уродливые творения не омрачат ничей взор, не подадут дурной пример. Пусть образцом будут мои картины и проекты, а не мазня епископа или Сандрелли. Слышишь? К нам опять стучит гость, открой.

Ученик ввёл невысокого измождённого мужчину со свёрнутым холстом в руках. С обвисших полей размокшей шляпы на потемневшую от влаги куртку струилась вода.

— Проходи сюда, к огню, обсушись, — предложил старик. — Кто ты? Хочешь обменять свою картину на одну из моих?

Ученик подтолкнул робкого гостя. Оставляя мокрые следы, тот пошёл к камину, положил рулон холста на стол и протянул к огню покрасневшие руки.

— Да, — хрипло каркнул гость. — Я не могу продать свою картину. Мне нечего есть, негде жить. Вчера я продал кисти и краски, чтобы заплатить за кусок хлеба и ночлег.

Старик то отступал назад, то подходил вплотную к холсту, чуть ли не обнюхивая его. Наконец положил руку на плечо гостя.

— Как твоё имя?

— Джузеппе.

— Я не возьму твою картину, Джузеппе.
— Бог отступился от меня, дьяволу я тоже не нужен. Что же мне теперь делать?

Старик взял гостя под руку и ввёл в соседнюю комнату. Ученик зажёт свечи. Блики огня заплясали на развешенных по стенам картинах.

— Смотри, Джузеппе, — сказал старик.

Оставив гостя одного, они вернулись в мастерскую. Старик сел в своё кресло. Отблески огня в камине окрасили алым цветом его изрезанное морщинами лицо, озарили седину длинных густых волос и мохнатых бровей. Ученик молча встал перед дымящимся паром холстом.

— Мальчик, принеси мне глоток вина. Сегодняшний день надо отметить.

— Чем же он хорош, учитель? С утра льёт дождь. К тому же ты сам не раз говорил мне, что вино губит художника.

— Ты прав, ничего не надо. Готовься в дорогу, малыш. Как только прекратятся дожди, ты отправишься в Рим.

Полуночным лунатиком в мастерскую вошёл Джузеппе.

— Мальчик, дай нашему гостю кисти и краски. Теперь он знает, чего не хватает его картине.

Мгновенье поколебавшись, Джузеппе решительно подошёл к своему просохшему холсту и твёрдой рукой нанёс несколько мазков. Мальчик одобрительно кивнул и развернул картину так, чтобы учитель заново оценил работу гостя.

— Иди к герцогу, скажи ему, что старый колдун отказался купить твою картину. Мальчик, возьми мешок Сандрелли, отсыпь Джузеппе половину.

285

Искры взлетали в чёрное небо, соперничая со звёздами. Пламя ревели, пытаясь десятками языков лизнуть кровавую луну. Но ещё громче ревели беснующаяся толпа.

— Проклятый колдун! Давно пора было его изжарить!

Тонко взвизгивая, мальчик бросался на плотную массу потных орущих фанатиков, пытаясь пробиться к горящему дому учителя, но стена тел каждый раз отшвыривала его назад. Неожиданно чьи-то сильные руки перехватили падающего на брусчатку ученика.

— Не надо, мальчик, нельзя туда. Они и тебя кинут в огонь. Учителю уже никто не сможет помочь.

— Джузеппе, за что?!

— Ты разве ничего не знаешь?

— Вчера учитель отправил меня в Рим, посмотреть вечный город. Я не смог уйти далеко: мне не понравилось, как он прощался со мной.

— Значит, он знал...

— Жги колдуна! Поджаривай дьявола! — проревел рядом знакомый голос. Сандрелли, чёрный от сажи, в прожжённом плаще, выхватывал у людей плачущие смолой факелы и швырял их через головы в бушующие пламенем окна горящего дома.

— Проклятый колдун, — рычал он, топорща опалённые кошачьи усы. — Как же мы теперь... без тебя? — Вдруг слёзы прорезали светлые полосы на полных щеках. Закрыв лицо плащом, Сандрелли исчез в тёмном переулке.

— Уйдём отсюда, — Джузеппе увлёк юношу прочь от беснующейся толпы. — Когда неделю назад я пришёл к герцогу и передал ему слова Учителя, герцог, не глядя, купил мою картину и взял меня придворным живописцем. Он сказал, что Мастер отказывается только от настоящих шедевров.

— За что они его?

— Сегодня утром все картины Мастера исчезли!

— Куда?

— Не знаю. Висят в рамках чистые холсты, без единого мазка, если не считать подписей тех, кто их присвоил. Епископ в ярости! Жаль Мастера, такая ужасная смерть.

— Нет, я не верю! Он не умер! Он улетел в свою прекрасную страну.

— Бедный мальчик, ты болен от горя. Пойдём ко мне.

Сноп огня взметнулся в небо. Грохот рухнувшего дома слился с торжествующим рёвом толпы.

— Эти безумцы радуются. Они думают, что смогли убить Мастера, что уничтожить идею, мысль, красоту так же легко, как задуть свечу. Но мы-то живы, мальчик! Мы живы, и у нас есть кисти и краски. И нас уже двое. Прости, я не знаю, как твоё имя?

— Зови меня Леонардо.

Проблема веса

Рыцарь с трудом сполз с седла. Дальше придётся идти пешком — склон становится слишком крут для коня-тяжеловеса и к тому же густо зарос каким-то колючим кустарником. Логово дракона где-то там, наверху. Вот и бурный ручей, который приведёт рыцаря прямо к пещере с сокровищами. Мальчишка-оруженосец, наслушавшись в последней на их пути таверне рассказов об огромном огнедышащем драконе, который сторожит сокровища, о десятках рыцарей, отправившихся на гору, но так и не вернувшихся назад, в последнюю минуту струсил и наотрез отказался сопровождать Питера дальше. Виногато отводя глаза, он трясушимися руками помог нацепить тяжеленные доспехи, крепко затянул кожаные завязки панциря, прикрепил к седлу копьё, шлем, щит, меч и небольшой бурдюк с вином. Из-за этого трусливого негодяя последний час плавился Питер внутри раскалившегося на летнем солнце железного панциря, потому что без помощи оруженосца он вряд ли смог бы надеть доспехи перед боем с драконом.

Подойдя к весело журчащему ручью, лязгая поножем о камни, он опустил на одно колено и умылся ледяной водой. Дышать сразу стало легче.

«Интересно, — подумал Питер, — откуда местным крестьянам известно, что этот ручей протекает совсем рядом с пещерой дракона? Ни-кто ведь живым с этой горы так и не вернулся!»

Рыцарь снял с коня своё нехитрое имущество и с помощью старого шерстяного плаща попытался увязать его в тюк. Похлопав напоследок по холке флегматично жующего травку коня, Питер, кряхтя, взвалил тюк на спину и двинулся в гору. Очень мешало длинное двухметровое копьё,

цеплялось за ветви кустарника. Из дырявого тюка регулярно что-нибудь выпадало: перчатка, шлем, кинжал. Карабкаться в гору в тяжеленном раскалённом панцире было и так весьма нелегко, поэтому рыцарь не раз проклял трусливого оруженосца.

Казалось, что время остановилось, и он уже неделю карабкается в нескончаемую гору под палящими лучами остановившегося в зените солнца. Было чёткое ощущение, что это не горный ручей шумит на камнях, а хлюпают лужицы пота в его стареньких сапогах. Уронив на землю тюк, рыцарь неожиданно хрипло закашлялся. Его давно пересохшее горло вместо хрустально чистого горного воздуха втянуло порцию отвратительной трупной вони.

«Дошёл!» — понял рыцарь.

Ручей здесь делал резкий изгиб и исчезал за нависающим скальным выступом. Берега были густо усыпаны костями, кусками гниющей плоти, ржавыми остатками доспехов и оружия.

Питера замутило. Он нагнулся к ручью, но увидел, что дно тоже усеяно жуткими останками его предшественников — охотников до чужих сокровищ. Резкий изгиб русла, пороги и железо доспехов не дали воде унести вниз ужасные свидетельства былых сражений. Бурдюк с вином рыцарь оставил притороченным к седлу коня, понадеявшись на хрустальную влагу горного ручья. Но Питер не стал пить отравленную воду. Сдерживая тошноту, он вернулся немного назад, туда, где можно было дышать чистым воздухом, сдерживая отвращение, осторожно вошёл в ручей и лёг на спину. Ледяная вода почти мгновенно охладила раскалённые доспехи и смыла усталость. Дождавшись момента, когда зубы начали выбивать от холода дробь, рыцарь встал, встряхнулся, как собака, — хорошо подогнанные доспехи не гремели, и, стараясь не поскользнуться на мокрых камнях, вышел на берег.

Расстелив на горячих камнях плащ, рыцарь улёгся на него и расслабился. Он решил отдохнуть и набраться сил перед боем. Очень хотелось есть, пить и спать, но как только жгучее солнце высушило одежду и доспехи, встал, ещё раз умылся, стараясь не слизывать капли с губ, надел тяжёлый шлем с узкими прорезями для глаз, толстые кожаные рукавицы, обшитые металлическими пластинками, нацепил на левую руку небольшой продолговатый щит. Хотел прицепить к поясу меч, но подумал, что тот будет греметь о доспехи. Вздыхнув, взял в левую руку копьё, в правую — меч и осторожно пошёл вдоль ручья, безуспешно стараясь не наступать на гниющие останки.

Обогнув скальный выступ, Питер раздвинул густые ветви прибрежного кустарника и увидел в десятке метров тёмный зев пещеры. Оказывается, ручей вытекал прямо из неё. Рыцарь не собирался лезть в логово дракона. Он хотел подстеречь, когда чудовище приползёт на водопой, и убить его. Теперь хитрый план рухнул.

«Что ж мне так не везёт-то?! — прошипел сквозь сжатые зубы рыцарь. — Оруженосец — трус, доспехи пришлось тащить самому, еды нет, питья нет, и план боя с драконом теперь новый нужен».

В раздражении рыцарь пнул трухлявое бревно, торчащее из зарослей. Неожиданно «бревно» вздулось дугой и захлестнуло человека тугой петлёй. В пяти метрах от Питера из кустарника поднялась огромная

змеиная голова, увенчанная кожистым гребнем. Жёлтые глаза с щелевидными вертикальными зрачками злобно уставились на замершего от неожиданности и ужаса рыцаря. Поднявшаяся над землёй гигантская змея и спелёнутый её хвостом воин образовали огромную греческую букву «омега». Свободной у Питера осталась только правая рука. Дракон сильнее сжал кольцо, пытаясь раздавить добычу. Половинки панциря со скрипом стали прогибаться внутрь, выжимая из груди рыцаря остатки воздуха. Питер захрипел и, в отчаянии взмахнув мечом, рубанул по «бревну». Дракон зашипел и выдохнул в лицо рыцаря облако пара. Питера спасли шлем и то, что он не мог дышать и зажмурился от боли. Рыцарь остервенело рубил мечом то, что мог достать. Брызги драконьей крови пузырились на металле доспехов. Пружина гигантской змеи резко разжалась, и Питер, словно камень из пращи, полетел со скалы в ручей. Оглушённый падением, он лежал в ледяной воде среди гниющих останков и бессмысленно глядел в сияющее над утёсом небо. Шлем от удара сорвало, в голове гудело. Рыцарь разевал рот, как выброшенная на берег рыба, пытаясь заполнить грудь воздухом, но мешал смятый чудовищной змеей панцирь. Питер с трудом сел и с удивлением посмотрел на словно молью изъеденный шлем и превратившийся в кинжал истаявший меч.

«Кислота! — понял он. — В крови и слюне чудовища сильная кислота. Вот тот «огонь», которым «плюёт» дракон в своих врагов».

Остатки меча Питер разрезал кожаные завязки панциря. Половинки разошлись, и дышать сразу стало легче. Стараясь не спускать глаз с нависшего над ручьём утёса, рыцарь задом, на ощупь, попятился к противоположному берегу. Он почти добрался, когда на фоне безоблачного неба вновь поднялась голова гигантской змеи.

— Господи, помоги мне! — в предсмертном ужасе прошептал рыцарь, глядя, как чудовище всё выше вздымает своё огромное тело.

С изумлением Питер смотрел, как раздувается бревноподобное тело змеи, словно из ниоткуда вырастают короткие передние лапы с длинными кинжалоподобными когтями, и вот уже не змея, а огромный дракон стоит на краю утёса на задних лапах и хвосте, злобно глядя на непрощенного пришельца. Неожиданно между задними и передними лапами чудовища распахнулись огромные паруса кожистых перепонки, и дракон взмыл в воздух. Глядя на падающую на него смерть, рыцарь в последнем усилии рванул назад, но упёрся спиной в прибрежный валун. Смирившись с неизбежным, закрыл глаза. Он ждал смерть, но её всё не было. Где-то рядом страшно шипел, бил крыльями и хвостом по воде дракон, а рыцарь оставался жив и невредим!

Питер открыл глаза. Бился в конвульсиях дракон, нанизавшись горлом на его торчащее вверх копьё. Тупой конец копья глубоко ушёл под камень, к которому прислонился Питер. Остриё вышло из левого глаза чудовища, туша стала проседать по древку всё ниже и ниже, грозя погresti под собой незадачливого рыцаря. Питер неуклюже выскользнул, стараясь не попасть под удар когтистой лапы или струи кислотной крови. Отбежав от агонирующего чудовища подальше, отбросил пузырящийся от драконьей крови щит и огрызок меча. Он остался совершенно безоружен!

Питер огляделся. Вокруг валялись ржавые остатки рыцарских мечей, булав и кинжалов. Наконец Питеру удалось найти неплохо сохранив-

шуюся секиру. Видимо, её бывший владелец совсем недавно пытался «освободить сокровище».

«Может, подождать, пока гад сам издохнет? — подумал рыцарь, глядя на судороги дракона. — А если нет? Кто знает, насколько эта тварь живуча? Ишь, как бьётся! Того и гляди, либо сама освободится, либо копьё выдернет. Нет, ждать нельзя!»

Рыцарь осторожно подкрался к дракону со стороны выколотого глаза и, широко размахнувшись, что есть силы рубанул чуть ниже насаженной на копьё головы. Ударом перепонки рыцаря отбросило на несколько метров. С трудом выбравшись из кустарника, Питер ошупал себя. Его вновь спас панцирь. Рёбра, кажется, целы, хотя вся грудь наверняка представляет собой сплошной синяк. Подобрал по пути выпавшую из рук секиру, рыцарь вернулся к дракону. Конечно, он не смог одним ударом отрубить тому голову, но, судя по всему, сумел перебить позвоночник. Голова чудовища, спустившись по древку копья, лежала на валуне, а бревноподобное вновь тело беспомощно извивалось в конвульсиях в ручье. Перепонки и лапы со страшными когтями исчезли. Из пасти змеи шипя и пузырясь вытекала кровь, смешанная со слюной.

Рыцарь встал в позу дровосека и, громко хакая, принялся деловито рубить. Опыта у него в этом деле не было никакого, а потому брызги крови и ошмётки мяса летели во все стороны. Хорошо, что ручка секиры была достаточно длинной, иначе наш герой не уберётся бы от «драконьего огня». Рыцарь почти полностью выбился из сил, пока ему удалось отделить голову гигантской змеи от тела. Отбросив остатки изъеденной драконьей кровью секиры и сняв остатки своих доспехов, рыцарь, забыв о брезгливости, вошёл в ручей чуть выше ядовито кровоточащих останков и умылся, не обращая внимания на кости и куски тел на дне. Потом потёр гудящую с непривычки поясницу и пошёл к пещере...

— Ну, вот и всё. Вставайте, Пётр Иванович. Как ощущения? — Мускулистый врач, живая реклама фирмы, помог Питеру сесть. — Ещё несколько сеансов, и вы станете обладателем фигуры древнегреческого атлета.

— Вы меня обманули! — хмуро сказал Питер, освобождаясь от шлема виртуальной реальности.

— Выбирайте выражения, молодой человек! — Улыбка исчезла с лица врача. — Наша фирма гарантирует, что за один сеанс продолжительностью полтора часа клиент избавится минимум от трёх килограммов лишнего веса. Вы же скинули почти пять! — Врач показал Питеру на электронное табло встроенных в топчан тренажёра весов.

— Я не об этом, — отмахнулся Питер. — Вы мне обещали, что я буду худеть в процессе захватывающего виртуального приключения. Так?

— Разумеется! Наша методика построена на этом. Когда вам снится, например, кошмар, вы просыпаетесь в холодном поту, сердце учащённо стучит в груди, мышцы напряжены и тому подобное. Вы спасались от мнимой опасности во сне, а ваш организм реагировал так, как будто всё происходит в реальности. А эротические сны? Признайтесь, Пётр Иванович, вы не раз просыпались после таких снов в соответствующем состоянии.

— В пещере дракона не было никаких сокровищ! Это обман! — выдал побагровевший Питер.

— Ах, вот вы о чём! Ваше сокровище, дорогой Пётр Иванович, это — сброшенные килограммы и накачанные мышцы, — засмеялся врач. — А победа над чудовищем — это дополнительный моральный бонус. Ну, вы же — взрослый человек, студент пятого курса нашего университета, ну сами подумайте: зачем дракону золото, алмазы и прочие драгоценности? Да и где он их возьмёт? Это же животное! Как волк или медведь. Все их желания — хорошо пожрать и безопасно поспать.

— Ничего себе бонус! — Жирные щёки Питера тряслись от возмущения. — Эта поганая змея меня чуть не убила! У меня всё тело болит.

— Уверяю вас, Пётр Иванович, вы были в полной безопасности. Наши клиенты всегда побеждают. Всегда! Никакого риска для жизни и здоровья. Фирма гарантирует. А боль естественна. Разве у вас её не было после упражнений с гантелями или обычного велотренажёра? Ваши мышцы хорошо потрудились, пока вы сражались с драконом.

Врач подал Питеру бокал какой-то зелёной жидкости.

— Вот, выпейте. Жажда-то небось мучит?

— Ещё бы! — Питер залпом проглотил прохладный напиток. — А что это?

— Стимулятор, совершенно безвредный, не беспокойтесь. Вкупе с обезболивающим. А теперь попробуйте встать. Голова не кружится? Вот и отлично! Душ за той дверью, Пётр Иванович. Там же и ваша одежда. Одноразовую пижаму, что сейчас на вас, бросьте в мусорный контейнер. На нём есть соответствующая табличка, не ошибётесь.

Разъярённый Питер в одних трусах вывалился из душа.

— Что это такое? — заорал он, выпячивая вперёд трясущуюся, как студень, грудь, на которой мокро блестело всеми цветами радуги пятно огромного синяка. — Это — ваша хваленая безопасность? А если б дракон меня укусил или забрызгал своей кровью, в каком виде я бы встал с вашего тренажёра? И встал бы вообще?

— Успокойтесь, Пётр Иванович, не надо так кричать, — озабоченно ответил врач, нажимая кнопку вызова медсестры. — Принесите успокоительное и мазь от ушибов. — Приказал он вбежавшей девушке.

— А если б дракон меня убил?! — взвизгнул в ужасе Питер, плюхаясь в кресло, ноги его не держали.

— Это исключено! — твёрдо ответил врач. — Наш клиент всегда побеждает. Ранить, а тем более изувечить его совершенно невозможно. О смерти же вообще речи не может быть. Сюжеты к нашему виртуальному тренажёру писали лучшие программисты страны. Приборы непрерывно контролируют состояние клиента и в случае малейшей опасности для его здоровья — вашего здоровья, Пётр Иванович! — немедленно прекращают сеанс.

Вошедшая медсестра ловко сделала Питеру укол и начала наносить на синяк толстый слой какой-то жёлтой вонючей мази.

— Я подам на вас в суд! — оттолкнул медсестру Питер. — За моральный и материальный ущерб. Вы обещали мне похудение в комфортных условиях, а не синяки.

— Вы, молодой человек, видимо, невнимательно читали договор. — Холодно усмехнулся врач, взмахом руки отпуская медсестру. — Там есть

пункт 23.4.13, в котором оговорено, что фирма не отвечает за последствия, если клиент окажется ярко выраженным стигматиком. Наши юристы не зря едят свой хлеб.

— Что ещё за стигматики? — растерянно пробормотал Питер. — Нет в договоре никаких стигматиков.

— Разумеется, в договоре применены научные определения и юридические формулировки. Это я для вас упростил суть. Вы ведь знаете, кто такие стигматики, Пётр Иванович? — ехидно поинтересовался врач.

— Конечно, знаю! — обиделся Питер. — Какие-то религиозные фанатики, у которых иногда появляются кровоточащие раны на руках и ногах, как у Христа, прибитого к кресту.

— Так вот, дорогой Пётр Иванович, как оказалось, вы тоже обладаете подобными способностями. То бишь ваш организм реагирует на воображаемую рану так, как будто она настоящая, и эта рана, в данном случае синяк, реально появляется на вашей груди. Это создаёт нам с вами определённую проблему.

— Вы хотите сказать, мне придётся вернуться в обычный спортзал к велотренажёрам, гантелям и штангам? — уныло протянул Питер.

— Вовсе не обязательно! — всплеснул мускулистыми ручищами врач. — Просто придётся отказаться от экстремальных сюжетов, всяких там битв и сражений, гладиаторов и пиратов, рыцарей и мушкетёров, столь любимых людьми вашего возраста. Но у нас есть масса и менее опасных в плане травматизма приключений. Альпинизм, например. Не желаете, Пётр Иванович, подняться на Джомолунгму?

— Нет, спасибо! — резко отказался Питер. — Я уже достаточно сегодня полазил по горам. К тому же мне не хочется после сеанса лечить обморожения.

— Да, простите, не подумал... — Врач вывел на экран компьютера какой-то список и начал его быстро просматривать. — А вот и то, что вам нужно! — наконец радостно воскликнул он. — «Гарем султана»! Никакого риска, масса удовольствий, и синяки только от поцелуев страстных красавиц. Фирма гарантирует потерю не менее четырёх килограммов лишнего веса за сеанс! Целый час сплошных удовольствий! Как вам такой сюжет, Пётр Иванович? Значит, ждём вас завтра. Не опаздывайте.

Интервью

Упервшись тремя ногами штатива в асфальт, на тротуаре стояла видеокамера. Мимо шли люди, не обращая на журналистов никакого внимания.

— Извините, вас беспокоит программа «Мир и молодёжь». — Молодой бородатый парень в чёрной «аляске» и зелёных вельветовых джинсах сунул микрофон ко рту остановленной посреди улицы женщины.

— Как вы относитесь к возможности контакта с инопланетной цивилизацией?

— Простите, я в этом не разбираюсь, — переложив тяжёлую хозяйственную сумку из одной руки в другую, смущённо улыбнулась женщина. — Газету почитать нет времени, не то что...

— Программа «Мир и молодежь». Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к возможности контакта с инопланетной цивилизацией?

Солидный мужчина лет шестидесяти неторопливо окинул взглядом стоящего перед ним репортёра, повернулся к его товарищу, держащему камеру, и, глядя прямо в объектив, веско ответил:

— Не верю!

— Почему так категорично? — блеснул блюдцами очков «аляска».

— С соседями договориться не можем. А вы говорите с инопланетянами.

— Здравствуйте, ребята. «Мир и молодежь». Вы студенты?

— Да.

— Как вы относитесь к возможности контакта с инопланетной цивилизацией?

— Мы — за! Обеими руками. Хоть сейчас! А что, уже сели?

— Нет. А как вы себе это представляете?

— Ну, уже давно ведь разработаны всякие там таблицы, формулы, картинки, чтобы понять друг друга. Что, вы сами не знаете?

— Извините, молодой человек, программа «Мир и молодежь». Представьте, пожалуйста.

— Иванов Павел, инженер.

— Скажите, Павел, что вы думаете о возможности контакта с инопланетной цивилизацией?

— Я думаю, что в ближайшее время такой контакт невозможен и нежелателен.

— Даже так?

— Только так.

— А можно узнать, почему?

— Это же тривиально! Представьте, сегодня на Красной площади или какой-нибудь другой площади советского города садится, грубо говоря, «летающая тарелка». Я уверен, что как только она сядет, такое начнётся! Вы что думаете, там, на Западе, позволят нам с помощью инопланетян вырваться вперёд?

— А если «тарелки» сядут и у нас, и у них одновременно?

— Всё равно. Не надо раскачивать лодку, иначе последствия будут непредсказуемы.

— Спасибо, Павел, до свидания.

— Всего хорошего!

Репортёры молча погрузили аппаратуру в старенький «уазик». «Аляска» сел на место шофёра и плавно тронул машину с места. Через полчаса они были за городом. Уже темнело. Вдоль шоссе зажглись фонари. Автомобиль свернул с дороги, проехал ещё километр и остановился. Его старенькая обшивка кусками разлетелась в разные стороны, и разведка-тер типа «малютка» с двумя космодесантниками на борту резко взмыл в звёздное небо...

Паша Иванов не спеша вошёл в свою новенькую кооперативную квартиру. Через несколько минут гиперпочта понесла его рапорт о том, что земляне наконец-то начали широко обсуждать возможности контакта.



Старинный
Парнас





Графика Василины Королёвой



Протопопов Василий Михайлович (умер в 1810 году) — писатель и переводчик. С 1787 года был преподавателем французского языка в Московской духовной академии, потом учителем риторики и поэзии в Коломенской духовной семинарии; с 1797 года — кафедральным протоиереем в Коломне, а с 1800 г. — в Туле. Протопопову принадлежат отдельные издания: «Лабиринт волшебства, или Удивительные приключения восточных принцев» (Москва, 1786), «Рассуждение о вычищении, удобрении и обогащении русского языка» (Москва, 1786), «К чему может служить досужное время» (Москва, 1789), «Способ к познанию французского языка, или Новая французская грамматика» (Санкт-Петербург, 1789), «Песнь на день прибытия коломенского епископа Афанасия в Коломну» (Москва, 1790), «Ода на день тезоименитства епископа коломенского Афанасия» (Москва, 1790), «Кто может быть добрым гражданином и верным подданным» (Москва, 1796), «Новейший письменник, или Всеобщий секретарь» (Москва, 1801; 2-е изд., 1815) и «Письма Абеяра и Алоизы» (1816). Считался в своё время хорошим проповедником. Его письма к Селивановскому и митрополита Евгения к последнему (где говорится о Протопопове) напечатаны в «Библиографических Записках» (т. 1, № 24).

Ода

Василий Протопопов

ОДА

НА ПРОШЕДШИЙ 1790 И НАСТОЯЩИЙ 1791 ГОД,
ПОСВЯЩАЕМАЯ ПРЕОСВЯЩЕНЕЙШЕМУ
А Ф А Н А С И Ю,
ЕПИСКОПУ КОЛОМЕНСКОМУ И ТУЛЬСКОМУ,
В ВОЖДЕЛЕННЫЙ ДЕНЬ
ТЕЗОИМЕНИТСТВА ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА
ГЕНВАРЯ 18 ДНЯ 1791
ОТ ПРЕДАННОГО ЕМУ СЕРДЦА К. С. РИТОРИКИ,
ПОЭЗИИ И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА УЧИТЕЛЯ
ВАСИЛЬЯ ПРОТОПОПОВА

*...Hac accipe tanto
Debita, fed fero praefita, ibura, rogo.*

Сын вечности непостижимой,
Очами бренными незримой,
Скончался престарелый год,
К своим собратьям удалился,
Веков в пучину погрузился,
Как капля в бездну многих вод;
С ним мысли и дела скончались,
Что строит в мире человек;
Чем смертные всегда прельщались,
Год ветхий всё с собой увлек.

* * *

Как ветер, бия ефир крилами,
Взвиваясь под небесами,
Хватает долу земный прах.
Крутит и к тверди поднимает,
Сжимает, рвёт и рассеивает
Пылинками во всех местах:
Так мысли смертных похищают
Четы двенадцати друзей,
Когда от мира улетают,
Теснясь во множестве веков.

* * *

Раздоры, кроволитны брани,
И дружбой соплетенны длани
Разъемлет, умирая, год;
Мечты, коварства расточает,
Рукою крепкой разгоняет
Толпы мятущихся забот;
Влечет всё цепью за собою,
Любовь и гнев, приязнь, мятеж;
Ссекает острою косою
Цвет дум, намерений чертеж.

* * *

Помедли, ветхий год, полетом,
И Музу успокой ответом,
Скажи, какую весть несешь
С собой о Муже освященном,
Премудростью приосененном?
Что в вечности о нем речешь?
Каким начнешь вещати тоном
Дела питомцев Муз Отца,
Когда предстанешь ты пред троном
Бесчисленных миров Творца?

* * *

Что сей вопрос твой означает?
(Мне тако ветхий год вещает).
Простри на Мужа взор ты свой,
Сообрази черты священины,
Представь в уме дела блаженны,
Чудяся им, о них воспой.
Хоть мира славы не умножит,
Усердьем не ослабевай;
Звук слабый слуха не встревожит,
Воспети в тишине дерзай.

* * *

Год рек, и в вечность удалился;
По нём дух детский устремился
Воспети о Тебе, Отец!
Я в лестной нахожусь надежде;
Вонми теперь, внимал как прежде,
Что будет петь младой певец.
Нет нужды в сладком Аполлоне,
Один покров мне нужен Твой;
Нет нужды в Музах, в Геликоне,
Ты буди предводитель мой.

* * *

В странах, от смертных удаленных,
Превыше облак вознесенных,
Поставлен велелепный храм;
Несчетны солнца там блистают,
Несчетны молнии сверкают,
Несносный сыпля блеск очам;
Безмолвье тихими крилами
Над кровом здания парит,
Окован вечными цепями
Угрюмый гром пред храмом спит.

* * *

Судьба существ, потупив очи,
В одежде таинственной ночи,
Стоит во храме на стране,
И книгу пред собой лежащу,
Всех смертных жребий содержащу,
Чтет косо, в скучной тишине;
Пред нею скипетры, державы
С пастушским посохом лежат,
Венцы, Царей красящи главы,
Со бледной нищетой стоят.

* * *

И се!.. Что дух мой усретае?
Мягнется, зрит, не постигает,
Не смеет очи обратить!
Богиня!.. или дух небесный?
Какая поступь! Взор прелестный
Возможет тигров укротить;
Змиеобвитый жезл в деснице,
Блится на челе луна:
Такой пристойно быть Царице,
Которой мудрость рождена!

* * *

Взирая важными очами,
Идя спокойными шагами,
К безмолвной движется Судьбе,
Пред ней колено преклоняет,
Вещати нечто начинает:
«Послушны все миры тебе,
Судьба, иль Бог! Тобой живутся
Природа, сила в существах;
Светила чрез тебя вертятся
В предписанных тобой кругах.

* * *

«Вонми твоей послушной дщери,
 Которая отверзла двери
 Вещам из хаоса во свет:
 Афиняне меня познали,
 Софией купно называли,
 А Рим Минервою зовет;
 Но время потрясло их троны:
 Забвенью предан там мой храм,
 Святые ныне я законы
 Пищу полунощным странам.

* * *

«Сократов, строгих Диогенов,
 Платонов мудрых, Каллисфенов
 В России таки я нашла;
 В Божественной ЕКАТЕРИНЕ,
 Российской Матери, Богине
 Мой истый образ обрела;
 Моя держава осияла
 Наук Российских вертоград,
 Там многих я себе снискала
 Послушных и покорных чад.

* * *

«Из сих единый Муж избранный,
 Бессмертным от тебя названный,
 Любезный есть питомец мой;
 Ко мне любовью он пылает,
 Всегда он храм мой посещает,
 Моею предводим рукой;
 Меня единую чествует,
 Презрев мятежна мира прах;
 Моей любовью знаменует
 Своей он жизни каждый шаг.

* * *

«Невежства разрушив оковы,
 Венцы он заслужил лавровы
 От щедрыя руки твоей;
 «Украсть его — сим речь скончала —
 Судьба в молчании читала
 В священной Хартии своей;
 На миг, на миг остановилась,
 Как жребий Пастыря нашла;
 Весёлость на челе явилась —
 Достоин — в тишине рекла.

* * *

Рекла — виденье вдруг сокрылось,
От глаз душевных удалилось,
Исчез, как лёгкий сон, призрак.
Я обращал повсюду очи;
Пред ними непостижной ночи
Таинственный простерлся мрак —
Не совершенно ли блаженным
Мне должно почитать себя,
Когда пред храмом освященным
Дерзал стоять в восторге я?

* * *

Достоин — Музы повторили,
Когда умам своим внушили
Сей сладкий и священный глас.
Сей глас по всем местам раздался,
В святилище наук промчался,
Воздвигнув к пению Парнасс;
Пиерид хор в согласном лике
Дерзнул, соплетши руки, петь
Хвалу сердец своих Владыке,
И благодати Его греметь.

* * *

Как тихая заря блистает,
Когда природе возвещает
Пришествие Царя светил:
Такой являла блеск отрада,
Когда наук на нежны чада
Их Аполлон щедроты лил —
Отец! теченье ветха года
Исполнено доброт Твоих;
В нём Музе лестная свобода
Дана воспеть посильный стих.

* * *

Скончался год, и за собою
рожденные одной мечтою
Дела земли детей увлек;
Их вечность скрыла в тме глубокой,
Хотя в надменности высокой
Мнил смертный жити им во век:
Волна речная в понт втекает,
Подъемля гордо гладкий верх;
Но в нём сама себя теряет,
Пещаный оставляя брег.

* * *

Ничто не есть в сем мире вечно,
И время, мчась быстротечно,
Деяний рушит всех оплот.
Гремели в мире Ромул, Греки;
Но их родили человеки,
Их не был чужд кончины род.
Страны Мемфийской пирамиды
Хребтом грозили небесам;
Но их разрушенные виды
Лежат по Ниловым брегам.

* * *

Закон сей мудрость применяет,
При тлении не умирает,
Среди бессмертия живет —
О Пастырь! Се Твоих дел доля!
Твоей души благая воля
Премудрость ставит за предмет —
Ты ей дела соизмеряешь,
Прияв в вожди Минервы нить,
Ты ей свою жизнь украшаешь,
И посему ввек будешь жить.

* * *

Год умер — новый наступает,
И паки, паки обещает
Святыню жизни Твоя;
В Тебе черты ея хранимы,
В Тебе дары небес все зримы,
Краса ты жизни своя —
Седеют веки, гибнет время,
Летят минуты на крилах;
Трудов Своих святое бремя
Несешь в бессмертных Ты часах.

* * *

Богатство, счастье земное,
Что смертный ставит во благое,
Не льстит, избранный Муж, тебя;
Тебя не сан Твой украшает,
Красу он от Тебя взымает;
Ты мудр, премудрость возлюбя;
В веселье ложном усыпленный
Лобзает смертный лишь мечты;
Ты добродетелью плененный,
Ея лобзаешь красоты.

* * *

Год Феникс паки оживился,
В Тебе с ним паки обновился
Святыней преисполнен дух:
Среди смятенныя природы,
В шумящие волненьем годы
Ты добрых душ спокойный друг —
Я паки, паки повторяю!
Не лесь слова сии родит,
Усердьем побужден, вещаю,
Что истина вещать велит.

* * *

О Боже! Ты сему свидетель!
Творец! Ты любишь добродетель,
Ты любишь моего Отца!
Ты царствуешь над временами!
Да будет Он хвалим сынами,
Ему олтарь детей сердца —
Природа в новый век вступает,
И Он вступил в свой Новый год;
Молю, да благость осеняет
Твоя Его из роды в род.



КОЛОМЕНСКИЙ ЗЛАТОУСТ

Имя Василия Михайловича ПРОТОПОПОВА (1770—1810) принадлежит к числу наиболее загадочных в истории коломенской литературы. Чрезвычайно одарённый сочинитель, ныне он практически забыт.

Откроем пятый том биографического словаря «Русские писатели. 1800—1917». В нём приводятся биографии четырёх литераторов с фамилией Протопопов, все они родились в XIX столетии. Но вот об уроженце Коломны Василии Протопопове сведений в словаре нет. А между тем это один из самых ярких представителей русской провинции XVIII века.

Василий Михайлович Протопопов прожил недолгую жизнь, но оставил по себе достойную память как писатель, поэт, переводчик. Он получил хорошее домашнее воспитание. С ранних лет проявились у Василия незаурядные литературные способности. Его отец, не лишённый литературного дара, был знаком с земляком, уроженцем села Авдотьино Коломенского уезда Николаем Ивановичем Новиковым — известным просветителем, писателем, журналистом, издателем, и однажды показал ему литературные опыты сына. В 1782 году в новиковском журнале «Городская и деревенская библиотека» были опубликованы переведённые Василием Протопоповым с французского языка «истории» — «Торжествующая добродетель».

С этого началось творческое сотрудничество Василия Протопопова с Н.И. Новиковым. Оно продолжалось до 1792 года, когда Николая Ивановича арестовали

и заточили в Шлиссельбургскую крепость как «государственного преступника». Пострадали многие близкие к Екатерине II люди. Вместе с трудами Новикова уничтожались и книги литераторов, опубликованные в его издательствах. Были сожжены книги В.М. Протопопова «Собрание сочинений в прозе и стихах» (Москва, 1789), повести «Совершенная любовь» и «Лабиринт волшебства», изданные в 1790 году.

К счастью, сам автор не был взят под стражу, но его подвергли гонениям. А до этого жизнь В.М. Протопопова складывалась вполне благополучно.

Будучи студентом философии Славяно-греко-латинской академии в Москве, Василий Протопопов в 16-летнем возрасте подготовил и 12 июля 1786 года прочитал в публичном собрании интереснейший доклад «Рассуждение о вычищении, удобрении и обогащении российского языка», чем обратил на себя внимание ректора. Доклад был напечатан отдельной книжкой.

Выпускник академии, В.М. Протопопов вернулся в родной город и был принят преподавателем риторики, поэзии и французского языка в местную семинарию. Его назначили членом консистории (епархиального управления). Было тогда молодому учителю 20 лет. И здесь Василий Протопопов встретился с бывшим ректором академии! 18 ноября 1788 года Афанасий III (Иванов) был назначен епископом Коломенским и Тульским. Владыка быстро завоевал авторитет среди просвещённого коломенского общества. Епископа уважали и ценили как умного, образованного, честного, справедливого человека. Он был дружен с коломенскими библиофилами, меценатами, сочинителями, в том числе и с Новиковым. Свою «Оду на прошедший 1790 и настоящий 1791 год» о. Василий Протопопов посвятил преосвященнейшему Афанасию.

За те 11 лет, что владыка Афанасий занимал Коломенскую кафедру, он уделял внимание зодчеству, восстановил заброшенный было Бобринев монастырь, способствовал улучшению культуры города. Коломенская семинария, старейший вуз Подмосковья, при нём достигает высокой степени развития. И не последняя заслуга в этом принадлежит о. Василию Протопопову. Епископ назначил его настоятелем кафедрального Успенского собора — должность весьма солидная. Это говорит о высокой степени доверия архиерея к своему клирику и уважении его литературного таланта. Василий Протопопов в «Оде» лестно характеризует своего наставника: «ты добрых душ спокойный друг». В пышных строках, полных барочной звучности и великолепия, поэт рисует идеальный образ церковного властителя. В его покровительстве поэт видит залог мира, духовного процветания, спокойствия.

Однако после ареста Новикова о спокойствии речи уже не шло. У талантливого священника могли возникнуть большие неприятности. Но владыка «прикрыл» его.

В 1795 г. соборного протоиерея перевели в Каширу, подальше от глаз завистников, потом — в Серпухов, позднее — в Тулу.

Но вскоре епископ возвращает своего любимца в Коломну. Несмотря на переживаемые сложности, Протопопов не переставал заниматься литературным трудом. Перед отъездом из Коломны в письме от 10 августа 1795 года Василий Михайлович написал: «Абельярда доканчиваю переводом». Спустя четыре года увидела свет поэма И.М. Геснера в пяти песнях «Авелева смерть». В первоначальном варианте титульного листа этой книги (а она хранится в библиотеке Российской академии наук) сообщалось: «На российский вновь переведена в Коломне протоиереем Васильем Михайловичем Протопоповым».

В крупнейших библиотеках России хранятся книги В.М. Протопопова: и его оригинальные сочинения, и переводы. В Москве, в Государственной публичной исторической библиотеке, в отделе редких книг на одной из полок стоит тонюсенькая книжица (всего-то десять страниц), любовно переплетённая работниками библиотеки. На её титульном листе читаю: «Ода на прошедший 1790 и настоящий 1791 год, посвящаемая преосвященнейшему Афанасию, епископу Коломенскому и Тульскому, в вожденный день тезоименитства его преосвященства генваря 18 дня 1791 от преданного ему сердца К.С. Риторика, Поэзии и Французского языка учителя Василья Протопопова».

Оды писались в торжественном, приподнятом тоне, обязателен был «благородный» язык, не допускающий «низкого просторечия» и диалектизмов. В стихотворениях этого литературного жанра предусматривалось обильное использование мифологических образов, имён древних деятелей. В названной оде В.М. Протопопова соблюдены все традиционные, свойственные этому виду поэзии атрибуты. Состоит она из 24 десятистрочий. И каждое из них — маленький шедевр, полный мощи и державинского блеска.

К сожалению, эпоха владыки Афанасия закончилась при Павле I. За свой чрезмерный интерес к просвещению епископ был переведён на Воронежскую кафедру. А Коломенскую епархию (с более чем 400-летней историей!) упразднили и кафедру перевели в Тулу. Со слезами коломенцы прощались со своим любимым архиереем. 10 мая 1799 года в доме купца-мецената Фёдора Суранова состоялось собрание, на котором присутствовал цвет общества. Звучали торжественные речи, и о. Василий Протопопов читал свою прощальную оду, посвящённую владыке...

Прошлое уходило. В 1810 году, едва достигнув 40-летнего рубежа, скончался о. Василий Протопопов. Сколько благородных дел, сколько славных замыслов не успел он осуществить!.. Но память о нём живёт в бронзовых глаголах его од.

Подготовка публикации и послесловие
Анатолия КУЗОВКИНА

АБАКУМОВСКАЯ ОСЕНЬ

Завершился II Коломенский пленэр «Абакумовская осень» имени народного художника России Михаила Абакумова.

Десять дней участники пленэра, художники Коломны и других городов, работали в Старом городе, даже забирались на колокольню храма Иоанна Богослова и кремлёвскую стену. Их впечатления остались на этюдах, часть из которых представлена на выставке в культурном центре «Дом Озерова».



Пленэры ценятся художниками ещё и за то, что дают возможность совместной работы, общения, которое рождает новую творческую энергию, новые мысли. Недаром кто-то из участников признался: «На природе мы были счастливы». Виктору Орлову, руководителю пленэра, заслуженному художнику России из Ногинска, вручили нагрудный знак «835 лет Коломне». Он сказал: «Это был пленэр единомышленников, людей, мыслящих категориями красоты и хорошего вкуса».

По традиции художники подарили городу некоторые из своих работ.

ЗАСТЫЛ НА БЕРЕГУ РЕКИ ВОДОВОЗ

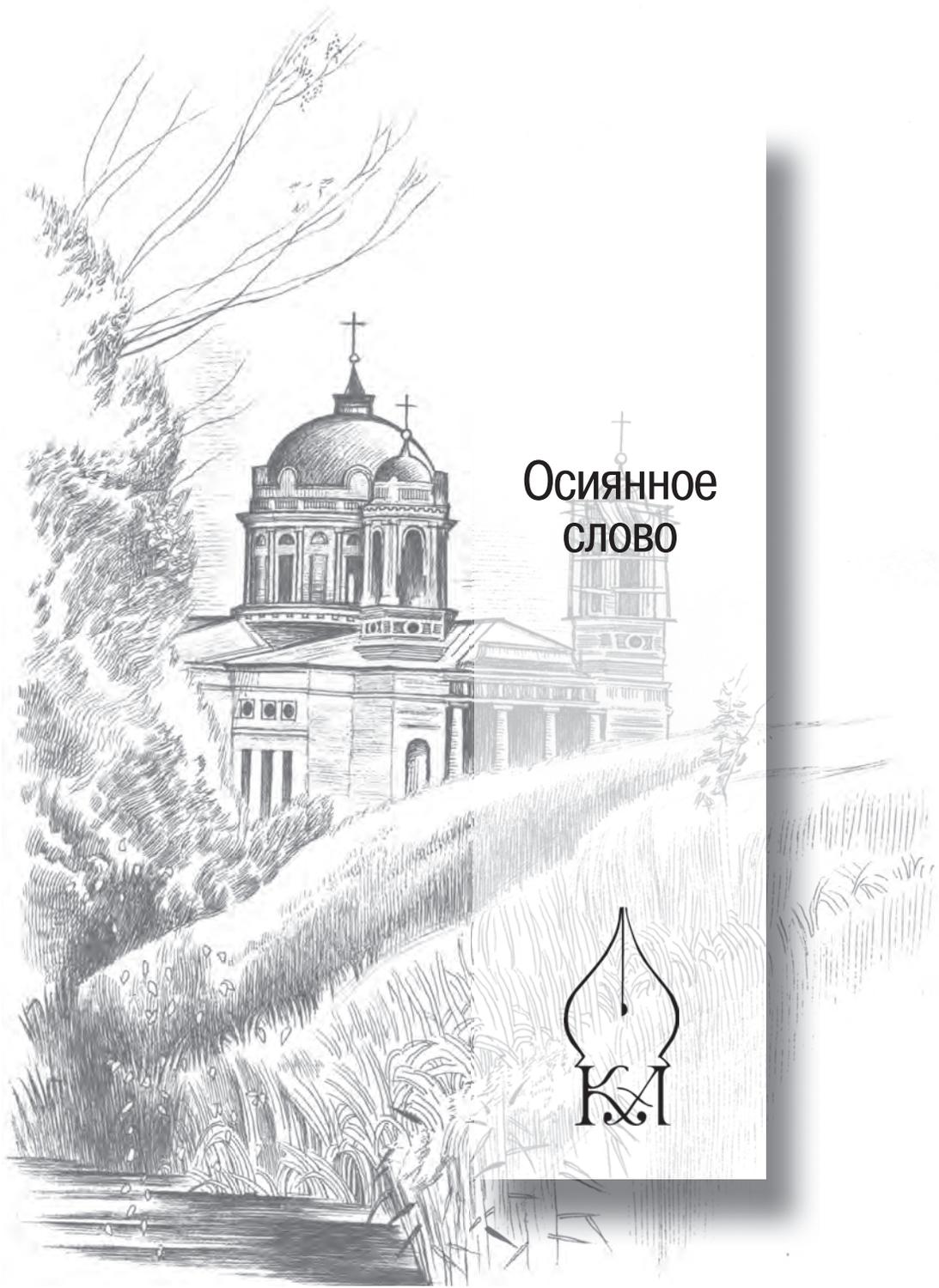


Не одно столетие жители Коломны пользовались для питья и бытовых нужд водой из открытых источников — Москвы-реки, Коломенки, Репинки, из прудов и колодцев. Горожане победнее носили воду домой в бадьях и вёдрах. Те, у кого водились денежки, покупали живительную жидкость у водовозов, развозивших её по городу в

бочках на ручных тележках или на конных повозках. После строительства в Коломне в 1902 году водопровода профессия водовоза стала постепенно исчезать. Но память о возчиках воды жила среди коломенцев.

О людях такой необходимой для жизни профессии напоминает памятник водовозу, который открыт в Коломне 6 сентября 2012 года на набережной Москвы-реки, в том месте, где к ней выходит Водовозный переулочек. Это основная дорога, по которой горожанам доставляли москворецкую воду.

Автором скульптурной композиции является коломенский кузнец Антон Якушев. А профинансировало работы ОАО «Порт Коломна» (генеральный директор В.Я. Алексеев).

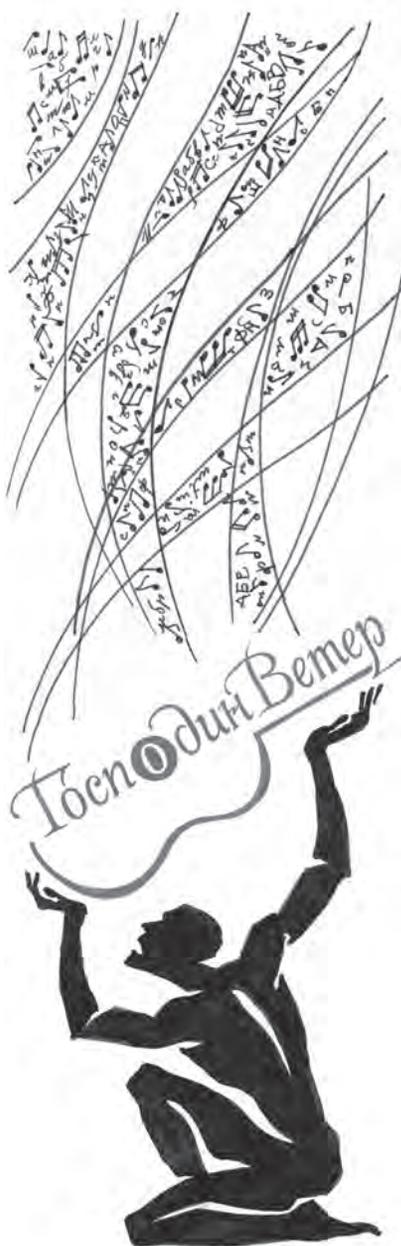


Осиянное
слово





Графика Василины Королёвой



Проза
Поэзия

«ОСИЯННОЕ СЛОВО» В КОЛОМНЕ

Уже три года на коломенской земле проходит фестиваль авторской песни, поэзии и прозы малых форм «Господин Ветер». Проект фестиваля возник летом 2009 года, когда в студенческий лагерь МГОСГИ, в село Даровое Зарайского района, приехали гости — московский литературный клуб «Послезавтра», возглавляемый членом Союза писателей России Алексеем Витковым. Финалисты Всероссийского форума литературного творчества студентов «Осиянное слово» хотели пожить на земле Достоевского, поработать и, конечно же, отдохнуть. Но отдых творческих людей особый: каждый вечер после работы ребята собирались вместе, чтобы почитать стихи, свои и чужие, попеть песни, поговорить о литературе. И вот тогда возникла идея: а если такие встречи сделать ежегодными? Но Зарайск далеко, в Коломне осуществить такую мечту гораздо легче — на этом и остановились.

Именно в Даровом определилось и основное направление фестиваля: «Наше искусство не убьёт природу, а защитит её». Поэтому задачи, которые поставили перед собой организаторы, конечно, эстетические, но и нравственные тоже, ведь, если вспомнить русскую культуру девятнадцатого века, красота и нравственность всегда были на одном полюсе. И отряд волонтеров из числа студентов МГОСГИ убирает мусор, чистит помойки в святых для русской культуры местах. И в этом году студенты работали совместно с «Песковским комбинатом строительных

материалов», входящим в группу «Евроцемент», который серьёзно поддержал наш фестиваль экономически. Вызывают восхищение руководители, которые понимают, что мы делаем одно большое общее дело, что сохранение природы и культуры — это один процесс. Андрей Юрьевич Гудожников, генеральный директор ОАО «ПКСМ», приехал на поляну к ребятам и с лёгкостью присоединился к работе. Перчатки, рабочий жилет и, помните, как в народной сказке про репку, — всем миром любое дело спорится. Всем миром — это очень важно, потому что будущее у наших детей и внуков — оно общее. И в нём должны быть красота, доброта, должны быть высокие слова и красивые звуки.

Фестиваль — это одновременно серьёзная конкурсная работа, творчество и всё-таки праздник. В 2012 году он открылся молебным пением на начало всякого доброго дела, которое провёл настоятель Иоанно-Богословского храма протоиерей Кирилл Седов, призвавший духовную поддержку фестивалю. В идеале так и должно быть, чтобы работа была праздником. Поэтому на фестивале днём — творческие мастерские, вечером — концерты гостей, ведущих мастерских, членов жюри. На коломенской земле побывали известные авторы-исполнители Ольга Чикина, Михаил Кукулевич, Григорий Данской, Ксения Полтева, Борис Подберезин, Александр Сафронов, Сергей Корычев, Павел Аксёнов, Алексей Бардин, Виктор Дурицын, ансамбль «Тибитет», Роман Филиппов, Михаил Калинин, Сергей Канунников, Лидия Чинарёва, Женис Исаков — акын из Казахстана, один из самых сильных и красивых голосов современной авторской песни. Елена Макарова из Липецка провела в Песках прекрасный ретро-концерт — тоже новая форма общения, когда вся фестивальная поляна пела вместе с ней песни, ставшие классикой жанра. Председателем жюри все три года бессменно был Алексей Витаков, работающий в разных жанрах: авторской песни, поэзии и прозы, что очень важно для специфики фестиваля. В прозаической мастерской работали писатели Владимир Крымский, Виктор Мельников и Дмитрий Коржов, журналисты Станислав Селиванов (радио «Теос») и Андрей Щербак-Жуков («Независимая газета»), критик Владимир Коркунов.

Поскольку фестиваль «Господин Ветер» входит в систему Всероссийского Форума литературного творчества студентов «Осиянное слово», лауреаты его получают путёвки на заключительный форум, который традиционно проходит в Доме творчества подмосковного Переделкина, что располагается рядом с домами-музеями Пастернака и Чуковского. Уже три года Коломна участвует в этом Форуме. И нам есть чему радоваться: студентки МГОСГИ Мария Андреева, Мария Тюльпина становились дипломантами Форума.

Любое задуманное дело большого масштаба не может осуществиться без поддержки: и к большой радости, даже к изумлению, много у нас на коломенской земле умных, заинтересованных и щедрых людей. Финансирование отряда волонтеров из числа студентов МГОСГИ обеспечивает ректор института профессор Алексей Борисович Мазуров. Основную часть хозяйственных забот взял на себя Коломенский район. Его глава, Николай Михайлович Отгясов, сразу поддержал идею, а его заместители, сотрудники администрации сделали всё, чтобы фестиваль получился творческим, значит, в чём-то непредсказуемым (ведь настоящее искус-

ство всегда обладает абсолютной свободой), но в то же время чётко организованным. И это замечательно, что власть понимает важность развития творческого отдыха, творческого досуга для жителей коломенской земли.

Хорошее дело всегда объединяет хороших людей. Главный приз фестиваля — гитару — в течение трёх лет предоставляет директор магазина «Музыкант» Арам Кочарян. В числе тех, кто бескорыстно помогал «Господину Ветру», генеральный директор ОАО «ПКСМ» Андрей Юрьевич Гудожников, генеральный директор ЗАО «Колнаг» Сергей Семёнович Туболев, Александр Онищенко — директор Коломенской оконной фабрики, директор развлекательного центра «Галактика» Сергей Сабилов, предприниматели Елена Сахарова, Станислав Кюнгат, Альберт Анохин, Светлана Налогоина, директор ветеринарного кабинета «Младший друг» Татьяна Шинкарёва, керамист из Липецка Алина Бугровская, общественные деятели Сергей Холин и Станислав Селиванов (Москва). Руководитель автоколонны 1417 Николай Николаевич Сиделёв помогает в обеспечении фестиваля транспортом. Важно, что фестиваль поддержали и общественные организации Коломны, и структуры системы образования. Наталья Николаевна Дранева, руководитель общества «Знание-Коломна», предоставляет книги для призов в поэтической и прозаической номинациях. Часть мероприятий фестиваля проводится Домом детско-юношеского туризма и экскурсий: его директор, Светлана Чистова, — любимый многими в Коломне автор-исполнитель, и педагог Александр Кондратов были также членами жюри фестиваля.

И, конечно же, бесценен труд — добровольный и бескорыстный — преподавателей и студентов МГОСГИ: Т.И. Кондратовой, И.Ф. Востриной, М.С. Добычиной, Д.О. Подчипаева, С.В. Казимировой; студентов и выпускников МГОСГИ, учеников школ № 8 и № 14, коломенских авторов-исполнителей Игоря Цейтлина, Марины Подвойской и Игоря Анохина, чьи усилия создали большой праздник. Праздник Коломенской земли — фестиваль «Господин Ветер».

Предлагаемая читателям «Коломенского альманаха» подборка включает произведения как членов жюри Форума «Осиянное слово», фестиваля «Господин Ветер» (это Михаил Кукулевич, Марина Котова, Алексей Витак, Елена Муссалитина, Татьяна Кондратова, Владимир Коркунов, Дмитрий Коржов, Валерий Балакирев), так и лауреатов и дипломантов поэтических мастерских фестивалей 2010, 2011 и 2012 годов. Надеемся, что чтение будет интересным!



МЕРКУРИЙ

отрывок из повести

...Приходит время, когда плоть становится невыносимым ярмом духу. Дух стремится вырваться на волю, подобно клинку, вылетающему с шипением из ножен. Синеватая сталь клинка становится частью Вечного Синего Неба, а плоть распадается на земле, как сломанное древко копья или оглобли арбы, перевозившей скарб и раненых.

У меня не было отца или человека, который мог бы посадить меня в детстве впереди себя на коня и рассказать, как устроена земля, кормящая нас, земля, из-за которой льются бесконечные потоки крови. Я всё познавал сам, учась у своих боевых товарищей, таких же чёрствых, грубых, подчас озлобленных, как я сам. Что же узнал я из уроков, преподанных мне самой жизнью? Всем миром правит всегда только сильный. Правда на стороне того, чей меч более быстр и крепок, а стрела молниеносна, подобно гремучей змее, и более метка, нежели другие. К побеждённым, слабым, покорившимся без сопротивления нужно относиться так, как относятся к паразитам, сосущим твоё тело. У сломленных нет никаких прав — наставляли меня — как не бывает прав у паразитов. Попробуй только начать их жалеть, как тут же появятся певцы, которые начнут плести цветистые касыды о блохастой любви к ближнему. Паразит сосёт кровь империи и существует, покуда эта империя, созданная сверхнапряжением властителей, жива. Кусает, издевается, устраивает бессонные ночи, изматывает, когда хочет насытить своё никчёмное тело жизнью. Загнать под коготь всю эту заразу очень трудно, а в условиях боевого похода невозможно. Остаётся только убивать хотя бы тех, кто сам высывается, чтобы облегчить страдания плоти. Убивать беспощадно.

Таков тысячник Хуцзир. Карьерист и тщеславец. Ему повезло родиться в знатной семье. Но бог не дал ни ума, ни силы. Только хитрость, с помощью которой он рвётся наверх. Пусть остаётся заложником в стане русских до тех пор, пока Вечное Синее Небо не рассудит всё должным образом. Если он попытается обмануть меня, не выполнив в точности приказа, — я убью его. Это будет блестящий и долгожданный повод. Дайчеу был великим воином, но терпеть рядом с собой человека, который претендовал на роль справедливого судьи твоей жизни, тоже невыносимо. Хитёр, ай, хитёр Хуцзир! Но на всякого хитрого лиса находится куда более искусный охотник. Ну да полно. Мир во власти Тенгри, пусть решает.

Китаец Чжой-линь говорит, что моё тело устало, оттого и болеет. Хотя и живёт на земле каких-то сорок лет. Да, когда-то оно было молодым и, врываясь в города, гнало впереди себя белокурых дев в белых льняных платьях, смуглых иудеек в ярких цветастых накидках, строгих

мусульманок в глухих и чёрных одеждах, полуголых чернокожих красавиц, чопорных китайских аристократок. Все они кусались, царапались, отбивались, сколько хватало сил, не желая подчиниться воле победителя. Но лишь цепкая рука начинала наматывать вокруг пальцев волосы, все эти женщины становились одинаково покорными. Всё это собачий бред, когда учёные географы пытаются провести отличия в характере разных народов. Одни, дескать, более податливы, другие строптивы, третьи коварны. Женщина хочет видеть в мужчине победителя и ей плевать, что у него на ногах: монгольские ичиги или всего лишь браслеты на голых щиколотках. Глаза их плачут, но плачут не по тем мужчинам, которых ты только что убивал, испытывая жалость не более чем к барану, а по тебе. Уж кому-кому, а женщинам хорошо известно, что их мужчины проиграли нам не потому, что мы лучше оснащены, организзованнны или более умелы, а потому лишь, что мы не являемся рабами вещей.

Мы не воспеваем роскошь, не занимаемся накопительством, не меряемся откормленными животами. Хотя так же, как все, любим тепло наших юрт и счастливые лица наших детей. Побеждает всегда тот, в ком не поселился раб. Тот, кто не перестал заботиться о духе, хотя и полюбил вещи, необходимые и полезные в быту. Племена и народы, не устоявшие перед соблазном роскоши, исчезают. Время и беспощадный ветер перетирают их до праха и пыли. То же самое происходит с их вещами, которые являлись для них светочами существования. Монголы дали возможность многим народам и племенам, погребённым под толщами вещей, родиться заново, возникнуть и утвердиться на земле.

Мужчины должны время от времени брать в руки оружие и вспоминать, что рождены не в юбке. Женщины начинают рожать на свет воинов, готовых в любой момент продемонстрировать силу, смекалку, ловкость, инженерную мысль. Ведь если осаждают твой город, используя новейшую осадную технику, значит, ты тоже должен суметь защититься передовым оружием, а его нужно изготовить. Женщины начинают рожать зодчих, которые строят не пробиваемые таранами стены кремлей, красивые храмы для своих богов, крепкие дома для своих семей. Женщины начинают рожать ремесленников, которые изготавливают непробиваемые доспехи, надёжные клинки, шьют одежду на зной и холод. А ещё певцов, хотя последних лично я не очень люблю. Поэтому женское сердце всегда любит победителя, а разум ещё какое-то время продолжает ненавидеть.

Китаец говорит, что у меня больны почки. Я не знаю, как болят почки, но каждую осень чувствую боль в семенниках. Это камни. Они шевелятся во мне, приходят в движение и с дикими резами вырываются наружу. Камни не просто так появились во мне. Я перестал быть человеком, способным произвести на свет потомство. Или просто перестал быть. Война превратила моё нутро в камни. И вместо энергии рода живут теперь они во мне. Так я думаю. И каждую осень, перед началом очередного похода, испытываю адскую боль в семенниках. Эта боль заставляет меня думать о тех, кого я должен лишить жизни. Думать о неродившихся, о живущих, о мечтающих, о детях. Даже сплю уже много лет, сидя в позе лотоса, уткнувшись лицом, словно в стену, в тепло, идущее от походного огня. Завидую тем, кто может спокойно лежать на боку или на спине. Завидую тем, у кого есть дети.

Государство — это средоточие мира отдельно взятого человека. Государство быстро зачахнет и умрёт, если не появятся новые поколения. Превратится в кучку золы и праха, который потом разметёт ветер. У меня нет детей, поэтому так нещадно болят семенники. А почки — всего лишь следствие.

Очень хочу, чтобы смоляне не вложили мечи в ножны, а выставили против меня своего вождя. Тогда, по крайней мере, я буду знать, что имею дело не с рабами. И рабская доля — не для них. Здоровый народ всегда жаль уничтожать и разрушать его творения. Я, младший темник, джихангир полутумена, буду просить перед ханом и Вечным Синим Небом за вас, смоляне. Просить и завидовать вам, потому что есть среди вас голяты. Империя, созданная великим Чингисханом, скоро рухнет. Монголы завоевали Китай и заменили степной дух хитроумными мозгами. Разрушили Самаркандское шахство и потянулись к роскоши.

Все беды всегда оттого, что человек, теряя себя, растворяется в чужом. Прошла всего каких-то пара десятков лет, и вот уже вместо юрт стали появляться сверкающие дворцы. Знатные воины оделись в золочёные доспехи, непригодные для боя, и в тонкие изысканные ткани, словно красавицы на выданье. Стали холить и лелеять тела, словно женщины в гаремах. Похоть овладела чувствами и мыслями. Но и это не всё. Мы стали посещать торговые площади, где танцуют мальчишки для утех. Мы стали кричать: «Бакча, подари мне свою улыбку или хотя бы посмотри на меня. За твою любовь, мальчик, я отдам всё своё состояние, забуду имя своё, имена отцов и детей!» Мы — покорители мира — стали беспощадными, точно евнухи.

Китаец пытается убедить меня, что болят почки. Глупец. Мудрый глупец. Он не видит и не понимает: энергия вырождения уже завладела нами. Больные семенники — начало конца. Мёртвые семенники — исчезновение. Скоро часть из нас окончательно закроется во дворцах, подчинившись вещам, а другая — клопочущим, точно русское болото, сбродом пойдёт просить милостыню. И вскоре всех нас растопчут копыта боевых коней тех, кто сохранил себя...

Хайду встал и, щурясь, посмотрел поверх языков огня вдаль, туда, где темнела бойницами и бугрилась силуэтами башен смоленская крепостная стена. Он будет ждать сутки. Больше нельзя, воины не поймут... Воины скажут мне: «Хайду, мы идём за тобой, потому что в наших сердцах живёт империя великих монголов. Рабы и вещи — не главное. Если ты всё время ищешь мира возле чужих стен, тогда зачем тебе мы? Становись послом или купцом, а про нас забудь!» И они будут правы. Каждый из них вспоминает свою юрту, любимую жену, сына, которому хочет передать свои знания и оставить достойное наследство. Но они вскочили на коней, бросив родные очаги, движимые высшей целью. Они не могут объяснить, что это за цель, но точно знают: она есть.

В те месяцы, когда не выпадает дождь, а солнце палит нещадно, степь выгорает дотла, становясь чёрной и страшной. Кочевья снимаются и уходят прочь, чтобы кормить скот и содержать семьи. Но через какое-то время возвращаются. Новое буйство трав покрыло землю от горизонта до горизонта. Выгорело всё старое и ненужное, освободив путь для

новой жизни, молодых ростков, которые потянулись вверх, к свету, наполняясь силой и мощью. Так и среди людей. Город смотрит на меня огнями окон, шумит улицами и площадями. Наслаждаюсь его речью. Восхищаюсь искусством зодчих. Но вдруг отдаю приказ: стереть его с лица земли. А всё лишь потому, что не нахожу, не чувствую жизни и дыхания единого организма. Город давным-давно стал духовным мертвецом, кладбищем с тенями бесполезных могил и с теми, кто доживает свой век, явно тяготясь существованием. Постройки, в которых обитают эти люди, тоже нельзя назвать домами: это всего лишь холодные бездушные стены и тяжёлые крыши, закрывающие небо над головой. Именно от неба и прячутся рабы, чтобы спокойно обывать и не рваться душой вверх. У них осталась жалкая привычка к жизни, они не способны защищать себя и свои семьи, не способны быть хорошим примером идущим вслед за ними поколениям. Но раб может нанести удар в спину тому, кто позволяет ему жить. Нельзя давать рабу хлеба больше того, что требует его организм, иначе он начнёт завидовать, сначала такому же, как он, потом дающему. Мне не жаль таких городов: более того, я считаю их вредными и опасными для империи. Пусть на месте пепелища появится новая жизнь.

Я устал, я очень устал от боли. Но мне не нужно сострадания — боль вызывает только гнев. Где те годы, когда моё тело легко взлетало на спину боевого коня! Я стал хуже старца, который боязливо подходит к стремяни и осторожно садится в седло. Наверно, чем-то даже напоминаю дерево, покрывающееся сетью морщин и умирающее стоя. Ствол не питается от корней, и смерть мало-помалу проникает в плоть. Мои корни болят, они умирают, и всё тело сохнет и вянет. Возможно, всё это когда-нибудь произойдёт и с племенем покорителей Вселенной...

Хайду смотрел, как лёгкий ветерок поднял с мёрзлой земли скрученный тёмно-багровый лист осины и погнал по гребню увала. Отчётливо выделялись червлёные отжившие жилки. Сам лист напоминал ссохшуюся старческую ладонь, которая призывно махала, зовя за собой, перелетая с кочки на кочку, с камня на камень, с одного мёртвого стебля на другой. Младший темник, провожая взглядом лист, еле сдерживал подступившую тошноту. Он не умел плакать, но в эту минуту ледяная волна душевной тоски оказалась сильнее воли. По глубокой тёмной морщине, идущей от глаза, поползла мутная большая слеза. Свет закатного солнца на мгновение отразился в ней и погас. Холодный воздух ночи превратит слезу в маленькую крупицу льда. Но Хайду даже не заметит — продублённая походами кожа давно потеряла чувствительность. По правую руку неспешно катил свои воды Днепр, бормоча настойчиво и распевно древние сказания о былинных героях. Седые длинные усы и борода колыхались, усеянные искорками замороженных звёзд. По левую руку затевал гуд осенний лес, наполвину голый и продрогший на ветру. И такой жутью веяло от этого леса на монгольский стан, что часовые, застывшие по периметру лагеря через каждые двадцать шагов, предпочитали не смотреть в его сторону. Хайду снова сел в позу лотоса около огня в своей юрте и, закрыв глаза, уронил голову на грудь.

ВОКЗАЛЬНЫЕ МОСТЫ

Вокзальные мосты — удивительная вещь. С одной стороны, они соединяют разные участки станции, нужны для безопасности, с другой — тревожно порой идти по ним и тяжело. Как холодно стоять на таком мосту в ожидании. И что ищем мы на этом переходе? И страшно думать, что можем найти здесь.

— Тётянька, дай хлебушка или денежку!

Слышали? И я опускаю руку в карман: там десятки бумажные, бормочу вслух что-то ласковое, а про себя: за это, говорят, много грехов прощаю. Каких грехов, откуда бы им появиться? Дом-работа-плита-стирка. Суета, в общем, суета. Не она ли мой главный грех? Я в этой суете совсем потерялась. Был бы хоть сын дома, Алёшка, — имела бы смысл такая жизнь, было б ради кого суетиться, нужно же заботиться о ком-то. Вот я и бросила сегодня работу свою, еду заботиться о муже.

А то живём с ним, как чужие люди, а ведь не старые же, совсем не старые. Мне ещё даже пятидесяти нет, а он младше на три года. Ну, у него суета — у меня суета. Вот так и грешим отдельно друг от друга. Да ладно, появятся внуки — снова объединимся: это же у всех так, правда? Ведь четверть века прожили под одной крышей. Ох, Серёжка, Серёжка... тоска...

— Прошу прощения, а поезд на Павелец с этого пути отходит?

— Нет, со второго, пойдёте вместе, я тоже его жду.

Это ко мне подошла девушка, симпатичная такая. А может быть, и обычная, просто молоденькая совсем, хотя глаза несчастные, взрослые глаза. У таких женщин возраст определить невозможно, как будто нет его вовсе. И какие беды могут быть у неё, какая тоска?

— А вы до конечной едете? — спрашиваю.

— Нет, я в Михайлове буду выходить, а вы?

— На следующей, после него. А в Михайлове у меня родственники живут.

— Можно считать, что мы с вами землячки!

Шутит. Шутит, а глаза грустные. И я тут тоже! Зачем про родственников сразу?

Зашли в поезд. По этому маршруту такой поезд интересный ходит, не транспорт — абсурд. Окурок «Узуново — Павелец»: всего два плацкартных вагона. Хотя плохого в этом мало, особенно сегодня, совсем ведь нет в вагоне людей. Я, она и три путейца в соседнем купе, даже они странно тихие. Вот тебе, Машка, твоя тоска...

— Вам грустно? — спрашивает моя попутчица.

— Ну, как... тоскливо, но я уже привыкла. А к кому ты едешь? К родителям?

— Нет... не к родителям, — и глаза как-то ещё больше погрустнели, — к жениху.

— А почему же такая грусть, раз к жениху?
— Соскучилась, мы с ним не виделись давно.
— Боишься, не узнает? — и мы рассмеялись.
— Как тебя зовут? — говорю я ей.
— Ирина. А вас?
— Не бойся, Ирин, узнает! Женихи — они такие! Глядишь — так узнает, что больше не отпустит, и будешь в Михайлове с ним варенье варить! А меня тётей Машей зови.
— Будем знакомы! На счастье? — и попутчица протянула мне руку.
— На счастье!

А может, оно так и приходит, счастье? Встретила меня вот эта Ирина на дорожном мосту... наддорожном... наддорожный мост — мост над дорогами... красиво! Встретила она меня, встретила я её, встретились мы и поехали в одном направлении, только выходит она в Михайлове. Там, кстати, свекровь жила. Я раньше, когда на выходные домой ездила, всегда в Михайлове выходила, а Серёжка меня с машиной встречал, и мы с ним уже вдвоём... Жених был... Что же она так это слово не любит — же...
— Жениха твоего как зовут?

— Сергей, — ответила Иришка, вздохнув.

Ну, надо же! Сергей! Бывает... Что ни рожка — то Серёжа! Я сейчас, должно быть, и улыбнулась. Сергей! Ох, девочка моя, знала бы ты, какая с этими Серёжами, Васями и Мишами тоска наступает... Разве, может, с каким-нибудь Робертом повеселей...

Остановка.

— Тебе выходить на следующей, — сказала я.
— Да, уже? А так хорошо едем, тихо.
— Ирин, а ты его любишь?
— Не любила бы — не терпела и не ждала, а так — ничего с собой поделать не могу. И знаете, тётя Маша, кажется, счастлива я в своём тупичке, — Иришка улыбнулась.

Удивительно, такая хорошая! Дай тебе Господь счастья! Даже не хочу спрашивать, что там у неё... да и какая разница, если улыбается...

Михайлов.

Она вышла, поезд дёрнулся, собираясь продолжить путь. Смотрю в окно: бледно-розовые стены вокзала, Ильич, окрашенный серебристой краской, пустые клумбы. Иринка... в объятиях Серёжи... моего Серё...

ЭТО ДУША

1

Я маму помню. Помню, глаза у неё всегда были грустные. Помню, что все взрослые говорили: началась война, нужно уезжать. А я тогда думал: как же, она только началась, а папа ведь уже давно на войне? Помню ещё, как мне говорили: «Ну что, Юрка, вернёшься — будешь на Фонтанке жить!» А мама смеялась, но там жить не хотела. Мы с ней собирались в эвакуацию. Мне тогда казалось, что это какая-то волшебная страна, до которой долго-долго нужно добираться, по железной дороге

ехать. А когда соседка тётя Наташа провожала нас на вокзале, я плакал и в поезд залезать не хотел, кричал... Паровоз тревожно выпускал пар. Чувствовал, что ли, что не доедем мы?

Стемнело. Мы проехали совсем немного, я только успокоился и начал рассматривать некрасивую тётю, которая сидела напротив мамы. Тётя была очень толстая, она тяжело дышала, платье у неё было такое тёмное-тёмное, но не чёрное. Я ещё всё думал: «Такая большая тётя, а она всё-таки напротив мамы сидит, или напротив меня, или напротив нас двоих?» Когда тётя задремала, её дыхание превратилось в свист. И мне показалось, что он становится всё громче и громче, громче и громче, пока свист этот не стал оглушительным. Бомбили железную дорогу, но мама была рядом...

Меня подхватили на руки. Помню, что мама шептала мне на ушко: «Ничего, Юрочка, не бойся, я всегда рядом буду», — и прижимала меня к себе. У неё тогда пальто порвалось, но она не плакала. Только холодно было очень, и руки у неё были холодные.

Мы вернулись домой. А потом началась блокада. Соседка тётя Наташа жила с нами в одной комнате. У меня был маленький стульчик, свой, личный. Главная особенность его состояла в том, что одна ножка была чуть короче других, и можно было качаться. В тот день, когда его пустили на дрова, я заболел. Думал, вырасту — обязательно такой сделаю. И сделал, конечно, сделал, когда уже на железной дороге начал работать. А тётя Наташа блокаду не пережила.

Взрослые тогда много говорили о Дороге жизни. А однажды утром мама разбудила меня, когда ещё очень темно было. Мы поцеловались с маминой сестрой тётей Надей и долго шли по обледенелому Ленинграду. Потом я спал у мамы на руках. Мы садились в большие машины, у меня сильно ноги мёрзли. И я снова слышал это слово — эвакуация. И было страшно. А глаза у мамы были грустные...

Бомбили Дорогу жизни. Маму я больше никогда не видел. Не хотела она на Фонтанке жить...

2

В семь лет я был готов стать настоящим бандитом. Часть блокады и после войны жил в детдоме, а там, знаете, не забалуешь. Вот и ходили мы с пацанами, что называлось, «на прогулку». Зайдём в трамвай переполненный, пассажиры сразу такие смурные становятся, а чего жмутся? А знают, что не просто так мы по трамваям шныряем, что могут они лишиться чего-нибудь ценного. И как только мы входили, сразу подбирали свои сумки повыше, к груди. И эта вот тоже подобрала.

Красивая женщина, я очень хорошо помню, что пальто на ней было зелёное, такое, как у мамы. Женщина в мамином пальто окинула взглядом всех пацанов и меня. Не знаю как, но я почувствовал, что смотрит она по-особенному. Нет, не с жалостью или с опаской, так обычно смотрят на беспризорников трамвайные пассажиры, а как-то по-другому.

— Юра? — позвало мамино пальто.

— А откуда вы знаете, как меня зовут? — спросил я.

— Князев?

— Да, а откуда...

И не успел я тогда закончить свой вопрос, женщина в пальто, как у мамы, уронила свою сумку на пол, и по всему трамваю рассыпалась картошка. А она обняла меня, гладит по голове и говорит: «Нашла, Леночка, нашла! Как на Ваню похож!»

Утром я готовился стать настоящим бандитом, а теперь ехал в поезде. Мерно стучали колёса, напротив сидела родная тётя Надя, в платье, как у мамы. Паровоз радостно пускал пар! Мне было семь.

3

Мы с тётей Надей жили на Фонтанке, где мама не хотела, да ещё на первом этаже. Я выучился столярному делу, мебельщиком стал. Всё собирался стульчик смастерить, как тот, что в детстве в блокаду погиб, да всё руки не доходили. Молодые были, разве до этого! Да и на фабрику ездить далеко.

Получили новую квартиру в Купчине. Прощай, Фонтанка! Только теперь на дорогу от дома до работы уходило всё время, и пришлось искать новую работу. Пришёл в депо. Мне очень понравились большие цеха: воздуха много, светло. Здесь я и сделал тот стульчик особенный, для дочки уже.

Я здесь тепловозы и электровозы ремонтировал. А ведь и паровозы ещё есть! Правда, они больше для туристов, но всё равно... От Витебского вокзала: Пушкин — Павловск. До сих пор мы их содержим. Паровоз — это душа. Услышу, как он гудит и даёт пар, и так сразу становится спокойно, будто мама шепчет: ничего, Юрочка, не бойся, я всегда рядом буду.

317

Валериан АЛЕКСАНДРОВ,
г. Пенза

ЛАВОЧКИН

Он сидел на своей любимой лавочке, напротив дома 113 по улице Докучаева, совершенно не зная, кто такой Докучаев и где он сейчас. Задиристый и упрямый, скамейку за эти два года мало с кем делил. Уступал только, если выпадала реальная угроза жизни. Но это редко, так как для своих посиделок предпочитал часы ранние и несчетные, часы дворников и «сизарей», возвращавшихся на «автопилоте» навстречу похмелью, скандалу и неумолимо приближающемуся циррозу.

«Счастье в дом ползёт», — говорила толстая тётя Валя из четвёртой квартиры, на что проходящий «сизарь», не в силах ответить, согласно мотал головой и шаркал дальше. А «счастье» тёти Вали, по имени Борис, отнесли пару лет назад на погост, по причине того же хронического «автопилота», что, впрочем, только облегчило её участь...

Валентина, добрейшей души человек, содержала и обслуживала двух внуков от сына-многожёнца, сноху (часто пропадавшую в поисках своей новой половинки) и его — Лавочкина.

По указанным обстоятельствам окно кухни у тёти Вали занималось лампочкой-сороковкой раньше всех в двухподъездной хрущёвке. Лавочкин терпеливо ждал минут пятнадцать, после чего начинал потихоньку ёрзать. Ещё через несколько минут выходила тётя Валя в наброшенном на плечи дворово-выходном потрёпанном полушубке из искусственного меха. Полушубок уже лет пятнадцать не налезал ей на руки. Бывший муж, диабет и малый достаток давно внесли свои недобрые коррективы в её гардероб. Всё, что можно, было расшито и перекроено, а всё, что нужно, так и не куплено. Неизменными за эти годы остались только её спокойные серые глаза, добрый характер с врождённой философской огранкой и неуёмное, вопреки болезням и обстоятельствам, трудолюбие. В сущности, главное не изменилось. И для Лавочкина в это зябкое мартовское утро всё было хорошо по-старому. Тётя Валя вышла в своём дворово-выходном, не застёгнутой (из-за припухлости ног) паре «прощай безрадостные годы молодые» и дешёвом платке-полушалке с воскресной барахолки. Лавочкин предусмотрительно подвинулся. Его утренняя гостыя со вздохом присела рядом и положила на колено раскрытую ладонь, в которой аппетитно парила горсть замоченного с вечера пшена.

— Лавочкин, родись в следующий раз журавлём. В тепле зимовать будешь, и мне по утрам к тебе бегать не придётся.

— Чив, — он прыгнул на ладонь, ухватился за большой палец кормилицы и принялся завтракать.

— Татьяна уж третий день домой глаз не кажет. Хоть бы позвонила, детей успокоила.

— Чив.

— Может, найдёт свою половинку, да и сладится у них как-нибудь?

— Чив, чив.

— Вот и я надеюсь. А то у сына уже третья семья, ему теперь не до Ромки с Андришкой. Так, может, сожитель Танькин слово доброе мальчишкам скажет. Как считаешь?

— Чив.

— А учатся они хорошо. Андрей даже без троек пятый класс заканчивает и Ромку по математике тянет. Надо им к лету кроссовки новые справить да джинсы недорогие. Все поистрепались.

— Чив.

— Деньги, говоришь? Наскребём. Соседка вот платье перешить просила — раз, капустки наквашу, продам — два, да и пенсию в апреле прибавить обещали. Так что держи хвост трубой, Лавочкин! Наскребём.

— Чи-и-в! — протяжно подтвердил воробей.

Он уже насытился, спрыгнул с ладони и, расчёсывая клювом перья, по секундно поглядывал на собеседницу, показывая, что весь во внимании.

Тётя Валя аккуратно стряхнула остатки пшена на краешек лавки.

— Заговорила тут с тобой. Пойду, а то каша выкипит. А ты, Лавочкин, всё-таки не улетай в тропики, оставайся воробышком докучаевским. Кроме тебя, меня и выслушать некому, а так всё веселее будет...

Она слегка коснулась мизинцем его головы, и серые грустные глаза в обрамлении ранних морщин увлажнились в отблеске первого мартовского рассвета. Его третьего и её пятьдесят восьмого...

А где-то впереди была ранняя весна, тёплое сытное лето и осень, и долгая-долгая зима...

«БАЙ-БАЙ»

В рыже-золотистом прикиде, окаймлённом ярко-вишнёвым палантинном, воронёных ботфортах, перчатках до локтей и небрежно брошенной через плечо сумкой «а ля почтальон» она летела навстречу апрельскому утру, свежа и прекрасна, как бриз с рекламы «Wellcome paradise». Мужчины всех возрастов покорных оборачивались, смотрели, щурились, плялились и обалдевали, тужась остановить мгновение...

У Светки было всё: красота, ум, чувство юмора (отягощённое приступами сарказма), здоровье, фитнес-фигура, отменный вкус почти во всём, хороший аппетит, новенькая иномарка, старая «сталинка» с евроремонтом, состоятельные родители с коттеджем, двадцать семь лет за плечами с институтом и адъюнктурой... и тысяча лет впереди!!!

По количеству алчущих взглядов это утро превосходило вчерашнее, потому как было более солнечным и тёплым. В такую погоду мужики чувствуют себя «вечно молодыми и вечно пьяными».

Светка молниеносно отвела взглядом самым симпатичным из ошарашенных «визави». Как рублём дарила. И, не сбавляя темпа, дефилировала к платной стоянке за своим бордовым «пижоном-407».

— Девушка, мы с вами нигде не...

— Не-а.

— А можно...

— Можно, 33-23-25, в 17.00, Светлана.

— Сегодня?!

— Ага, бай-бай.

«Ничего. Милый, ухоженный, выбрит. Судя по интонации, не избалован, не назойлив. Какой по счёту будет в этом году?.. Ладно, вечером отмечу», — подумала она, вынимая на ходу брелок сигнализации машины...

День выпал крайне напряжённый: десять клиентов прошло через её руки. Её и Виктора, напарника по не особо благодарной, крайне ответственной и не оставляющей права на ошибку работе.

Виктор, сероглазый русский ловелас тридцати двух лет, обаятельно-коммуникабельный, с двумя забракованными браками, больше всего на свете любил свою дочь-третьюклашку от первого брака, маму-пенсионерку, а уже потом всех проходящих женщин от двадцати до пятидесяти (уже совсем другой любовью).

— Вить, у мужиков вчера гормоналка шкалила? Из десяти восемь самцов и шестеро криминальных.

— Не знаю, Светик, я ж не самец. Я дохтур. А у них, мобудь, луна была в стоячей фазе.

— Отмойся и кофе завари, стоячий ты наш, твоя очередь.

— Ну, Светик...

— Твоя, твоя. А мне сейчас звонить должны.

— Какой счёт в твою пользу? — оживился Виктор, привычно, но с чувством облегчения снимая фартук и перчатки (маску он игнорировал, за что неоднократно получал от начальства).

— Пользы ноль, а счёт скажу, если позвонит.

— Тебе-то? Кто б сомневался!

Телефон заговорил раньше чайника. Светлана посмотрела на часы: 16.59. «Добрый вечер, педант», — подумала она и сняла трубку.

— Городской морг слушает, — прожурчало её усталое сопрано.

На том конце после секундного замешательства раздались частые гудки. — Бай-бай, — с философской грустинкой прошептала она, положив трубку. Взяла ручку и подошла к настенному календарю.

— Который, Свет? — раздалось из ординаторской сквозь звон посуды.

— Сорок седьмой.

— Зря прошлогодний календарь выбросила. Кривую «СВЕТАзарной» популярности могла бы составить. А партнёр для загса у тебя один — это я!

— Два патологоанатома в одной постели, Вить, это перебор. Всем будет страшно, а нам смешно.

— Ну да, я не красив, как Ален Делон, зато харизматичен, как Бельмондо!

— Скорее, как Жириновский. И не забалтывай, у меня вместо ушей другие фибры.

— Ну вот, и мне «бай-бай»...

— Бай, Витюша, бай, — улыбнулась она устало своими янтарными глазами, которые к вечеру становились лет на десять старше...

А на календаре «Welcome paradise» девушка её возраста бежала с красавцем бой-френдом навстречу бирюзовой бесконечности океана в первой декаде нового тысячелетия... Красивая, счастливая, беззаботная... «Бай-бай»...

Поэзия

Михаил КУКУЛЕВИЧ,
г. Купавна

* * *

Стихов кочующая стая
Взметнулась в небо надо мной.
Их разговор, в ночи растаяв,
Упал на землю тишиной.

Мокрее, чем капли с крыши,
Платок измученный в руке.
И послесловие чуть дышит,
Роняя слёзы в уголке.

РАЗГОВОР

Александрю Кушнеру

— Здесь где-то Бродский жил? — я у него спросил.
— Да вот же этот дом, там два окна с балконом, —
Сказал и помрачнел, а прежде весел был,
(По Пестеля мы шли. С концерта. Зал был полон.)
И, помолчав, сказал: «А Мандельштам?
Ахматова и Блок, Есенин с Пастернаком?
Судьбы страшны узлы, ужасен этот штамп:
Хоть разнятся пути — тупик же одинаков.
Всеобщая у всех российская беда!
И выход, выход где?» — и посмотрел куда-то.
И вдруг: «А Бродский всё же счастлив был, когда
Он нобелевским стал лауреатом».

Марина КОТОВА,
г. Москва

ЯВЛЕНИЕ ОКИ

Луга лежали, плоские, как стол.
Трава лоснилась. Пух — земной скиталец, —
Боясь запачкать стопы, тихо шёл
По воздуху поверх заросших стариц.

Поверх голов ромашек, купыря,
Покой озёр хранящих неусыпно,
Над голубым цикорием паря,
Чьи звёзды вдоль дорог июль рассыпал.

Но что мне тишь медлительная вод,
Проплешины суглинка, травы, межи.
Я всё ждала — Ока вот-вот дохнёт
Простором, силой и плотвою свежей.

Река таилась в зарослях глухих.
Ещё чуть-чуть — тропа в их блеске канет.
А дальний берег был угрюм и тих,
Он головой вздымался великаньей.

Круглились ивы аркой — и в проём,
Казалось мне, — речная синь сочится. —
Такой её — запасливее пчёл —
Хранила память в сотах золотистых.

Раскинуть руки и бежать туда.
Пусть жар и пот лиловым смоем валом.
Но там, где мне мерещилась вода, —
Над лугом небо на дыбы вставало.

И сколько раз обманывалась я!
Всё марево, и пыль, и шорх полёвок...
Река отодвигалась от меня
И жаждою росла неутолённой.

И вот когда совсем немоготу
Мне стало — вдруг открылась вся для слуха,
Окликнула на крепнущем ветру,
Заохала, заокала над ухом.

И вся она — до плеска тальника —
Сверкание и трепет, волны, плёсы —
Была бела, черна и глубока,
И неоглядна, как открытый космос.

* * *

Есть дикий сад на берегу Оки.
(Он муравьями разве что исхожен,
Да изредка заглянут рыбаки) —
Остаток сада райского, быть может.

И в ярьей зной, когда цветы лицо
От солнца прячут в темень травных складок,
Здесь яблони хранят, как мать птенцов,
Под ветками хрустальную прохладу.

Проточный воздух зачерпнув рукой,
Здесь пьёшь и пьёшь, не утоляя жажды.
Здесь время медлит золотым жуком
В листве шумящей, и густой, и влажной.

Так сладко пахнут паданцы в траве,
И жизнь идёт таким неспешным шагом,
Что можно, подбородок подперев,
Сидеть веками на стволе шершавом.

Смотреть, как, раздвигая берега,
Из синей дали вдоль лесистых склонов,
Качая отраженья звёзд, Ока
Спешит потоком света неземного.

* * *

Мне бы снова туда, где в печи
Пухнет тесто, румянцем играя,
Где коровьему стаду кричит
Косоротая тётка Аглая.
Пахнут ранним покосом слова.
Пыль вздымают артритные ноги:
«Ну же, девоньки, ну же, давай!»
Ну же, родненькие, — по дороге!»
И послушное стадо, мыча,
Мирно тянется, словно бы знает,
Как в подушку мычит по ночам
Одинокая тётка Аглая.
Как темно в её доме... И как
Детвора старой ведьмою дразнит...
А ей нет ещё и сорока —
Тьма лежит на отёках подглазий.
Тётка, тётка Аглая, печаль,
Ты меня сквозь пространство и время
В темноте упырём постращай.
И, как в детстве, тебе я поверю.
Сяду так, чтобы боль твоих глаз
Вновь меня в сорванца превратила.
Будет стройно бежать твой рассказ
По моим ещё тоненьким жилам.
Мне бы снова туда, где в ночи
Совы ухают, ветви качая,
Где сидит у остывшей печи
Косоротая тётка Аглая.
А наутро — лишь вздрогнет трава
От росы — она вновь на пороге:
«Ну же, девоньки, ну же, давай,
Ну же, родненькие, — по дороге!»

* * *

Вверху, над росчерком дорог,
В тягучем, замкнутом полёте
Кружит седой от пепла Бог
На обгорелом вертолёте.
Старлей Печорин сед, как дым,
Кричит: «Не спать!» — голодной роте.
Вверху кружит, кружит над ним
Бог в обгорелом вертолёте.
Скрип-лип-лели.

Трим-лим-люли.
Пой, тётя Поля.
Спи, дочь Юля.

Война решила всё за всех,
Укрывшись снайпершею в доте.
Старлей Печорин смотрит вверх
На Бога в чёрном вертолёте.
Харону — лодка и весло.
Спирт — одистрофившей пехоте.
Трёт деревянное чело
Бог в обгорелом вертолёте.

Всё явственней жужжанье мух,
Вскипевших над имперской бронзой.
Вороний князь немного сух
И даже ангельски тверёзов.
Харон над заревом плывёт,
Но на земле не до Харона.
Печорин делит в вертолёт.
И в автомате два патрона.

Скрип-лип-лели.
Трим-лим-люли.
Плачь, тётя Поля.
Спи, дочь Юля.

Елена МУССАЛИТИНА,
г. Москва

СОЧИНИТЕЛИ

Позади — прощёные грехи.
Впереди — в конце тоннеля свет.
Он умеет сочинять стихи
И давно решил, что он — Поэт.

У него — успех у зрелых дам
И незрелых, ветреных голов.
Молод, а умён не по годам.
Он умеет сочинять любовь.

Он боится наступить на грязь,
Длинный шарф на шее теребя.
И зачем игрой я увлеклась,
Так бездумно сочинив тебя?

* * *

Я наслаждаюсь тишиной
И серебристым летом.
А тот, кто прежде был со мной,
Считал себя поэтом.

Он говорил так много слов,
Что в голове жужжало.
И от него, в конце концов,
Я попросту сбежала.

Какое счастье быть одной —
Без рифм и без сонетов!
Я наслаждаюсь тишиной
И не ищу поэтов.

Татьяна КОНДРАТОВА,
г. Коломна

* * *

Он молчал, выпивая глазами закат.
Мрак спускался на дикую степь.
За спиной убегала дорога назад,
Но о ней — не шептать и не петь.

И зачем покорял, для чего овладел,
Раз не стал обращать в свою веру?
Славы жаждал, а ей не положен предел —
Он, как все: не последний, не первый.

Ненавидящий раб, обожающий раб —
Всё равно: господин над рабами.
Эта степь впереди — рад он ей иль не рад?
Ковыли, перелески со рвами...

Выпил горький закат, натянул стремя.
Степь вздыхала в предчувствии ран
И манила на запад, как бездна черна.
Но назад повернул Чингисхан.

* * *

Тане Маматовой

Улетели за летом птицы,
Улетают листья за ветром.

Вот и ты полетела — проститься
Не успела с осенним рассветом.
И уже в заоблачной сини
Всем махнула крылом на прощанье.
Облака в этот день застыли.
И соборы хранили молчанье —
Всё оглохло в оцепененье,
Хоть бы отзвук того движенья!..

Прощуршишь ли, рябиной вздрогнешь —
Мы поймём, что о нас ты помнишь.

Александр ГРЕЧИН,
г. Москва

НЕУКЛЮЖИЙ АВТОБУС

Неуклюжий автобус,
Мишка русских дорог,
Поворачивай глобус,
Дуй на Дальний Восток.
Вдоль улыбчивых просек,
Сквозь таёжный оскал,
В златокудрую осень —
За Сибирь, за Байкал.
Где проворно меж сопок
Вьётся Зея-змея.
Ждёт земля в восемь соток.
Ждёт семья.

* * *

Брошенный, брошенный, брошенный, брошенный.
Это ребёнок умрёт недоношенный,
Это солдат, чьей-то пулей подкошенный,
Тихо дорогой пойдёт запорошенной,
Это для матери чувство тревожное,
Это больному его безнадежное,
Это обиженное, непрощённое,
Это безверие здесь заключённое,
Белый закат, будто мальчик взъерошенный,
Брошенный, брошенный, брошенный, брошенный.

Денис МИНАЕВ,
г. Луховицы

МНЕ БЫ В ЮНОСТЬ...

Шумным городом душу изранив,
Жизнь тащу, закусив удила.
Мне бы в юность...
Да в русскую баню,
Чтобы с паром духмяным была...

А ещё бы ворваться с разгону
В бой кулачный село на село.
И под вечер, давясь самогоном,
Обсуждать: где кому повезло...

Ночью сдатьсь объятиям жарким.
Смять с девчонкой траву на лугах.
И в напарниках с месяцем ярким
От отца её скрыться в бегах...

А потом с рассветающим небом,
Искупавшись в холодной реке,
Влезть в окошко домой,
и без хлеба
Захлебнуться в парном молоке.

Наталья КРАСЮКОВА,
г. Коломна

* * *

Такие далёкие: разность в десятки лет.
И километры, наверно, обгонят тысячу.
Болтаю ногами, сутулясь на жёлтом столе,
Гадаю, как долго твой номер дисплеем высвечен.

Хватит того, что один на двоих был март,
Яблочный сок из-под крана, негодный для чайника,
Низкий балкон, где ещё ночевала зима,
И бутерброд пополам под гитары брэнчание.
После разъехались дикими по городам,
Переводили часы, вспоминали не вовремя:
Ты — моего, по имени Джаз, ката,
Я — как сидели полночи за разговорами,

Как в чёрно-белый снег осыпалась капель,
Ритм задавая, сверяясь с прошедшим временем,
Как сквозняки в коридоре толкали дверь

И пауки качались, сонные, древние...
 Не попрощались... А может, и хорошо,
 Что никому из нас судьбой не предписано
 Стать постоянным мужем и верной женой.
 Только блуждать, одиноко и независимо.

Анастасия СОЛДАТКИНА,
г. Коломна

ПРИТЧА О МЁРТВЫХ

Однажды решила поставить я опыт:
 На кладбище ночью одна собралась...
 (Предчувствую я справедливый ваш ропот,
 Что «старая сказка» — мой страшный рассказ!)

Но слушайте: ночью на старом кладбище
 Я стала покойников сильно ругать —
 А им всё равно... Ветер злобно не свищет...
 Все тихо лежат — я отправилась в спясть.

В иной раз хвалить мертвецов я решила,
 Но снова ответом была тишина.
 Всё так же спокойно молчали могилы —
 А я одну важную вещь поняла:

«Мне нужно быть мёртвой для критики строгой,
 И для безразличия, и для похвал,
 Чтоб только назначенной топтать дорогой
 И песни писать, пока пульс не пропал!»

Владимир КОРКУНОВ,
г. Кимры

* * *

Открыть силок и вынести в руках
 Живое — то, что вырваться стремится.
 Теперь я знаю, как приходит страх —
 смотреть за удаляющейся птицей.

И верить в то, что горизонта нет,
 что ты не пропадёшь, но, улетая,
 Наивно мыслить: разлучает смерть —

напротив, иногда объединяет.
Растает вскоре птичий силуэт,
сольётся с горизонтом неизбежно.
...Когда уходят, то разлуки — нет,
есть мнимая нелепая надежда.

Валерий БАЛАКИРЕВ,
г. Можайск

АНОМАЛИЯ

Всё никак не ляжет снег
На шестую область суши.
И дождей пунктирный бег
Завораживает души.
Вновь растерянный народ
В вязком омуте печали —
Не живёт который год
Без погодных аномалий.

Словно нищенка, зима
Не свои одежды носит.
То ль она сошла с ума,
То ль не заплакалась осень.
То ль заблудшая душа
У кого-то правды ищет,
То ли кто-то, чуть дыша,
Ей самой посланья пишет.

Подаёт секретный знак,
Зашифрованный судьбою:
Иль она живёт не так,
Или мы не те с тобою.
Из заплаканных окон
Смотрит жалобно природа.
У России свой закон
И всегда своя погода...

Алексей ШМЕЛЁВ,
г. Москва

* * *

Глазами в мать пошёл.
В отца мой волос.
Осанка от него
и форма рук.
Так что во мне моё? —
Один лишь голос...
Лишь звук один.
Но я и есть тот звук.

* * *

Сестра ушла. И в горле комом хлеба
застрял вдруг то ли выдох, то ли вдох.
Сестра ушла. Наверное, на небо...
Она ведь верила, что где-то в небе Бог!

330

«ОСИЯННОЕ СЛОВО» В КОЛОМНЕ

И тот, кто в морге снял с неё цепочку,
Конечно же, подонок и дебил.
Но я... не посвятил ей даже строчки.
Я даже слова ей не посвятил.

Нет, я в себя сильнее, чем в Бога, верил.
Глазам своим я верил и рукам.
И всё ломился в запертые двери,
Пытаясь кольца подобрать к замкам.

Одна сказала: «Не люблю». Другая
любила, но сбежала в листопад.
Я от любви к любви ходил по краю,
с опаскою поглядывая в ад.

Но я любил! Вот так и запишите,
крылатые хранители мои:
«Такой-то, мол, такой-то грешный житель
любил! И задыхался без любви».

Мария ТЮЛЬПИНА,
г. Коломна

* * *

Сбросила с себя платье,
Как сбросила себя с крыши.
Хотела женой быть, матерью,
А бог меня не услышал.
Спиной повернувшись к северу,
От осени и до осени
Жду своего воскресения
И думаю: после, после...
Небо натянуто синее,
Туго набито облако.
Он говорит: красивая.
Она проклинает: подлая.
Дни за меня цепляются,
Сны доводя до ужаса.
Нравится? Нравится. Нравится!
Сына бы только, мужа бы!
Смотрю: что вокруг? Комната,
Окно, чёрный стол, лампочка, —
Всё под замком. Роботом
Стала девочка... Мамочка!
Вниз летит, летит тело —
Вниз скользит по нему платье.
Я ничего не сделала!
Просто хотела счастья...

Дмитрий КОРЖОВ,
г. Мурманск

ЧЁРНАЯ ТРУБКА

Не скоро, но всё же состарюсь:
Деньжонок поднакоплю,
Поэзию с прозой оставлю
И домик у моря куплю.

Там буду светло и безбедно
Свой нищенский век доживать,
О прошлом толкуя победно,
Устало и сладко зевать.

Большим стану. Толстым, как груша,
Начну стариковски хандрить,
По праздникам водочку кушать
И чёрную трубку курить...

А всё, чего сердце желало,
Что душу и грело, и жгло,
Сгорит, словно и не бывало —
Без имени, властно и зло.

И всё, что там было — в начале,
Исчезнет, как тот пароход,
Что только что был на причале,
А вон — уже в небе плывёт...

Иван КАРПОВ,
г. Липецк

* * *

Александр Литвинову

На беспечных ветрах обмывали рассветы поэта,
Понарошку распятого в хламе из пыли и мела.
А в картонной коробке, в объятьях фонарного света,
Одиноко лежало его босоное тело.

Он под утро в молчании слышал немое бессилье,
А под сердцем носил ножевое предательство брата,
И глазами во тьме выводил над домами: «Россия»,
Да хотел захлебнуться в своих непришедших закатах.

Приходили Марии согреть ему ножки кострами,
Убаюкать старались в лукошке из собственных жилкок,
А ему всё найти бы кулёчек с цветными мелками,
Что под яблоньку няньки когда-то ему положили.

Развопился малыш да и выдохнул первое слово,
Только видели пьяные дети на сказочном рынке,
Как бежал он по небу на ощупь, смешнее слепого,
Да глазёнки из бусин роняли за пазуху льдинки.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, моя радость, и вот тебе сказка
Без назидания и ни о чём.
Мир расплывётся, закроются глазки,
Андерсен встанет за правым плечом.

Герда по краю до ночи бродила
С детством в ладошке, строкой в рюкзачке...
Кай замерзал и сжимал что есть силы
Горстку слезинок в холодной руке...

О забытьи королева просила,
И расстилались над Каем снега.
Герда почти примирилась с бессильем,
И превратились они в облака...

Кем они были у Бога на блюде,
Чтоб не кончалась волшебная нить...?
Герда бежала, боясь оглянуться,
Кай ненавидел, боясь полюбить...

Подготовка публикации и предисловие
Татьяны КОНДРАТОВОЙ



НАШИ УТРАТЫ

ПАМЯТИ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ

4 декабря 2012 года вологодская земля была обильно укрыта белым снегом. Это русское небо оплакало ушедшего в мир вечный Василия Ивановича Белова (1932–2012).

Нет нужды представлять Василия Ивановича русскому читателю. С его книгами («Рассказы о всякой живности», «Каникулы» и др.) начинают жизнь наши дети. Взрослея, мы обращаемся к «Деревне Бердяйке», «Привычному делу» и «Воспитанию по доктору Споку». Его эпопея-трилогия «Час шестой» по масштабности, отстаиванию крестьянской правды сродни «Тихому Дону». Подлинный русский дух живёт на страницах книги народной эстетики «Лад».

Значение творчества этого выдающегося русского писателя выходит далеко за рамки так называемой «деревенской прозы». Нам ещё предстоит понять и оценить Белова-мыслителя и просветителя, обратившего наше внимание на забытые работы И.А. Ильина и Л.А. Тихомирова.

Уроженец вологодской Тимонихи, он был близок всем русским людям. И пока в России издаются и читаются книги Василия Белова, он будет жить в нашей памяти.

Коллектив редакции

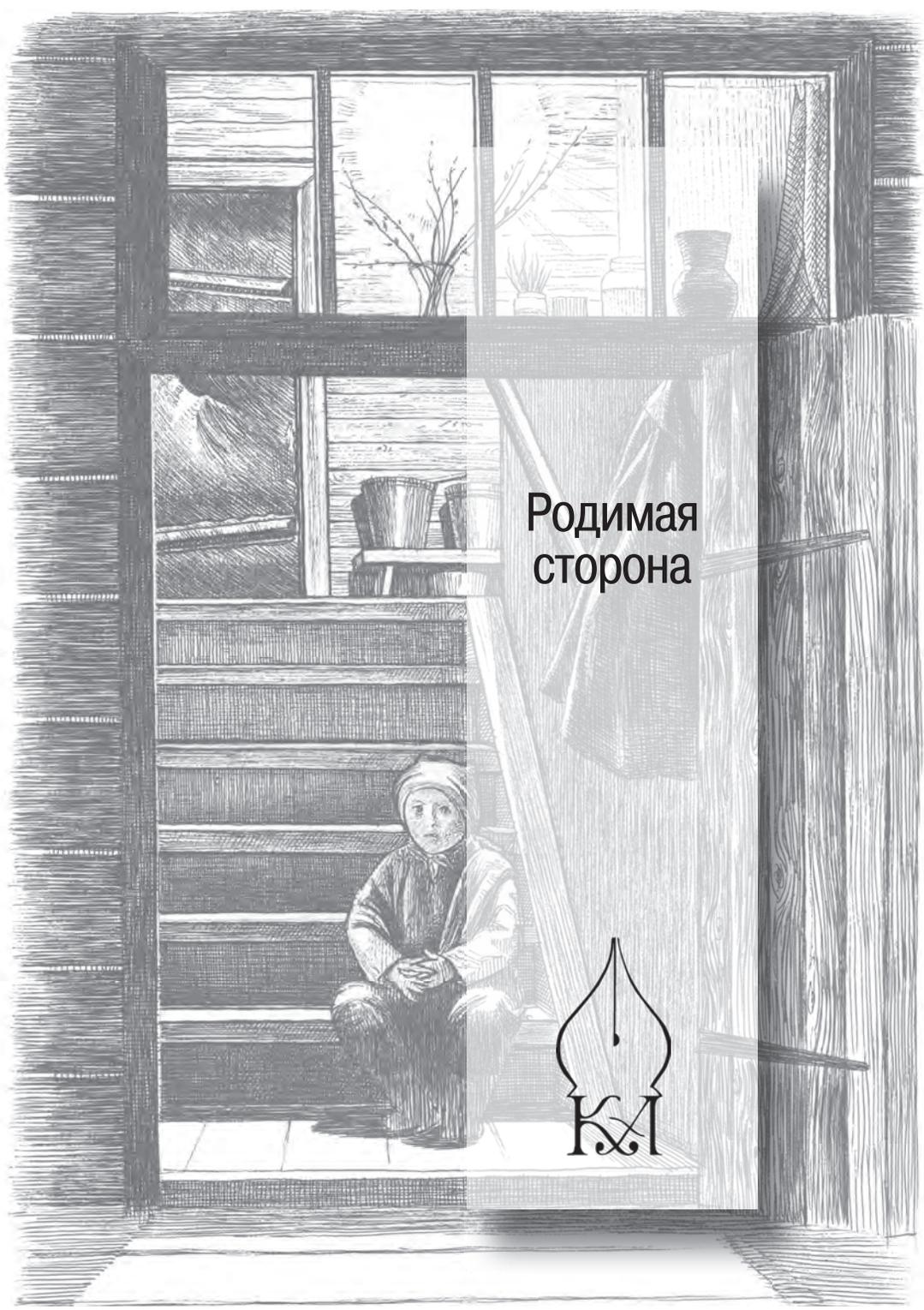
ФОТОРЕПОРТАЖ С ФЕСТИВАЛЯ



334

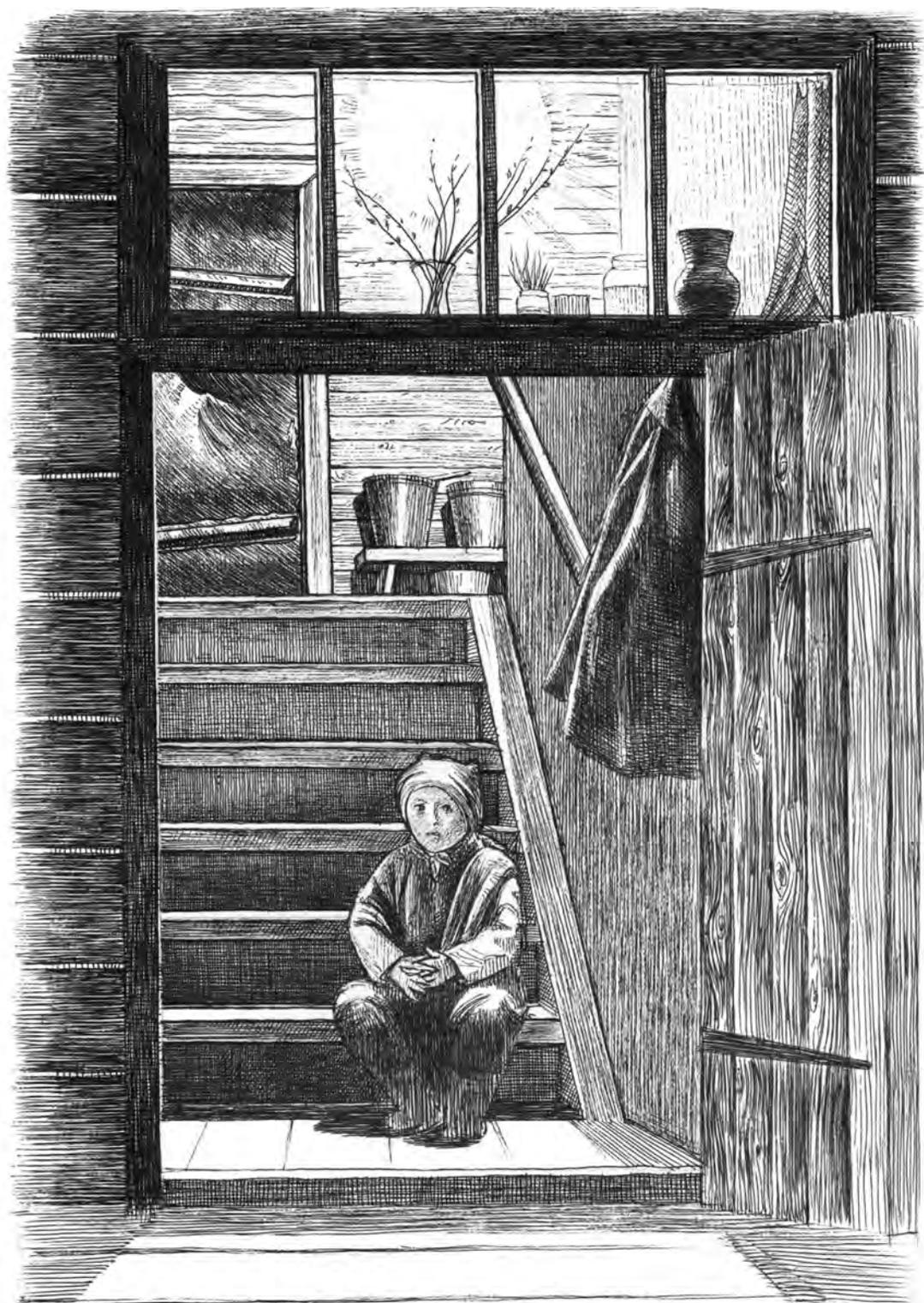
«ОСИЯННОЕ СЛОВО» В КОЛОМНЕ





Родимая
сторона





Графика Василины Королёвой



Роман Вадимович Славацкий родился в Коломне в 1957 году. Поэт, прозаик, литературовед, церковный историк, журналист.

Работает заведующим отделом церковной истории и беллетристики газеты «Благовестник». Заместитель председателя творческого объединения профессиональных писателей города Коломны.

Автор семи поэтических книг. В первом номере «Коломенского альманаха» опубликована повесть «Пожарник». В 2007 году в издательстве «Лига» вышла в свет поэма в прозе «Мемориал». Издал около полутора десятков краеведческих книг и буклетов, посвящённых истории Подмосковья.

Награждён литературной медалью им. И.И. Лажечникова.

Член Союза писателей России.

Исторический очерк

Роман Славацкий

ХРАМ В ГОРОДИЩАХ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
О ХРАМЕ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Это — древнейшая каменная постройка Подмосковья. Трудно подыскать в столичной губернии место более загадочное. ореол преданий окутывает церковь Зачатия Иоанна Предтечи. И таинственная история городищенской церкви на протяжении многих десятилетий и даже веков береди сознание учёных и любителей старины. Когда построен храм и кто его созидал? Какие великие люди бывали здесь? Скрывает ли клады земля древних Городищ? Кто здесь жил в долетописную эпоху? Какими реликвиями обладала эта святыня, и кто совершал тут своё служение? Давайте вместе отправимся в прошлое и присмотримся к истории храма, который встречает вот уже седьмое своё столетие.

Время легенд

Сердце замирает, когда подходишь к этим бугристым, словно руками вылепленным, стенам... Будто воплощённое Время взирает на тебя! И действительно: эти места освоены человеком в очень давнюю эпоху. Само название свидетельствует об этом.

В старину городищем именовали ограждённое валом место. Никто уже не обитал здесь, но остатки древних укреплений стояли безмолвными свидетелями: смотрите — в давние времена тут жили люди!

Тут, на правом берегу Коломенки, археологи обнаружили фрагменты дья-



«Батыева печать» на рисунке
Н. Иванчина-Писарева

ковской и раннеславянской керамики. А это означает, что задолго до первого летописного упоминания города здесь жили люди. Финно-угры и славяне-вятичи строили свои укрепленные посёлки.

Причём в Коломне привилось название во множественном числе: «Городищи». Значит, тут су-

ществовал целый комплекс валов и курганов. Не отсюда ли идут предположения об этом селе, как о начальном ядре Коломны?

Профессор А.Б. Мазуров не без иронии заметил по этому поводу: «... публикации пробудили интерес к истории города у широкой публики и заложили некоторые исторические мифы. От середины XIX века идёт, например, достаточно навязчивое (но неверное) предположение о том, что Коломна первоначально находилась на другом месте — на реке Коломенке у села Городищи (с остатками укреплений) и лишь позднее оказалась перенесена на устье реки Коломенки».

И всё же памятники древности, и прежде всего сам таинственный храм, вновь и вновь заставляют нас обращаться к старинным коломенским преданиям, в которых наши предшественники старались объяснить загадки этого священного места.

Великой и трагической датой вошло в историю Руси 1 января 1238 года, когда у стен Коломны пало в битве с монголами союзное русское войско во главе с владимирским воеводой Еремеем Глебовичем и князем Романом Коломенским... Но что же произошло после сражения?

Рассказывают, что в Коломенском кремле ушла под землю церковь и тем избежала поругания. Но есть сказание, которое и в Запрудной слободе, в районе улицы Олений Вражек, указывает место ещё одной подземной церкви. Эта легенда послужила основанием для красивого рассказа Валерия Ярхо «Звон», в котором он создаёт свою версию предания, украшая её дополнительными деталями. В частности, звон, доносящийся из-под земли, повергает врагов в ужас и даже губит их.

Интересно, что за этим сказанием скрывается зерно исторической истины. Сейчас на левом берегу Коломенки в пригороде сохранились лишь две церкви: Иоанна-в-Городищах и Бориса и Глеба-в-Запрудах. Но ведь в древности святынь было больше. Существовал небольшой Петропавловский монастырь «за прудом». Были и приходские церкви: Введенская, Дмитрия Солунского. Храм Василия Кесарийского существовал до XVIII столетия, но потом пришёл в ветхость и исчез. Может быть, остатки одной из этих святынь какое-то время ещё сохранялись на по-

верхности, а потом, когда земля их поглотила, народное сознание сохранило память о церковных древностях, отнеся их ко временам Батю?

Возвращаясь к городищенскому храму, мы вновь вспоминаем о днях первого монгольского нашествия...

«Батыева печать»

«Когда закончилась битва, пришли к Батю и сказали: «Вот, обрели мы тело того князя, который нам больше всех вреда принёс. Что прикажешь делать с ним: так оставить или отдать на поругание?»

Отвечал Батый: «Это не дело. Сей был храбрый воин, и ругаясь над ним, мы не его, а себя позору предадим. Приведите ко мне самого почтенного из горожан здешних».

А тогда остался в живых поп из Городищ, из храма Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В то время был ведь княжий двор в Городищах, против Коломны, через реку, и там стоял каменный храм. Привели попа из той церкви к Батю.

Тот спрашивает: «Какое у вас на Руси самое почётное погребение?» Священник отвечает: «В храме Божиим». Тогда Батый повелел ему: «Возьми этого князя и похорони его с почестями».

И вывели коней ордынских из храма в княжеском Городище, и очистили храм, и освятили. А иерей предтеченский взял тело князя Романа и отпел, и похоронил его в церкви.

Батый же сказал: «Даю храму сему ярлык мой, знак охраны, чтобы никто не мог нарушить покоя война. И доколе сохранится Зверь мой на стенах этих, будет сей храм стоять нерушимо».

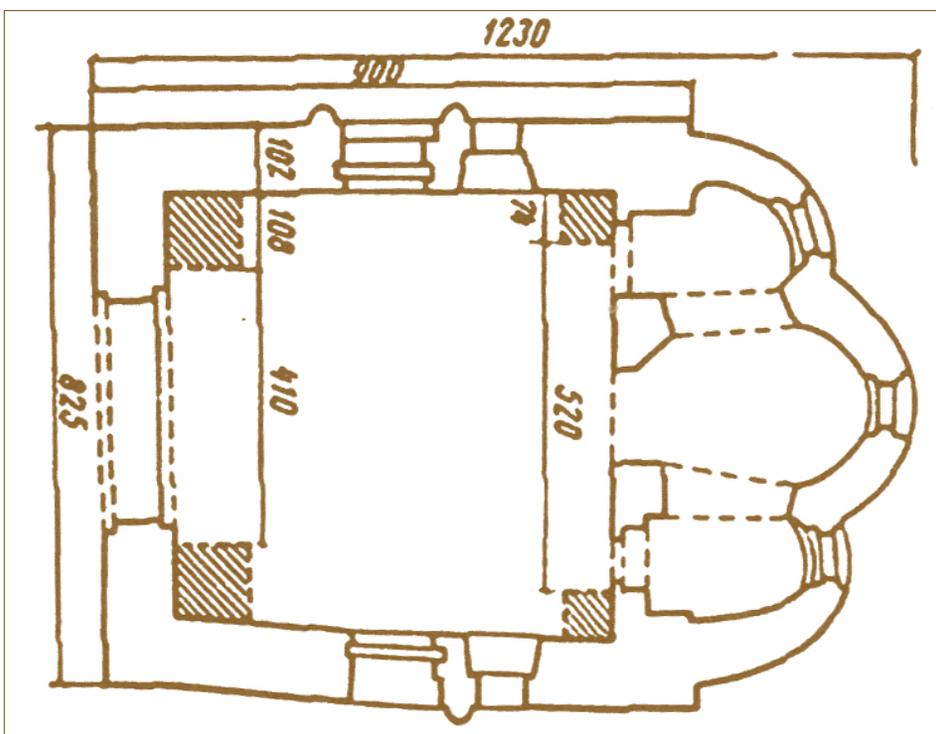
И приказал своим мастерам-камнерезам высечь на камне печать: Звєря Коломенского, видом подобного единорогу. И установили ярлык ханский, «Батыеву печать», на церкви, у северного входа, слева, ближе к алтарю.

И стоит храм Предтечи-в-Городищах нерушимо до сего дня, и по царскому обетованию хранит его «Батыева печать», Зверь Коломенский».

Конечно, народные рассказы не согласуются с данными науки: и храм, и его фантастический единорог по реальному возрасту — не старше XIV века. И всё же не будем торопиться и осуждать изустную летопись. Ведь вполне воз-



«Единорог» из Коломенского краеведческого музея



340 *План храма,
снятый Б. Альтшуллером*

можно, что в домонгольские времена в этом селе действительно располагалась резиденция удельного князя Коломенского. А если так, то и церковь могла быть: только, разумеется, не каменная, а деревянная.

Если же говорить о каменном строении, то здесь мы обращаемся к тайнам начала XIV столетия.

Камень

XIV век — наиболее важная эпоха в истории Коломны, не только в политике, но и в духовной жизни. Расцветает книжное дело, иконописание, строятся каменные храмы. Следы этого культурного взлёта сохранились в столичных музеях и библиотеках. Но в Коломне осталось свидетельство и архитектурного расцвета. Это храм Иоанна Предтечи — древнейшее каменное здание в Подмосковье. Но каковы обстоятельства его появления на Коломенской земле? И сегодня они остаются тайной.

До сих пор ведутся споры о датировке памятника. Б.Л. Альтшуллер датировал храм второй половиной XIV века, В.В. Кавельмахер утверждал, что церковь построена не позднее середины столетия. С. Загревский датирует начало строительства первым десятилетием XIV века (около 1308 года)... Кто же прав?

В связи с этим мне вспомнилось одно предание, которое я много лет назад слышал от коломенской учительницы А.В. Колесниковой, а ей,

в свою очередь, его передала А.Е. Полякова. Суть предания в том, что городищенский храм был якобы построен в искупление или в память какого-то «страшного преступления». Тогда, признаюсь, я не придал этому рассказу особенного значения, сочтя его за искажённую версию легенды о Романе Коломенском и о «Батыевой печати».

В самом деле: коли связывать строительство со временами золотоордынского нашествия, то получается, что храм построил хан Батый, а это уж явная нелепость. Но что если легенду о «страшном грехе» отнести к XIV веку? Какое преступление тогда произошло?

Если обратиться к летописям, мы узнаем, что в 1300 году по вине рязанцев произошло военное столкновение с молодым Московским княжеством.

Благоверный Даниил Московский разбил рязанскую рать, а князь Константин Романович Рязанский был захвачен в плен. Даниил отвёз князя Константина в Москву и предложил ему, в обмен на свободу, отдать Коломну Московскому княжеству. Константин отказался, предпочтя темницу позорному миру.

В 1303 году князь Даниил скончался. Его сын, Юрий, снова начал уговаривать Константина Романовича отдать Коломну. Но рязанец стоял на своём. И тогда князь Юрий решился на страшное дело. В 1305 году он приказал умертвить великого князя Константина! Убийство беззащитного пленника возмутило все окрестные княжества. Даже родные братья Юрия Даниловича, поражённые злодеянием, отошли от него, покинув границы княжества.

Московский правитель очутился в политической изоляции. Вдобавок, он оказался в состоянии конфликта с наследниками рязанского князя. Если раньше князь Константин был своего рода заложником, то теперь его потомки могли с полным правом мстить за своего отца.

Собирался ли Юрий Данилович строить храм как знак искупления вины, сейчас трудно сказать. Но то, что у него были основания для такого строительства, — вне всякого сомнения. Другой вопрос: был ли первый храм в Городищах каменным или деревянным? Сейчас это трудно установить.

В любом случае, нынешняя церковь удивительно сложна по своей истории. Профессор А.Б. Мазуров обратил внимание на характерное сопадение. Храм освящён во имя Иоанна Предтечи — святого, соимённого Ивану Калите. Князь Юрий погиб в Орде в 1325 году. Его сменил князь Иван Данилович, правитель весьма богомольный. Он уделял делам Церкви самое пристальное внимание.

Вот что пишет А.Б. Мазуров: «Село Городищи, вероятно, по своей первоначальной принадлежности являлось великокняжеским. Показательно, в связи с этим, посвящение храма (надо полагать, вначале деревянного) небесному патрону Ивана Калиты. При учреждении епархии оно, скорее всего, оказалось пожаловано коломенским владыкам и стало их главной «домовой» загородной вотчиной-резиденцией».

Впрочем, в московском роду был ещё один Иоанн — отец Донского — Иван Красный. Он тоже мог быть ктитором городищенского храма.

Коломенская епархия впервые упомянута в 1353 году, во времена Симеона Гордого. Но есть основания полагать, что хлопоты об открытии

кафедры были начаты ещё Иваном Калитой. Можно предположить, что основание каменной церкви относится к середине столетия. Но здесь возникает некая загадка. Дело в том, что знаменитая «Батыева печать», таинственный единорог у северного входа в храм, производит впечатление вставленного в стену более поздней постройки... Похоже, что церковь переделывалась в XIV веке.

Вообще здание выстроено в удивительно архаическом стиле, никак не похожем на ровную кладку времён Дмитрия Донского. До наших дней сохранились на полную высоту древние апсиды и наполовину — стены четверика. Огромные необработанные камни, узкие окна, похожие на бойницы... Изнутри по углам постройки стояли столпы, несущие своды, так что в плане церкви отчётливо читался крест. Кроме «рваного» камня применялся ещё и полубут. Похоже, что камни укладывались в опалубку и потом проливались известковым раствором. Любопытно, что восточные пристенные столпы были добавлены позднее.

Итак, мы видим чудом сохранённое здание удивительной древности!

Аскетичному духу церкви соответствует и храмовая икона — Иоанн Предтеча, Ангел Пустыни. Огромный, в рост, образ: Предтеча с крылами, в житии, вглядывается в нас из давних времён...

Ангел Пустыни

Храмовая икона Городищ — одна из коломенских тайн... Сам характер письма говорит о константинопольском влиянии. А это значит, что создателем памятника средневековой иконописи был либо греческий мастер, либо, скорее всего, русский иконописец, очень хорошо знакомый со школой Феофана Грека.

Большинство исследователей относят этот «византинирующий памятник московской иконописи» к 1390-м годам. Но мы бы всё-таки поостереглись чрезмерно «омолаживать» коломенские образа. Всё говорит о глубокой древности, об аскетически-суровой среде русского монашества: и глыбистая архаичная кладка храма, и характер его иконостаса. Старинные доски были обработаны просто, без излишней тщательности. Образ написан на трёх липовых досках, рубленых топором и соединённых двумя врезными шпонами.

Эту особенность городищенского иконостаса отмечали коломенские краеведы ещё в 1920-х годах. В начале XX века ходили легенды о том, что мастером этой иконы был Дионисий. Это и понятно: в XVIII веке образ так «поновили», что подлинное письмо совершенно исчезло. Однако когда поздние записи начали удалять, стало ясно, что икона гораздо древнее эпохи Дионисия. Здесь можно говорить о временах Куликовской битвы.

Изображение Крестителя исполнено духовной мощи!

Икона поражает своими размерами: в человеческий рост. Только средник её — 117 сантиметров. А если учитывать житийные клейма, высота достигает одного метра семидесяти сантиметров. Даже для нынешних высокорослых россиян это ошутимо: что уж говорить о наших предках!

Лик Предтечи строг: Пророк облачён в грубые одежды из верблюжьей шерсти, за его плечами — огромные крылья. Правую рукою Иоанн

*Икона «Иоанн Предтеча –
Ангел пустыни», XIV век*

благословляет, в левой сжат свиток с грозными пророческими словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное...». Это предвестие Христа ведёт нас к истокам Евангелия, в израильские пустыни.

О нём говорил Спаситель: «Что смотреть ходили вы в пустыни?... пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо Он тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя...» (Мф. 11,7-11).

Сам Предтеча свидетельствовал о себе: «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исайя... Я

крещу в воде, но стою среди вас Некто, Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостойн развязать ремень на обуви Его» (Ин. 1,23–27).

Властное и грозное слово пророка потрясло людей, пришедших на берега Иордана. И столь же призывно звучало оно в коломенской «пустыни» — домовой обители нашего епископа. Небольшой загородный монастырь располагал не столько к «отдохновению от трудов», сколько способствовал молитвенному сосредоточению.

Западное искусство не знает примеров изображения Иоанна Крестителя с крыльями. Но для иконописцев Царьграда это в высшей степени характерно. Именно из Константинополя пришёл к нам канон Ангела пустыни.

Искусствовед Г.И. Вздорнов так описывает образ: «При больших размерах фигуры и крыльев Предтечи, которые заполняют всё поле средника, лик святого, обрамлённый пышными прядями волос, кажется почти мелким.

Но он обладает замечательной портретной и психологической выразительностью. У Предтечи круглые тёмные глаза, он выглядит спокойно и властно.

Лёгкий взлёт бровей сообщает выражению лица оттенок выжидательности... При общей внешней сдержанности образа в нём чувствуется активная духовная жизнь и уверенная сила пророка».

Исследователь обращает внимание на сходство живописной манеры иконы из Городищ и Успения, написанного на оборотной стороне Донской иконы Богоматери:



343

«Нельзя... не заметить определённого типологического сходства лика Христа из «Успения» с ликом Иоанна Предтечи...

Но коломенская икона соответствует не вообще греческим, а таким греческим произведениям, которые возникли на русской почве и связаны при этом с творчеством Феофана, его учеников и последователей... Мастер коломенской иконы, как и Феофан, видел главную задачу в раскрытии внутренней жизни святого, духовной содержательности изображения в целом».

Взглянув на эту икону, начинаешь понимать, что давало возможность нашим дружинам побеждать золотоордынцев, значительно превосходящих русских по численности. Что позволяло средневековой России выжить среди океана бедствий и пожарищ? Это духовная мощь Православия, непостижимое соединение Божественной и человеческой воли: синергия, которая необыкновенно увеличивает силу нашего духа.

Это понимание сохраняется даже сейчас, хотя памятник древнего искусства сильно повреждён. Утрачена нижняя часть средника, также по новому грунту переписаны клейма. Однако не будем чрезмерно упрекать поновителей. В те времена не существовало методики сохранения погибающей живописи... На какое-то время памятник как бы скрылся от молящихся. Но поверхностные слои записей сохранили подлинный образ, а житийные клейма зафиксировали древние сюжеты.

Давно отгремели битвы прошлого, минули гонения на Церковь. Прежний вид обретает храм в Городищах — древнейшая каменная постройка Подмосковья. И сегодня, пусть в копии, величественный образ Предтечи возвращается на своё законное место — к югу от Царских врат, где он находился многие века.

В глубинах времени

Много десятилетий протекло вместе с волнами Коломенки, в которой отражался Предтеченский храм, а десятилетия складывались в века. Здесь, в молитвенной тишине Городищ, бывали великие люди и обдумывались важнейшие решения. Повторимся: в XIV, XV и начале XVI столетий Коломна была вторым городом после Москвы, а здешние епископы, как правило, становились викариями Митрополита всея Руси.

И это означает, что Коломна вместе со столицей разделяла торжества и бедствия, а наши владыки принимали участие в делах государственных и церковных, благословляли великих князей московских на походы военные и принимали участие в разрешении гражданских смут.

Возвращаясь к загадочной «Батыевой печати», нужно заметить, что это изображение имело отношение не только к епископской резиденции, но и было, вероятнее всего, первым геральдическим знаком Коломны. В своей любопытной статье «Загадка древнего рельефа» научный сотрудник краеведческого музея С.И. Самошин сопоставил городищинский рельеф с оборотной стороной «денги коломьской», которую он датировал началом XV века. На реверсе «денги» видно изображение животного, практически полностью совпадающего с обликом «единорога» из Городищ.

Мало того: в 1967 году в Москве был обнаружен клад слитков серебра — рублей и полтин, датированных концом XIV века. И там на клей-

мах — всё тот же коломенский символ. Это позволило краеведу предположить существование в Коломне на рубеже столетий монетного двора. Причём геральдическим знаком для чеканки стал коломенский «единорог», явно не случайно оказавшийся на стене епископской церкви.

Эта версия ещё более подкреплена совсем недавно. Осенью 2011 года под Коломной был обнаружен старинный дирхем хана Бердибека с московским надчеканом. И на нём — единорог из Городищ! Монету переделывали для русского оборота в конце XIV века, то есть она по времени соответствует храму.

«Правда, между “Батыевой печатью” и надчеканом есть некоторое отличие. — Говорится в нумизматическом каталоге М. Амосова “Коломенские монеты”. — Если на храме единорог направлен в одну сторону, то на монете — в противоположную».

Однако и этой странности есть объяснение. В начале монетного дела наши мастера, ещё не накопившие достаточно опыта, могли резать клейма и надписи прямо с рисунка, не учитывая, что при чеканке изображение перевернётся. Как раз это и произошло в данном случае!»

Несмотря на бури средневековья, войны и пожары, храмовый комплекс в Городищах не только сохранился, но и продолжал своё развитие. В начале XVI столетия церковь довольно значительно перестраивается. Во-первых, разобрали столпы, которые стояли по углам храма и поддерживали своды. Таким образом, исчезло крестообразное внутреннее пространство, и храм стал бесстолпным, с крестчатым сводом.

Внешние перемены были ещё разительнее. Храм стал триглавым: кроме центральной световой главы над восточной частью появились ещё две главки на «глухих» барабанах. Центральный барабан опирался на кошники. Завершение каждого из фасадов сделали трёхлопастным. Над западным входом на кровле установили маленькую звонницу на кирпичных столбах.

Верх четверика выложили из гладко отёсанного белого камня. Фасады разделены полуколоннами («лопатками») на три части («прясла»). Но вот загадочная деталь: почему-то лопатки, доходя до середины стены, вдруг резко обрываются. Почему их не довели до самой земли? Здесь явно скрывается какая-то загадка, требующая разрешения... Может быть, храм охватывался какими-то пристройками, скорее всего — деревянными? Если тогда существовало крытое «гульбище», то и не было смысла продолжать лопатки: ведь они зрительно опирались на кровлю галереи.

Может быть, загадка таится в тексте Писцовых книг 1577 года? Прочитаем внимательно этот текст:

«Храм Зачатия Иоанна Предтечи каменно, да тёплый храм Николы Чудотворца, да предел Димитрий Чудотворец Прилуцкой, древена, клетцки...»

Совершенно очевидно, что перед нами сложный храмовый комплекс! Из текста не совсем ясно, был ли тёплый придел Святого Николая каменным и где он находился — у западного входа или сбоку. Однако если учитывать натурные данные, то можно предположить, что деревянный придел Димитрия Прилуцкого располагался с южной стороны. Вообще посвящение очень характерно: поклонение русским святым говорит о росте национального самосознания в период после свержения золотоордынского ига в 1480 году.

Что касается Никольского придела, то он, похоже, примыкал к четверику с севера. В любом случае, именно с северной стороны фасад несёт на себе явные следы перекладок. Похоже, именно здесь шла галерея из епископского дома...

Впрочем, это всего лишь гипотеза, и возможно, что раскопки будущих археологов внесут бóльшую ясность в историю комплекса. А пока нам надо признать, что время весьма сильно искажило облик очень древнего и очень сложного по своей истории ансамбля.

И в значительной степени вина за это лежит на событиях Смуты начала XVII века. Это и понятно. Коломна и Коломенский уезд не раз становились ареной стычек и сражений. Здесь проходили войска, бесчинствовали банды мародёров и грабителей. Свидетельством тех жестоких времён долгое время были остатки военных укреплений с характерным названием: «Маринин городок».

Вот что говорил об этом старинный краевед Н. Иванчин-Писарев:

«При въезде в Коломну по Шубинскому же пути, вправо, видны следы бывших земляных укреплений: это село Городище, то есть, бывшая крепость. В некотором расстоянии от него старожилы показывают место, где будто бы стоял дом Марины Мнишек: разорив Коломну, она и Заруцкий могли выбрать себе это загородье, в нём поделать засады, окопаться, и даже выстроить острог или деревянную крепость».

И далее:

«В одной версте от села Городища есть место, называемое таборы (стан). Здесь виден глубокий ров; за ним линия земляного окопа на 80 сажень, коего вышина уже не более двух аршин. Упомянутый вал, примыкающий в одном месте к оврагу, а этот к речке Коломенке, образуют четверугольное засадное место или оборонительный затин. Там, 29 июня бывает народное гулянье, и, сверх того, по праздничным и воскресным дням Коломляне исстари посещают это место, и, собираясь туда, говорят: пойдёмте в таборы гулять. Представляю другим исследователям доискаться, не пред петровым ли днём Заруцкий и Марина оставили Коломну, чтобы податься к Астрахани и быть пленёнными за Яиком? — и не была ли тогда первая прогулка Коломенских жителей в оставленные ими таборы?»

Думается, что народ неспроста сохранил за окрестностями Городищ имя Таборов или Маринина городка. Независимо от того, жила здесь Марина Мнишек или нет, здешние укрепления были, скорее всего, не чем иным, как остатками осадного лагеря. И такое соседство не сулило ничего хорошего. Храм был ограблен и, похоже, ограблен основательно. Во всяком случае, поздние историки не называют, кроме икон, никаких реликвий давнего времени.

Тот же Иванчин-Писарев сообщает: «Между утварей видны оловянные сосуды, Евангелие, отпечатанное в 1661 г., и другие старинные, но не древние вещи».

Судя по этому описанию, храм по-настоящему оправился после польско-литовского нашествия лишь к середине XVII века. Но с этих пор Городищи уже никогда не достигают прежнего величия. Летняя резиденция переносится на другой берег Коломенки, в Подлипки — очаровательное дачное место с чистым воздухом, плодовыми садами и

великолепным видом на Старую Коломну. Мы пока не знаем точной даты переселения коломенских владык из древней вотчины в Подлипки, но ясно, что в первой четверти XVIII века Городищи им не принадлежали.

Поновления

В 1735 году местный вкладчик Стасов подал владыке прошение, в котором сообщал, что проживающий в Коломне на Посаде рядом со Спасо-Преображенским монастырём Киприан Онисимов желает построить в селе Городищи при церкви Иоанна Предтечи деревянную паперть с правой стороны, напротив Коломенки. Здесь мы видим характерную коломенскую особенность церковного быта. Приходы у нас были, как правило, наследственными. Человек мог жить в одном месте, а входить в общину на другом конце города и молиться там, где жили когда-то его предки. В данном случае посадский житель Онисимов пожелал стать ктитorem дальней церкви в Городищах, хотя жил в двух шагах от монастырского собора.

14 декабря 1735 года владыка Вениамин (Сахновский) благословил начинание, написав на прошении следующую резолюцию:

«Позволяется строить, только хорошим бы строением и света бы в церкви не отнять и паперть светлая быть могла».

Из текста ясно, что храм уже не домовый епископский, а приходской. Но, очевидно, какая-то имущественная привязка епархиального управления к Городищам оставалась, и епископ Вениамин в селе бывал. По крайней мере, он знает, что храм довольно тёмен (в XVIII столетии священная полутьма древней церкви считалась недостатком). Отсюда и пожелание «света бы в церкви не отнять».

Особенно активно обустройство новой резиденции проводилось при епископе Порфирии (Крайском), который правил в Коломне с 9 октября 1755 года. Священник Николай Марков в своём историческом очерке сообщает, что владыка Порфирий «при загородном архиерейском доме — Подлипках — построил деревянную церковь». Завершение его коломенского периода омрачилось печальными событиями.

В 1763 году, при начале правления Екатерины II, была проведена так называемая «секуляризация», то есть ревизия и передача в государственную собственность церковных земель. Событие это очень болезненно отразилось на судьбе многих святынь и вызвало некоторую путаницу и смуту.



Неразбериха в имущественных отношениях, как видно, имела место и в Городищах. В книге протоиерея Олега Пэнэжко об этом пишется буквально следующее:

«В 1763 г. крестьяне с. Городищ и того же прихода деревень Подлипок и Соловцова возмутились против власти архиерея и светской. Священно-церковнослужителей с. Городищ хотели убить, почему священник, диакон и дьячок, оставив свои дома, убежали в г. Коломну, предварительно запечатав церковь Иоанна Предтечи, чтобы не пограбили церковного имущества и привесок, находившихся при образе Иоанна Предтечи, и скитались по Коломне... Требы велено исполнять в Городищенском приходе церкви Пророка Илии в с. Сандыри священнику Алексею Иванову».

Сложная ситуация нуждалась в разумном разрешении...

Ходили слухи, что возмущение в Городищах было спровоцировано то ли раскольниками, то ли еретиками-«жидовствующими». Но мы всё же думаем, что «религиозная идеология», если и присутствовала, то скорее как прикрытие более материальных причин.

После изъятия церковных земель в государственную собственность жители предтеченского прихода (села Городищ, деревень Подлипок и Соловцова), судя по всему, не были переданы в частное владение, а стали «государственными». Кафедру такое положение не устраивало. Консистория, вероятно, отстаивала свои права. Настоятель храма Иоанна Предтечи, надо думать, проявил здесь особое рвение. Дело дошло до крестьянского мятежа и угроз убийства, так что городищенскому клиру пришлось покинуть свою церковь и бежать в Коломну. Храм был опечатан.

Прискорбная история, хотя благодаря ей сохранилась важная деталь. Упоминаются многочисленные привесы к храмовой иконе Иоанна Пророка Ангела Пустыни. Собственно, отчасти из-за них и опечатали церковь, чтобы не допустить разграбления. Наличие приношений (очевидно, это были цепочки, кольца или другие ювелирные украшения) свидетельствуют о почитании прихожан. Можно предположить, что по молитве у этой иконы не раз подавалась какая-то помощь, и верующие свидетельствовали о том, жертвуя к святыне свои драгоценности.

Кажется, крестьяне были не так уж неправы в своих претензиях, хотя возмущение и угрозы, конечно же, дело недопустимое. Впрочем, мир и тишина вскоре были восстановлены. 29 октября владыку Порфирия перевели на Белгородскую кафедру. А на его место 28 декабря 1763 года хиротонисали епископа Феодосия (Михайловского). Владыка Феодосий, человек чрезвычайно образованный и душевно щедрый, умел разрешать острые ситуации к вящей славе Господней.

Думается, что городищенский клир без мест не остался. А на первых порах в церкви Пророка и Предтечи Иоанна временно совершал требы священник Алексей Иванов из Ильинской церкви соседних Сандырей. Это село было вотчиной бояр Шереметевых, следовательно, с тамошним клиром у здешних крестьян имущественных споров быть не могло, и отец Алексей, как фигура нейтральная, с жителями Городищ находился в нормальных отношениях.

Летом 1778 года наша края посетил знаменитый историк Георг Фридрих Миллер. Сразу по приезде, 5 июня, он не преминул представиться владыке.

«Приехали мы... к преосвященному епископу коломенскому Феодосию, живущему в загородном его доме Подлипках, что при речке Коломенке в двух верстах от города. Его преосвященство архипастырь преизрядных качеств, довольно учён и всем городом любим. Он нас принял с отменным благоволением и пригласил нас к своему столу, в который день мне будет свободно, но что я согласился».

В это время владыка Феодосий проживал в Подлипках постоянно. Архиерейский дом его в кремле сгорел в прошлом 1777 году, и на время реставрации он поселился на своей пригородной даче.

Далее Миллер пишет: «Позади архиерейского дома лежит деревня Подлипки, а супротив оной при речке Коломенке село Городище, которого звания причину жители коломенские изъяснить не знают». Очевидно, в самих Городищах историк не побывал, иначе старожилы рассказали бы ему пару легенд.

Есть ещё одна запись Миллера: «7 числа обедали у преосвященного Феодосия в Подлипках, угощены будучи весьма приятно».

К этому времени городищенский храм уже получил постоянного священника. Более того, к концу 1770-х годов прихожане надумали расширить свою церковь. Епископ Феодосий благословил это начинание. И в 1780 году вместо неказистого деревянного притвора с западной стороны начали строить трапезную, которая, вероятно всего, по ширине не превышала четверика. Здание замыкалось колокольней. Передняя часть её опиралась на два столба, между которыми устроили вход в помещение, а другая часть покоилась на западной стене трапезной. Невысокую звонницу составляли: четверик, на котором возвышался восьмерик, прорезанный арками, а на нём высился восьмигранный шатёр с двумя рядами «слухов». Вертикали шатра были обработаны «гуртами» — рельефными линиями из кирпича, подчёркивающими восьмигранность вершины, которая венчалась небольшой главкой и крестом. Первоначально арки по бокам основания звонницы были, вероятно, открытыми, но позднее их заложили кирпичом. С северной стороны находилась низенькая дверка, через которую звонарь поднимался по витой внутривитой кирпичной лестнице.

Несмотря на позднюю дату строительства, звонница выдержана в стиле XVII века, так что её в литературе датируют иногда именно этим столетием. В XVIII веке храм очень изменился внешне. Исчезло триглавие и малая звонница на четверике. Сложное трёхлопастное покрытие, с которым было немало трудностей из-за постоянных протечек, заменили на простую четырёхскатную кровлю. Это отчасти скрыло высотность центральной главы, и чтобы её зрительно увеличить, над ней возвели удлинённую луковичную главку.

В сочетании с удачными пропорциями звонницы древний храм производил довольно мощное впечатление. Хотя оно несколько скрадывалось неухоженностью соседнего кладбища. Погост не имел ограды, что было не совсем благолепно. Получалось, что на могилы могли заходить козы и другие животные. Владыка Феодосий распорядился сделать ограду, но крестьяне так и не смогли договориться меж собой, кто возьмётся за работу. В результате Коломенская консистория вынуждена была послать указ нижнему земскому суду с требованием, чтобы жители «де-

лали ограду оного кладбища из оставшегося от колокольни подвязного леса и жердей и впредь поправляли её».

Приход храма в Городищах состоял из 130 дворов. В 1797 году в нашей церкви служили священник Пётр Иванов, дьячок Михаил Прокопьев и пономарь Иоаким Яковлев. Остаётся лишь догадываться, как они ладили со своими строптивыми прихожанами.

В 1799 году Коломенская епархия была упразднена, кафедру перевели в Тулу, и в Коломенском крае воцаряется сонная провинциальная тишина. Коломне оставалось лишь грезить о своём славном прошлом...

Сюда-то в 1825 году приехал молодой учёный-естествоиспытатель Михаил Максимович. Им опубликованы были «Путешественные записки о Московской губернии в отношении преимущественно к её произведениям». В них нашлось место Коломне вообще и Городищам в частности. Собственно о храме Максимович не говорит ничего, но мы всё же процитируем отрывок из его работы. Ведь здесь приводятся любопытные сведения об окрестностях.

«Июня 24-го ходил я мимо р. Коломенки, в рощу через деревню Городище, вокруг которой, судя по названию, искал окопов, памятников славянских, но не нашёл их; видел остатки рвов...

В роще я нашёл длиннолистную и широколистную веронику, весенний коричник, мохнатую живучку и пальчатую и волосистую осоку, и большую дятлину.

На глинистом берегу Коломенки находятся ископаемые мамонтовые зубы. Я нашёл два отломка коренных зубов мамонта (*elephas tanioueus Asiaticus*), коих верхняя часть (*corona*) сложена из пластинок параллельных. — У городничего видел я коренной зуб целый; слышал также, что и здесь был вырыт клык (или, правильнее, передний зуб, *dens incisivus*)».

Последнее упоминание о находках костей особенно примечательно. В старину в Коломенском крае немало преданий ходило о древних великанах. Здесь можно видеть, на чём основаны эти легенды. Остаётся лишь пожалеть, что, увлечённый естественноисторическими изысканиями, М.А. Максимович настолько “не приметил” памятника древности, что даже назвал Городищи деревней, а не селом.

Впрочем, вскоре его ошибка была исправлена другим исследователем, с одной стороны — дотошным, а с другой — романтически-вдохновенным.

Любопытно, что именно в начале XIX века пробуждается интерес историков к нашей старине. Особенно в этом плане показателен пример Николая Иванчина-Писарева. На рубеже 1830–40-х годов он побывал в Коломне и окрестностях. Итогом стала книга «Прогулка по древнему Коломенскому уезду», которую мы частично уже цитировали. Но теперь есть смысл более подробно обратиться к свидетельству о Городищах 1843 года:

«Это село состоит в ведении Министерства Государственных имуществ. Храм его, без всякого сомнения, стоял ещё за несколько столетий до междоусобной невзгоды: он построен из белого камня, и, по преданию, существует около семи веков, — итак мог быть построен Всеволодом Великим. Всё ручается за его глубокую древность: грубая массивность всего здания составленного из неправильно тёсаных камней,

скреплённых цементом, как строились первые храмы в России; форма сводов; высота от земли окон (уже расширенных в новейшие времена); разделение алтаря на средину и два предолтаря, и необычайная толщина железных связей, держащих своды. Мера его 9 аршин в длину и ширину... Этот храм претерпел некоторые поновления: жаль, если то было без крайней необходимости».

Иванчин был, кажется, первым, кто опубликовал догадку о домонгольском происхождении храма, со времён Всеволода Большое Гнездо. И с тех пор эта гипотеза кочевала от одного краеведа

к другому едва ли не до середины XX века. И всё же труд Иванчина не утратил ценности. Он не только создал яркое описание нашей церкви, но и рассказал о её реликвиях; этот фрагмент мы уже приводили ранее.

Прочитаем также отрывок о Батыевой печати и порадуемся фантазии и увлекательному слогу славного историографа:

«Замечательно высеченное на наружной стене, при входной северной двери изображение дракона...

Этот дракон может быть предметом учёных разысканий наших антикварий, но, не вдаваясь в дальнейшее, изложу здесь одну мысль, за правильность которой не могу смело ручаться: нам известно, что драконы или грифоны, то подобные этому, то птицеобразные, наполняют всю мифологию древних Греков; были видимы и в Византии и в первобытной Христианской Руси; были изображаемы на стенах наших древнейших храмов, как то на Владимирском и других; — но, между тем, видим их и на печатях Ханских, привешанных к нашим Государственным актам, и на их монетах. Этот воспомин кажется мне довольно важным, ибо может задержать здесь пылкого розыскателя, указав ему на сходство этого дракона с употребляемыми некогда Монголами, и предложив вопрос: не такой ли мы видим, поражённый львом, на печати усвоенной Иоанном III по свержении им Татарского ига? Итак, не следы ли это нашествия Батю, Дюденя или Тохтамыша, оставленные на память их владычества на стене храма каменного, одного, может быть, уцелевшего от огня и стенобитных орудий варваров? Прибавлю к этому замечание, что Монголы могли изобразить дракона и в знак чествования сего идеального зверя: у Китайцев, от самых древних времён, дракон почитается каким-то мифом, располагающим переменами погоды и воздушными метеорами, дождём, громом, бурями, и пр.; они носят его изображение на платьях, размножают его в



своих картинах и книгах. Как не вспомнить тут, что народы Монгольские, в первый раз нахлынувшие на Россию, были их соплеменники?»

Несмотря на чрезмерную иногда пылкость нашего «пытолюбивого розыскателя», книга Иванчина оказала весьма положительное воздействие на самосознание многих коломенцев, пробудив город от своеобразной летаргии. Жители Коломенского края стали с большим уважением относиться к своей богатой истории, ценить старину и случайные находки древностей.

Однако на первых порах этот всплеск интереса не способствовал внешнему расцвету храма. Вот что написал о нём архимандрит Григорий в связи с визитом в Коломну владыки Игнатия Можайского в октябре 1870 года:

«В пятом часу вечера преосвященный отправился из Новоголутвина монастыря, где он имел помещение, в село Городищи (в 1 версте). Находящаяся в этом селе церковь Зачатия св. Иоанна Предтечи построена из белого камня и, по преданию, существует около семи веков. Замечательно высеченное на наружной стене, при входной северной двери, изображение дракона. Служение в древней холодной церкви небезопасно».

Отметим в этом отрывке дословные совпадения с книгой Иванчина-Писарева. Но особенно важна последняя фраза, свидетельствующая о неустройстве храма, ледяной сумрак которого особенно чувствовался в холодное время года.

Об этом не раз говорил тогдашний настоятель, отец Иоанн, да прихожане и сами давно понимали это. Именно в 70-е годы готовится устройство удобной и просторной тёплой трапезной, где можно было бы служить зимой. Обнаруженный в позднейшее время закладной камень уточняет дату начала строительства. Известняковая плита повреждена, и всё же текст в основном читается:

«1876 мая 2 дня совершена закладка двум престолом: святителя Николая и апостола Иакова. При священнике Иоанне Попове. При старосте ц. Василье... Строитель был коломенский купец Я. Го. Буфеев».

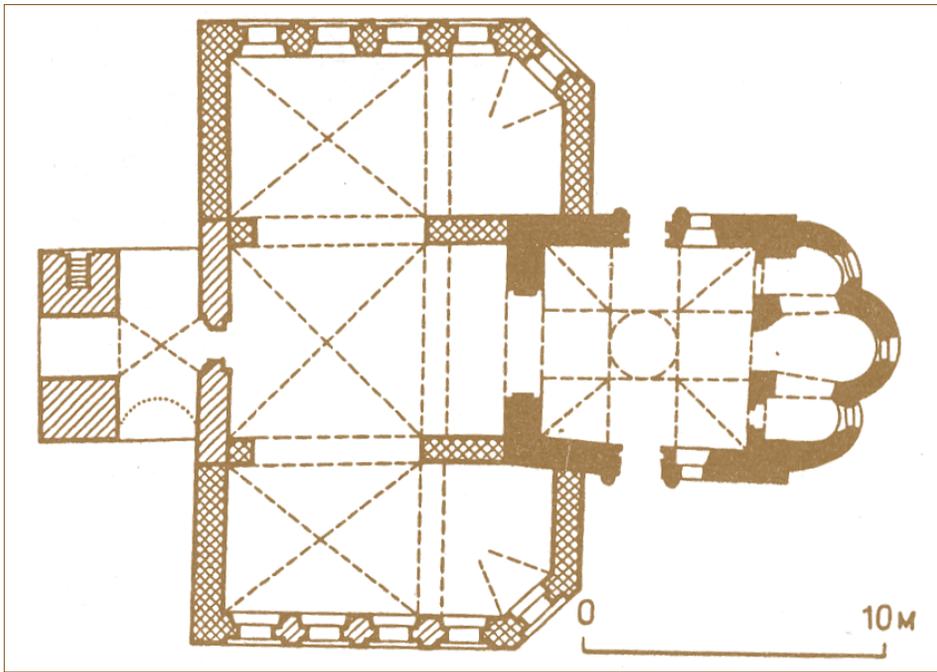
Основание престола в честь Николая Чудотворца обусловлено необыкновенным почитанием этого угодника Божия на Святой Руси. Имя второго придела связано с ктиторм храма. Яков Буфеев принадлежал к известному торговому роду: в Коломне есть улица Буфеева. Но наиболее известен в этом роду именно Я.Г. Буфеев, который вписал свою страницу в книгу коломенской благотворительности.

Естественно, что он почитал тезоименитого святого (память 5 ноября н. ст).

Трапезная получилась очень удачной. Невысокая, со скупой отделкой, она совсем не контрастирует с обликом древнего храма. В то же время по площади она превосходит четверик втрое. Её пространство организовано крестовыми сводами и арками, наполнено светом из многих просторных окон. Центральная часть занимает место прежней трапезной, а слева и справа находятся приделы.

На рубеже веков

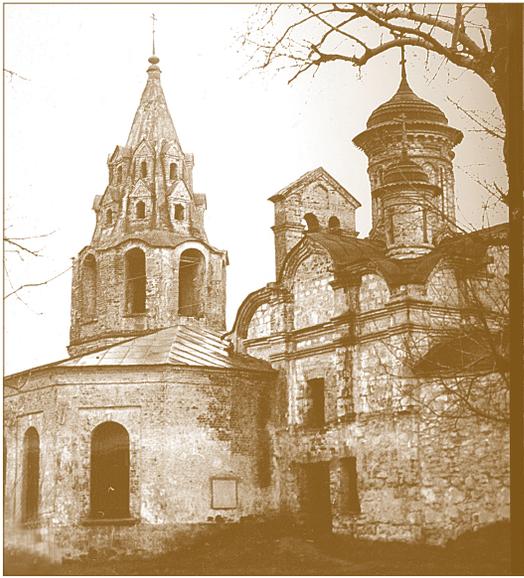
Строительные работы оживили интерес к храму. В 1992 году А.Б. Мазуров нашёл в архиве СПб Императорской Археологической комиссии любопытнейший документ:



План церкви после перестройки XIX в.

«Записка от 26 сентября 1885 г., из г. Коломны, от неизвестного.
 ...Извещаю Вас, всемилостивейшие господа Археологического общества о бывшем случае в первых числах июля текущего года близ г. Коломны в селе Городищах. Один крестьянин того же села по своей ему надобности на... усадьбе стал копать землю и случайно попал на груды камня. Ими выложил свой погреб. Не довольствуясь тем, он замыслил делать вместо завалинки каменный фундамент. И мужик снова отправился на то место за камнем, вооружившись ломом, потому что очень велики камни. Лишь только он сильным ударом лома два раза ударил, как вся эта каменная масса стены провалилась на незначительную глубину и образовался свод. В испуге крестьянин выпустил лом из рук и он выскользнул... в какой-то погреб (по свидетельству). Теперь этот выход крестьяне завалили, дабы не воспользовались бы камнем прочие сельчане, а также и город Коломна. Предание говорит, что на сём месте был дворец Коломенских удельных князей, по смерти которых усыпальница их была церковь Иоанна Предтечи, которая и доныне цела. Так что в недалёком хотя и прошлом последовало расширение сей церкви, и пришлось разбирать стены её старые и до фундамента. Тогда был найден необыкновенный камень, похожий на надгробный — плиту с древними литерами. Мужики-сельчане желали её вынуть, но священник села возбранил и она до сих пор находится под церковью сего села и много древних с нею вещей Коломенского княжения погребены в её гробнице в сырой холодной земли...

Свидетелями Городищев и их археологических материалов найдутся многие из крестьян, а также и духовенства сего села».



*Церковь Иоанна Предтечи
после реставрации*

Тогда петербургские учёные не откликнулись на этот призыв. Но в начале XX века археология Городищ получила неожиданное развитие...

О том, как выглядел храм на рубеже веков, мы можем судить лишь по рукописи, изданной недавно профессором А.Б. Мазуровым.

От 1903 года дошёл до нас археологический дневник Георгия Синюхаева и Михаила Ратманова, которые, помимо археологического ис-

следования Маринкиной башни, записали интереснейшие сведения по церковным древностям. Кое-где встречаются у них курьёзные ошибки, кажущиеся ещё более смешными из-за «столичного снобизма». Но если говорить в целом, их дневнику поистине нет цены: в нём сохранились подробные описания утраченных церковных интерьеров, в том числе и храма в Городищах.

Археологи Г. Синюхаев и М. Ратманов провели в 1903 году раскопки в Городищах, вскрыли несколько старинных погребений, но нас прежде всего интересуют страницы их рукописи, посвящённые церкви...

«Перейдя речку Коломенку по небольшому деревянному свайному мосту, мы попадаем на Московскую дорогу...

За заставой налево ведёт дорога в село Городище, лежащее на левом берегу Коломенки по Шубинскому шоссе. По народному преданию, в этом Городище жила некогда Марина Мнишек с Заруцким. Городищенская церковь выстроена якобы Всеволодом III, чему легко поверить при взгляде на грубо отёсанные глыбы, из коих сложен храм. Около девяти столетий стоит эта церковь и является, таким образом, может быть самым древним коломенским храмом. Церковь стоит в самом конце села и окружена небольшим кладбищем. Окрашена церковь в белый цвет с чёрной панелью в 1 аршин 12 вершков вышины. Алтарь в три апсиды; снаружи над выступами апсид, изображения довольно грубой работы: в центре крест, украшенный терновым венцом, слева Иоанн Креститель, а справа Николай Чудотворец. Окна, глубокие, размером аршин 8 вершков на один аршин сохранили древнюю железную массивную решётку. Редкой особенностью храма является чугунная (?! — Р.С.) доска с изображением дракона. Доска эта вделана в стену у северных врат снаружи храма и размер её 12 вершков на 11, а фигура 12 дюймов на 11.

Храм весь сложен из неправильно отёсанных камней, алтарь узкий с двумя предалтариями. Размер храма по девяти аршин в длину и ширину. Колокольня, каменная с кирпичным сводом и двумя рядами открытых

окон-отдушин, стояла прежде отдельно и в недавнее время соединена с церковью крытым переходом. В дверных арках видны следы массивных петель ныне несуществующих железных дверей. Говорят, что при постройке этого перехода натолкнулись на громадную каменную плиту, лежащую в земле. Вынуть её почему-то не могли, равно как и прочитать надписи на ней на неизвестном языке. К сожалению, мы узнали об этом факте лишь на следующий день после посещения Городища и не могли спросить у местного священника, отца Василия Покровского, его слова относительно этой находки.

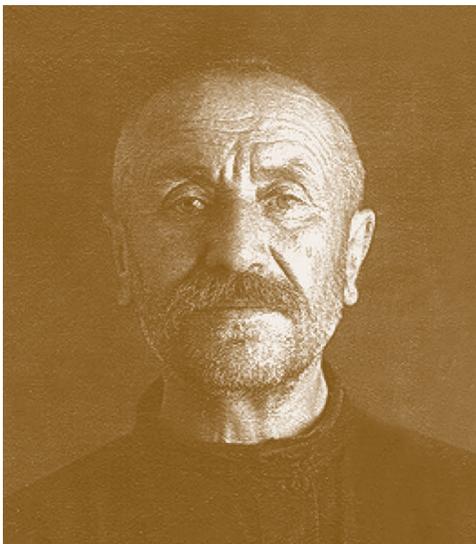
Царские врата иконостаса резные, деревянные, вызолоченные, хорошей работы чисто византийского стиля. Размеры врат — три аршина вышины при ширине всего в один аршин восемь вершков. Изображение (медальное) Благовещения помещено сверху врат, а четыре евангелиста расположены ниже. По сторонам царских врат икона Спасителя, изображённого с маленькой, слитно-раздвоенной курчавой бородкой. По другую сторону образ Смоленской Богоматери. Как у Младенца на этой иконе, так и у Спасителя на первой — старинное двуперстное перстосложение. (По-видимому, археологи приняли имясловное благословение за двуперстие — Р. С.) Размер икон одинаков — по 1 аршину 3,5 вершка на 1 аршин 12 вершков.

Тут же в иконостасе старинная икона Иоанна Крестителя с житием (16 икон). Ширина этого образа 1 аршин 5 вершков, высота 2 арш. 4 вершка. У южной стороны храма помещается икона Фрола и Лавра, писанная в два ряда: наверху архангел Михаил, благословляющий св. Фрола и Лавра, по сторонам Василий Великий и преподобная Евдокия. Внизу трое святых, едущих на конях. Размеры этой иконы 11,5 вершков на 14 вершков. У северной стены храма большая сборная икона. В первом ряду помещены Рождество, явление Крестителя Христу и бегство в Египет. Во втором ряду — проповедь Спасителя. В третьем — Происхождение Честного Древа Животворящего Креста Господня.

Из древних книг в церкви находится лишь Евангелие 1659 года (не то ли это Евангелие, которое Иванчин датировал 1661 годом? — Р. С.), но зато в ризнице хранятся два оловянных диска три четверти вершка вышины и три вершка три четверти в диаметре. На дне дисков — изображение лежащего Младенца в нимбе, по бокам Его два ангела, а над Ним Св. Дух в виде голубя, держащего в клюве ветвь. Рисунки только мелочами отличаются друг от друга. По полю диска надпись: «Се Агнец Божий, вземляй грехи всего мира». (Мы помним, что Иванчин-Писарев также упоминает оловянные сосуды, но он не приводит их описание — Р. С.)

В этой же церкви служит столом «для теплоты» деревянный столик старинной редко художественной резьбы. Долго ли он ещё уцелеет? Не попадёт ли и он с другим мусором в мусорную яму, как только сломается его многовековая ножка?»

Бедные наивные археологи! Если бы они знали, как скоро попадут «в мусорную яму» реликвии Городищ — и совсем не по вине клира!.. Следует, однако, поблагодарить учёных: ведь благодаря им мы можем представить себе интерьер церкви и её внешнее оформление. Теперь, когда храм возвращён верующим, снаружи над алтарями можно поме-



*Новомученик Сергей Бажанов.
«Расстрельная» фотография*

стить указанные выше изображения (может, и необязательно делать их рельефными — тут важен сюжет, а не техника).

Что касается внутреннего убранства четверика, то для его восстановления рукопись даёт прекрасный материал. Мы, конечно, не можем повторить старинные образа, но есть возможность соблюсти размеры и сюжеты икон, а это само по себе важно. Ведь для наших предков помещение этих молитвенных

памятников именно в таком порядке имело определённый смысл. Какой — сейчас можно только догадываться. Но притягательность Городищ в значительной степени и состоит из таких загадок и тайн.

356 Священство

Как мы знаем, во второй половине XIX века в Предтеченском храме служил священник Иоанн Попов, при котором производилась пристройка трапезной. Ему в 1887 году наследовал отец Василий Покровский, тот самый, который упоминается в археологическом дневнике за 1903 год. В начале XX века батюшка основал церковно-приходскую школу, которая успешно работала вплоть до революционной смуты.

С 1905 по 1911 годы в древней церкви служил протоиерей Иродион Смирнов. С переводом отца-протоиерея на другое место в храм назначили молодого священника Василия Соболева. Ему-то и суждено было встретить в Городищах «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», со всеми ужасами голода, бессудных расправ и грабежа...

В те годы святуя Русь постигло большое несчастье... Но в наступившей тьме путеводными звёздами воссияли светильники веры — русские новомученики.

С 1923 года в Городищах служил священник Сергей Бажанов. По рождению он наш земляк. Отец Сергей происходил из благочестивой семьи псаломщика соседних Сандырей: так ещё раз подтвердилась духовная связь этих близких сёл. Служил он здесь семь лет, а до этого не один год был диаконом Успенского собора. Тревожная атмосфера этого времени хорошо передана в стихах Павла Радимова, одарённого поэта и художника начала века.

Батыева печать на церкви в Городище,
Вре́мён дремучих знак — хвостатый ярый зверь.

Среди нагих берёз унылое кладбище,
На колокольне снят и колокол теперь.
И весь курган пустой, как будто пепелище
Минувших грозных дел. Легендам древним верь
Иль нет, прохожий, но как буйный ветер свищет
И листьями метёт в заржавленную дверь!
Окрестность дымчатой застлалась пеленой,
Внизу Коломенка, и мостик, и дорога,
По ней ходил Батый с кочующей ордой...

Стихотворение написано в 1926 году, главные испытания ещё впереди, но уже ощущается движение новой орды, которая, в отличие от Батыевой, не собиралась щадить православных святынь.

В конце 20-х городищенский храм обследовал профессор А.Н. Некрасов. Он назвал городищенского зверя «барсом» и связал его с владимиро-суздальской белокаменной резьбой. С его выводами согласился Ю.П. Кивокурцев, который участвовал в обследовании храма в 1930 году. Студент Кивокурцев в своей статье заметил: «сведения же от жителей сообщают, что существовал ряд плит, по фигуре на каждой». Сегодня трудно сказать, что имели в виду обитатели Городищ. То ли рельефные изображения на апсидах, то ли сказания о других «единорогах». Казалось, призрак домонгольской эпохи вновь повеял над Коломенской землёй.

Но интерес учёных и краеведов к уникальному памятнику не смог спасти его от разорения...

В 1930 году отца Сергия Бажанова перевели в Луховицкий район, и ему не пришлось увидеть окончательное поругание здешней церкви. Батюшка был арестован и в 1937 году принял венец мученика.

А наш храм разделил судьбу своего последнего настоятеля. Напрасно беспокоились о сохранности памятника древности краеведы, напрасно говорил о его легендах писатель Николай Мхов (помнится — в 1934 году). Участь святыни уже была решена.

Единственное, что уцелело из внутреннего убранства, — храмовая икона, которую в 1935 году перевезли в Третьяковскую галерею. А для Коломенского краеведческого музея изъяли из церковной стены «Батыеву печать». Остатки реликвий исчезли: старожилы вспоминают, как перед входом в храм сжигали его иконы...

Безмолвие

И лишь гулкая руина, словно немая каменная скрижаль, высилась посреди Городищ, взывая к совести людей, забывших Бога. Только иногда детское сердце слышало эту весть. Коломенской поэтессе Елене Антоновой запомнилась картина детства, когда стайка девчонок, застигнутая на Коломенке внезапной грозой, спаслась от дождя под сводами заброшенной церкви.

«Захрустела под ногами штукатурка, десятилетиями осыпающаяся со стен. Отблески молний, беспрепятственно падавшие внутрь сквозь щели окон под куполом, озарили церковь, и в голубоватом их сиянии стали

ясно видны глаза. Глаза святых, каким-то чудом ещё сохранившиеся от всей настенной росписи. Они, будто живые... смотрели, казалось, в глубь меня, в душу. И такая глубокая светлая печаль о всей жизни была в них, что ею вдруг наполнилось всё моё существо. От огромной грустной нежности, сдавившей сердце, на мгновение я перестала слышать, как, словно колокол, гудит церковь, забыла о подругах рядом и, не в силах терпеть более, выбежала под дождь...

И каждый раз, когда всплывает в памяти этот эпизод, мне кажется, что именно тогда десятилетней девочке открылось что-то большое и важное, в чём состоит весь смысл жизни человеческой и что ускользает от понимания теперь».

В 40-е годы руины Предтеченского храма обследовал выдающийся историк архитектуры Н.Н. Воронин. Он однозначно определил рельеф из Городищ как единорога. Учёный проанализировал возможные связи изображения с владимиристо-суздальской традицией. В домонгольской белокаменной пластике единорог не встречается, хотя этот фантастический зверь был известен древним миниатюристам.

Тем не менее Н.Н. Воронин датировал храм рубежом XV–XVI веков.

Об уникальном памятнике вспомнили в 60-е годы, когда вторая волна гонений на Церковь уже пошла на спад. В 1963–64 годах загадочный храм в Городищах подвергся кропотливому исследованию. Оказалось, что под неказистой четырёхскатной кровлей скрывается прекрасный памятник древности.

Но одновременно эти открытия привели к разочарованию многих краеведов. Стало окончательно ясно, что городищенский храм не относится к домонгольскому времени и значительно моложе, чем хотелось бы думать...

М.В. Фехнер в своей книге “Коломна”, изданной в 1966 году в кратком, но очень ёмком описании памятника говорит, в частности: “Одна из достопримечательностей старой Коломны — церковь Иоанна Предтечи, в селе Городище, живописно расположенная на левом берегу речки Коломенки, построена, как показали исследования 1963–1964 гг., в конце XIV в.”

С 1965 по 1969 год под руководством М.Б. Чернышёва был раскрыт и восстановлен верх четверика — таким, каким он был в XVI веке. Вновь Городищи осенило нарядное и торжественное триглавие и древняя звонница, поднялись к небу певучие гибкие линии завершений. Установили даже мемориальную доску, повествующую о древности памятника. Велись разговоры о музеефикации здания, о консервации фрагментов XIV века, но планы эти так и не были реализованы.

На краткое время белоснежным видением сверкнула прежняя красота, и... храм опять забыли. Больше двух десятков лет жемчужина древнерусского зодчества оставалась бесхозной и заброшенной!

Святыня сама свидетельствовала: не может безбожная власть найти достойного применения духовному сокровищу.

Конечно, при этом интерес к уникальному памятнику в литературе не угасал. Например, можно привести очень субъективно, но всё же достаточно ярко написанную книжку Г. Вагнера и С. Чугунова “По Оке от Коломны до Муром”. Вот строки, посвящённые Городищам:

“Чтобы соприкоснуться с архитектурой эпохи Дмитрия Донского воочию, надо съездить на автобусе на Старое Городище (в северной части Коломны, за рекой Коломенкой), где находится церковь Иоанна Предтечи, так называемая “городищенская”. Хотя она сохранилась не целиком, но всё же благодаря умелой реставрации можно легко различить, что в ней древнее, а что — позднейшие перестройки. Древнее, а именно времён Дмитрия Донского, — это нижняя часть, сложенная по владими́ро-суздальской традиции из белого камня. Верхняя, из кирпича, представляет реставрацию памятника по состоянию его в XVI веке. Это трёхлопастное завершение фасадов очень красиво, но оно “убивает” белокаменный цоколь. Но мы должны представить себе завершение храма в XIV веке тремя ярусами кокошников, что по красоте не уступало трёхлопастному завершению XVI века.

В современном своём виде предтеченский храм выглядит довольно “ренессансно” — таких трёхлопастных завершений много в венецианской архитектуре. Трудно сказать, занесена ли эта форма на Русь из Италии или она явилась логическим развитием новгородских композиций с трёхлопастным завершением фасадов. Вернее думать, что развитие этой красивой композиции было общеевропейским, на Западе и на Руси оно выражало стремление к уравновешенной гармоничной форме, и это вполне “ренессансное” стремление не было чуждо Руси.

Но далеко не все исследователи древнерусской архитектуры придерживаются такого мнения.

Когда-то у южного (северного — Р. С.) входа находился белокаменный рельеф, изображающий фантастического зверя. В нём видели и барса, и дракона, в то время как на поверку оказалось, что это единорог! Единорог в XIV веке, в Коломне! Это надо было как-то объяснить. Естественно, прежде всего вспомнилось про знаменитые владими́ро-суздальские белокаменные рельефы. Но там единорога не было. Вспомнили и про миниатюры Радзивилловской летописи (XV в.), где действительно есть единорог, но там он выступал символом смерти. Можно назвать ещё одно изображение единорога, весьма древнее, — в “Изборнике Святослава” 1073 года. Здесь оно совсем далеко от коломенского, поскольку является одним из знаков зодиакального круга. Нам думается, что рельеф “городищенской” церкви правильнее связывать с московской эмблематикой. Известно, что единорог был изображён на личной печати Ивана Грозного. Если связать это с коломенскими событиями 1552–1553 годов, то не им ли обязан рельеф своим появлением? По стилю он не владими́ро-суздальский и не XIV века. Камень преткновения состоит в том, что рельеф вставлен в стену на том же растворе, какой употреблён в кладке самой стены. Но достаточно ли мы знаем секреты древних мастеров? Словно от соблазна, рельеф убран со стены и находится сейчас в коломенском музее. Но здесь, вне естественной среды, он выглядит ещё более загадочным”.

Несмотря на авторитет Г.К. Вагнера, трудно согласиться с его предположениями о “венецианских” мотивах в русской архитектуре. И совершенно напрасно учёный потратил столько сил, “омолаживая” коломенского единорога. Рассуждения о том, что мы плохо “знаем секреты древних мастеров”, совершенно неубедительны. Это стало тем более





очевидно теперь, когда найдена одна из первых монет Московского княжества с коломенской символикой. Уж её-то никак не отнесёшь ко временам Ивана Грозного.

Впрочем, этот пассаж Вагнера соотносится с преданием совсем недавних времён о пресловутой “библиотеке Ивана Грозного”, которая якобы погребена в Городищах, а “царская печать” указывает её местонахождение.

Свет Иорданский

Лишь в 1993 году молитвенное слово вновь прозвучало под святыми сводами... Пророческий свет вновь воссиял над многострадальной землёй. Храм стал подворьем Бобренева монастыря. Начались восстановительные работы, субботники, в которых принимали участие и члены православного братства им. Димитрия Донского. И вскоре владыка Ювеналий совершил в только что открытом, ещё неотопливаемом храме первую службу.

Однако восстановительные работы затянулись...

И с 1998 года церковь стала приходской. Сюда определили на служение протоиерея Николая Никутина, которому немало удалось сделать. В церковь провели отопление, были обустроены приделы трапезной. Но особенно оживились работы к 2007 году, когда Коломна стала столицей праздника Славянской письменности и культуры.

Словно прекрасное облако осенил Городищи светлый белокаменный храм!

А завершение реставрации и подготовку к юбилею пришлось принять на себя уже новому настоятелю — священнику Кириллу Сладкову. Архиерейскую литургию и крестный ход в честь 700-летия святыни совершил сам владыка Ювеналий. Давно земля Городищ не видела столь торжественного богослужения! В храм вернулась — точной копией — икона Иоанна Предтечи Ангела Пустыни.

Особенно преобразилась святыня к концу 2012 года. Храм оцепила нарядная ажурная ограда. Великолепно украсился древний четверик, на алтарной стене которого водрузили новый резной иконостас! Обновляются и приделы трапезной.

Создаются новые образа, совершается богослужение, идёт просветительская работа. Белым кораблём плывёт над Коломенкой величавый храм. Не будем забывать о нём! Ведь это слава Коломны, драгоценное достояние всей России! Пусть не оскудеет поток народный к этой святыне! Пусть горит этот светильник веры пророческим иорданским светом, неся людям евангельскую весть так же, как и века назад!

В КОЛОМНЕ



Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в городе Орске Оренбургской области в семье Бондарева Василия Васильевича (1896–1988), народного следователя, и Бондаревой Клавдии Иосифовны (1900–1978). В 1931 году они переехали в Москву.

Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 года.

Дебютировал в печати в 1949 году. Первый сборник рассказов «На большой реке» вышел в 1953 году. Автор рассказов (сборник «Поздним вечером», 1962), повестей «Юность командиров» (1956), «Батальоны просят огня» (1957); телесериал «Батальоны просят огня» по мотивам повести, 1985), «Последние залпы» (1959; одноимённый фильм, 1961), «Родственники» (1969), романов «Горячий снег» (1969), «Тишина» (1962; одноимённый фильм, 1964), «Двое» (продолжение романа «Тишина»; 1964), «Берег» (1975).

Герой Социалистического Труда. Награждён орденами Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почёта», медалями «За отвагу» (дважды) и др. В 1994 году отказался от награждения орденом Дружбы народов в связи с 70-летием, написав в телеграмме Президенту РФ Б. Ельцину: «Сегодня это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».

Приезжал в гости к коломенскому художнику Михаилу Абакумову. Бывал в гостях у него в мастерской.

Рассказ

В затенённом старыми вязами Посадском переулке, сбегающем к Москве-реке, напротив Дома воеводы XVII века, зашли во дворик, очень напоминавший домик моего детства своей травой, липами, куполами полуразрушенной церкви за крышами сараев, деревянным крыльцом дворянского облупившегося особняка с большими высокими окнами, с развалившимся наполовину старым балконом над садом.

Во дворике было царство грустного, уже знакомого мне запустения. Здесь приятно потянуло сыростью земли, тёплой листвой, как в моём родном Замоскворечье в жаркий, перезревший солнцем день, запахло сухими берёзовыми дровами, что белеющей кучкой, нарубленные недавно, лежали вокруг заплесневелого чурбана близ почерневшей от времени широкой двери сарая или конюшни прошлого столетия с заржавленными железными запорами. И меня поразила кем-то давно забытая на дворе, сплошь заросшая травой лодка, с насквозь прогнившим днищем и бортами, навевающими одну и ту же мысль о доме без хозяина, о заброшенности, сиротстве, бедности этого уголка, вероятно, когда-то зело богатого.

— Вы не из местного ли начальства будете? Не насчёт ли ремонта?

Из сада нам навстречу вышла пожилая женщина, неся ведро с яблоками, оглядела спокойно светлыми добрыми глазами и, не ожидая ответа, заговорила:

— Я здесь с тридцать седьмого года живу, а дом наш, наверное, лет сто не ремонтировался.

— И что же это за дом? — спросил я, не сдерживая любопытства.

— Дом занимал петербургский вель-

можа, который жил здесь со своей любовницей, актрисой, балериной, кажется. Потом он разлюбил её, а дом этот в девятьсот десятом году подарил ей. Жила она в нём до двадцатого года, после пропала куда-то бесследно. Или убили её, или бежала за границу, тогда пустой дом и заняли...

Женщина стояла. Прижимая ведро с яблоками к боку, её седые волосы были гладко причёсаны, завязаны в пучок на затылке, лицо, когда-то, видимо, особенно красивое, русское своей милой мягкой открытостью, вызывало у меня странное чувство тоски, как будто нечто знакомое, родное было в её облике, в смелой спокойной манере говорить, в улыбке, в голубых глазах, в ситцевом домашнем платье, в её хрупкой фигурке, не испорченной годами. Кого она напоминала мне? Она напоминала мне покойную мать, и я смотрел на её седые волосы, слушал её и едва справлялся с заслонённым дыханием, представляя, что она, моя мать, могла стоять вот так, посередине двора, прижимая ведёрко яблок к боку, и говорить со мной, рассказывать о некоем петербургском вельможе и его любовнице актрисе.

— Я приехала сюда в тридцать седьмом году вместе с мужем (вместе ли?) с Урала, мой муж был инженером, он строил Магнитогорск...

И мне почему-то страстно захотелось увидеть, как она жила со своим мужем в этом коломенском доме, хотелось увидеть, как жила моя мать в те молодые её годы, когда ещё не было в маленьких русских городах этого запустения, разрушений.

— А вы пройдите, посмотрите дом, — сказала она.

Мы поднялись по деревянным ступеням и оказались то ли в тамбуре (как в доме моего детства), то ли в передней, где сладко пахло малиной, а на двух столах я увидел довоенные миски, полные перезрелой ягоды, и букеты цветов в простеньких вазах. Здесь немолодая, со строгим лицом женщина, сидя на низкой скамейке, сосредоточенно резала яблоки над медным тазом (вероятно, для варенья), ей помогали две девочки-подростка. Мы поздоровались (они только ответили вопросительными взглядами) и прошли в тёмный коридор, в большую кухню под сводчатым потолком, как в храме или монастыре, затем вошли в комнаты, горячо ослепившие нас солнцем. Эти комнаты оказались высокими, чистыми, чересчур светлыми, со смешанной мебелью — старинные столы, настенные часы, дремотно отстукивающие как бы в тишине прошлого столетия, громоздкие шкафы девятнадцатого века, а на стенах современные обои, на полу зелёный ворсолин, в углу покрытая потёртым паласом тахта — в просторных этих комнатах, должно быть, прошла если не весёлая, то и не тяжёлая жизнь неизвестного мне, давно умершего петербургского сановника, содержавшего красавицу-актрису, и прошла разная жизнь всех, кто поселялся, кого расселяли здесь позднее. И изразцом печей («неудобство у нас — мы дровами топим»), и медными заглушками, и переплётами старых книг на этажерке, и лепными потолками, и светлым воздухом в комнатах, и тёплым запахом какой-то мягкой доброты и уюта — всё опять напомнило мне родное моё Замоскворечье, и я стоял, сдерживаясь, чувствуя, что возвращаюсь туда, далеко назад, в пропавшую страну моего счастья, моей любви к матери, которой так сейчас не хватало мне, уже совсем немолодому человеку.

Я подошёл к открытому окну, куда ломилась ветвями, сочной листвой древняя липа, увидел весь в тени, ещё дореволюционный, разрушенный бал-

кон, увидел внизу прогретый солнцем неухоженный сад на косогоре, заросли малины, изгородь, свалившуюся в траву, а слева глубоко внизу меж вязов серебристый блеск Москвы-реки, которая, когда-то многоводная, мощная в весенние разливы, подходила к самому дому, и думал: «Вот оно, вот оно»...

Я смотрел в окно и думал о том времени, ушедшем навечно.

— Я Евангелие по вечерам читаю, — услышал я голос женщины. — А в тридцатых годах заведовала школой... Но всё давно в прошлом. И теперь скоро, очень скоро я отправлюсь в долгое путешествие. Муж умер до войны. А я хотела жить, задержалась. Всё ждала его, как во сне. И вот пришла и мне пора. Скоро... И я рада этому...

Потом женщина принесла шкатулку и достала из неё две прелестные камеи — две женские головки — и сказала, что это подарила ей скульптор, которая приезжала сюда летом отдыхать. («Вы слышали о скульпторе Голубкиной?») Я молча поцеловал ей руку, и мы вышли.

— Поразительно, в этом доме на каждом столе готовые натюрморты, — шёпотом сказал мне мой спутник, художник. — Цветы и предметы. Ты видел?

Я молчал. Мы медленно уходили от дома, подымаясь по Посадскому переулку, и я стискивал зубы, боялся оглянуться, чувствуя, что могу нестати и беспричинно разрыдаться.

Да что же это? Конец девятнадцатого века, петербургский вельможа, красавица-актриса и девятьсот двадцатый год, год тридцать седьмой, эта женщина, похожая на мою покойную мать, её муж инженер, почему-то приехавшие сюда с Урала, великая и горькая война, наша победа, смерть Сталина, бесконечные крутые и невнятные перемены, скульптор Голубкина и это запустение маленьких русских городков...

Может быть, всё русское на этом кончилось, как кончилось когда-то в жизни моей матери, как кончится и в моей жизни?

За что и зачем?

Послесловие

В 1986–1987 годах совет Коломенского клуба краеведов организовал две экскурсии «Имя в истории Коломны». Тогда краеведы А.И. Кузовкин и И.В. Маевский провели нас по улицам старой части Коломны и рассказали о домах, в которых жили и работали люди (некоторые подолгу, другие — наездами), хорошо известные в городе, а иные — в стране. Итогом тех интересных и познавательных экскурсий стали методичка «В помощь краеведу. Выпуск 2. Имя в истории Коломны: фрагмент экскурсионного маршрута в Коломне» (сост. А.И. Кузовкин) и комплект фотографий «В помощь краеведу. Выпуск 4. Коломна. Дома нашей памяти» (сост. А.И. Кузовкин и А.Е. Денисов, фото Г.А. Чистякова).

Одним из объектов экскурсий был дом № 12 по Посадскому переулку: «У своей сестры здесь часто бывала и работала известный русский советский скульптор Анна Семёновна Голубкина (1864–1927)».

Через некоторое время в одном из литературных журналов я обнаружил рассказ известного советского писателя Юрия Бондарева «В Коломне». Он был опубликован в цикле «Мгновения». Ознакомился с его содержанием, а затем несколько раз перечитал. Ведь он касался истории дома №



*Посадский переулоч, дом 12.
Фото Г.А. Чистякова, 1987 год*

12 по Посадскому переулочу и его жителей. Но его содержание не совсем соответствовало тому, что мы услышали во время предыдущих экскурсий.

Первое, за что я тогда зацепился, было упоминание о художнике:

— Поразительно, в этом доме на каждом столе готовые натюрморты, — шёпотом сказал мне мой спутник художник. — Цветы и предметы. Ты видел?

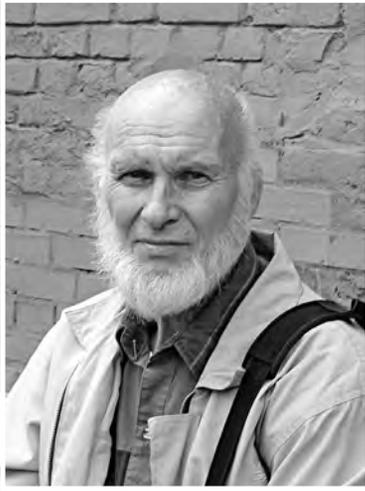
Я перебрал в своей памяти коломенских художников и решил, что им мог быть Михаил Абакумов, так как его мастерская была недалеко, на улице Островского. Так оно и оказалось. Михаил сообщил мне о том, что это он пригласил в Коломну Юрия Бондарева и провёл его по Старому городу.

Со своими сомнениями о соответствии содержания рассказа действительности я поделился с Анатолием Ивановичем Кузовкиным, который решил уточнить историю этого дома и его хозяев. Итогом его краеведческого поиска стала статья «Прикосновение к прекрасному», опубликованная 7 февраля 1989 года в газете «Коломенская правда». В ней он рассказал о своём посещении этого дома, беседах с его хозяевами, о настоящей истории и пребывании в этом доме А.С. Голубкиной.

Легенда о петербургском вельможе и его любовнице, озвученная Ю. Бондаревым, упоминание о тридцать седьмом годе, на мой взгляд, могла быть придумана писателем для придания занимательности сюжета его рассказу.

Читателям, которые захотят подробнее узнать о настоящей истории этого дома и судьбе его хозяев, я рекомендую прочитать очерк А.И. Кузовкина «Благодарила судьбу за встречу в Коломне» в его книге «Они бывали в Коломне» (Коломна, 2002).

Подготовка публикации и послесловие
Александра ДЕНИСОВА



Дмитрий Борисович Волков родился в 1937 году. После окончания в 1960 году судостроительного факультета Мосрыбвтуза работал на Сахалине мастером судоремонтного участка.

По возвращении в Москву работал конструктором в ЦКБ «Нептун» Министерства судостроительной промышленности СССР, потом — главным конструктором, а затем — заместителем начальника ЦКБ.

Награждён медалью в честь 300-летия Российского флота и медалями ВДНХ за разработку проектов прогулочных судов. Более двадцати лет являлся членом редколлегии журнала «Катера и яхты».

Эта работа прекратилась с упразднением Минсудпрома СССР. В 1994 году ушёл на пенсию по инвалидности. Перестроил два дома, посадил сад, вырастил сына и дочь.

Краеведческий очерк

ДОМ НА ПЯТНИЦКОЙ

На улице Пушкина (бывшей Пятницкой), недалеко от перекрёстка, с которого открывается путь в одну сторону — к древним Пятницким воротам кремля, а в другую — к Николу Посадскому, стоит дом под номером 20. До недавнего времени вход в него был расположен с улицы под затейливым кованым козырьком. Над дверью висела рукоятка: если подёргать, то через систему блоков в столовой звенел колокольчик. Прагматичное поколение крыльцо снесло, и козырёк оставили на улице. Его тут же унесли, и, слава Богу, если использовали по назначению, а то просто сдали в металлолом. Вместо этого появилась пристройка из бетонных блоков.

Кстати, когда после войны пришли в негодность ворота с калиткой: их восстановили полностью по старому образцу. Тогда же была перекрыта прожавевшая крыша и в доме проведён реставрационный ремонт. До этого на чердаке под всеми протечками стояли кастрюли, миски, блюда. После каждого дождя из них сливали воду в вёдра.

Дом этот с двором и садом купил у родственников умерших застройщиков в 1904 году мой дед Фёдор Волков.

Фёдор Алексеевич родился в 1868 году в селе Парфентьеве Коломенского уезда.

Его отец Алексей Илларионович (1841–1901) имел дом в Парфентьеве (улица Почтовая, 4).

Как мне рассказывали, дом этот построил Илларион Волков в 1861 году.



Фёдор Алексеевич Волков

Сначала я считал, что после отмены крепостного права, а потом узнал, что земля в Парфентьеве была казённой. К дому примыкал каретный сарай и другие постройки. Комнаты внутри располагались вокруг огромной русской печи. Маленький штрих: в доме было биде.

Алексей Илларионович имел восемь речных барок и занимался кроме крестьянского хозяйства тем, что в начале года покупал у крестьян бассейна Москвы-реки и Оки часть их будущего урожая, субсидируя, таким образом, посевные работы. После уборки он свозил зерно в Коломну, где у него на рынке был лабаз, и продавал его розничным покупателям на помол или фураж. Был чаще с прибылью, чем с убытками.

После его смерти Московский окружной суд по указу Его Императорского Величества определил наследниками его детей. Кроме барок им досталось крестьянское хозяйство, земля и денежные вложения всего на 24 тысячи рублей. Потом по раздельной записи на сельском сходе полученное по наследству имущество было разделено между шестью его детьми.



*Улица Пушкина, дом 20.
Дом куплен семьёй Волковых в 1913 году*

Фёдор Алексеевич принял в управление восемь барок и продолжил дело отца. После революции дед занимался практически тем же в роли снабженца Красной Армии. В доме их «уплотнили» подселенцами. Земля и постройки в селе остались в собственности его сестёр и братьев.

В 1996 году я с племянниками побывал в Парфеньеве, и одна из оставшихся в доме родственниц, тётя Маруся Полякова, показывая нам дом и примыкающие к нему постройки, вышла за забор и тихо сказала, показав в сторону Москвы-реки: «Раньше-то вся эта земля принадлежала Волковым. Там был сад, конюшни. Колхоз-то был организован на волковском добре».

Это было как раз перед вторым туром выборов президента, куда вышли Ельцин и Зюганов. Я спросил тётю Марусю: «А за кого будут голосовать в Парфентьеве?», и она, не задумываясь, ответила: «Ну, конечно, за Зюганова». Мои попутчики возмутились, а я сказал: «А чего же вы хотите? Ведь всё, что отобрали, никто не вернул, а колбасу по два двадцать, хоть за ней и надо было ездить в Москву, отобрали». Потом как-то я ехал по «волковской земле» от Москвы-реки две автобусные остановки.

Фёдор Алексеевич был женат на Татьяне Ивановне Калединовой.

Дом Калединовых находился в Коломне на Большой улице, примыкая к дому Лажечниковых. Второй этаж был жилым, а на первом располагалась лавка тканей. Иван Калединов торговал тканями Морозовской мануфактуры. В детстве я видел огромное количество альбомов с образцами этих тканей.

Любимый рассказ бабушки: «Спущусь в лавку, а там отец говорит: Таня, считай: рубли к рублям, трёшки к трёшкам, пятёрки к пятёркам».



*Улица Большая, дом Калединовых (отмечен стрелкой).
Сгорел в 1910 году*



*Борис, Фёдор, Алексей
Волковы*

В 1910 году этот дом сгорел, землю выкупил Эйнер, по моему, датчанин, и построил дом с аптекой. Родители старались поменьше нам рассказывать о дореволюционной жизни их семьи. Однажды я сказал брату моего отца, Фёдору, речь о котором пой-

дёт дальше: мол, нашёл обрывок автобиографии его отца, а там он пишет: «В 1927 году женился на Россоловской Надежде Александровне (из дворян)». Фёдор спрашивает: «А что ж он врал об отце?» Я отвечаю: «Надеюсь, вы врали одинаково». Они писали в графе «происхождение»: «из крестьян», и Калединовых старались не упоминать, чтобы получить высшее образование...

У меня сохранилась роспись имущества, которое передавалось жениху младшей дочери Калединовых в качестве приданого. Первым пунктом идёт «Божие милосердие, угольник с тремя иконами в серебряных вызолоченных ризах с лампадой — 175 рублей», затем «Серьги бриллиантовые — 100 рублей» и т.д. В конце подписано: «По сей росписи приданое и деньги в сумме тысяча триста двадцать три рубля получены сполна» и подписи. Дата: 1903 год, 10 ноября.

В 1893 году у Фёдора Алексеевича и Татьяны Ивановны рождается первая дочь Клавдия, в 1895 году дочь Софья, а в 1897-м — мой отец Борис. Всего бабушка родила двенадцать детей, и только одна Наташа умерла в младенческом возрасте. Остальные дожили до войны. На обороте фотографии деда, которая висит у меня, бабушкиной уже старческой рукой написано: «Мой красавиц. Отец 11 ч. детей».

Фёдор Алексеевич был человек набожный, и в книге «Коломна и окрестности. Храмы Коломенского района» на странице 215 читаю: «С 1907 года старостой Николопосадского храма был крестьянин Фёдор Алексеевич Волков». Церковь Воскресения, которую чаще именовали по более древнему приделу Николой-на-Посаде, была сердцем купеческой Коломны и архитектурным центром Посада. Вокруг её высоченной шатровой колокольни — «Сороказвона» — поколение за поколением текла торговая жизнь.

В 1931 году во время гонения на Церковь Фёдор Волков приехал в Москву, где у него родился первый внук, привёл к нам домой батюшку из церкви Николы-на-Песках, что располагалась в арбатских переулках, и тайно окрестил моего старшего брата Владимира.

Умер Фёдор Алексеевич в 1933 году.

Дети бабушки проводили всё свободное время в имении Калединовых под Озёрами, в Ростиславле. Имение это потом по неизвестным причинам сгорело. Говорят, что там бывал писатель Борис Пильняк-Вогау, с сестрой которого дружили мои тётки. Действие одного из его романов происходит в имении, прототипом которому послужило владение Калединовых. Пильняка расстреляли в 38-м за его повесть «Повесть непогашенной луны» о Фрунзе и за независимый «еретический» образ мыслей.

Уже сейчас я пытался разыскать хотя бы то место, где стоял, судя по фотографиям, красивый деревянный двухэтажный дом на высоком обрывистом берегу Оки. Но в зарослях борщевика не нашёл даже части лестницы к реке, остатки которой, по рассказам, ещё долго сохранялись... Но, глядя с обрыва на заокские дали, я ощутил дух местности, в которой провёл детство и юность мой отец.

Вот такая семья поселилась в 1904 году на Пятницкой улице.

Дом был просторный. Окна столовой выходили во двор, и в них просто ломились кусты великолепной сирени. В столовой стоял высокий буфет и стол, за которым трапезничали 13 человек. Окна большой бабушкиной комнаты выходили на Пятницкую. Через двор и из столовой был вход в подвал, где стояла огромная русская печь. Я помню даже, как меня после войны, когда мне было лет семь, в ней мыли. На загнетке летом хранились остатки обеда. Дом отапливался голландскими печами, у некоторых из них были вьюшки для самоварных труб.

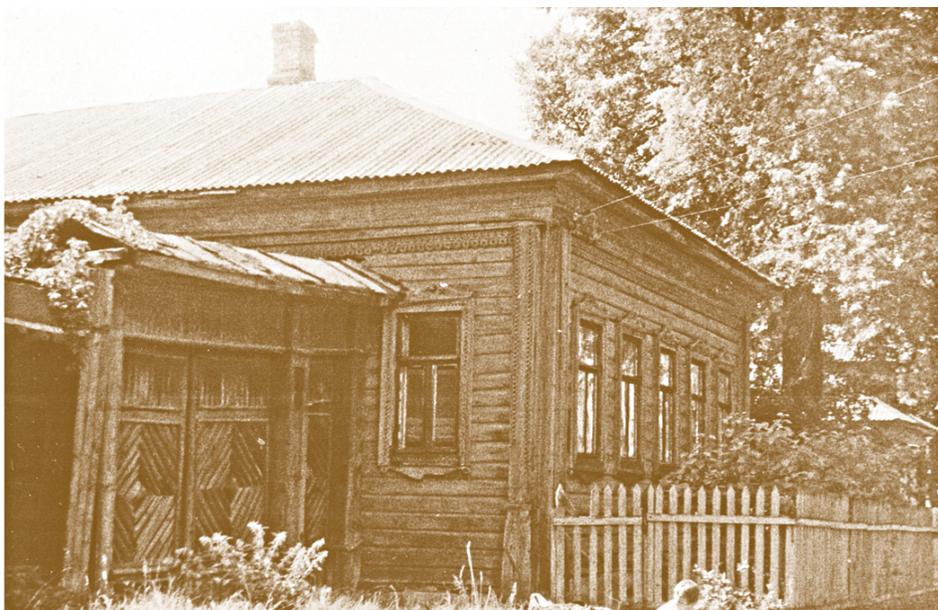
Мы семьёй жили в Москве, но я, побывав несколько смен в пионерском лагере, наотрез отказался больше в него ездить, и родители меня отправляли на лето в Коломну. В возрасте лет десяти меня сажали в поезд на Казанском вокзале, а в Коломне меня встречала тётя Соня и многочисленные двоюродные братья и сёстры.

Бабушка дожила до 87 лет, и в конце жизни у неё плоховато стало с памятью. Сидя за столом, она обводила нас всех взглядом и спрашивала: «Ты чей будешь?». Доходила очередь до меня, и я отвечал: «Борин я, бабушка, Борин». Она причитала: «Ах, Боренька, он же мне всегда присылает кофе и деньги!». Без кофе, видимо, из-за низкого давления, она не могла обходиться, и отец даже в самые трудные годы его где-то доставал, иногда жарил сырые зёрна.

В комод у бабушки хранились перетянутые резиночкой на каждого из детей письма, записочки, квитанции денежных переводов. У меня есть довоенное



*Софья Фёдоровна
с мамой Татьяной
Ивановной*



Дом в с. Парфентьеве

письмо бабушки моему отцу, где она о каждом из своих десяти пишет хотя бы несколько строк вроде: «Шурка двоечница, наверное, останется на второй год». И вот за столом доходит очередь до её «поскрёбышка», Фёдора, родившегося почти под залп «Авроры» в октябре 1917 года. Бабушка его строго спрашивает тоже: «А ты чей будешь?», и он важно отвечает: «Сонькин я, мать, Сонькин», называя свою старшую сестру, которая с ним нянчилась. Бабушка возмущённо на него сердилась: «Охальник, креста на тебе нет, охальник!».

Жила бабушка со своей дочерью Соней. Часа в четыре утра она могла прийти в столовую, где спала тётя Соня, и тормошила её: «Сонька, вставай, мы сегодня-то почайпить будем?»

Однажды, когда тётя Соня ушла, разразилась страшная гроза. Бабушка, испугавшись, вбежала в столовую и, обратившись



Москва, ул. Кропоткина, первая слева Клавдия Фёдоровна Морозова (Волкова), третья слева Любовь Ивановна Калединова и её муж Салтычев (в шляпе)



*Виктор Волков с женой Лиёй
и детьми Станиславом и Эльвирой*

ко мне, старшему из присутствующих внуков, заплакала: «Как же я попаду домой? Ведь меня мама ругать будет». Я спрашиваю: «А куда?» Бабушка: «Как куда? На Большую — ты что, не знаешь дом Калединовых?» Я говорю: «Ну, только на извозчике». Она: «А он сколько возьмёт?» Я: «Пятиалтынный, не меньше». Она: «Пятиалтынный? На Большую-то? Креста на тебе нет!» И уходит. Все, конечно, смеются, а гроза бушует. Бабушка возвращается и говорит: «Вези», я отвечаю: «Теперь я и за полтинник не повезу». На

моё счастье, возвращается тётя Соня и успокаивает маму. По семейной легенде, бабушкина дочь Наташа испугалась одна в комнате, закатилась в плаче, и её не смогли «откатать»: она умерла. Мне до сих пор немного стыдно за давнюю шутку, но тогда я был совсем молодой.

Во дворе располагался сарай для скотины и за ним небольшой сад. В этом сарае, когда нас много съезжалось в Коломну, мы устраивали «общежитие». Уже в возрасте лет двадцати двух я увидел у тётки Сони красивые яблоки и спросил: «Откуда? С базара?». Она ответила: «Нет, из нашего сада». Я удивился: «Да разве у нас есть такие яблоки?» Она, смеясь, сказала: «Да вы их маленькими ещё в завязи съедали». В доме был закон: раньше бабушки в малину не ходили. Мы и не могли: она очень рано вставала. Утром, когда мы все позавтракаем, она выстраивала внуков в своей комнате и с блюдечка угощала малиной. Очередь доходила до самого младшего, и она со словами: «Ах ты, мой черноглазенький!», давала ему побольше.

В доме находился зимний туалет. Он меня поражал четырьмя или даже пятью крышками, закрывавшимися последовательно. Когда ты делал своё дело, надо было бросить вниз кусок горячей газеты. Никакого запаха в доме не было. Сейчас это всё смеш-



Константин Волков, 1928 г.



Борис Волков, студент

но, но была своя цивилизация, многое из которой забыто. Так же, как и отношения между людьми.

Чего только стоили присказки тёти Сони за обедом! «За вкус не берусь, а горячо сделаю», «волк сыро ел, да высоко прыгал», «суп жульен — два ведра воды и одна луковица».

Тётя Соня нам выделяла три рубля, и мы под конец работы базара покупали подешевле ягоды на стакан. Дома по-братски всё делили. Купаться ходили на пляж через понтонный мост к Бобреневу: сейчас, мне сказали, там купаться нельзя — кожа слезет. Реже купались на ближних или дальних «песочках». На трамвае мимо старого кладбища ездили обрабатывать участок, который давали под картошку. Дрова покупали на дровяном складе. На попутках ездили за грибами в Непецино, к железной дороге.

Детство в Коломне, хотя были и очень трудные годы, когда нас с номерочками на руке ставили в очередь за хлебом, кажется таким светлым, счастливым и беззаботным!

Позже, уже учась в институте, когда мне всё осточертевало, я ехал в Коломну. Три дня, посидев и поговорив с тётёй Соней, я возвращался, восстановившись к московскому круговороту.

В столовой на этажерке хранились в ридикюле подлинники документов, среди которых были купчая на дом, роспись бабушкиного приданого, принятого со стороны жениха крестьянами села Парфентьева, и др. В 1960 году, когда я уезжал на Сахалин после окончания института, тётя Соня очень просила меня их забрать, намекая на то, что мы можем больше не увидеться. Она уже была тяжело больна, и в этой обстановке я просто себе не позволил их взять, убеждая, что мы ещё встретимся. Мы увиделись, и я успел познакомиться её с моей женой. Что не взял тогда документы — пожалел.

В конце девяностых годов, после долгого перерыва, я приехал в Коломну. С одним из племянников мы пошли в город. Он спросил: «Куда пойдём?» Я ответил: «В центр», имея в виду мимо



Алексей Волков, 1929 г.



Вова Волков

«Ханзеля» на Житную площадь — к колокольне Иоанна Богослова и «Гастроному».

Почему-то он меня повёл совсем в другую сторону и вывел к высотной гостинице. На месте нескольких снесённых кварталов старинных домов развернулась Советская площадь. Напротив, в Мемориальном парке, он мне показал огромную гранитную голову и с гордостью заметил: «Это мы здесь работали на комсомольских субботниках». Я спросил: «А вам никто не говорил, или вы сами не догадались, что всё это “великолепие” сделано на могилах

ваших предков?» Старое Петропавловское кладбище разрушено, и могил Калединовых и моего деда не осталось...

Несколько слов о многочисленной семье Волковых.

Девочки, кто успешно, а кто не очень, повыходили замуж. Незамужней осталась только Софья. Она всю себя посвятила маме, удочерила дочь своей сестры Анастасии, умершей в 1941 году. Тётя Соня была святошным звеном своих сестёр и братьев, гасила возникающие конфликты и принимала нас, своих племянников.

В Коломне она всю жизнь преподавала математику. За долголетнее учительство была награждена орденом Ленина. С ней трудно было ходить по городу — все с ней раскланивались, а она объясняла: этот учился тогда-то, это учились их дети или внуки. Кстати, её учеником был уроженец Коломны Нырклов, защитник футбольной команды ЦДКА, участник знаменитого матча «СССР — Югославия» на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки. Когда она что-то объясняла, то приговаривала: «Ну, по Малинину-Буренину будет так».

За внешней строгостью у неё скрывалась добрейшая душа. Я помню, в детстве только раз она меня прижала к себе и поцеловала, но память об этом осталась у меня на всю жизнь. Так же строго она относилась к удочерённой Ирине.

Тётя Соня умерла в 1963 году и похоронена уже на новом кладбище близ Протопопова. Теперь его уже называют Старым.

Мой отец, или, как мы с братом его называли, батя, всю жизнь вспоминал Коломну с большой теплотой. Их гулянья в молодости на Блюдечке, молодёжные балы, где он бывал распорядителем: «Кавалье, шерше во дам, кавалье, ангаже во дам!».

В 1917 году он поступил в Москве в Высшее Императорское техническое училище, но тут грянула революция, и его призвали в армию. На альтернативной основе он учительствовал и стал директором детского дома в Зарайске (колония «Большая жизнь»). Параллельно он учился на заочном отделении Межевого института в Москве, а потом перевёлся в МВТУ им. Баумана (бывшее Императорское) и закончил его в 1927 году.

Работал в «Мосмясохладстрое», а потом в «Гипрорыбпроме» главным конструктором — начальником строительного отдела. По его проекту построены практически все промышленные холодильники пищевой и рыбной промышленности Советского Союза, а в 1963 году и на Кубе. Много времени он проводил в командировках. Умер в 1971 году.

Виктор, 1900 года рождения, служил в армии и в чине майора умер в 1942 году во Владикавказе. Его семью мы из вида потеряли. Знаем только, что у него были сын Станислав и дочь Эльвира.

Михаил — 1902 года рождения. Его судьба сложилось драматично, даже трагически. Всеми виной война. Он был призван в 1941 году в армию. Провёл прощальную ночь с молодой женой Юлией, опоздал утром на призывной пункт, попал в штрафбат и сгинул без вести...

Константин, который родился в 1903-м, воевал, как тогда говорили, в Финской Кампании, был тяжело ранен и демобилизован. Работал, по-моему, на Патефонном заводе. Они с Михаилом были женаты на двоюродных сёстрах. Прожил до 1971 года.

Алексей, 1907 года рождения, работал в строительстве, остался жить в родительском доме. Там и умер в 1993 году. Сейчас на Пушкинской живёт его сын Юрий.

Самым талантливым из сыновей оказался последний, Фёдор. Он окончил в Москве Институт связи. Уже в 1941 году, работая в НИИ-17, вместе со своим шефом Тихомировым создал локатор, который обнаруживал полёт фашистской авиации к Москве минут за двадцать. Когда они сказали, что надо поднимать истребители, им сначала не поверили, но потом убедились в правильности работы приборов и тем спасли Москву от ещё больших разрушений.



У дома в с. Парфентьево

Работая в содружестве с Туполевым и другими генеральными конструкторами, он разрабатывал локационные системы самолётов. Получил Сталинскую премию за время работы в войну и Ленинскую — за создание локационной системы самолёта, угнанного впоследствии в Японию Беленко. После дипломатического скандала с поездкой Гагарина в Париж на салон “Лё Бурже” по освободившемуся в делегации месту он побывал во Франции. На работе его звали Эфэф. Параллельно с основной работой был профессором, преподавал в МАИ.

Умер он в 1996 году, и на его похоронах я увидел, после долгого перерыва общения со своей роднёй, молодых и красивых племянников. Потом один из них, Андрей, внук Фёдора, сказал: «Приехал какой-то дядька на костылях (я тогда повредил ногу), и его все целуют, и моя мама тоже». Я тогда понял, что нам из того поколения хоронить уже некого, и никто не соберёт нас вместе...

Я предложил в «круглую» дату — 99 лет со дня рождения моего бати — собраться всем Волковым и «примкнувшим к ним» у меня на даче (благо участок позволяет), а то все наши потомки не будут друг друга знать.

Я вспомнил похороны бабушки, когда приехал с батей и Фёдором в Коломну. Двор был забит незнакомым народом, и они стали знакомиться и представляться: «Волков», в ответ звучало: «Волков». Я невольно рассмеялся.

Потом так и случилось. Во время подготовки к поступлению в МГУ познакомились и подружились две Даши. Однажды одна Даша дала другой книжку, закладкой в которой служила фотография. На снимке была запечатлена наша очередная встреча, на которой молодёжь играла в баскетбол, а кто поменьше — в «вышибалы». Вторая Даша спросила: «Это ты где?» Та отвечает: «У дедушки на даче». Моя внучка возмущается: «Это мой дедушка!» Другая Даша была внучкой моей двоюродной сестры Ирины.

С 1996 года мы встречаемся каждую последнюю субботу мая. В самые «урожайные» годы нас собирается больше тридцати человек по принципу принадлежности хоть когда-то к семье Волковых; у многих уже совсем другие фамилии. Я назвал это «Волчьей стаей».

Как-то посчитали: если бы удалось собрать всех, нас было бы под восемьдесят человек. Ведь нас, двоюродных братьев и сестёр, — 17, и у нас родились 24 ребёнка. Девочки, которые в 1996 году играли в «вышибалы», стали мамами. Мальчики не отстали, и в таблице родословной я заполняю уже восьмой ряд поколения Волковых. А девиз этой таблицы: «Плодитесь, размножайтесь». Четыре семьи Волковых живут в древней Коломне, а остальных судьба разметала по земным просторам вплоть до Европы!

КОЛОМЕНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Знаменательные и памятные даты 2013 года

6 января 1948 года в Коломне родилась Татьяна Фёдоровна Башкирова. Поэт, член Союза писателей России. Член редколлегии «Коломенского альманаха» с его основания.

29 января. 125 лет назад родился Александр Васильевич Чайнов (1888–1937). Экономист-аграрник с мировым именем, литератор, автор трудов по истории науки, по истории Москвы, искусствоведению, оригинальный писатель-беллетрист. В повести «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.» некоторые эпизоды сюжета связаны с Коломной.

25 февраля. 65 лет назад в Коломне родился Михаил Георгиевич Абакумов (1948–2010). Живописец, народный художник России. Почётный гражданин Коломны.

13 марта (1 марта по ст. ст.). 125 лет назад в Коломне родился Александр Степанович Рославлев (1883–1920). Писатель, автор песни «Над полями, да над чистыми», которую называют русской народной. Умер в Екатеринодаре (ныне Краснодар).

22 марта (10 марта по ст. ст.). 115 лет назад в Коломне родился Владимир Николаевич Матов (1898–1989). Писатель, потомственный дворянин. Умер в Москве.

20 апреля. 75 лет назад погиб незаконно репрессированный писатель Борис Андреевич Пильняк (Вогау) (1894–1938). Дом № 7 по улице Арбатской, где он жил, отмечен мемориальной доской.

6 мая. 195 лет назад в Коломне родился Николай Васильевич Губерти (1818–1896). Известный российский библиограф, коллекционер.

24 мая 1948 года родился Виктор Семёнович Мельников. Журналист, писатель, издатель. Основатель литературного ежегодника «Коломенский альманах».

26 мая. 45 лет назад в Москве скончалась Валентина Александровна Любимова (1895–1968). Драматург, лауреат Государственной премии СССР. Родилась в селе Щурово (ныне в черте города Коломны).

15 июня. 100 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Кирсанова (1913–1991), поэта-фронтовика, члена Союза писателей СССР. Основал и вёл в Коломне поэтическое объединение «Зарница».

24 июня. 125 лет назад в селе Сандыри Коломенского уезда (ныне в черте города Коломны) родился Иван Андреевич Козлов (1888–1957). Писатель, лауреат Сталинской премии. Одна из улиц Коломны названа его именем.

25 июня. 65 лет назад в Коломне родился Николай Гаврилович Милецкий. Музыкант, педагог, создатель ансамбля «Ритурнель».

3 июля. 90 лет назад в Коломне родился Сергей Васильевич Гуськов (1923–1997), член Союза писателей СССР, автор романов, повестей, многие герои которых имеют прототипов-коломенцев.

3 июля 1958 года в Коломне родился Сергей Владимирович Калабухин. Писатель-фантаст, член редколлегии «Коломенского альманаха».

19 июля. 75 лет назад в селе Парфентьево Коломенского района родился Юрий Дмитриевич Колесников (1938–2003). Краевед, фотограф. Автор снимка на обложке «Коломенского альманаха».

22 июля 1948 года родился Нисон Семёнович Ватник. Краевед, кандидат исторических наук, доцент МГОСГИ.

25 июля 1933 года в деревне Надеево Коломенского района родился Сергей Тимофеевич Циркин. Заслуженный художник Российской Федерации.

12 августа. 195 лет назад (31 июля по ст. ст.) скончался Николай Иванович Новиков (1744–1818). Русский просветитель, писатель, журналист, издатель. Родился в селе Авдотьино Коломенского уезда, там же и похоронен.

4 октября 1958 года в Коломне родился Алексей Николаевич Курганов. Писатель, журналист.

29 ноября 1928 года в Коломне родился Виктор Васильевич Смыслов. Известный фотомастер, краевед.

Календарь подготовил Анатолий КУЗОВКИН

Франсиско Мансилья КАРАМЕС

ПАСЫНОК

ИСПАНСКИЕ ДЕТИ
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ



70 лет назад в Советский Союз из Валенсии прибыл первый пароход с испанскими детьми. Совершенно одни, без родителей, маленькие испанцы бежали от ужасов гражданской войны, но надеялись скоро вернуться домой. Жизнь распорядилась иначе.

В апреле 1937-го более четырёх часов немецкие самолёты из «Легиона Кондор» при поддержке итальянской авиации бомбили Гернику, небольшой посёлок на севере Испании. Никакого стратегического значения операция не имела - в Гернике не было ни одного военного объекта. После этой варварской акции республиканское правительство бросило клич на весь мир — спасите детей! Маленьких басков нужно было срочно увозить из страны, ввергнутой в голод и разруху. Одними из первых откликнулись Франция, Великобритания, Бельгия, Голландия и, конечно, Советский Союз.

В июне 1937-го в Ялту из Валенсии прибыл первый пароход с 70 испанскими ребятишками. Всего за три года Союз принял около 3 тысяч их сверстников. Среди маленьких беженцев был Франсиско Мансилья Карамес.

Мемуары

Я из Мадрида, моя семья жила почти в самом его центре — у блошиного рынка. История моей эмиграции в Россию началась, как вы догадываетесь, во время Гражданской войны в Испании. Мои родители не были коммунистами, просто республиканцами — вопреки общему мнению, это не синонимы. Испания чуть ли не первая начала войну с фашистами. И вот, в какой-то момент, когда стало ясно, что дела плохи, мои родители отправили меня в детский лагерь, организованный правительством для многодетных семей. Именно там я узнал, что есть предложение перевезти детей на время в Советский Союз. Ну, а мне было 12 лет, и я был пятым ребёнком в семье — представляете, Советский Союз! Мир повидать! Решать надо было очень быстро. Мама дала согласие. Я согласился тут же. Нас эвакуировали в Валенсию, а там посадили на пароход, уже советский. Меня сразу попытался усыновить капитан, командовавший операцией по нашей эвакуации из Испании, — на корабле он меня уговаривал через переводчика, по прибытии подключилась и его жена. Хороший человек, добрый, светлая ему память, но семья бывает только одна.

Отправляли-то в разные страны, принимали Англия, Бельгия, а также Латинская Америка — Мексика, Чили. И когда закончилась война, все дети вернулись домой. Отовсюду, кроме Советского Союза. Своя логика в этом была — победил-то Франко, как советское государство отдаст ему детей!

Дипломатических отношений у СССР с Испанией не было, даже корреспонденция шла через Францию. «Скоро увидимся», — написал мне оттуда брат. Мы увиделись уже стариками.

Я не помню, чтобы кто-нибудь как-то переживал и возмущался по поводу того, что нас не возвращают домой; так, разговоры были, не более того. Во-первых, мы жили в абсолютно замкнутом испаноязычном мире — мы жили все вместе, у нас были учителя из Испании, книги на испанском, все предметы на испанском. Кроме истории — русскую историю нам преподавали по-русски. Во-вторых, нам рассказывали, какой ужас воцарился в стране после победы Франко. Нас привезли в «Артек», где мы провели лето (там были замечательные вожатые, русские, говорившие по-испански, позже они все были репрессированы), а потом в Москву — нас поселили в особняке с садом на Большой Пироговской. Преподаватели были иностранцы, директор — русский.

Во время войны нас всех выпустили из детского дома. Ну, то есть не выпустили, а изменили режим. Нас эвакуировали из Москвы на Волгу, в село Цюрих, которое раньше занимали этнические поволжские немцы, — их отправили в Сибирь. Ой, страшно, что там было. Коровы ходили недоенные, мычали, куры бегали по улицам. Нас просили — доите коров прямо на пол, чтобы облегчить их страдания. И мы доили — сначала пытались посуду подставлять, а потом, действительно, прямо на пол. Если бы знали, что нас ждёт, мы бы ни за что так не делали. Потому что дальше нас ждал голод. Одну зиму мы прожили запасами, которые были оставлены ссыльными в домах, — конечно, стыдно было, но жить-то надо. Иногда даже наш директор нас посылал: идите, найдите что-нибудь поесть для всех. Были адские холода — под сорок-пятьдесят градусов мороза.

Затем нас перевели в Саратов, где я пошёл на завод. Комбинат, на котором я работал, делал комбайны, однако в военное время был перефилирован на производство самолётов. Я там освоил штамповку и проработал неполный год — фронт подходил ближе, и нас переправили в Тбилиси, где я пробыл до конца войны. Там для нас организовали заочную школу — но уже всё было по-русски. Было трудно, но, слава Богу, что так — иначе я бы совсем по-русски говорить не мог. Там я тоже пошёл работать на авиазавод, благо уже хоть какая-то специальность в руках была. К тому же нам давали паёк для рабочих — 700 граммов хлеба в день. Половину можно было продать — и купить ещё какой-нибудь еды. А потом, в 1947 году, карточки отменили, раньше, чем в любой другой стране — участнице Второй мировой (в Испании их отменили только в 1953-м). И тут, конечно, стало совсем голодно.

Мы все, конечно, сочувствовали СССР — кто, как не мы, знали, что такое борьба против фашизма? У нас миллион человек погибло на войне против Франко, и ещё миллион человек уехали. Была партизанская война, организованная коммунистическим подпольем, но и она задохнулась. Поэтому мы очень следили за успехами Красной Армии.

Однако после войны мы, конечно, надеялись, что вернёмся в Испанию. Во-первых — не сочтите меня за пекущегося только о собственном благе человека — здесь после войны было очень, очень плохо. Во-вторых, политика политикой, а семья семьёй — я ещё в 30-х отказался «усыновляться», так и теперь, в общем, не было желания как-то асси-

милироваться. Многие тогда пытались уехать нелегально — их ловили и отправляли в Сибирь. Одна из немногих удачных попыток была предпринята в конце 40-х — люди скрылись в аргентинском посольстве, их уложили в чемоданы и так пронесли на борт самолёта. Нам всю жизнь помогал Красный Крест — многие из нас получили квартиры через него, иногда — питание. Многим он помог в установлении национальности, откуда приехал, где родился, кем родился. Единственное, чего они не могли добиться — так это воссоединения с семьёй, нет дипломатических отношений, и точка. Уехать стало можно только в 1956 году, после того как группа испанцев написала письмо в ООН, и Хрущёву ничего не оставалось делать, кроме как позволить нам уехать. Ну, а после войны Сталин решил собрать всех испанских детей после Великой Отечественной в Москве. Правда, не сразу — меня и ещё целую группу моих соотечественников отправили в Коломну, где я поступил в сельхозтехникум. Есть было совершенно нечего, и мы время от времени предпринимали вылазки в Москву. Ездил я, естественно, без билета — он на тот момент стоил пятую часть средней зарплаты. Меня несколько раз ловили контролёры и каждый раз требовали денег — штраф. Денег у меня не было, и меня каждый раз высаживали в Раменском (несколько раз я даже прыгал из окна). В конце концов я перезнакомился со всеми контролёрами — они говорили: «А, привет, испанец. Ну-ка иди в конец поезда». Там я и дожидался конца контроля. А в Москве в тот момент — по сравнению с Коломной, конечно, — было всё. Можно было хотя бы хлеба своим привезти, картошка-то у нас была своя, нам дали участок, где мы её сами выращивали.

Я задержался дольше других — нашлась работа в колхозе, в Коломенском районе, агрономом. Представляете — испанец в русском селе! И я вам скажу, что нигде не было ко мне отношения лучше, чем там. Председатель колхоза был мне просто отец родной. Я разутый, раздетый, он посмотрел на меня и сказал: «Ты же зимы не переживёшь», — и первым делом продал машину капусты и отдал деньги мне, чтобы я обулся и оделся. И все без исключения, все были ко мне добры: и бухгалтер, и заведующий парткомом, и хозяйка, у которой я жил. Единственная сложность — моё имя, Франциско, никто не мог выговорить, меня все называли «агроном». Ну, агроном так агроном. Хозяйка, правда, меня испугалась поначалу — я пришёл к ней первый раз, увидел её в окно, а она юрк под стол! Я стучу, стучу, никто не открывает. Тогда я пошёл за председателем. Он стучится, говорит: «Открывай, тётя Таня». Она потом его в сторонку отозвала, говорит: «А он не еврей?». «Не еврей, — смеётся, — испанец». Она не очень себе представляла, где Испания находится, грамота была не обучена, зато была сильно религиозна — каждый день молилась и била поклоны. Я ей один раз говорю: «Тётя Таня, а ты Иисусу поклоны бьёшь?» — «А как же!» — «А ведь он еврей!» Как она плевалась на меня, вы бы видели. Так и другие — поначалу меня побаивались, на одну скамейку в клубе не садились. А потом осмелели.

Первые трудности у меня были с пропиской, когда я женился, — ведь мы, несмотря на свой статус, были лицами без гражданства (забавно — моя невеста была с Арбата, а я в Мадриде жил в районе Блошиного рынка) — у нас был документ, который мы между собой называли «шпи-

онским паспортом». Плюс советским гражданам нельзя было выходить замуж за иностранцев. Меня прописали только благодаря моему тестю, который был коммунистом, старым большевиком. Мы жили в комнате в 25 метров вместе с ними, а в коммуналке было ещё семь семей. Но, знаете, вот говорят, что жить скученно нельзя, а мы вот жили прекрасно, душа в душу. Прекрасные люди были.

Вообще нам всегда шли навстречу. Для нас были предусмотрены льготы — испанцы могли поступать в учебные заведения вне конкурса, достаточно было просто набрать положительный балл. Чем я в какой-то момент и воспользовался — первый раз ещё в техникуме, второй — при поступлении в сельскохозяйственную академию в Москве.

О, это была целая история. Я к тому моменту уже четыре года работал в колхозе и только женился — на русской девушке. Прихожу я в учебную часть и говорю: вот, я испанец, хочу на льготных условиях поступать. А мне инспектор говорит, что льготных мест у нас нет, поступай на общих. Ну, делать нечего, принял условия. Я получил положительные оценки по всем предметам, кроме русского языка — тройка по устному. С тем уровнем преподавания языка, который у меня был, это ещё было неплохо — язык мне всё-таки не родной. «У тебя такой акцент, что четвёрку я тебе поставить не могу, — сказал экзаменатор. — Как ты литературу-то умудрился сдать?» Письменный экзамен я, действительно, сдал на четыре не без помощи однокашников своей жены, конечно. Настаёт день зачисления, и меня нет ни в списках поступивших, ни в списках провалившихся. Иду в учебную часть — мне снова: «Не могу вас принять, у вас тройка, стипендии для вас нет». И тут мне секретарша говорит: «Иди в первый отдел, жалуйся и качай права, тебе скажут, что делать». Я пришёл, там сидит сотрудник. Я ему излагаю суть дела. Он мне — да ты же ребёнок войны, тебя должны так брать и стипендию должны платить 500 рублей, приказ Сталина. Ну сейчас, говорит, я им устрою.

В общем, зачислили меня, конечно, в академию. После её окончания тот же начальник курса продолжал со мной счёты сводить — на целину меня решил послать. А я там побывал на практике, в совхозе «Целинный». Хуже, чем в ГУЛАГе, — люди умирали от голода! На нас распределение не распространялось. Я снова в первый отдел: меня отправляют на целину. НКВДшник снова меня спас, и я поступил работать в институт механизации сельского хозяйства.

Когда в 1956 году испанцы начали выезжать, комнаты выехавших отдавали тем из нас, кто оставался. Для нас этот вопрос не стоял — именно тогда мы с женой приняли решение, благодаря которому мы разговариваем с вами на Кузнецком Мосту, а не в Мадриде... Её родители к тому моменту были уже старенькие, и я подумал: они были так добры ко мне, как же я их оставлю одних? Ну, и почти все, кто остался, остались по этим же соображениям. Из тридцати тысяч выехало около двух. Ну, а у оставшихся появился вот этот центр, в котором мы сейчас разговариваем. Появился благодаря Красному Кресту и компартии Испании — многие из нас имели её членские билеты (что избавляло нас от необходимости вступать в КПСС), и каждую неделю можно было послушать политинформацию — так что мы всегда были в курсе происходящего на родине.

Почти все 60-е я отдавал долг Советскому Союзу — работал на Кубе по линии Госкомитета по внешним связям, переводчиком. И в чисто культурном отношении это было, конечно, возвращение на Родину — тепло, испанский язык, испанская культура и кухня. Происхождение у многих кубинцев испанское, как вы знаете. Но не было такого, что, мол, вот — дорвался, глотнул родного, останусь здесь или уеду в Испанию, а в Союз больше не вернусь. Такие были — возвращались с Кубы обратно домой, не могли больше в Советской России жить, я их понимаю и не осуждаю. У меня сердце было на месте — мы не могли бросить наших замечательных стариков, да будет земля им пухом.

Я думаю, что скажу за многих — Советскому Союзу, России мы можем быть только благодарны, не только власть, но и простые люди всегда делали для нас всё: любили, помогали, прощали. Сейчас о нас, в общем, заботится ещё и правительство Испании — правый Аснар больше говорил, левый Сапатеро больше делает. Сказал, что выведет войска из Ирака, — вывел. Сказал, что нашему центру поможет, и помогает: мы уже старенькие, а за его счёт нам строят лифт. Мы каждый год за счёт правительства ездим на родину.

Я социалист, сын республиканца, сижу перед вами под портретом короля Хуана Карлоса — потому что этот король смог мудростью победить диктатуру. И я бы был коммунистом — если бы не видел, что икона компартии — Сталин делает со своей страной, и тем жутче мне было это всё наблюдать, будучи на особом положении (под нами на Арбате жили поляки — когда их пришли забирать, ошиблись дверью, и мы кричали: «Мы не поляки, мы испанцы!»). Сталин — первый антикоммунист и антисоциалист, хуже Франко — во имя всеобщего блага утопил в крови свою прекрасную и добрую страну, вернул её в Средневековье! Если бы не он, вы бы... мы бы жили сейчас лучше, чем Америка.

Записал А. КРИЖЕВСКИЙ
Фото В. БОРЗЫХ



ПАМЯТИ КУПРИНА

В этом году исполнилось 75 лет со дня кончины классика русской литературы XX века — Александра Ивановича Куприна (1870 — 1938). Мало кто знает, что этот замечательный писатель бывал в Коломне в начале века, когда никто ещё не мог предсказать его всемирную славу. А между тем лето и осень 1901 года оказали огромное влияние на развитие личности этого удивительного рассказчика.

Куприн приехал в гости к своей сестре Зинаиде и зятю — Станиславу Генриховичу Нату. Тот служил лесничим в окрестностях Коломны, на Рязанской стороне. Человек всесторонне образованный, знаток русского леса и страстный охотник, Нат близко сдружился с Куприным. Их совместные путешествия и труды надолго запомнились писателю. Позднее они с поразительной яркостью отразятся в его эмигрантской прозе, проникнутой сердечной ностальгией...

Куприн писал сестре из эмиграции, вспоминая зятя: «Как много прекрасных воспоминаний связано в моей памяти с ним... В них самые благодатные месяцы моей жизни. Там я впитал самые мощные, самые благородные, самые широкие, самые плодотворные впечатления. Да там же я учился русскому языку и русскому пейзажу. Поистине в духовном смысле вы оба были моими кормильцами, поильцами и лучшими воспитателями».

Дом Натов в Коломенском кремле отмечен памятной доской. В городе его так и называют: Дом Куприна. Перед ним собираются участники ежегодного Поэтического марафона, а иногда и дух самого писателя, воплощённый актёром Коломенского народного театра, посещает нашу старинную крепость...

Центр дополнительного профессионального образования «ЗНАНИЕ-КОЛОМНА»

Лицензия серии А № 345246 рег.64427 от 30.03.2010 выдана Министерством образования МО

ПРИГЛАШАЕМ К ЗНАНИЯМ!

Профессиональная подготовка:

- Бухгалтер со знанием 1С: Бухгалтерия
- Валютный кассир
- Сметчик
- Секретарь
- Инспектор отдела кадров
- Парикмахер
- Маникюрша
- Косметик
- Стилист-визажист
- Повар
- Экскурсовод
- Флористика
- Ландшафтный дизайн



Дополнительная профессиональная подготовка:

- 1С: Торговля и склад
- 1С: Зарплата. Кадры
- 1С: Бухгалтерия
- Пользователь ПК
- Основы графического дизайна (Corel Draw, Photoshop)
- Веб-дизайн, веб-программирование
- Охрана труда
- Экологическая безопасность
- Обращение с опасными отходами производства
- Курсы скорочтения и развития памяти
- Разговорный английский язык (5 уровней)
- Основы кройки и шитья
- Домашняя медсестра

Готовим учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации и учащихся 10-11 классов к ЕГЭ (единому государственному экзамену) по следующим предметам:

- Английский язык
- Алгебра
- Химия
- История
- Биология
- Русский язык
- Геометрия
- Литература
- Обществознание
- Физика

ВАШ КЛЮЧ К УСПЕХУ

По окончании обучения выдается документ установленного образца с присвоением квалификации

Телефоны: 610-07-98, 610-06-85

Адрес: уд. Октябрьской рев., д. 406, 1 этаж, каб. 108 (тр.ост. «МОСЭНЕРГО»)

Сайт: www.webkolomna.narod.ru, e-mail: znaniekolomna@mail.ru

БИБЛИОТЕЧКА «КОЛОМЕНСКОГО АЛЬМАНАХА»

В серии «Библиотечка “Коломенского альманаха”» представлены лучшие произведения прозаиков и поэтов, в которых созданы незабываемые образы нынешней Коломны и отражается многовековая культурная традиция древнего города.



Татьяна Башкирова
По обе стороны времён.
Стихи. 2004 год



Владислав Леонов
Крылья для брата
Повесть. 2005 год



Виктор Мельников
От альфы до омеги
Маленькие повести. 2006 год



Олег Кочетков
Воля-волчица
Стихи. 2007 год



Роман Славацкий
Три храма
Исторический очерк. 2008 год



Михаил Мещеряков
Возможность творчества
Стихи. 2009 год



Вадим Квашин
Русь за окном
Стихи. 2009 год



Евгений Юшин
Избяная заповедь
Стихи. 2010 год



Екатерина Устинова
Игры в декаданс
Стихи. 2011 год

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ



Центральный выставочный зал г. Коломны — крупнейший выставочный зал города, который удовлетворяет широкий диапазон эстетических вкусов, формируют новое представление о художественной жизни региона.

Выставочный зал ставит перед собой задачи: знакомство жителей города с современным искусством; формирование художественного сознания. Он активно сотрудничает как с известными, признанными художниками, так и с молодыми. Здесь же работает редакция литературно-художественного издания «Коломенский альманах».

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- **Организация, подготовка и проведение выставок произведений различных видов изобразительного искусства — живописи, графики, скульптуры, фотографии и других видов искусства**
- **Организация выставок-продаж предметов искусства, произведений местных авторов, народных промыслов**
- **Организация и проведение интерактивных программ, музыкальных, литературных вечеров, творческих встреч, семинаров, конференций, круглых столов и т.п.**
- **Организационно-техническое обеспечение городских проектов и программ**
- **Информационно-методическая деятельность**
- **Издательская деятельность**

Принимаются заявки на групповые экскурсии и интерактивные программы. Приглашаем школы, организации, частных лиц для проведения культурно-досуговых мероприятий, семинаров, презентаций, круглых столов и конференций.

Тел. (496) 618-70-71

Адрес: пл. Советская, д. 8, ТЦ «Глобус», 3-й этаж.

E-mail: MKUOPCK@yandex.ru





рекламно-полиграфическая фирма

«ИНЛАЙТ»

*Приглашает
к сотрудничеству
авторов*



- ✓ Подготовим макет
- ✓ Разработаем дизайн
- ✓ Подберём формат, красочность, стиль оформления, способ переплёта
- ✓ Присвоим коды ISBN, УДК, ББК и авторский знак

г. Коломна, ул. Левшина, 19

тел./факс: (496) 612-70-28, 614-36-64, 614-34-55

г. Воскресенск, ул. Победы, 9

тел./факс: (496) 449-68-68

e-mail: inlite@pochta.ru; inlite-reklama@yandex.ru

БЛАГОДАРИМ

Издание выходит при поддержке
главы городского округа Коломна **В.И. Шувалова**
и коломенских меценатов:

Николая Тимофеевича ВОРОНИНА —
генерального директора ООО ПКФ «ДОММ»;

Руслана Николаевича ГУЩИНА —
генерального директора ООО «ГРЭНДКОМ»;

Игоря Викторовича ЧИРКОВА —
индивидуального предпринимателя;

Николая Николаевича СИДЕЛЁВА —
директора межрайонного автотранспортного
предприятия «Автоколонна 1417».
Филиал ГУП МО «Мострансавто»;

Валерия Семёновича КОССОВА —
генерального директора ОАО «ВНИКТИ»;

Сергея Сергеевича СЕРГЕЕВА —
генерального директора ООО «ТЕХНО-АС»;

Евгения Владимировича ЗАХАРЧЕНКО —
генерального директора ООО «Теплогарант-
Плюс»;

Юрия Михайловича УГОЛЕВА —
генерального директора ООО «Экологическая
научно-производственная фирма “Новатор”»;

Натальи Николаевны ДРАНЕЕВОЙ —
заместителя председателя правления
Коломенской городской организации общества
«Знание»;

Татьяны Сергеевны Лаптевой —

директора негосударственного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Коломенский компьютерный центр»;

Эдуарда Насибулловича ТУМЕРКИНА —

директора ООО «Ракурс»;

Игоря Валерьевича ШАХ-НАЗАРОВА —

директора ООО «Тираж»;

Тема благотворительности актуальна во все времена — она напоминает нам об основополагающих ценностях нашей морали и культуры. И не стоит забывать, что благотворительность — это прежде всего свободный нравственный выбор, продиктованный желанием помочь ближнему, своему городу, обществу в целом.

*Валерий Шувалов,
глава городского округа Коломна*

Нет-нет, а находятся в коломенской земле неожиданные клады: кубышки, набитые серебром, или потаённые червонцы. Так и пласты коломенской литературы скрывают словесные сокровища: драгоценные творения наших предшественников или чеканное серебряное слово современников. Ещё многими десятилетиями эти сокровища могли бы бесполезно скрываться, не принося никому радости. Но вашими трудами, щедрые благотворители, вашими заботами «коломенский текст» открывается народу во всём блеске. И это — самое большое богатство, над которым не властно ни время, ни забвение.

Мир вам, добрые люди!
Храни вас Бог!



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
«КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В.С. МЕЛЬНИКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Р.В. СЛАВАЦКИЙ
А.А. САХАРОВ
В.В. УШАКОВА

РЕДКОЛЛЕГИЯ

А.П. Ауэр, Т.Ф. Башкирова (редактор отдела поэзии),
Е.С.Гринин (главный художник), **А.М. Дудкин, С.В. Калабухин,**
Т.И. Кондратова (шеф-редактор гуманитарных проектов), **О.В. Кочетков**
(референт главного редактора), **В.В. Королёва** (художник), **А.И. Кузовкин,**
Т.С. Лаптева, В.Н. Леонов, С.И. Патрикеев, И.Е. Ракша (шеф-редактор
аналитических проектов), **М.М. Сигал, Т.А. Форисенкова**
(редактор-библиограф)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕДАКЦИИ

В.Н. Ганичев — председатель Союза писателей России
Ю.В. Козлов — главный редактор журнала «Роман-газета»
В.Н. Крупин — писатель
С.Ю. Куняев — главный редактор журнала «Наш современник»
В.В. Личутин — писатель
А.Б. Мазуров — ректор Московского государственного областного
социально-гуманитарного института
Н.В. Маркелова — председатель Комитета по культуре
городского округа Коломны
С.М. Харламов — народный художник России
Л.И. Хитяева — народная артистка СССР
В.И. Шувалов — глава городского округа Коломна
Е.Ю. Юшин — главный редактор журнала «Молодая гвардия»

В оформлении обложки использован фотоэтиюд Юрия Колесникова
Городская хроника, опубликованная в альманахе, представлена редакциями
газет «Коломенская правда» и «Вопрос — Ответ»

На стр. 2 помещены награды альманаха — медаль имени И.А. Ильина
и медаль И.И. Лажечникова

Художники **Е.С. Гринин, В.В. Королёва**
Компьютерная вёрстка **Т.А. Титова**
Корректоры **Н.Д. Моргунова, Л.А. Вагина**

140402, Московская область, г. Коломна, ул. Кирова, д. 163. Тел. (8-496) 618-70-71;
e-mail: melnikov-vs@yandex.ru

Электронная версия альманаха: www.kolomna.biblio.narod.ru

Подписано в печать 12.03.2013. Формат 70x100/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Усл.-печ. л. . Тираж 1000 экз. Заказ

Издательство «Инлайт». Московская область, г. Коломна, ул. Левшина, д. 19.

Тел. (8496) 616-36-64. Факс (8496) 612-70-28

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография»

140400, Московская обл., г. Коломна, ул. Третьего Интернационала, д. 2а